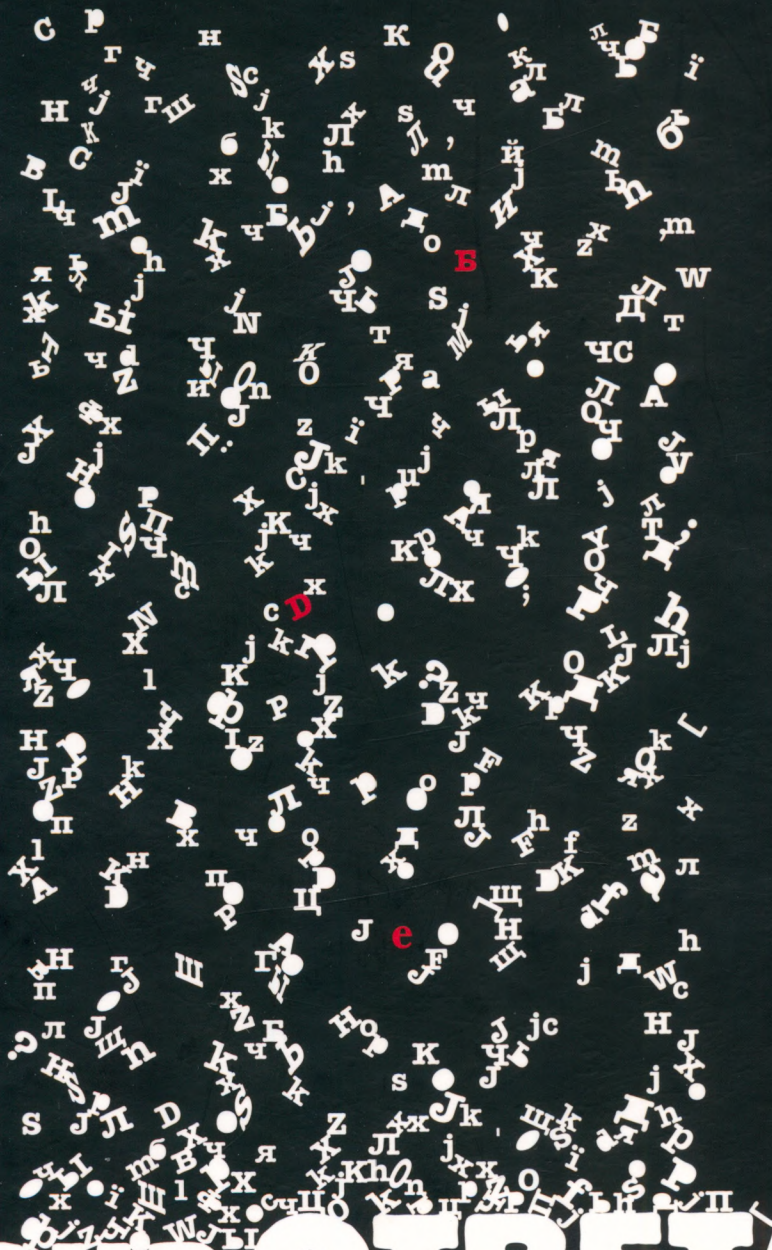


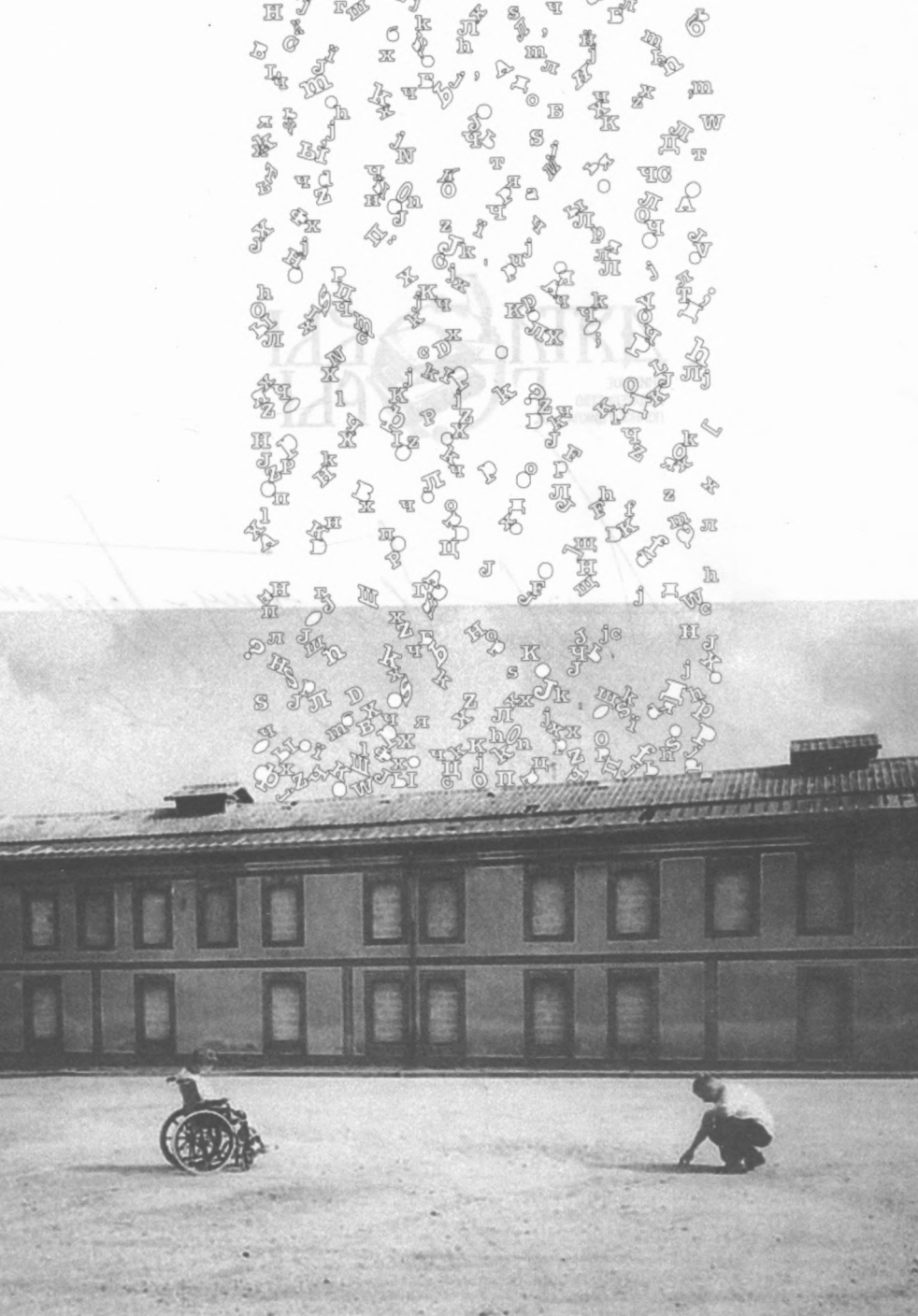
# Николай БОКОВ



# ЗОНА ОТВЕТА



КНИЖНОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ПОЛНОГО ЦИКЛА



Николай Боков

Книга первая

# **ЗОНА ОТВЕТА**

Издательство «Дятловы горы»,  
Нижний Новгород • 2008

**ББК 84 (2Рос-Рус) 6-5**  
**Б24**

**Николай Боков**

**Б24** Зона ответа. Книга первая.

Отпечатано в типографии издательства «Дятловы горы»,  
2008. — 532 с.

Жизнь русского человека за границей – золотая нить, мифологично сшивающая времена и судьбы, культуры и личности, события и страны. Николай Боков, писатель, житель Парижа, впервые представляет читателю в России книгу рассказов и повестей «Зона ответа». Это «энциклопедия духа» русского эмигранта, однажды оказавшегося в сердце Европы, пережившего много страданий и невзгод, но не потерявшего радостной, чистой любви к жизни, красоты мировосприятия, чувства бытия как праздника, наперекор житейским печалям. Воспоминания и настоящее – сюжетный ансамбль книги. Перед нами – панорамное полотно наполненного истинным светом авторского мира. Стиль Бокова, прозрачный и мастерский, заставляет вспомнить о лучших традициях русской классической прозы.

ISBN 978-5-902933-53-3

© Nicolas Bokov 2008

© Издательство «Дятловы горы», 2008

## НА УЛИЦЕ ПАРИЖА

### 1

Вечером я прихожу на станцию метро «Пастер».

Тут мой кабинет: внизу, перед кассами малолюдного входа напротив лица Бюффон.

Крошечный облицованный кафелем зал. Три стула, привинченных к полу.

Сюда я прихожу, когда темнеет, и запирают другие общественные места: церкви, почту.

Иногда просто хочется посидеть в помещении.

У живущего на улице вырастает настоящая потребность побыть внутри. Мне теперь достаточно войти в помещение, чтобы почувствовать удовольствие. Почти наслаждение.

Через равномерные промежутки проходят внизу поезда.

И через турникет проходит вереница торопливых отработавших день горожан.

И вдруг один из них приближается:

— Добрый вечер! Я вижу вас здесь не впервые. Вы тут сидите, потому что?..

— Да.

— Но вы непохожи на... (он хочет избежать слова «клошар») на... нуждающегося!

Оказывается, он студент, будущий художник. Он так много работает! Завтра он возьмет фотографии своих картин, чтобы показать: пересказывать живопись трудно.

Лазурь и перламутровые облака вечернего неба.

Вдоль линии метро, выходящей из-под земли на эстакаду, я спускаюсь к авеню Бретей, продолжающему бульвар Пастер.

Посреди авеню — широкий газон. Его обрамляют ряды платанов, уходящие в перспективу, к золоченому куполу и кресту-церкви св. Людовика. За нею — Военная школа и Музей инвалидов.

В зеленую поверхность газона врезаны песчаные квадраты детских площадок. Горка, качели, песочница.

На лавочке сидит молчаливая пара. Как обычно. Она уходит в половине десятого. Кажется, я пришел слишком рано? Ах да, еще три минуты.

Площадка обнесена невысокой оградой.

Тут я располагаюсь на ночлег, прямо на песке. Оградка защищает от случайных собак, от их пугающего спросонок обнюхивания. И от их помета тоже. Правда, им ничего не стоит перепрыгнуть через решетку, но они этого не делают. Дух зрелой цивилизации проник и в животных.

Я расстилаю полиэтиленовую пленку (3x4 м) и кладу поверх нее спальный мешок. Такой большой пленкой удобно накрыться, если пойдет дождь. Если начнет дуть ветер.

Этой весной дождь идет часто.

Ночлег на лавочке — деревянной, и это достоинство, — чреват, увы, осложнением. Лежащий на ней человек виден с проезжей части авеню. Может разбудить полицейский патруль, чтобы проверить документы (слава Богу, в порядке). И даже приказать уйти. А искать новое место ночью, согласитесь, крайне неприятно.

Патрулирует обычная полиция. «Голубые из Нантера» — спецбригада, устраивающая каждый день облаву на бездомных, — раньше семи утра не выезжают.

Редкие прохожие бросают взгляд и ускоряют шаги. Ночь собирает людей в дома.

Прожит еще один день. Было интересно. Была пища и для тела. Мои глаза не видели ничего жестокого. Благодарю Тебя, Господи.

— *Патер имон о эн тис уранис...* («Отче наш, иже еси на небесех...»)

Медленно и дружелюбно наступает сон.

Небо надо мной все темнее, и уже заметен луч прожектора, быстро перемещающийся по нему, задевающий облака. Маяк Эйфелевой башни, должный указывать путь дирижаблям.

\*

Донесся смех.

Сон спящего на улице чуток: проснувшись, я слушаю смех в каком-то недоумении.

Рассветает: небо надо мной молочно-белое с чуточкой голубизны.

Роса смочила спальный мешок.

Молодой смех, голоса.

Приподнявшись, я вижу их обладателей.

Они еще продолжают праздновать, начав накануне!

За оградой песочницы танцуют две пары. Нарядные, легкие, словно... словно тропические бабочки. А потом обе девушки взлетают на спинку скамейки: балансируя руками, они идут по узкой грани, смеясь, шутливо отталкивая руки кавалеров, желающих быть куртуазными.

Немного выпито было вина, разумеется, но сильнее пьянила их радость жизни, упругость тела. Вероятно, это окончившие учение лицеисты: благополучно сданы пресловутые экзамены на бакалавра.

Утро жизни.

Словно чудесные, веселые, беззаботные бабочки.

Никогда не испытанная прежде — странная жалость сжимает мне сердце: ах, и я когда-то... вместе со всеми, но совсем по-другому, там, далеко, в суровой Москве.

Мы были суровы.



А эти — иные: такие нежные, выросшие в мирной стране. Они еще не знают о чем-то, что я теперь знаю, но что им сообщить невозможно.

Созревший осенний плод — его языка не поймет весенний бутон.

Эта беспечность и хрупкость.

Цветок мгновения. А вокруг, а затем — все по-другому: аппетиты, обманы, жажды. Странное сострадание обернулось болезненностью в сердце; мне пришлось встать на колени и наклониться вперед: так легче.

И сказать несколько слов:

— Господи, это дети, человеческие дети. Твои. Не делай слишком горькой их горечь, которую Ты дашь им в свое время...

Смех и голоса удаляются по аллее дальше, к небольшой круглой площади с памятником Пастеру, огромным монументом прошлого века. Погруженный в мысли ученый сидит в кресле, а к ногам его льнут исцеленные от бешенства благодарные люди.

Ученый спокойно смотрит на золоченый купол и крест, уже заблиставший в лучах солнца. А посрамленная Смерть в бессильной злобе замахнулась косою на Микроскоп и Пробирку.

Легкая дрема приносит картины другого утра, тридцать лет тому назад. Моей весны 1962-го.

Праздник окончания средней школы.

И мы праздновали, конечно, хотя иначе, чем-то скованные и озабоченные. И громкая музыка вальса — а только он был дозволен в то время на официальных торжествах — не могла нас заставить решиться. Ну, разве известные школьные сорвиголовы. Девочки танцевали с девочками, мальчики растянулись группками вдоль стены, и некоторые тайно пили вино и пиво.

Едва не возникла и драка с подростками улицы: они пробрались внутрь по пожарной лестнице, выбив окно на верхнем этаже. Властный окрик директорши спас положение, а тем временем вызвали и милицию.

На рассвете автобус повез нас на Красную площадь. Она оказалась уже заполненной выпускниками. Мальчики были

одеты в обязательные серо-синие кители и такие же брюки; девочки — в коричневые платья. Впрочем, прекрасный пол имел-таки право на кружевные воротнички и белые фартучки. Имел право? Нет, то были обязательные украшения.

Красные звезды на башнях. Не слишком древних, но все-таки им четыре столетия. Кремль.

Неподвижные часовые у входа в гробницу основателя нового государства (исчезающего, пока я пишу эти строки).

В детстве я слышал от других детей, что эти часовые не дышат. И мы ходили смотреть, правда ли это: нет, не дышат! Ну, разве чуть-чуть...

И теперь пошли посмотреть.

Кончена школа. Школа перемен: в год поступления в нее еще управлял «отец народов». «Пряча добрую улыбку в отцовские усы», — согласно одному официально-поэтическому тексту. 1952-й. Через год он умер! Впервые я задумался: если и такой человек — богатырь — не справился с чем-то более сильным — со «смертью», то что же такое она?

Спустя три года, преодолевая смущение, объявили, что он бывал злым и вообще многое делал неправильно. И уж я наслаждался споров родственников за праздничными столами!

Библейские параллели с Египтом иногда напоминают это время: каждый раз удивляюсь, что нашего дикого фараона звали Иосифом. Два древних персонажа сошлись в нашем веке — в одном.

Фрагментарно, конечно: словно цитаты из древнего текста в только что написанном.

Окончание школы принесло облегчение. Давно было ясно, что нужна революция, что пора ее делать! Уже и собирался регулярно наш подпольный кружок. Пора идти к рабочим и в университеты! Как в начале века!

Сколько же пройдено-прожито до этой парижской песочницы...

Кто-то перепрыгнул через оградку и растянулся рядом со мной.

Один из ночных выпускников-бакалавров.

— Простите, я разбудил вас? Я возвращался домой — и вас заметил! Мне так хорошо! А вы здесь лежите... я подумал, что... можно вам предложить что-нибудь? Чашку кофе? Я живу рядом: можно пригласить вас на завтрак?

На сердце сделалось горячо.

Эта щедрость юности. Щедрость не раненого человеческого благодушия.

Но как быть? Угодна ли Богу эта встреча беспечной цветущей юности — и зрелости эмигранта-бомжа?

Словно моя жалость к ним вернулась с неба жалостью ко мне.

Правда, приглашение грозило расстроить мои планы на утро. В старой книге мне попало упражнение: «сорок дней — сорок причащений», и теперь я был в середине этих сороковин. К девяти утра я ходил на службу в маленькую православную церковь: по правилам, причащаться должно натощак.

И я стал отказываться, не решаясь начать долгие объяснения.

А юноша — удивляться:

— Не понимаю! Вы спите на земле — и не хотите позавтракать в настоящей квартире! Совсем рядом!

Ему было любопытно и интересно.

— Видите ли, как вам сказать... как объяснить? В двух словах: я счастлив. И я немного боюсь потерять мое счастье, потому что одно из условий его — так мне кажется — это материальная бедность, даже нехватка необходимого. Вы понимаете?

— Вы — счастливы?! Не понимаю!

Мне хотелось подарить ему что-нибудь. Например, сувенир, приехавший со мной из Греции, с Афона. Маленькую бу-мажную иконку, наклеенную на дерево.

Этот жест его тронул.

Позднее, может быть, симпатичный сувенир ему пригодится: когда наполненность юношеских переживаний начнет вянуть и тускнеть, когда зазывает ностальгия о времени бодрости тела. Да придет открытие счастья иного рода — счастья бед-

ности, доброты, исполненного долга, самоотречения... Великого множества человеческих счастья, не зависящих от возраста и плотских удобств.

## 2

И все-таки зимой, выйдя вечером из теплой часовни, я иногда чувствую малодушие перед наступающей ночью. И если вдобавок сыро и начинает моросить дождик... если висит туман, предвещающий заморозок?..

Однажды состоялось открытие: необходимо моментальное улучшение обстоятельств, даже самое незначительное. Теперь, почувствовав боязливость, я иду в укромный уголок, достаю из рюкзака вторые брюки и еще один свитер или все два и тут же все надеваю и поддеваю. Такое утолщение оболочки немедленно приносит утешение и ободрение.

Есть и хлеб на сегодня. Много хлеба, его хватит и на завтра. Излишки от «Пекарни Пьера»: так называется булочная на улице Камбронн.

Со мной останется и книга, которую я давно хотел прочитать: «Небесная иерархия» Дионисия Ареопагита. Иные к имени автора прибавляют «псевдо»: Псевдодионисий. На эти темы поговорю как-нибудь потом.

Меня останавливает вид человека, находящегося в затруднении: он озирается по сторонам, словно ища, к кому обратиться, держа в руках какой-то предмет. Я остановился в пределах досягаемости его взгляда.

— Sprechen Sie Deutsch? — спросил он без всякой надежды.

— Ja, guten Abend!

Незнакомец громко и радостно засмеялся:

— У вас есть что-нибудь, чтобы разрезать?

Он держал в руках так называемый индивидуальный обед, подобранный, очевидно, тут же, среди мешков и контейнеров с мусором, выставленных лавками и консервжами к вечернему проезду сборщиков.

Такой обед упаковывают в замечательно прочную оболочку, которую разорвать руками невозможно. Ну, разве Самсон с ним справился бы, ему и львиная шкура была как полотно.

А Гюнтер из Дортмунда, хотя и казался крепким и выдавшим виды, перед подобной упаковкой был бессилён.

Я протянул ему ножик.

— А тебя как зовут?

И, услышав ответ, Гюнтер опять захохотал от радости:

— Николаус! Я так и знал, что где-нибудь в Париже мне обязательно встретится Николаус!

И вот, предчувствие не обмануло его.

Мне было приятно такое внимание к имени моего небесного покровителя: действительно, в Германии — как и в России — святой Николай весьма почитаем. Главный Николай: епископ города Миры в Ликии, напротив Кипра. Ныне турецкий город Демре.

В Париже ему посвящены две церкви: католиков-ортодоксов — то есть французских римских католиков, Сен-Николя де Шан; и католиков-старообрядцев, сохраняющих богослужение на латыни, — Сен-Николя де Шардонне.

Кроме него, в римских святцах — 32 святых Николая, и еще нужно прибавить шесть русских, и еще греческих, румынских...

Гюнтер угостил меня куском пирога, тоже, очевидно, найденного, и был доволен получить в ответ хлеба, тоже подаренного. Мы даже пошутили немного, говоря, что в наше время денег стоит свежий хлеб, а черствый раздается бесплатно.

Он путешествовал без вещей, в рубашке и куртке. И как это он так привык?.. Впрочем, иногда люди улицы меня поражают своей бесчувственностью к непогоде.

Или, может быть, эта встреча произошла в теплое время года и совсем нечаянно прицепилась к зимнему вечеру? Так из коробки с мелочами вслед за ножницами вылезает веревочка или нитка с иголкой.

Божья милость человеческой встречи, думаю я, еще улыбаясь, осторожно прокладывая путь через толпу: она густа и подвижна в этот час возвращения с работы, на перекрестке Пастера и улицы Вожирар.

Случайных встреч тут, вероятно, и не бывает: каждый спешит через живой лес. Конечно, вежливо придерживая дверь метро, чтобы не ударила идущего следом, уступая дорогу, извиняясь.

Колея правильной жизни. Она такая широкая, такая бескрайняя, но я на нее не попал!

Такая узкая, стиснутая расписанием поступков и верований... мне просто не удалось на ней поместиться?..

Фантазируя по-философски, так сказать: наезженная колея никуда не ведет. Слишком широкая, нет границы ни справа, ни слева: исчезли ориентиры. Слышны команды висящего на азростате начальства. Вернее, на вертолете. Ему еще что-то видно. Во всяком случае, это его роль. Позитивная, конечно: приказ несет уверенность, бодрость, рождает надежду на плодотворное и не слишком длительное усилие, потому что кто-то знает, что делать и куда идти.

Может быть, мне досталась тропинка пионера и открывателя? То она вьется среди трав и деревьев, в свежести воздуха, по берегу моря, то среди пустырей, ржавого мусора и скомканных жизней.

И что еще ждет за поворотом пятидесяти лет...

Человек возник из толпы и бросился ко мне с такой радостью, словно он встретил родственника в незнакомой стране: улыбаясь, восклицая, протягивая руку. И как было не ответить ему тем же?

Но общий язык пришлось искать долго. Я улавливал слова, похожие на французские и славянские, однако поймать смысл не удавалось.

Тогда я прибег к эсперанто жестов (его мне преподали в Турции): ткнув себя пальцем в грудь, я сказал: «Николя». И затем показал пальцем на собеседника — вопросительно, повернув руку ладонью вверх. Небольшого роста, черноволосый, в одежде не слишком поношенной, он старался понять, он даже немного таращил глаза, чтобы подчеркнуть свое усердие и готовность. После второй попытки он радостно закричал:

— Георг Тито! Георг Тито!

Вожди Болгарии и Югославии сошлись в одном человеке. Правда, он оказался из Румынии, из деревни вблизи югославской границы.

У него не было ни рюкзака, ни сумки. Вообще ничего, кроме одежды, слишком легкой и не по сезону.

«Еще большая степень свободы», — подумал я.

Или беспомощности. Иные ошеломлены жизнью настолько, что нужно вложить им кусок хлеба в руку, если хочешь их накормить. Такие, конечно, умирают еще быстрее, даже раньше 48 лет средней жизни человека улицы.

— Шприхст ду дойч?

Он энергично закивал головой. Он слушал меня внимательно, кивая головой, но потом оказалось, что он ничего не понял. И так несколько раз! Опасная путаница начала угрожать моей голове. К счастью, я догадался: утвердительный ответ на вопрос «говоришь ли ты по-немецки» означал только то, что он этот вопрос понимал. И я успокоился.

И пригласил гостя к себе, в вечерний кабинет, на соседний стул в прихожей метро. В тепло. Я мог угостить его и ужином. Впрочем, он был почему-то не особенно голоден.

Подсохшие сморщившиеся — и оттого очень сладкие — яблоки. Хлеб — может быть, черствый, но зато с изюмом. Сидя рядом на стуле, после всех попыток понять и рассказать, он начинал, улыбаясь, задремывать. Он был по-детски спокоен, словно нашедший кого-то, к кому можно прислониться и отдохнуть после головокружительного жизненного виража.

Его было жалко: ребенка, которому за сорок, вдруг сорванного и вырванного шквалом, уже разметавшим на востоке Европы вечные режимы, не протянувшие и столетия. Ребенка, принесенного из маленького местечка в европейскую столицу.

Нужно было устраивать его на ночлег — и где, если не у южного входа церкви св. Франциска Ксаверия, на деревянный помост перед ним, защищенный от дождя нишей двери. Там были спрятаны и запасные листы картона и одеяло.

Георг Тито послушно пошел за мной. Не без понятливости он участвовал в раскладывании картона. Мне не особенно хотелось делить с посторонним человеком пленку из полиэтилена (3x4 м): это казалось вторжением в мой частный образ

жизни. Но другого выхода не было: мощный пророк Исаяя всплыл в памяти со своим «нищего введи в дом».

Впрочем, я положил между нами рюкзак.

Мелкие капли ночного дождя иногда стучали о пленку. А внутри было сухо. Скоро и тепло нашего дыхания нагрело воздух полупрозрачного кокона.

Наутро я отделился от попутчика уличной ночи. За последние десять лет утвердилась потребность провести первые часы бодрствования одному. Людей легко отдувает ветер перемен, а вот «то, что потом» — и уже навсегда, — это «что-то» добывается утренней сосредоточенностью. Мир сердца — его тепло — его радость.

С книгой в руках я прошел несколько раз по платановой аллее, от улицы Лекурб до ограды св. Людовика. Но вот в первый раз прозвонили большие часы колокольни св. Франциска Ксаверия (ночью парижские церкви теперь не звонят, в последний раз часы отбиваются в десять вечера). Издали видно, что в стене церкви зазяло черное отверстие: двери открылись. Без четверти семь.

Туда я и поспешил, с замерзшими пальцами и вообще порядком остывший на утреннем бризе.

Внутри было тихо. Тепло. За тяжелыми портьерами хоров слышалось движение и шаги: там готовилась ранняя месса.

В утренних сумерках белеют погасшие огарки свечей. Еще никто не зажег новых.

Здесь жила память о моей дочери Марии.

Однажды давно, в 84-м, мы приезжали сюда на богослужение и общую молитву об инвалидах. По наклонному деревянному настилу, где я теперь ночевал, мы поднялись с нашим медицинским креслом и встали среди других таких кресел с больными, вблизи алтаря, под средокрестием.

Толпа собралась в тот вечер огромная, полная энтузиазма и почти уверенности, что вот-вот начнутся исцеления: богослужение вел священник из Канады, имевший репутацию чудотворца.



И действительно, поднялась с места одна дама и сказала, что мучившая ее мигрень прошла! И еще другой человек сказал, что боли в желудке у него прекратились. А сам целитель вдруг сосредоточился — и толпа притихла — и сказал, что вот тут, перед ним, в нефе, у одного господина прекратилось образование злокачественной опухоли!

Только наша группа патентованных, так сказать, больных оставалась в стороне от событий. Островок молчания посреди бушующего энтузиазма. Правда, пришел кюре и внес какую-то ненужную нотку трезвости, сказав, что центральная аллея нефа должна оставаться свободной для прохода, согласно правилам безопасности. Люди чувствовали себя в небесной приемной, а тут опять безопасность да правила... Целитель попросил исцелившихся оставить свой адрес, и я поспешил к секретарше, чтобы увидеть и расспросить. В комнате сидела женщина за столом, и перед нею лежала большого размера тетрадь. Кроме меня, никто не пришел.

А теперь толпы не было. Собирал огарки служитель, он же, вероятно, и сторож, занимавший квартиру где-то над сводом трансепта: с улицы видно светящееся ночью окно.

Около северного рукава трансепта (и не напомним ли, что этот храм XIX века обращена апсидой на запад? для того, чтобы священник мог стоять лицом к публике во время богослужения, смотря, как и полагается, на восток) устроена капелла экуменизма. На пюпитре лежит библия, поставлены икона Св. Троицы Рублева и распятие св. Франциска. Скамеечки для медитации. Несколько католических стульев. Зеленые растения. Витражи св. Терезы из Лизье. Кажется, храм обслуживают иезуиты.

Как обычно, пришли еще двое... трое... четверо. Мы, вероятно, привыкли друг к другу, хотя не здороваемся и не знакомимся.

Сегодня пришел новичок: в коротком армейском бушлате, в черных суконных брюках. В грубых ботинках, каблуки которых тем не менее совершенно стерлись: он стоял на коленях, и это было хорошо видно.

По сравнению с худым костистым лицом его тело казалось непропорционально полным: очевидно, из-за множества надежных свитеров и рубашек. Он ночевал, несомненно, на улице.

Мы молчим. Шепчем.

Доносятся возгласы мессы.

Удивительно — слышать русскую речь: «Царю небесный, Утешителю...»

Молитву Святому Духу тихонько говорит грузный человек с портфелем, одетый по-городскому, чисто, но все-таки не так, как одеваются французские чиновники: можно подумать, что каждое утро у них новый костюм, и только что от портного.

Советский чиновник из расположенного поблизости ЮНЕСКО? Мыслимо ли такое (1989-90-е годы)?

Вдруг в капеллу вбежал человек. И заговорил напряженно, хотя и негромко:

— Я вынужден обратиться к вам! Потому что я в совершенно безвыходном положении! Мне не на что купить еды! Дайте мне сколько-нибудь, пожалуйста! Что-нибудь!

Он был немного восточного вида, смуглый, может быть, индус или тами.

Наступило молчание застигнутых врасплох («мы пришли помолиться, а тут опять то же самое...»). И даже послышался голос, и начало известной нотации:

— Но, господин, так не делается. Во-первых, вы должны...

К счастью, стоявший на коленях бож опередил: он вынул из кармана несколько монет и протянул:

— Вот, возьмите и мужайтесь!

Человек взглянул в свою руку, и лицо его расправилось. Он исчез.

Вскоре и мы разошлись, оставив странного путешественника одного.

Мне было приятно, что «наш» — бож (s.d.f. по-французски) — не сплеховал. И позабавила эта приятность: не формируется ли во мне «классовое чувство» солидарности евангельских бродяг...

Опять не состоялась сегодня дальняя экспедиция за Сену, в Отей, в социальный пункт Учеников Отея, интерната для сирот: времени не хватило... Там можно принять душ и посидеть в теплой комнате. И почту до востребования там получают. Человек может иметь адрес! Без него человека нет. В социальном смысле, конечно.

Уже время вернуться на станцию метро «Пастер». И затем спуститься вдоль эстакады на авеню Бретей.

Сиреневое небо делается фиолетовым. Силуэт купола и креста — черным.

Устраиваюсь на ночлег: кладу листы картона, расстилаю пленку — по зеленому скверу рядом с церковью идет странная фигура: с комом одежды, с дубинкой в руке... Георг Тито!

Он бурно радуется встрече.

Он подобрал где-то брошенное женское меховое пальто и вооружился ножкой от стола. Ему, бедному, оказывается, страшно.

Нашлось румынское издание Нового Завета, и сегодня мы можем почти разговаривать. Например, чтобы избавиться от ножки-дубинки, я нашел известный стих Матф. 5,39 и дал прочесть его Георгу. Он вытаращил глаза, однако с ножкой, поколебавшись, расстался.

Книга ему была, по-видимому, знакома; он принадлежал, вероятно, к пятидесятникам: найдя сцену сошествия Св. Духа на апостолов, он сложил молитвенно руки. После длинного объяснения я предположил, что у него есть брат, живущий в Голландии. Он убеждал меня ехать туда вместе с ним, нуждаясь, очевидно, в попутчике для непростого путешествия.

Засыпая, Георг Тито укрылся ветхим меховым пальто. Вторая ночь в мировой столице была комфортабельнее.

Наутро он снова восторженно говорил о Голландии, словно то был Эдем, обнаруженный наконец на карте жизни. Но я мог только найти для него адрес общины пятидесятников, кажется, возле станции «Алезия». И билет на метро.

Мы расстались. Не без грусти, словно почти родственники.

Время странствующих людей. Всегда идущих и пробирающихся куда-то, где все устроится и решится. Скучно ждать смерти на одном месте, не так ли? Тем более, если нет занятий, отвлекающих от этой правды, беспощадной для одних и напременно ожидаемой — для немногих.

Действительно, все меньше людей, знающих, что нас ждет радикально иной образ жизни.

«Абсолютно не похожий на чепуху Ш. и Д.», — написал мне однажды знакомый.

Ну, это может быть чересчур: людям красивые выдумки пригодятся. Но тем не менее...

\*

— Вы ночуете около церкви? Мне рассказали, — негромко сказала женщина с сединой в волосах, подошедшая ко мне возле экуменической капеллы. То была ризничая и секретарь Елизавета. Мадам Елизавета, конечно.

— Наверное, холодно?

— Нет-нет, ничего, у меня все есть для ночлега вне помещения. Спасибо.

Она ушла.

И снова появилась вскоре: с термосом в руках.

— Пожалуйста, возьмите, тут горячий кофе с молоком. А термос оставьте себе: он вам пригодится.

Такой жест — знак из другого мира.

От него вздрагивает сердце.

Это отдых: уменьшилась тяжесть одиноких усилий существовать.

Эхо и отблеск детства, умерших дружб, распавшейся семьи — все тут, в простом жесте руки, протягивающей термос. И нужно владеть собой, чтобы благополучно произнести:

— Спасибо... сестра Елизавета!

### 3

Через XV район проходят улицы-артерии, Севр и продолжающая ее Лекурб; и Вожирар, самая длинная парижская ули-

ца. Судя по названию и расположению, она шла по склону «долины Жерара». Этот склон, спускающийся к равнине Сены, теперь, разумеется, совершенно застроен.

Они выводят из центра города за кольцевую дорогу, «Периферик», построенную на месте городской средневековой стены.

У перекрестков тротуары вскипают: Леркурб-Камбронн-Вожирар полнятся гвалтом и криком торговцев, охваченных страстью коммерции.

После полудня они уже гораздо спокойнее.

А пока покупателям тесно, они слушают, смотрят. И пробуют, особенно одетые старомодно старожилы квартала: возьмут вишенку и скушают. Лет немало и им, и их одежде, починенной и опрятной.

Честная бедность, она незаметна: почти не видна аккуратная заплатка на пальто, никто не обратит внимания, что спрошенные порции сыра и рыбы микроскопичны.

На подходе к перекрестку сидит, поджав по-турецки ноги, Жерар. Он приветлив и добродушен, это располагает. И у него есть постоянные дарители, с ним здоровающиеся. Жерар благодарит их особенно горячо или даже обменивается замечанием о событии дня, если таковое случилось.

«Моя клиентура», — говорит он.

Поразительна судьба понятий. Вы помните, вероятно, что в Риме клиентами назывались как раз те малоимущие, которые получали почти регулярно милостыню от зажиточного горожанина. А теперь наоборот, и ничего. И сколько таких слов!

Жерар пострижен наголо. Он взволнован. Оказывается, он только что вышел из больницы. Надо же такому случиться: неделю назад в метро у него взяли пятьдесят франков! Да еще он получил удар ножа!

Из сбивчивого рассказа я узнаю подробности. И то, что он, по-видимому, был немного пьян. Не совсем, чтобы... а так, слегка.

Слава Богу, все обошлось: его быстро подобрали и зашили. Приподняв рубашку, Жерар показывает заклеенный пластырем край живота.

Услышав разговор о пролитой крови, пожилой господин останавливается, подходит совсем близко, вытягивает шею, чтобы лучше слышать — и тем более — видеть: глаза у господина блестят.

Мне хочется подарить Жерару какую-нибудь... зацепку, маленькую защиту... например, этот крестик. Он слегка озадачен: пырнули ножом, а тут маленький крестик! Но ему приятен дружеский жест.

Через неделю вместе него на шее висела миниатюрная стальная жаба. Подруга Жерара сказала ему, что это надежнее.

Он остается сидеть на своей картонке, здороваясь и благодаря. Но его бретонские усы свисают уныло. Если, конечно, они чем-нибудь отличаются от украинских.

У супермарше «Монопри» — наискосок через улицу Лекурб — стоит спокойный, даже медлительный человек, Бернар. Ему, кажется, за шестьдесят, но вид живущих на улице бывает обманчив: лицо темнеет на ветру и на солнце, от алкоголя, от случайной (из мусорного бачка) пищи.

— Добрый день, Бернар! *Са ва?*

— *Са ва*, но могло бы быть лучше!

Однажды мне подарили что-то, подсохшие пирожные или бриоши, и я ему предложил. Отказываясь, он со значением произнес:

— Я предпочитаю полный обед.

В этом было что-то солидное, мудрое. Как у других — дом, семья, личный врач. Или даже свой священник.

Впрочем, может быть, он просто избегнул сближения: мало ли что...

В переулке показалась бело-зеленая церковь святой Риты, окруженная помещениями ЮНЕСКО. Парижская редкость: галликанская церковь. Теперь они почти все в Канаде. Тут уютно: все знают друг друга, а всех в общем-то немного, в столичном море голов и очагов.

Стоит иногда и нищий: здесь подают.

— Николая!

Ремо. Он знает меня по имени, и вообще мы знакомы. Мы встретились в 89-м в малюсенькой русской церкви Трех Святителей, напротив мэрии Пятнадцатого. Ремо приходил повидать брата Серафима, монаха. И получить от него монетку.

Но главное — поговорить. И отдохнуть рядом с ним.

Действительно, некоторые люди источают отдых. От хлопот и неудач. Вернее, от незаметного для нас самих напряженного ожидания.

Вероятно, это главное дело жизни: ожидание. Чего-то капитального, окончательного. Может быть, брат Серафим окончательного достиг — а с ним и покоя?

Но он бывал и по-житейски заботлив: смотри-ка, принесли свитер, не нужно ли? А хлеб? Смотри-ка, и масло?..

Ремо возбужден:

— Ты слышал?! В России все изменилось (это были 1988-92)! В Японии землетрясение! В Африке голод! А что Миттеран говорит!

Президенту от него доставалось.

Ремо огромного роста, с пунцовым носом, сама энергия. Профессиональный нищий.

Позднее он начал болеть. И в последний раз я встретил его в 94-м, в XX районе. По-зимнему медлительный, меланхоличный, отдалившийся, он опять говорил о «доме под Ниццей» (вероятно, для уличных стариков). О том, что там тепло. И хорошо.

Без былого воодушевления он дал мне совет: где найти «почти новые ботинки». «Еще совсем крепкие». И оставил автограф в моей записной книжке: название агентства по трудоустройству, «где всегда можно найти что-нибудь».

А Габриэль уже просто лежит на углу улицы и бульвара, на вентиляционной решетке метро: снизу дует теплый воздух, пахнущий прачечной.

Натянув пиджак на голову, он спит.

Такому аскетизму я иногда завидовал: у него нет ничего, даже сумки, даже куска хлеба на вечер. Нет никаких документов! А без них, знаете ли вы, нет и человека.

Впрочем, полицейские его знают.

Он пьет. В эту почти неприметную впадинку на дороге жизни попадают многие. Было грустно — выпил — стало хорошо. Правда, Писание этого не запрещает: «Дайте сикеры огорченному душой», — говорит оно. Правда, в другом месте, у пророков, утверждается, что пьянство — это возмездие за гордость.

В конце концов, любое призвание в жизни обнаруживается точно так же. «Что-то стало особенно хорошо получаться, потом и нравиться, начали хвалить». Ну, а потом и деньги пошли.

Габриэля обходят прохожие.

Более или менее ясно, что они о нем думают. То же, что вы или мы.

Труднее взглянуть его глазами на мир.

Приглушенность тонов и звуков, одинаково недостижимы птицы, животные и люди. Полная раздельность существования: несоприкасаемость. Неприкасаемый. Ну, разве полиция, это ее ремесло, да и она крайне редко. Его, в сущности, нет.

Человек-невидимка.

\*

В школьном учебнике английского языка был рассказ о таком человеке. Читая, я мечтал: вот ловко! Ходит и смотрит, а его никто не видит!

Похоже, что детская мечта осуществилась. Ведь мечта ребенка не что другое, как... молитва.

Разумеется, осуществилась неожиданным образом.

Это надо иметь в виду, когда мечтаешь о чем-нибудь.

Я хожу, смотрю и слушаю, а меня не видят. Поразительно интимные вещи делаются мне известны, и помимо моей воли: люди говорят, остановившись рядом, у входа в церковь, на платформе метро. Оглянувшись, не слышит ли кто, скользнув по мне невидящим взором, понизив голос:

— Je vais te dire une chose... («Я скажу тебе одну вещь»).

Случалось слышать такое, что впору вызывать врача или полицию.



Мое наблюдение легко проверить экспериментально Когда встретите гденибудь нищего, оцените, насколько серьезно прозвучало бы его свидетельства против вас Или за вас без различно

Видимость человека

Вот почему, вероятно борются за первое место

Борются конечно и за количество: «Хочу еще больше всего всего».

Но есть таинственная, сложная мотивация чтобы не за теряться Не утонуть в человеческом море

И уж похороны победителю достаются тоже колоссальные, с пушками и залпами С проповедью архиепископа перед уй мой глав государств всего мира

Но все таки похороны

#### 4

Маленький скверик есть и около церкви Сен Ламбер, со стороны апсиды след вероятно, бывшего здесь когда то клад бища

Он окружен деревьями и домами Есть колонка с питьевой водой Детская площадка с песочницей очень оживленная днем А вечером после восьми — никого И железная калитка не запирается на ночь

Летом я иногда провожу вечер здесь Сегодня остаюсь и ночевать: на лавочке, разложив пленку (3x4 м) и мешок

Очень ценная пленка Подаренная рабочими в Реймсе, которые ремонтировали собор Такой пленкой они завешивали леса чтобы не брызгать на пол краской И на моем куске есть несколько полосок белил

После широкой авеню Бретей этот скверик кажется почти помещением Над лавочкой, вверху в кроне дерева, ветвей нет Виден кусочек неба; важно и то что лавочка недосыгаема для голубей их тут множество они воркуют в листве, и звучные шлепки их помета слышатся с разных сторон

«Еще мгновение — и я пойму...» — Что пойму почему так важно понять но я уже засыпал в сгустившихся сумерках

И почти так же быстро проснулся.

Мгновенен летний сон.

Я еще ленился упаковывать постель, жмурясь на яркое небо. Рано. Еще не послышался звон будильников из открытых по-летнему окон. Никто не вышел из подъездов домов. Ну, разве что та дама в халате, выведшая на прогулку собачку.

Безмятежность.

Замусоленные странички. *«Агиос о Теос, агиос Исхирос...»*

Гармония сердца.

Никаких мыслей и предчувствий.

Вероятно, я еще улыбался: неожиданно поднявшиеся из-за кустов полицейские остались стоять, тоже, по-видимому, захваченные врасплох картиною мирной жизни.

В молчании прошло несколько секунд: никак не начинался контакт разных социальных положений.

Это были «голубые из Нантера»: спецбригада, занимающаяся «гигиеной города, то есть облавами на клошаров и вообще спящих на улице.

Из боковой улицы протиснулся полицейский автобус с закрашенными окнами.

— Ну, поедем? — колеблясь, спросил полицейский, а другой добавил решительнее:

— Подойдите сюда!

Во мне всколыхнулись забытые, казалось бы, чувства выросшего в советской стране: желание бежать, мысль о бесполезности такого поступка, оцепенение пойманного. Чудесный момент! Как он всегда неожиданен! Душа уютно покоилась — и вдруг застигнута, схвачена... оказалась маленькой, трусливой, уязвимой.

— Разведите руки!

Мне проверили карманы. Кто-то занимался рюкзаком, в крепких руках мелькал вид на жительство (слава Богу, в полном порядке), в котором определялся мой статус: «беженец апа-трид экс-советский».

Между прочим, то же значится и в документах моей дочери, хотя она родилась во Франции. Тут есть что-то мистическое и библейское.

Ничего не поделаешь: назвался бомжем — полезай в автобус.

Полицейские одеты в спецформу: голубые комбинезоны, не стесняющие движений.

Автобус колесил по улицам XV района, переговариваясь по радио и время от времени останавливаясь. Три или четыре полицейских прыгали из автобуса молниеносно, словно парашютисты, и вскоре притаскивали еще одного; случилось, и захваченного, пытавшегося спастись бегством. Не расставшегося, впрочем, с гирляндой мешочков из супермарше.

Был момент, когда и у меня стала возникать эта странная привычка: иметь запас подобных мешочков. Словно могло попасться на улице что-нибудь ценное, а положить будет некуда. Сухой хлеб, например. Пригодные оставленные после рынка фрукты, овощи.

Привычка развивалась до степени болезненной, ей пришлось противиться вполне сознательно. Тогда она стала ослабевать — и исчезла.

Привычке делать что-либо отцы-пустынники советуют противопоставить привычку не делать.

Пока я философствовал, автобус еще пополнился: привели двоих рабочих-поляков; крепкого молодого парня: его нашли спящим под деревьями эспланады Инвалидов. Он дошел до Парижа в поисках работы. Ах, и Габриэль тоже здесь! Обычно он лежит на вентиляционной решетке метро, на углу бульвара Пастер и Вожирар.

Он что-то бормочет. Я с любопытством прислушиваюсь:

— А если она моя, я могу ее взять? Разумеется! Это логично!

И совершенно неожиданно для всех Габриэль нагибается, хватая сумку одного из поляков и дергает к себе! Такой жест производит бурю восклицаний, криков, готовых вылиться во что-то:

— Ты что, больной?! Получишь по роже!

Из группы полицейских возле водительской кабины доносится окрик:

— Эй, там, потише!

— Вот это да! Потянул к себе! Ну и парень!

А Габриэль сидит с видом покорившегося судьбе и бормочет:

— *Naturellement, je ne peux rien prouver!* (Естественно, я ничего не могу доказать!)

Около 9-ти автобус полон. Нас больше тридцати.

Последним попался весельчак, оказавшийся Стивом. Ему все нипочем, и ему наплевать, он видел вещи и похуже, а съездить в Нантер — одно удовольствие, он давно хотел подстричься.

И автобус берет курс на Нантер, говорят знатоки. Похоже, что так: мне удастся ориентироваться, глядя через узкую незакрашенную полосу в верхней части окна.

Говорят, тут родилась св. Женевьева, покровительница Парижа. И отсюда она любила ходить в Сен-Дени.

Автобус останавливается.

Огромные ворота открываются, и мы въезжаем.

А ворота закрываются позади нас.

Мы оказались в окружении чрезвычайно высоких стен.

Всех выгружают.

Проводят в приемный зал.

Ценные вещи и деньги нужно сдать на хранение, о чем делается запись в журнале. Проверка прочих вещей. И — под душ.

Обязательный душ. Из обрывков разговоров я узнаю, что это мероприятие восходит к Де Голлю. Санитарная мера: сбор клошаров и бездомных и обязательное мытье. Ну, и полицейская проверка неприкаязных элементов. Два автобуса в день. Человек 70-80.

Полицейские громко кричат. Не от злости, а по привычке: чтобы быстро получить желаемое — последовательное исполнение всех пунктов. Несмотря на утро, уже многие пьяны — и не понимают. Просто инстинктивно сопротивляются всему, как попавшиеся в сеть звери.

— Ценные предметы — деньги — есть?! — ревет голос.

— Нет, господин, — говорю я, улыбаясь. И неожиданно свирепое лицо смягчается:

— В таком случае, господин, пройдите в душ, — говорит полицейский совершенно спокойно.

Они одеты в обычную форму.

В нашу странную толпу — краснолицых, небритых, одетых крайне разнообразно — вкрапливаются люди в комбинезонах оранжевого цвета. Спокойные, молчаливые, обслуживающие. Может быть, они нашли эту работу, однажды привезенные сюда, как сегодня мы? Или даже попавшиеся на чем-то серьезном?

Полотенце — мыло, полотенце — мыло, полотенце — мыло — вода.

Все-таки неплохо смыть пыль и пот. Среди одевающихся мелькают чистые довольные лица. Но есть пессимисты, они мыться не стали: так, побыли возле кабинки и пошли одеваться. Все с той же горечью постоянного упорства и сопротивления, во всем и всегда.

Ну вот, можно побриться и постричься: вот парикмахер. К нему образуется очередь.

И врач тоже пришел: можно поговорить и пожаловаться на что-нибудь и даже получить направление в больницу Салль-Петриер, в отделение для неимущих: La Pitié.

Обедать!

В обширной столовой, по четыре за столиком. Почти не разговаривая друг с другом, стук вилок и ложек многих едящих одновременно.

Нас человек пятьдесят.

По куску жареного мяса и прочее, как обычно. Салат, сыр, десерт.

Ковыряя в зубах, закуривая, рыгая, мы выходим из столовой на двор с поразительно высокими стенами, с еще более высокими корпусами, нависшими над стеной. Выясняется, что это бывшая женская тюрьма.

Там и тут мы расселись: вдоль стен, полулежа, опираясь спиной, задремывая. Смеются и болтают старые знакомые:

вместе прожиты годы на улицах, на станциях метро и в ночлежках.

Дружелюбное общение людей — дар Божий, это известно. Всем достается толика любви.

Маргинальные люди. Маржино, как выражается французский язык: вынесенные на поля страницы жизни. На «линию Маржино» круговой обороны.

Но и тут есть свой край: вот этот что-то бормочущий человек, осторожно снимающий ботинок с ноги заснувшего у стены. Говоря еле слышно себе самому, он уносит ботинок, бродит с ним по двору, льет в него воду из крана. Жизнь отнесла его в одиночество еще дальше, чем нас.

И другой явно страдающий неимоверно — тот самый весельчак Стив, которому всё нипочем. Он бледен, глаза ввалились; он пристаёт к полицейским с одним и тем же вопросом: «когда?..» То и дело он ходит к воротам. Несколько часов в неволе для него — пытка.

Правда, часы начинают растягиваться.

Ожидать освобождения — трудное дело.

От знатоков вопроса я уже знаю, что утренний улов выпускают около пяти, когда автобус возвращается с нового рейда и с новой добычей.

Вечерним хуже: их оставляют ночевать в тюрьме. Впрочем, слышны мнения, что зимой это кстати, если переночевать в тепле негде.

Так интересно! Статистически нас немного — тысяч десять на несколько миллионов имеющих кров. И, однако, вес этих выброшенных ненужных людей велик. В самом деле, больше веса сотен тысяч благоустроенных.

Моральный вес? Вес жалости и презрения? Вес солидарности вида?

И уж будьте уверены, свою лепту в национальный продукт они вносят. Парадоксальным образом, сами того не зная, незримо стоят они за спиной работающих, чтобы те трудились лучше и дольше. И были покладистыми.

Четвертый час.

Произошли уже споры, ссоры, размолвки и примирения.

Не попробовать ли мне устроиться здесь на работу? Встречать дружелюбно — отличная работа! Ну, и делать что-нибудь. Как вон тот человек в оранжевом комбинезоне, который моет из шланга кафельный пол приемной.

Его я посвящаю в свой план. Подумав, он говорит:

— Когда вас привезут в следующий раз, скажите полицейским в приемной, что вы хотели бы тут работать.

Тепло июньского послеполудня.

Нагретый асфальт.

Этажи окон с решетками.

В камерах-сосудах жили люди.

Иногда дух, заключенный в тело, начинает вести себя странно, и тело заключают в помещение с прочными стенами.

Народ распределен по слоям и клеточкам.

Впрочем, ныне социология предпочитает вместо прямых линий — неправильные кривые резиновых сосудов. Это нагляднее: границы групп расплылись. Но и у современного общества есть свой отстойник и сброс.

Если человек согласился и принял — а как иначе? — то он проживет и здесь. Дождется в конце концов все той же смерти, но неповторимо своей, такой же, как сама жизнь.

Столь многое люди делают так, словно жить на земле предстоит долго-долго, почти вечно.

Автобус приехал!

Приехал автобус со сменой!

Общий вздох и волнение.

Из приемной послышались крики и рычание, пьяные голоса и ненужные протесты новичков. А вот господина взяли всерьез — он в наручниках, и его уводят отдельно куда-то.

## 5

Это волнение, невыразимое, сладкое: свобода!

Никак не достигну равнодушия философа и полагающегося на волю неба...

— Скорее садитесь в автобус!

Глаза блестят. Оживленные восклицания многих: медленно отъезжает в сторону огромный щит ворот тюрьмы.

Автобус вскоре оказывается на «Периферике» и идет по внутреннему кольцу.

На подземном участке дороги, около Сент-Уэна, он останавливается: миссия полицейских закончена.

Мы высыпаемся из автобуса, словно картошка из лопнувшего мешка.

Все быстро идут вперед, к выходу из туннеля.

А тот утренний весельчак, а потом почти обезумевший от неволи Стив, — бежит, задыхаясь, вдоль стены к свету.

Последним осторожно спускается на землю хромой человек. Он не смотрит по сторонам. Полицейские кричат мне из автобуса:

— Помогите ему!

И я помогаю ему утвердиться на асфальте. Из дверцы снова кричит полицейский — просительно, почти умоляюще:

— Мсье! Не оставляйте его! Он слепой!

И вот никого. Ни автобуса, ни сотоварищей по однодневному заключению. Только слепой и я.

И автомобили, несущиеся по туннелю с оглушительным ревом.

Слепого зовут, оказывается, Люсьен. Он нищий с вокзала Сен-Лазар.

Мы не сразу приспособляемся к его хромоте:

— Нет, не так! Ты меня уронишь! — почти вскрикивает он. Наконец, кажется, ясно, в чем его равновесие: левая нога стоит всей стопой на земле, а правая — короткая и сгибающаяся — касается земли носком. Он ею и шагает, и подтаскивает левую ногу.

— Тебя раньше забирали в Нантер?

— Забирали.

— И оставляли одного?

— Оставляли.

— Как же ты устраивался?



— А я стоял у стены и ждал. И кто-нибудь наконец останавливался и подвозил до метро.

Все-таки Франция, «старшая дочь Церкви»...

Впрочем, как говорится, «крайнее затруднение человека — это возможность для Бога действовать».

Уф, мы прошли туннель. Стало тише и светлее. И дышать легче.

Все восклицания ободрения и одобрения я уже израсходовал: «Молодец! Да ты здорово ходишь! Столько людей тебе позавидовали бы! Еще усилие!»

Но мы порядком устали.

Делаем остановки.

По-видимому, наш случай небу не безразличен: двое молодых парней обогнали нас на перекрестке и остановились, переглянувшись. И вернулись.

— Хотите — поможем? (coup de main: «удар руки», как забавно выражается французский).

Так вот, из своих рук они устроили сидение: нечто подобное рисуют на плакатах первой помощи раненому.

Осталось его посадить.

— Ах, вы меня уроните! Ах, я так не могу!

Он сидит, наконец, и держится за крепкие шеи молодых попутчиков. Сзади я иду налегке, со своим рюкзаком и сумкой Люсьена.

Метро.

И для молодых это все-таки работа. Они вспотели и слегка запыхались.

— Спасибо за доброе дело! (за Bonne Action или, говоря сокращенно, бэ-а).

Они улыбнулись, услышав этот почти пароль скаутов, и исчезли в толпе. Начинающей редеть: возвращение с работы заканчивается.

Протискиваемся через хитроумный проход с автоматической дверью.

— А ты раньше видел?

— Да видел, видел!

— А потом перестал?

— Потом перестал.

Люсьен не особенно расположен рассказывать о себе. Ах, еще пересадка. И эскалатора нет. Впрочем, у меня есть опыт путешествий в метро с дочкой Марией, а она вообще не ходит.

В вагоне Люсьену уступают место. Особым движением он складывается пополам, чтобы усесться.

Всякий маневр для него — усилие, труд, навык. Ему не отказать в ловкости жестов, странных на первый взгляд.

Последний этап: подъем на поверхность.

— Не спеши, не спеши, — задыхается Люсьен. И я тоже, остановившись на половине лестницы.

И вдруг — надпись во всю стену, почти неприличная в наготе призыва, однако пришедшаяся так кстати, по крайней мере, мне:

### *Jésus vous aime*

«Иисус вас любит».

Я прочитываю ее вслух. Люсьен никак не отзывается.

Ну вот, мы перед вокзалом.

— Где ты сидишь?

Люсьен описывает место: площадка, одна лестница вверх, другая вниз, перила, напротив — гладкое стекло (витрина лавки).

Мы находим вход с площади.

Он удовлетворенно ощупывает ступень, перила. Именно здесь он сидит, и сидел еще утром. И ночевал здесь, и вчера сидел, и позавчера.

Он просит купить ему сигарет, дает денег и объясняет, как пройти к табачному ларьку.

Кажется, всё.

Мы прощаемся. Отойдя, я оглядываюсь.

Люсьен уже отдышался. Поставил перед собой доньшко пластмассовой бутылки из-под воды, положил туда франк. Он держит голову прямо, глаза его смотрят вперед.

Если бы он видел, то видел бы проем выхода на площадь перед вокзалом, фонарь и даже кусочек неба, совсем уже почерневший.

## 6

Медленно возвращаюсь к себе на ночлег в Седьмой. Хотя можно бы улечься и где-нибудь по дороге в укромном месте: город стал моим домом. Вся страна. Вся Европа.

Неторопливая ходьба способствует размышлению. Слишком сильный голод мешает ему, это правда; а усталость опустошает голову: мысли делаются не интересны.

«Познай самого себя»? И увидишь всякого другого человека.

Измеряй силу склонности и привычки.

Есть к тому отличные приемы. Например, встать и протянуть руку в характерном жесте просящего милостыню.

Как ни странно, этим не пользуются даже специалисты вопроса: историки нищенствовавших орденов, например. Или биографы Игнатия Лойолы, хотя основатель ордена иезуитов просил милостыню в течение семи лет, пока учился в Сорбонне. Еще забавнее то, что о нищенстве святого Николая в современных текстах не упоминается. Как и о его юродстве. Все-таки стал епископом, неудобно. Небылицы удобнее.

Францисканцам везет: рассказы об их намеренном нищенстве переходят из книги в книгу, из диссертации в диссертацию. Странные, но обязательные анекдоты из другого времени и мира. Впрочем, и св. Франциска поправили, и с XIX века у него не стало вшей.

Сухомятка событий чужих жизнью!

Как будто нет сока своей собственной. Чтобы попробовать его, не нужно ни ехать, ни лететь далеко. Достаточно одеться попроще (вон ту рубашку и брюки ты давно собирался выбросить), спуститься на улицу, встать у станции метро. Там, где уже стоит один, чтобы не было тебе слишком страшно. И протянуть руку в предвечном жесте.

Если хватит мужества, конечно.

Если это ценное исследовательское намерение не сметет неизвестно откуда поднявшаяся волна: смущения, страха, стыда.

Страшно увидеть собственную социальную наготу.

Сняв на пять минут костюм общественной роли: гражданина с доходами, более или менее уважаемого, приемлемого, благополучного.

Теперь нечто новое: ты никто.

Ох, как обжигает презрение мира (в этом презрении вернувшееся бумерангом и мое собственное — к другим).

Другими словами, в презрении всех больно горит мое собственное высокомерие.

Тяжесть отверженности нелюбви ложится на плечи.

Но, если вытерпеть первую ступень, замечаю, что вместо «никто» появляется «кто-то»: социальный вопрос, точка пересечения взглядов и мыслей.

Море толпы отхлынуло, и обнажился упавший.

Над ним повис немой крик о помощи.

Там и тут стоят и сидят — и лежат — часовые между обществом и небытием.

О нет, Книга ими и мною не пренебрегает: пришла моя очередь стать червем из 22-го псалма (21-й Вульгаты), стать им быстро, легко, плодотворно.

Червь не простой, а прообраз. Червь делается драгоценным, если вспомнить, Кого.

\*

Снова наступает зима: свежий туманный воздух, зябущие руки.

Время прощания — но неизвестно, с кем. С уходящим годом? Вернее, с отдаляющейся, словно лодка, частью прожитой жизни?

Интересно оглянуться и покачать головой: вот что еще можно сделать с человеком. И что еще с ним сделает Бог, судьба, общество?

Снова пройти под эстакадой станции «Лекурб», мимо типичного темно-зеленого фонтанчика Уоллеса: четыре чугунные грации держат крышу. Вода уже перекрыта: возможны заморозки. Теперь воду нужно искать на вокзалах, на заправочных станциях. В метро попадаются водопроводные краны.

Везде приблизительно одно и то же: человек, в сущности, непрестанно ищет константу. Он называет ее счастьем. Вот наконец-то пришло неизменное! Ах, нет: смерть, развод, старость. Перемена.

Константа тела? Как-то неприятно, когда и самое ухоженное — с обложки журнала «Здоровье» — начинает портиться. Сначала, конечно, просто стареть, даже болеть, даже неизлечимо, а потом и вообще.

Медицина спешит нам на помощь: продлить, протянуть. Ну, дотянуть еще чуть-чуть и немного. Уф! И оставляет нас на пороге.

Философия покинет чуть позже: «Ничего не поделаешь, человек смертен. Гм».

Особенно везучим дается религия. Она светится из тьмы неизвестности парадизом.

Надежда настолько сильная, что она превращается в знание.

\*

С левой стороны бульвара Пастер, если подниматься вверх к Вожирару, есть маленький магазинчик. Я стараюсь не смотреть на его вывеску — зачем тревожиться понапрасну?

А иногда рассматриваю витрину нарочито, чтобы пережить драгоценные воспоминания.

Тут выставлена странная обувь с толстыми подошвами, гипсовые муляжи.

Ортопедическое ателье.

Сюда я привозил Марию в 84-м, нет, в 83-м: мы надеялись сильно. Мы приезжали заказать ей ботики и «кокий» — кру-

глое сидение-скорлупу, предохраняющее позвоночник от искривления.

Однажды мы ехали из Нуази-ле-Гран долго-долго: была зима, забастовка, и были пробки.

У дочери замерзли ноги: кажется, в машине не работало отопление.

Но пожаловаться она не умела. В теплом ателье, пока готовили гипс и снимали мерку, мы отогрелись. Гипс схватывался, а два умельца, разинув рот, не отрывали глаз от матери, статной, холеной, потом спохватились и стали поспешно резать гипсовую корку, порезали в спешке колено. На белом гипсе зажглась алая кровь. Не получилось похвалиться умением перед красивой женщиной. И от неудачи совсем голову потеряли.

«*Ta voiture rouge*», — потом вспоминала Маша, спустя пять или шесть лет, когда начала говорить. «Твоя красная машина».

Если продолжать подъем по другой стороне бульвара, то в маленькой боковой улице обнаружится церковь св. Жана-Батиста де ля Салль. Он был основателем «братев христианских школ», ордена преподавателей, почти исчезнувшего ныне. Церковь построена на склоне, поэтому фасад ее поднят, к нему ведет довольно длинная лестница. К входу — и под козырек портала, предлагающий удобный ночлег.

А вот покойникам неудобно, и для подъема гробов устроен специальный лифт.

Здесь немногочисленно. Темно и натоплено.

Всякий образ жизни делается привычным, это правда. Везде свой труд и отдых.

Промокшая куртка под зимним дождем — ну, где ее высушишь? Затруднение может стать почти драматичным: общественные туалеты в городе платные (кроме крайне редких уцелевших на окраинах «веспасианок», по имени римского императора), и если нет двух франков («да не может быть!»)...

Зато в уличной жизни есть беззаботность. Неопределенность и непредвидимость обстоятельств.

Мне не из чего строить жизнь каждого дня — тем самым с меня снята ответственность за возможную неудачу, мне не придется за нее стыдиться: вот и свобода детства. И рая.

Годы остановившегося времени. Годы подвешенности в воздухе.

Благословенные годы.

## 7

Они продолжают сами, без всякого усилия с моей стороны, хотя какие-то действия я предпринимаю. Как все. Применительно к обстоятельствам. Сегодня, например, я искал картонные коробки, чтобы устроить постель: нужно восемьдесят слоев, не меньше, при такой температуре.

Потому что февраль 1988-го выдался холодным, просто морозным.

Я вернулся из почти двухлетнего путешествия по святым местам.

Подобно коллегам и братьям прошлых столетий — крестоносцам, паломникам, Улиссу, — я ушел молодым и веселым, а теперь в зеркале какой-нибудь лавки отражалось обветренное лицо, седая борода, глаза с неторопливо-проницательным взглядом. Они видели все. Ну, почти все.

Ночь делается холоднее. И я начинаю спускаться по ступенькам, ведущим в подземный паркинг. Лестница ярко освещена, но чисто подметена и без следов испражнений. Решетка внизу заперта до шести утра. Едва ощутимая разница температур все-таки в мою пользу. Снизу тянет — не теплом, нет, это было бы преувеличением. Интересно, что в темноте мороз кажется сильнее, чем на свету.

Спать на ступеньках не особенно удобно: хочется вытянуться, и начинаешь съезжать вниз. Хрупкое укрытие разваливается: картон остался на ступеньках вверху, полиэтиленовый кокон раскрылся...

Спальный мешок неплохой: он пуховый, но пух слежался за эти годы, утончился. В нем можно все-таки согреться, поджав ноги, лежа на боку, так, чтобы ребро ступеньки приходи-

лось на талию. Сегодня, слава Богу, нашелся чудесный картон: длинные пухлые листы бывших коробок. Превосходная теплоизоляция. Холод бетона не скоро кольнет и разбудит.

И верно: разбудил меня служитель, открывавший решетку входа в подземный паркинг. Впрочем, не сам он, а лязг и скрежет железа. Ему — наплевать.

Полутьма и иней зимнего утра. Дымы. Пар поднимается отовсюду: он висит над колодцами канализации, идет из дверей метро и ранних кафе, от выскочившего на минутку гарсона. Изо ртов прохожих: отовсюду, где теплее, чем на улице.

Впрочем, слишком холодно в Париже бывает редко: он лежит почти на той же широте, что и Одесса.

Мой ночлег был рядом с церковью Сент-Огюстен (бл. Августина), очень похожей на кладбищенские часовни. Я этому удивлялся: еще я не знал, что Наполеон III заказал архитектору имперскую усыпальницу. И тот искал вдохновения на кладбище.

Пусть не подумают, что я настаиваю на моем образе жизни. Он, больше того, иногда кажется мне исчерпавшимся упражнением. Начавшимся в 85-м: 1 декабря я спустился на улицу из квартиры в Нуази-ле-Гран, уже сданной, запираемой служителем акционерного общества «Эммаус».

Первый день был великолепен: по-летнему грело солнце, радостно чирикали воробьи. Вот и я начну духовные упражнения на бездомность, воспетые в монашеских писаниях первых веков нашей эры. Они вышли — как и вся аскеза — из Евангелия, из черточек жизни Иисуса: «Лисы имеют норы, а Сыну Человеческому негде преклонить голову...»

Вот и мне, как — Ему. Не получится ли что-нибудь ценное из этого маленького совпадения?.. Не тут ли начинается тропинка в великое, вечное?..

Февральским морозным утром я не настаиваю на этом упражнении: кажется, оно вполне освоено. Да и слаб человек. Хрупок. Нужно проверить другие возможности.

Я отправился в Пти(малый)-Кламар — там я крестился и был прихожанином, почти три года. Там при церкви пустует пристройка: в ней давно никто не живет.



Открыто метро. Служащий, вздохнув, пропускает меня без билета. Это очень благородно.

Влажное душное тепло подземелья. словно поставлена тяжёлая ноша: тело расправляется. На холоде мышцы постоянно и незаметно напряжены, от этого и усталость. Тепло равнозначно отдыху.

От конечной станции до Кламара восемь километров; после пройденных тысяч это, конечно, пустяк, несмотря на пустой желудок.

Седобородый медлительный настоятель оборачивается на стук двери. Отец Всеволод. Он вглядывается в меня несколько времени, а потом сдержанно восклицает:

— Так это вы!

Он один. К десяти утра придут еще три-четыре человека. Ну, что ж, если пришел, то могу поучаствовать в службе: почитать вслух часослов. Разжечь уголь в кадиле.

Пришел ризничий Николай и стал звонить в небольшой колокол. Открывается дверца в иконостасе (это стенка, завешанная иконами, она выгораживает восточную часть церкви, куда публике входить нельзя). Отец Всеволод встал к нам спиной — лицом на восток — и произнес нараспев:

— Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков!

Восклицания, жесты и чтения. Литургия: богослужение. Течение этих событий известно заранее и отрепетировано веками... нет, не то слово... точнее: отполировано навсегда. Довольно сложная конфигурация действия, с перемещениями священника, остановками, паузами. Осколок Византии в парижском пригороде.

Свежесть святости и старость греха.

Из такого далека — такой глубины — из прошлого растущие корни... ветви... побеги... это одеяние... конечно, иное, чем в Константинополе в IV веке или в Киеве — в XI-м. Теперь золото шитья не совсем золотое, и вместо драгоценных камней на митре — граненые цветные стеклышки.

Ясность привычки: отдых души.

Опора и якорь среди хаоса жизни.

Что тут спорить, кого критиковать? Это занятие богачей — лет до сорока мы все богачи — интересами, здоровьем, дружбами. А потом начинает сквозить: протертости и дыры потерь обнаруживают мало-помалу фундаментальную нищету человека. Вот наконец и тело — больше не его. И где он теперь... где она... и где вы все, которых любил?.. И люблю еще, вспоминая.

— ...помилует и спасет нас, яко благ и Человеколюбец.

Кончилось.

Отец Всеволод еще останется за перегородкой иконостаса, потребляя св. Дары (содержание чаши), потом он переодевается в штатское платье. Около входа устроена конторка, где лежат свечки разного диаметра и длины (и разной цены, соответственно). Перед началом службы тут можно купить просфору — индивидуальное приношение на евхаристический стол, в память о близких живых и умерших. Это маленькая круглая булочка, испеченная из теста с Дрожжами (с большой буквы, одна из причин разрыва между Православной и Католической Церквями в XI веке: последняя Дрожжей не признает).

Подошла, улыбаясь, молодая женщина, она исполняла роль хора сегодня, одна и незаменимая. Диалог «священник — хор» обязателен, без него литургия состояться не может: не разрешается. Ну, везде свои догмы.

— Здравствуйте! Это вы?

Свет из окна падает на меня.

Испуг на ее лице, он растет в нескрываемый ужас. Она так пристально смотрит, ее взгляд перебирает мои черты. Так долго, что я чувствую озадаченность: ну да, вот я, и что ж тут во мне такого?..

И вдруг вижу и я: морщинки у глаз и у губ... следы прыщи и румян... усилия задержать наползающее на лицо облачко старости.

Так интересно! Я посмотрел на нее — ее же глазами, какими она смотрит на меня... на это ей когда-то, может быть, симпатичное, милое лицо, она запомнила его молодым и смею-

щимся... А теперь: красная кожа... пепел на висках, в бороде... морщины. Работу Времени она увидела, несомненно, впервые.

— C'est pas grave, — отвечаю я ее мыслям, стараясь ее успокоить. — Это ничего. Как ваш муж, ваши дети? Все хорошо?

Все хорошо: и дети растут, и у мужа работа хорошая, и все хорошо...

Ей делается легче.

Вот в чем загадка: зачем нам перемена старения? Мы видели в детстве и юности тысячи людей старше нас, но мы не знали, что и с нами это непременно произойдет!

Старость, как смерть, страшна.

После десяти лет разлуки фотографии моей матери меня не удивляли: постарела еще чуть-чуть, но все же она, та самая, которую я еще видел, с ней говорил. А спустя двадцать лет... А спустя двадцать — я знаю, что это она... но не узнаю... вернее, в ней появилось что-то незнакомое... след по-разному прожитых лет.

Николай Петрович пришел, ризничий. И отец Всеволод. Женщина, торгующая свечками. И женщина с двумя детьми.

Вот, я вернулся, братья и сестры во Христе. Кажется, тут пусто, не правда ли, помещение. И я могу быть полезным. И переживу эту зиму, а там что Бог даст. А пока живу, я могу принести свой труд: отремонтировать что-нибудь, покрасить, наклеить обои...

— Мы не можем, — сказал отец Всеволод. И добавил:

— Мы ничего не можем.

Кто не боится перемен, скажите сами: ну, кто решился бы на его месте?..

— Ну, разве дня два или три, — говорит отец Всеволод.

Остаться и отдохнуть? Но мне почему-то обидно. Ранено, вероятно, чувство сыновства: вот, я пришел, я вернулся, я рисковал жизнью, а вы... «два-три дня...» Эх, вы!

И еще один вектор, как обычно: только-то и всего, что теплый ночлег? И полный желудок (ну, это еще неизвестно)... Не-

ужели у Бога нет для меня чего-нибудь покрупнее? Одно лишь «слишком человеческое»?

— Прощайте, отче.

— До свидания... да, да, вы мне писали из Иерусалима... из Константинополя... с Афона... Да, да, вы мне писали. Было бы интересно, если бы вы написали об Афоне. О нем много пишут, но это все наружные впечатления. Вот если бы показать его изнутри!

Он запирал церковь. Маленький садик при ней, старая-старая черешня, всегда полная плодов в мае, которых никому, впрочем, не предлагали.

Женщина с двумя детьми вдруг быстро подошла ко мне, положила какой-то бумажный — на ощупь — квадратик на ладонь и закрыла мою руку в кулак:

— Вот возьмите, пожалуйста! Не огорчайтесь: все устроится.

И о. Всеволод протягивал руку:

— Прощайте, я тороплюсь.

И у него есть ребенок-инвалид; сын Георгий. «Он всего боится: он боится выйти на улицу», — сказал однажды его отец Всеволод. Сказал с обидой и почти раздражением.

В 1990-м осенью он позвонил своему коллеге, в маленькую православную церковь в Париже и сказал:

— В этом году я уже не буду у вас чтецом. Буду отдыхать.

Через две недели он умер у себя дома от сердечного приступа, 77 лет. За чтением Апокалипсиса.

Моя дочь Мария была к нему очень привязана и бессознательно ему подражала: положением головы и плечей — точно так же и он сидел на стуле за иконостасом. И от него исходили мир, покой, остановка.

Пророчество о своей смерти он произнес, но его не осознал, как не осознал и священник Игорь, передавший мне эти слова. А уже приближался Великий Отдых... о, он так нужен в нашей Усталости.

Отец Всеволод не слишком много рассказывал о себе. Но что-то редкое вдруг вспоминал. Июнь 40-го в Париже, на-

пример: совершенно пустые Елисейские Поля, ни одного человека, ни одной машины — ни едущей, ни стоящей. Солнечный день. Он был единственным пешеходом, спускавшимся от Триумфальной арки.

Безмолвие города.

Закрытые окна, ставни, двери.

Далеко разнесшийся шум, неожиданный, характерный, и он оглянулся. Его догонял... велосипедист... догнал... и это был... немецкий солдат! Авангард входившей в Париж великой армии. Они поговорили не без затруднений, солдат должен был себе объяснить присутствие единственного парижанина в городе: «Вы... *фюнфте колонна?*» — спросил он. И поехал дальше.

Вспоминая этот рассказ под начавшимся мокрым снегом, я опять чувствую наслаждение от нереальности ситуации, тем не менее, имевшей место. Нечто настолько редкое, что — «так не бывает». И однако.

Всеволод был семинаристом в то время. Еще весной он думал о возвращении на родину — на русский Север, в город Псков. Но уже шли события, владения Сталина расплзались все дальше, к Балтике. От матери успело пройти письмо: «Если можешь остаться — оставайся. Не приезжай». И еще в одном месте, без всякой связи с контекстом, среди обыденных фраз о новой счастливой жизни: «Сыночек, не приезжай».

Под крышей безлюдной автобусной остановки я надел всю одежду, какую имел в рюкзаке. Теперь на мне две рубашки, три свитера, двое брюк, куртка. Я стал раздувшимся и неуклюжим, словно космонавт.

«Куртка дудун», — говорит моя дочь.

Ветер и мокрый снег. Неудобно то, что он прилипает к одежде и тает, и нужно что-нибудь сделать, чтобы не слишком быстро промокнуть. Накинуть на плечи мой полиэтилен, сложив его вчетверо? Для парижан такой вид необычен, они начнут опасаться. Но зато внутри его сухо.

Вечер воскресного дня. Уже заперт сад Тюильри. Вереница светящихся фар на набережной Сены. А вот место для ночле-

га: обширная вентиляционная решетка метро, с краю площади Согласия, ближе к Елисейским полям и «Лошадям» Кусту, поднятых на высокие постаменты.

Кто-то уже и пристраивается на ней. Снизу дует теплый воздух, немного пахнувший сточными водами, и это не очень приятно. Но приятно то, что холодного воздуха здесь гораздо меньше, его относит. Кроме того, если расстелить мою изумительную пленку, то запахи ослабеют, а тепло будет снизу подогревать.

Освещение здесь не слишком яркое, может быть, никто не заметит... не сделает усилия заметить — надеюсь я, разворачивая пленку и стараясь прижать ее углы бутылкой с водой, рюкзаком, целлофановым мешочком с книгами.

Рядом остановилась полицейская машина, стекло ее окна опустилось. И второе, на заднем сидении. Полицейские смотрели на меня тем особенным взглядом ожидания, в котором был молчаливый приказ. И я стал складывать пленку.

Да и в самом деле место слишком заметное: площадь Согласия, президентский дворец, посольство Америки.

По Королевской улице (Руаяль) я пошел в сторону церкви Марии Магдалины. Она единственная в Париже, которую начали строить как «храм». На этот раз не «храм разума», а «храм славы». Революция к тому времени кончилась, новоиспеченного императора сослали, и его передали Церкви.

Большой дом ремонтируют, он в лесах, а рядом — ниша входа в будущий магазинчик: окна запачканы краской, внутри хаос обновления.

Отличные куски досок! Я кладу их на камень. Залезаю в спальный мешок, застегиваюсь и, завернувшись в пленку, сажусь.

Холодеет. Уже не мокрые хлопья, а твердые крупинки стучат в пленку. Начинают скапливаться в ее складках и сгибах. На досках. На металлических трубах лесов.

Уют и тепло. Город, наконец, принял меня, я стал частичкою его жизни XX века: спящий на улице неимущий.

А в Греции — о, далекой, о, солнечной — под бездонным синим небом сейчас идет сбор апельсинов, «портокалия». Толпы бродячих рабочих со всей Европы стекаются в Аргос, в Пело-

поннес. И я среди них, и наш разговор обо всем в обшарпанном кафе, на всех языках. И этот горячий суп...

Синий мигающий огонь: опять полиция. Остановилась почти напротив меня. Но теперь они ничего не видят. Я-то их вижу и, разумеется, слышу, они переговариваются по радио.

Один из них опускает стекло, выплевывает окурочек и провозносит: «*Quel temps chien!*»

«Собачья погода». Словно информирует других сидящих в автомобиле.

Русские говорят: в такую погоду хороший хозяин собаку не выгонит. Да и французы говорят похуже. Вероятно, и в других европейских языках есть эта идиома.

Они уехали, ничего не заметив. Трудно заметить: какие-то доски, леса, ремонт, полиэтиленом рабочие часто покрывают цемент и инструменты.

Время спокойного размышления. После стольких лет жизненных ситуаций, после множества собственных наблюдений и обнаруженных в книгах, а еще лучше — в жизнях других, — наступает исчерпанность темы. Человек теряет свои местные черты: француз, русский, немец... Давно потускнели штампы русской литературы: чопорный англичанин, честный немец, легкомысленный француз.

Остался Человек вообще: инстинкты и привычки. Все те же инстинкты, в порядке непременно: жажда, холод, голод, пол.

Они взяты в оправу привычек общества. И века.

Человек таким создан, со своими Инстинктами.

И подвержен Привычкам.

И там, и тут... Бог.

Бог против Бога.

Природа, созданная Богом, и Бог со своими разными формами веры и поведения.

Неправильно думать, что я удручен моими нынешними обстоятельствами: нет, нет, это мой материал для освоения. Хотя, конечно, я подвержен страданию и стремлюсь свести его к минимуму: чрезмерный холод мешает, например, размышлять. Как и голод: даже привычный, не острый, он все равно

присутствует в сознании, не дает забыть о себе, ждет съедобного куска. Кусочка.

Вот как нужно философствовать: построив теорию, например, в общих чертах и даже в деталях, ее нужно вновь продумать в крайних ситуациях а) жажды, б) холода, в) голода, г) пола — если до последнего дойдет дело, обычно эта проблема не возникает без решения первых трех.

Как ни странно, понятия в крайних ситуациях иные, чем в состоянии комфорта! Дважды два всегда четыре, для сытого и голодного, а вот такие понятия, как «Бог», «благо», «зло», такие важные для жизни человека, — разные!

Да это просто скандал!

Скафандр и футляр благополучия: своя земля, свой дом, все свое, отличный обед, мягкое кресло перед телевизором. И мысли — свои. Если есть, конечно, если им нужно прийти в голову.

А за тонкой стенкой скафандра — твердые крупинки снега, иголочки холода, начинающие проникать через слежавшийся пух мешка и двойные брюки... о, загадочность связи тела (с его рабством) и души (с ее летучестью)... ой! онемела нога в неудобной все-таки позе.

Теплая дрема.

## 8

Снега намело уже столько, что я чувствую его вес. И света от фонарей гораздо меньше теперь здесь, внутри кокона.

И, однако: прошлое со мною не целиком, а только фрагменты, отрывки. В прошлом я много думал о Прошлом, и многие мысли остались со мною. Видите, сколько слоев и кусочков.

Лоскутное одеяло, patchwork.

Сшитое из разноцветных обрезков материи. Таким я укрывался на каникулах у бабушки с дедушкой. В подмосковной деревне. В 50-х и начале 60-х.

И этот рассказ, словно одеяло моего детства. Могу его вам предложить на случай холода, такое бывает со всяким, это известно. Есть холода, от которых не защищает дом с отоплением.



Поздно наступает летняя ночь, сгустились сиреневые сумерки, тишина обволокла местность. Шестьдесят изб: по тридцать с каждой стороны, они смотрят друг на друга через широкую грязную улицу. Пешеходы протоптали себе тропинки, а посередине ездят телеги и сани (зимой), трактор и совсем редко — грузовик, из близлежащего городка Краснозаводска.

Почти перед каждым домом — перед фасадом с четырьмя-пятью окнами — обнесенный палисадником садик с липами, черемухами, рябинами, а у дедушки даже еще кусты акации и сирени. Позади домов — огороды и уголья.

Дедушка Федор ложится спать в девять и начинает храпеть. Бабушка Софья спит неслышно. С улицы доносится игра на гармошке и пение: поют народные куплеты, частушки, эти русские факетии и шванки. Десятка два уже известных, но бывает и удачная новинка. Хохот парней и одобрителный смех девушек встречают ловкий намек на что-то такое и очень приятное. Он мне непонятен. Хохот меня скорее пугает, он мне кажется причастным к очередному деревенскому ужасу: этот-то, как его, только что вернулся из армии — Славка! спал пьяный на улице, и его ударили рельсом. Убили.

Ну и разговоры за чаем! С деревенскими мальчишками у меня тоже трудные отношения: они дразнят меня Москвичом.

Я пожаловался однажды бабушке, и она посоветовала мне дать отпор: «А ты скажи им: у, деревенщина!» Я и сказал. Что тут произошло! И крики, и свист, и слух пошел по деревне. Скоро и взрослые начали поглядывать на меня неодобрительно.

Пойду проверю, не забыла ли бабушка запереть двери... нет, заперты обе: та, что ведет на веранду и на деревенскую улицу, это главный вход в дом, и другая, во двор, где живут куры. Одна курица, кстати сказать, живет временно в доме. Она особенная, «клуха» или «наседка».

Еще зимой две-три курицы изъявляли желание стать «наседкой»: они переставали нестись и начинали издавать бархатистогортанные звуки, «клохтать». Бабушка выбирала одну и помещала ее в корзину, застеленную тряпьем, где посередине был положен десяток яиц. А отверженных кандидаток, взяв за ноги и хвост, ба-

бушка окунала в бочку с холодной водой, и склонность к материнству пропадала.

Наседка безмолвно сидела на яйцах, под лавкой, в полутьме. Был виден только ее красный гребень. И глаза, если подойти совсем близко и присесть на корточки. Она не убегала, как другие куры, гулявшие на улице. Ее можно было даже погладить, но тогда она издавала каркающий крик недовольства и пригибала голову. Однако своего гнезда не покидала.

Спустя недели три она начинала клохтать, осматривать яйца, трогать их клювом. Появлялись первые цыплята: жалкие, голые, некрасивые... Впрочем, они быстро покрывались желтым пухом и начинали разговаривать писком. Бабушка поручала мне их кормить: мелко нарубленным вареным яйцом. Цыплята пищали, качались на тоненьких ножках и не знали, что им делать. Так вот, нужно было стучать указательным пальцем рядом с вкусными крошками. И они тоже начинали стучать клювиками, и клевать!

И вот они уже вылезали из корзинки, ходили повсюду в кухонной половине избы, где стояла огромная печь («русская», в отличие от высокой узкой «голланки», голландской печи в жилой половине). Это был почти куб высотой в два метра, с лежанкой, где могли бы поместиться два человека и где в пятидесятых годах спал дедушка, до тех пор, пока он однажды, будучи во хмелю, не упал оттуда и не расшибся. Ничего не поделаешь, старость! И он перешел окончательно на кровать, в комнату, в жилую половину избы.

При наступлении вечера цыплята забирались клухе под перья, так, что торчали только головки. Писк их становился другим: почти мелодичным, умиротворенным; он звучал все реже, и если смотреть вблизи, то видно, как белая пленка начинает им затягивать глаз: это веко, единственное, опускающееся сверху.

Ах, как им было уютно и хорошо! Я им завидовал: вот бы и мне... Впрочем, и просто смотреть на них было утешением, словно я присваивал себе — ну немножко, «почти» — их благополучие.

А потом бежал спрятаться под лоскутное одеяло: скорей бы заснуть! спастись от далекого хохота деревенской молодежи, гармошки, сумерек, храпа дедушки, от убитого, несомненно, уже ле-

жащего где-нибудь, и от самого злодея, может быть, пытающегося проникнуть в дом, несмотря на запоры...

Спустя годы один евангельский эпизод показался мне очень знакомым — когда Иисус сетует о судьбе Иерусалима: «сколько раз Я хотел собрать вас под крылья, и вы не захотели!..» Хочу, очень хочу, да только где же она, эта Наседка... с нимбом вокруг головы.

Вот здесь и сейчас: под тяжелеющей полиэтиленовой пленкой... в тепле мешка и собственного дыхания... именно сейчас я цыпленок под невидимым... Крылом!

Полная безмятежность и прозрачность души.

Отдых.

.....

Крики деревенского пастуха, что-то вроде «эээхааа!» Громкие хлопки кнута и ругательства.

Между четырьмя и пятью утра.

Облегчение при пробуждении: утро, люди проснулись — кончилась ночь. Мы уцелели!

В деревне есть еще десятка полтора коров и столько же коз. В четыре утра хозяева выгоняют скот на улицу, перед своим домом. Пастух проходит деревню из конца в конец и собирает стадо.

На его плече лежит кнутовище, мягкая часть кнута волочится по земле, она длиной около трех метров и завершается кисточкой из конского волоса. Кисточка производит оглушительный хлопок, настоящий выстрел! Пастух управляет стадом жестоко: он не ждет, пока обезумевшая от страха корова выберется из куста, а взмахивает кнутовищем, со свистом летит свившийся в петлю кнут и больно стегает корову по животу! Корова мычит. Хриплая брань разрывает утренний воздух.

«Он опасный человек», — думаю я, видя его однажды совсем близко, за нашим столом. Каждый день он обедает вечером у кого-нибудь из владельцев скота, по очереди, переходя из дома в дом. Конечно, со стаканом самогонки. Значительный в деревне человек: он пасет и кормит скотину травой, а скотина кормит людей молоком.

Он приходил мне на память годы спустя, на философском факультете, и казался ключом к пониманию странностей рус-

ского коммунизма. Всякое общество — немножко стадо, не правда ли, и пасти его можно по-разному... нас пасли так же, как этот пастух, с бранью и свистом.

Евангельский пастух, конечно, другой: он идет, а овцы идут за ним и слушаются его голоса, а если голос незнакомый, то не идут... Перед нежностью и благородством такой картины нужно остановиться, мечтая и созерцая. И ждать: десять, двадцать лет, столетие.

Поскольку неравномерность мира присуща ему: тут болота, а там пустыня, тут тонут, а там умирают от жажды.

Услышав шаги, я мгновенно проснулся.

Человек подошел ко мне и стал шарить рукою, вероятно, в поисках края пленки, чтобы развернуть странную кучу. Меня.

— Ну ладно, хватит! — сказал я, пошевелившись.

С криком отскочил человек. Стащив пленку с головы, я увидел испуганное лицо в каске: строительный рабочий-араб пришел на работу. Он взволнованно восклицал:

— О-ля-ля! Тут не простая пленка!

— Ничего, ничего, — я улыбался, стараясь его успокоить.

Мое ленивое утро, как говорят французы, чуть-чуть затянулось.

Прощай, место, спасибо за чудесный ночлег.

Сунув руку в карман, я нащупал бумажный квадратик, и теперь развернул его: двести франков! Вот так милостыня! Даже и сейчас (1997) это большие деньги, тем более в феврале 88-го.

Их подала мне женщина с двумя детьми, а я даже не помню ее имени... ах, как неловко.

На купюре профиль знаменитого Монтескье. Изящный нос с горбинкою. Его «Персидские письма» были переизданы порусски почти сразу после смерти Сталина. А вот «О духе законов» задерживалось. Впрочем, этот автор не слишком меня привлекал в годы студенчества на философском (1962-69). Да и на деньгах печатали другой портрет, Ульянова.

Вот так Монтескье: сколько хлеба можно купить, Господи. Или нет, консервов. Боже мой, сыра!..

Почти опьянение от еды, и странное: плавание духа. Скорее приятное.

И XV район выглядит странно сегодня: на улицах стоят домашние вещи. Холодильник, шкаф, сломанный стол. Телевизоры (вот где им настоящее место!). Куски и рулоны коврового покрытия, еще годные стулья, истлевшие оконные рамы, газеты, журналы, старые лампы. Картонные коробки с газетами и журналами.

Сегодня «день крупного мусора».

Улица Лекурб совсем одомашнена: покрытая плесенью обувь, велосипеды, игрушки... гм, таких лошадок больше не делают.

В мусоре копаются люди. Иных любопытство захватило случайно: они мирно шли по тротуару и вдруг заметили что-то — красивую дощечку, подушечку, веревочку, которая, как известно из классической литературы, всегда пригодится в дороге.

Пачки газет.

Есть и профессионалы, они кочуют по Парижу и ищут. Через них осуществляется связь с блошиными рынками и старьевщиками. Вероятно, складывается стиль их костюма: не в первый раз я вижу эту женщину в черных очках и каскетке, в перчатках, в обтягивающем фигуру трико. Парижанка. У нее большая сумка, нож на поясе, крюк: вскрыть, разрезать, подтащить ближе.

Да и просто интересно: вот лампа с матерчатым абажуром, в стиле 50-х, с розовым выключателем. Легко представить себе, что она стояла у изголовья кровати, не правда ли, в маленькой квартире, как раз напротив нынешнего «Монопри». И вот однажды вечером...

Воображение хочет меня увлечь куда-то, в какую-то повесть, но я не поддамся наркотику.

Кучи газет. Пачки журналов. Толстый тяжелый «Зналок искусств». Усевшись на ветхое кресло, приятно его полистать, пока едут автобусы, машины и густо идут пешеходы. Лестно название журнала: взял его в руки и стал знатоком. Впрочем,

вот статья о проблеме атрибуции картины «Апостол Лука пишет портрет Девы Марии»... думают, что ее автор — Рогир Ван дер Вейден. Среди мусора города конца XX века мы будем смотреть на спокойное задумчивое лицо XV-го. И безмятежный пейзаж на заднем плане, в окне.

И картина в журнале, словно окошко в мир тишины и любви.

Я сохранил эту страничку.

Между прочим — вы еще помните мои трудные отношения с деревенскими детьми? — ситуация в точности повторилась с моим сыном Максимом в 80-х. Он ездил на каникулы к бабушке в Николаев, и его стали дразнить Москвичом! Но он ответил и поразил обидчиков навсегда: «Это в Москве я Москвич, а в Николаеве я — Николаевич!» И в двенадцать лет его стали звать по имени-отчеству...

Решение проблемы двумя детьми.

Столь разное решение одной и той же проблемы! Спустился четверть века! Все-таки можно надеяться на лучшее будущее несчастной России. Все-таки можно.

Дома расступились, и оказался вдали скверик Жербера. Чуть дальше по той же улице Лекурб находится арабская лавка. Овощи-фрукты. Если пройти мимо нее после закрытия... кстати, который час? Восемь? — то бывает, что в стороне от груды ящиков стоит аккуратная картонная коробочка. Продавцы-мусульмане оставляют нищим пригодные для еды остатки. Ну, вялые и помятые фрукты, например.

Сегодня картонка стоит. Тяжелая. И полная... минуточку... яблок и апельсинов!

Фрукты в руках: я чувствую удовольствие от удачи, словно какой-нибудь рыболов. Среди прохожих мелькнуло лицо: знакомый священник, он работает в этом районе. Встреча не очень, может быть, кстати, но ничего не поделаешь:

— Здравствуйте! — говорю я, а руку протянуть не могу: руки заняты фруктами, и времени нет их положить.

— Добрый вечер, как поживаете, хорошо?

Еще бы: такая находка!

— Спасибо. Рад вас видеть — давно хотел вас спросить: вы ведь знаете греческий? — что значит в Евангелии...

— Простите: автобус! Бегу!

И действительно, он побежал на остановку автобуса: тот подходил.

Священника сменил незнакомец высокого роста с таким же — точь-в-точь — рюкзаком, как и мой: на металлическом каркасе с ножками. Такую модель можно поставить прямо на грязную землю; во Франции ее больше не делают, за ней ездят в Германию и Швейцарию.

Вероятно, незнакомца привлек мой рюкзак: точно такой же, с ножками!

Как почти неизбежно знакомство между владельцами собак, выведенных на прогулку, так и знакомство владельцев одинаковых рюкзаков:

— Добрый вечер! Вы живете в этом районе?

— Да, добрый вечер, а вы?

Худое бледное лицо. Еле слышимый акцент.

Он был в затруднении:

— Не пригласить ли вас в гости?.. Но я вас совсем не знаю! Вы — спокойный?.. Вы — не будете?..

Он оказался поляком Яцеком. Бывшим поляком: поехал в начале 80-х паломником в Рим. А потом как-то так получилось, что приехал во Францию. И живет в Сен-Клу, вернее, напротив, внизу, на Сене.

— Можно предложить вам билетик?

Долгий путь на метро.

И затем пешком через мост. Тут начало автострады на Руан. А мы сворачиваем на набережную.

— Ну вот, мы и дома.

Баржа. Мы переходим на нее по доске.

Она когда-то сгорела, остался только железный корпус, и он окончательно заржавел.

Баржа привязана к причальным сваям толстыми ржавыми цепями.

Яцек обжил постепенно капитанскую рубку. Стекол, разумеется, нет, в окна вставлены куски плексигласа, пленка, фанера. Мебель сделана из пачек старых газет: лежанки, сиденья, тумбочки.

Сотни тысяч газет.

Интересно, что по-гречески газета — *эфемериды*.

В общем, он живет хорошо. Он играет на скачках. Иногда выигрывает. Находит вещи на улице и потом несет на Блошиный. Составил библиотеку из найденных книг: он много читает полицейских романов и любит вообще приключения.

Наша трапеза обильна: яблоки, апельсины, хлеб.

И новенький кусок сыра, купленный утром.

И даже есть кусок пирога, который лучше бы разогреть. И прожарить ради постороннего запаха. Яцек спускается на дно баржи, там он устроил кострище и кухню и раздувает огонь, который все никак... Мне стало немного жаль Яцека. Всегда почему-то жаль человека, старательно пытающегося что-то сделать, но без успеха.

— Яцек, оставь, он хорош и холодный! — крикнул я.

— ...оооо-оооо-оооо! — отозвалась громоподобно баржа. Яцек оставил затею с видимым облегчением и поднялся на капитанский мостик по скрипучей и ржавой лестнице. Когда-нибудь она оторвется.

Я попробовал угощение и остановился: странный вкус! Язык и небо встревожились. И я не знал, как поступить, опасаясь обидеть хозяина отказом. Впрочем, идя вдоль борта, я уронил кусок в воду.

Мы ужинали при свечах. Яцек опять говорил о событии: вчера, переходя на берег, он почему-то оступился и упал. Первое мгновение было приятным: тело вдруг потеряло вес. Но затем вода накрыла и голову, он вынырнул и успел все-таки проплыть семь или восемь метров до лесенки, вделанной в бетонную стенку причала. Намокшая одежда весила столько, что он едва вылез.



И Яцек опять удивлялся, насколько близко рядом с нами находится — ну, как сказать? Небытие? Так это неизвестно. Другая жизнь? И это не особенно очевидно. Конец этого всего! Так будет точнее, хотя, конечно, коротковато...

И потом целый день ему хотелось вернуться в Польшу.

А теперь опять ничего. Кроме того, он невозвращенец: в Польше были бы неприятности с властями.

Тихий сон на теплых газетах в ржавом железном ковчеге. Он иногда отзывался на удары волн и ветра легким гулом.

## 9

Летом 1990-го я почувствовал, что моя беззаботная жизнь сложилась полностью. Как и во всяком другом социальном положении, наступило время невозмутимых привычек и успеха.

И тогда-то мне был нанесен Удар.

В августе я поднимался на Монмартр, позади холма, со стороны кладбища. На мгновение меня привлекла витрина книжного магазинчика и неожиданное заглавие: «Les voleurs de Dieu» («Божьи воры»).

Я даже задумался о законности такого заголовка: есть ведь заповедь «не кради», например. С другой стороны, все возможно. В Апокалипсисе Бог сравнивает себя с вором: «се как тать иду».

Но я уже был у подножия базилики Сакре-Кёр.

Храм, как известно, не древний, но все-таки интересный в своем освоении византийского стиля, в намеках на купол св. Софии. Константинопольской церкви Запад всегда завидовал, ею восхищаясь, и хотел иметь у себя хотя бы подражание. И почти копию.

А здесь еще вид на Париж... Он немного меланхоличный, особенно осенью, — каким вы видите его на фотографии 94-го года.

Скопление домов и крыш. И тысячи судеб! Мы словно все вместе немного притихли перед неизвестным нам завтра. Перед загадочностью нашей жизни. Зачем она началась, и где она кончится.

Осень: сезон влажной печали. Сезон утешения, правда?

В море домов плывут большие серые корабли — Нотр-Дам, Сент-Эсташ (св. Евстахий).

Стоял сухой август 90-го. Войдя, я оставил рюкзак прислоненным к стене и отправился посидеть на скамьях для молитвы — или, как теперь говорят, *recueillement*.

Здесь осуществляется «непрерывная молитва»: ее поддерживают «Почитатели Священного Сердца». Днем и ночью приходят, согласно расписанию, люди и молятся по установленному образцу. Впрочем, на ночь базилику запирают, а записавшиеся и вызванные очередники остаются внутри. Каждый назначает себе часы бодрствования, но так, чтобы соблюсти непрерывность. А спят в маленьких комнатках-кельях. Человек пятнадцать, с десяти вечера до шести утра.

Однажды в 84-м и я записался и провел здесь ночь. Было сладко потом вспоминать горящие свечи, тишину, висящую над нами глыбу мрака, в котором исчезали верхние части столпов.

Неподвижные силуэты людей. Молчаливые усилия душ, стремящихся приблизиться к Непостижимому. От этой картины сжимается сердце.

Около трех часов пополудни я пошел не торопясь к выходу. Да и трудно было бы торопиться в густой августовской массе туристов.

Рюкзака на месте не оказалось.

Такое бывало и раньше, но затем он всегда находился: переставленный в другое место, лежащий, брошенный снаружи, шагах в ста и больше. Однажды я застал его в руках уходившего человека. В Страсбурге — в руках полицейского. Рюкзак был моим домом, столовой, рабочим кабинетом, пропасть он не мог, и я к этому привык.

Совершенно спокойный, я обошел базилику. Спросил у служителей: не убрали ли они рюкзак?.. Нет, не видели, не убрали. Вероятно, его вынесли наружу. И я поискал в кустах, в крипте, за палаткой демонстрантов (они требовали улучше-

ния жилищных условий) и затем основательно расширил территорию поисков. Гм... что бы это значило?..

Близлежащие улочки, дворики, незапертые двери, под машинами... я зашел в полицейский участок: не попадался ли вам, не заходил ли?.. Полицейские покивали головами и посочувствовали: да-да, такое бывает, а где вы его оставили? да разве так можно!..

Четыре часа поисков не принесли ничего.

Нужно было осваивать мысль, что он исчез навсегда.

И тут я ощутил всю силу удара.

Пропажа одежды меня не смущала. Ни спального мешка, ни пленки (еще в первом варианте, 2х3 м, не вполне комфортабельном). Ни консервов, ни бутылки с оливковым маслом.

Но вот несколько книг и конспекты, а самое главное — мои записки и Библия. И не простая: это был экземпляр, читавшийся уже восемь лет, изученный, испещренный ссылками, пометками и объяснениями учителей Церкви и всех попавшихся комментаторов, с переводом ключевых слов и фраз на иврит и греческий. Такую Библию в Средние века называли глозой. Причем глоза была составлена мною, я знал ее до последней йоты. Освоенность материала достигла того состояния, когда она хочет вылиться, принять вид книги.

Слава Богу, уцелели мои документы. Утром я почему-то переложил их в карман брюк.

Ушибленность не проходила.

Рубашка, брюки, ботинки. Вот и все мое имущество.

Но это ведь пустяки.

Страданье в другом.

Ночевать я отправился в Венсенский лес — там я базировался в это время, моя дочь Мария находилась поблизости, в больнице Сен-Мориса. И я навещал ее каждый день.

Неужели пропала работа стольких лет?..

Если да, то какой смысл во всем этом?

В аскетике подобное событие называется *dépouillement*, буквально обдирание, ощипывание. Богу нужен человек го-

лый: голый от успехов в обществе, от собственности разного рода, в том числе литературной. Голый от привязанностей. Нет мистика, который не говорил бы, что лишение всего — или почти всего, вплоть до здоровья и жизни, — знак особого благоволения Бога. Знак того, что Он хочет приблизить к Себе...

Ничего не скажешь, весь день был так символичен... и стойте... не было ли утром предупреждения? Кто мне сказал: «Божьи воры»?.. Ах, ну да, обложка книги в витрине!

И подъем на Монмартр: на «гору мучеников». Если ситуация достигла предела, если этот подъем меня вел сегодня не просто в церковь, а именно в Сакре-Кёр, в Священное Сердце... не ясно ли, что в Него со своими пожитками и накоплениями не ходят?

Из бессмысленности разрушения — а что бьет нас сильнее бессмысленности? — начал проступать смысл события, еще, впрочем, не убеждавший, но уже позволявший вздохнуть. Не все кончено. Наоборот, так и надо! Может быть, работа во мне, произведенная шокком, больше и важнее изучения текста, даже священного.

И вдруг снова пронзала острая боль: пропало нечто большее, чем многолетний труд! Сломано выросшее растение, погибло чудесное дерево, под сенью которого я укрывался от обстоятельств и одиночества...

Ночь делалась все свежее, но нигде не лежал в тот вечер брошенный свитер или изъеденное молью пальто. Впрочем, у магазина автомобилей на окраине леса стоял огромный картонный ящик из-под мотоцикла. Мой дом на сегодня, моя семья.

Немного коротковата, подумал я, устанавливая коробку на лужайке. Но если подогнуть ноги и закрыть картонные створки, то ничего. И уже забавною показалась мысль, разумеется, фантастическая, что на меня перейдут свойства проданного мотоцикла: захочется громко тарыхтеть и быстро мчаться.

Под утро ночная свежесть проникла и в коробку. Сон превратился в дрему.

Страдание от утраты не проходило. В таких случаях нужно нарочито раздувать позитивное: целы остались документы! и, в конце концов, прочитанное не исчезло из памяти полностью!

Еще помогает раздувание негативного, случившегося с другими: бывали пропажи и разрушения в тысячи раз хуже! Шедевры, города и народы исчезли бесследно!

Как ни странно, гибель цивилизаций не перевешивала гибели моих записок и выписок. И еще был там красивый наперсный крест с эмальями, подаренный мне в Бретани...

В скорбное дремание вкрапливались странные звуки. Далекий протяжный рев, и крик, напоминающий человеческий... это же лев и павлин! Животные кричат в Венсенском зоопарке.

Подул легкий бриз. Отозвались приятным шумом верхушки деревьев — он похож на шум моря. Далекий мелодичный звон, я всегда его слышу здесь, — это звенят подвешенные стеклянные трубки буддийского храма, он тоже тут.

Ночь снимает остроту страдания. Время начало заволакивать дымкой, затягивать ряской, заносить песком.

Цветут как ни в чем не бывало розы на пересечении проспек. Едут конные жандармы, их казарма неподалеку. А дальше — иссиня-черные скаты крыши Сент-Шапели (еще одной) и белая башня донжона. Венсенский замок.

Дальше — Париж. Горизонт, заполненный очертаниями современных построек. И это — пройдет. И я пройду, и ты. О Боже, все мы проходим куда-то. И смешны наши беды и муки.

Магистралы, идущие через лес, делаются все оживленнее. Нужно переходить с осторожностью: они здесь мчатся, люди в автомобилях, спешат на работу в Париж.

И на работу приехали — из Парижа. Один, чуть подальше — еще один... и там дальше, среди стволов, мелькает такой же беленький микроавтобус. С покрашенными окнами, выложенными изнутри блестящей фольгой. За рулем сидит молодая — так кажется, да и с годами зренье все хуже — женщина. Во всяком случае, энергичная: она ловко заезжает задним ходом в узкую аллею, чтобы не быть слишком на виду. Но и не в кусты: не чересчур незаметной.

— Вы знаете, мне часто приносят одежду, — сказала сестра Амелия. — И если вам нужно... я вам приготовлю что-нибудь, хорошо? Я приду в корпус после обеда и принесу. Вы будете у вашей дочери, да?

Больница Сен-Морис одной своей стороной примыкает к лесу. А сестра Амелия — итальянка, она принадлежит к ордену *Petites Soeurs de Pauvres*. Орден Сестричек Бедняков. Всегда улыбающаяся, внимательная и стремительная. Дети-инвалиды к ее присутствию крайне чувствительны: вот-вот что-то наступит и все переменится! Прояснится непонятная странной жизни без движения, всегда сидя и лежа, жизнь наполовину, на треть и на четверть. И жизнь станет радостной, как сама сестра Амелия!

Это, конечно, её талант.

— Сестра Амелия, как получилось, что вы стали *religieuse*? (в русском нет эквивалента: это монахини, живущие в миру).

Как у всех. Томление детства и юности, не знающее, как выразиться, во что вылиться... ну, одним дается легко математика: значит, он будет математиком... а этот, конечно, пожарником, он любит огонь.

Однажды пришлось помочь больному, ничего не имеющему, угрюмому, — и увидеть на лице рождающуюся улыбку. Вот и призвание жизни! Приблизиться к нищете и чуть-чуть изменить, дать выглянуть человеку из клетки отверженности.

— Я еду в Лурд! — вмешивается Мария, моя дочь, полная воодушевления: такое путешествие! И, может быть, перемена: вдруг снова устроится все, как было однажды, не слишком долго: мама, папа, солнечное утро...

— Лисинда! — Маша торопится распространить важную новость, ее голос звенит от сдерживаемого ликования.

— Что, Мари?

— Ты знаешь, я еду в Лурд!

Мы будем долго гулять, у нас даже есть разрешение выйти за территорию больницы, и дочь будет надеяться, как обычно, что — навсегда. Что после прогулки мы поедем куда-то «домой».

И сестра Амелия едет в Лурд. Больше того, она уже знает, что ей разрешено вскоре ехать в Африку! в Заир! Она ждала разрешения много лет: вот уж где бедности и нищеты.

Быть может, ее миновали ужасы, постигшие бедный Заир спустя несколько лет. Так хочется верить.

—...до свидания, моя драгоценная дочь! Спокойной ночи, до завтра.

И неожиданно для себя спрашиваю:

— Мари, где мой рюкзак?

Она думает несколько секунд. Или просто молчит. Потом смотрит мне в лицо и произносит:

— Sur l'estafette.

Не очень понятно, хотя уже то поразительно, что Мария знает столь редкое слово. Весь ее словарь составляет, может быть, слов двести, а тут — «эстафета»! Передают ли мой рюкзак из рук в руки? Везет ли куда-то неведомый гонец?

— Ты завтра придешь? — несколько раз спрашивает Мария, желая продлить встречу, получить заверение и ласку. Вероятно, для нее — и, может быть, для инвалида вообще — очень важно приготовление к встрече — к интенсивному общению с любящим — и тем более к расставанию. Тут нельзя торопиться, спешить на поезд и на работу: у инвалида нет нашего опыта спешки и обязательности. Даже если он понимает слова, они не наполнены содержанием. Быстрый уход он переживает как покидание его, как отрыв и рану. Иногда лучше не приходить, если потом придется уйти торопливо, — после сильной радости встречи следует сильная боль расставания. От инвалида, больного, заключенного нужно уходить — если уж нельзя взять с собой — медленно-медленно, пока он не устанет удерживать — и не отпустит сам.

Дать ему время разжать непослушную руку.

— Непременно приду. Давай прочитаем «Отче наш...»

Мария знает первые три стиха наизусть!

«Sur l'estafette», — напряженно думаю я, выходя из ворот больничной территории и раскланиваясь с Соломоном — почтенным черным антильцем, сидящим в будке, вернее, в застекленном кабинете сторожа. Его дело — смотреть на входящих, спрашивать пропуск у больных и нажимать кнопку шлагбаума, пропуская автомобиль.

«На эстафете».

И почти подпрыгиваю: позади базилики в улочке стоял грузовичок со строительным мусором! Я его превосходно запомнил! Я даже его осматривал! Не слишком внимательно, но все-таки! Кирпичи, известка, ведра и доски! Так вот, эта модель грузовика называется «Эстафета»!

Я бежал на станцию метро «Шарантон». Неужели он там ещё стоит... прошло больше суток... почти двое суток прошло с того времени: неужели он все там же стоит, грузовичок с мусором? И, может быть, с моим рюкзаком? Тот, кто его взял, посмотрел, надо думать, содержимое, выбрал понравившееся... эмалевый крест, например... оливковое масло... мешок... а кому в наше время нужны книги... блокноты с непонятными записями? Жизненно ценное для меня, конечно, просто брошено! И лежит на «Эстафете».

— Добрый вечер!

Напротив метро сидел знакомый мне человек, Жерар. Другой Жерар, не тот, что сидит в XV-м.

Он ужинал.

Он обычно не слишком разговорчив. Мы познакомились однажды ночью, во время сильной грозы и ливня, на окраине Венсенского леса.

Постепенно я узнал, что лет десять тому назад произошло радикальное нечто в его жизни. Полный переворот. Он оставил дом, профессию счетовода, свою долю наследства отдал сестре. Теперь он живет на улице, а зимой ходит ночевать в ночлежку, на улицу Шато де Рантьее, она недалеко от Итальянской площади.

Его главное занятие — чтение Библии. Он стал знатоком, в этом я убедился однажды, попросив консультации по поводу



трудного места. Они еще есть в Книге, несмотря на старания французской Иерусалимской школы.

— Послушай-ка. Я проходил сегодня по улице, вон той, параллельной. И там — где стройка, ты знаешь? — лежит выброшенный рюкзак, еще неплохой. Может быть, тебе нужен?

— Спасибо.

— Пока.

Жерар уходил, надев свой рюкзак.

Конечно, посмотреть не мешает. И уже издали я вижу рюкзак, и он мне не нравится: ярко-алого цвета! Просто огонь на плечах. После моего прежнего — благородного, скромного темно-синего. Правда, модель почти идентичная.

Нет, не подходит мне такой рюкзак. На всякий случай, впрочем, я захотел его спрятать и, проталкивая в дыру забора, перевернул и тряхнул. Раздался металлический звон.

На асфальте лежала монета.

Я ее поднял: не монета, а серебряная медаль! С профилем собора Св. Петра в Риме, с крестом и надписью: *ave spix spes unica* («здравствуй, крест, единственная надежда»). И выбита дата: 1933.

Ничего другого в рюкзаке не было.

Моё отношение к нему изменилось: роковая дата XX века — юбилей Искупления — 1900 лет. И в том же году — низвержение Германии в бездну. Кто-то принес эту медаль из паломничества. И она досталась мне в трудный момент. Как награда, как ободрение? Ведь случайностей не бывает.

Не нужно куда спешить: разрушенный модус вивенди сам восстанавливается. Вот новый рюкзак. И ничего, что он такой яркий, его труднее украсть: слишком заметен. И свитер, и рубашка, их принесла сестра бедных Амелия. И чудная коробка из-под мотоцикла — где же она? Ее не стало: ее, вероятно, заметили мусорщики.

Мимо кладбища под огромными соснами, кора которых отликает фиолетовым цветом. Здесь пересекаются несколько оживленных дорог, большая площадка отведена под стоянку. И опять беленький микроавтобус, он прижался к деревьям, и

окна у него закрашены. Занавеска кабинки задернута: кого-то там принимает труженица плоти. Под деревьями жмутся трое... четверо мужчин... они не вместе, они не разговаривают друг с другом, хотя ждут одного и того же. Своей очереди. Бедное рабство плоти бедного человека. Кто же поможет ему — когда-нибудь — как-нибудь? Какой-нибудь Галилей.

\*

Ночь сегодня тепла, и я расположился на классической скамейке, в маленьком скверике позади больницы. Крепкий сон дополнит немного тощий ужин, это известно. Свежая булка, например, равняется двум часам хорошего сна.

Впрочем, сон спящего на улице чуток: шаги шедших мимо людей меня разбудили. И уж тем более тишина оставившихся ног.

— Вот человек, — послышался голос, — он спит совершенно спокойно. Так спят у себя дома!

Отозвался другой голос, просящий, почти умоляющий:

— Не делай ему ничего, Жак! Не трогай его!

Захрустел гравий под ногами уходящих.

Доверие к небу и Богу. Полное. Насколько хватает сил.

Вероятно, приближается смысл происшествия: смысл кражи в том, что... накопленный материал был вторичным, кирпичами из прежних построек, отполированными прикосновением тысяч и тысяч рук. Быть может, задача в другом?

А именно, в том, чтобы осваивать новое сырье: новую глину и камни. Ничего не иметь, кроме внимательного взгляда и любящего сердца. Все ведь прошло. Теперь все новое.

И тысячелетие новое. Третье.

Прижавшись спиной к картону, я засыпаю. Скрестив руки на груди: так теплее.

## 10

Интересно смотреть от моста Сен-Мишель, выйдя с бульвара: неожиданная громада камня высится в перспективе, про-

резанная вертикалями окон и тонких колонн. Нотр-Дам, собор Нашей-Госпожи (в каком словаре они нашли «Богоматерь»?..)

Но и с восточной стороны плодотворно взглянуть, с моста де ля Турнель: увидеть полукруг апсиды и наклонные мостики арк-бутанов, серую свинцовую крышу и шпиль. И самое радостное для взгляда — два рукава воды, обнимающие остров Сите.

Много пространства. Собор кажется одиноким: он слишком особенный, чтобы обращать внимание на соседние здания — недавние, чиновные, скучные.

Место странной далекой надежды. Странствующей надежды на исчезновение смерти. Сердце немного щемит, как при прощанье: солнце уже опустилось, теперь горизонт залит жидким золотом. На фоне чистого неба чернеют очертанья древней постройки.

Скоро запрут на замок скверик, примыкающий к собору с востока. Тут своя жизнь: воробьев, таких юрких парижских воробьев! Кто-то держит кусок булки, далеко вытянув руку: они налетают и стараются отщипнуть крошку, вися в воздухе и трепеща крылышками. Чайки кричат, словно нищие, когда бранятся. Голуби кажутся самодовольными и деловитыми, похожими на служащих министерства финансов. А вороны сидят в кроне лип притаившись, но если подбросить кусок, то птица сорвется с ветки и подхватит его. У каждого свой трюк, как и везде и у всех.

А цыгане! Они теперь не пляшут, как во времена критического романтизма Гюго и городской нищеты. Теперь Эсмеральду зовут Стелла (в начале 90-х). Их стойбище в Венсенском лесу. Днем они побираются в метро, пять-шесть матерей с детьми бродят по паперти Нотр-Дам. Старая Луиза на них огрызается: конкурентки, да еще веселые и беззаботные, никакого уважения к деньгам.

Это нищенство не сидит на месте в ожидании сочувствующего взгляда, оно активно заступает дорогу, не дает обойти. Оно *работает навстречу* — вот и профессиональный термин. И если дал кто-то монету, к нему устремятся дети и женщины:

и мне, и мне! Словно участники штурма, они бросаются к бреши в безразличии (и осторожности) горожан.

На них иногда замахивался палкой Антуан, аккредитованный, так сказать, нищий, всегда стоящий у входа в помятой шляпе, итальянец. Стоявший: ныне он почему-то исчез, может быть, умер. Везде борьба за место и свои приемы, капитализм в этой среде первичный, не облагороженный чтением Платона и Токвиля. Как часто в XX веке, и здесь философия строится вокруг двух понятий, Много и Мало. И мораль тоже: Много — Хорошо, Мало — Плохо.

Напротив Антуана стоит настоящий слепой с бельмами на глазах, марокканец Робер. Бывший футболист. Он следит за церковным календарем:

— Доброго праздника Всех Святых, госпо-дамы! Доброго праздника Нозля, госпо-дамы!

Он живет где-то возле Северного вокзала. Вероятно, он работает на кого-то, это бывает, и взамен получает внимание, теплый ночлег. Кажется, и социальную защиту, она здесь нужна. Однажды я застал его разговаривающим с молодым человеком лет тридцати пяти, крепким и ловким, и услышал страх в голосе Робера. Незнакомец перекладывал монеты из кармана бывшего футболиста в свой собственный. Рэкет.

На бестактный вопрос о доходах Робер не отвечает, да и Антуан оставался молчаливым. Во Франции это традиция.

— Так, так, стало быть, вот как! — сказал мне человек из кафедральной охраны. Они ходят в иссиня-черных куртках, а в лацкане блестит золотой силуэт Нотр-Дам. Вышедшие на пенсию полицейские. Этого звали Ремо.

Он наблюдал с интересом, как я пристраивал рюкзак позади двери: и в самом деле не виден. Но сказал, что мой рюкзак может однажды исчезнуть. Бесследно. Я бодро ответил цитатой: без воли вашего небесного Отца и волос не упадет с головы! Ремо от неожиданности крикнул, и с тех пор мы вели иногда разговоры на религиозные темы. Они были ему интересны: он оказался протестантом. И время от времени совал мне десять франков. Добросердечно и во исполнение заповеди. Он делился

опытом жизни. Не за гангстерами бегая дожил я до этих волос, Николая, говорил он, поднимая руку к седеющей голове. Весною он вдруг заболел и осенью умер от рака.

Без волнения не вспомнить великий 1988-й. Год возвращения из путешествия к истокам: в Иерусалим. Но это частность, конечно. Главное было в другом: на 70-летний коммунизм в России медленно накатывалось 1000-летие крещения Руси. Кто знал и кто думал, что все произойдет так, как произошло? Ах, почему нашей свободе не нашлось сердец вровень? Одни только любители страсбургских сосисок?

В том году накануне страстной пятницы знакомый профессор Сорбонны одолжил мне ветхий Ситроен, и я привез дочь из восточного пригорода, Шелля, в Нотр-Дам.

В этот день выставляют в соборе Терновый Венец, Части Древа Креста и Гвоздь. Последний привозят из Милана.

Вопрос о подлинности Венца меня, к счастью, не беспокоил. Его история достаточно длинна и сложна, чтобы еще и расследовать, настоящий ли. Людовик Святой его выкупил у Венеции в тринадцатом веке, построил Сент-Шапель для хранения, и так далее. Эти предметы — своего рода иконы, зримое напоминание об известных событиях.

В соборе дежурили рыцари Святого Гроба — пожилые люди в накидках цвета крем-брюле, с красным иерусалимским крестом на спине (это большой равноконечный крест с четырьмя маленькими в углах). Перед алтарем в трансепте стояли рыцари с реликвариями, и к ним тянулась длинная очередь. И мы встали в нее, а потом уходить не спешили и сидели на стульях в первом ряду. Вернее, только мне и нужен был стул. Дочь сидела в своей коляске, специальной. Ей исполнялось в том году двенадцать лет.

Было тихо. Иные наклонялись поцеловать прозрачную трубку-кольцо, в которой видны были сухие стебли. Другие преклоняли колено и касались ее рукою.

На Востоке почитание священных предметов гораздо привычнее публике, чем в Париже.

С южной стороны лицом к алтарю сидели три старые дамы в черном и молились по четкам. Мы их видели в профиль. Не было ни музыки, ни слов. Только глухое шарканье ног, тысяч ног посетителей туристов в боковых галереях.

У меня были с собой четки, сплетенные из черной шерстяной нитки. Сто узелков, разделенные деревянными бусинками на десятки. И еще три бусинки там, где круг сотни завершается черным плетеным крестиком.

Мне подарил их в Иерусалиме монах, отец Самуил. Он же украсил их маленьким овалом из оливкового дерева, в который был инкрустирован камешек, на вид простой осколочек базальта. Но если знать, что его подарили археологи, работавшие в храме Святого Гроба, в основанье Голгофы, тогда дело другое.

Я рассказал это пожилому рыцарю, обратившемуся к дочери Маше с приветливым словом. Вот там — Венец, а тут — камешек от основанья креста.

— Elles se connaissent! — сказал нам рыцарь. «Они знакомы». И сердце почему-то сжалось.

В ту пору патриархальности по собору бывали «углубленные экскурсии». Их проводил знаменитый священник Леклер, очень похожий на Вьоле-ле-Дюка, реставратора собора в прошлом... ах, нет, теперь нужно уточнять — в XIX веке. Причем именно на бронзовую статую, помещенную на крыше, у основания шпиля. Знаменитый архитектор — здесь он в роли апостола Фомы, покровителя зодчих, — прикрывая рукою глаза, смотрит, обернувшись, на спроектированный им шпиль. С башен лица не видно, а только в бинокль и с земли и из точки, которую я открыл, бродя по острову Сите.

И проповеди Леклера я ходил слушать, напоминавшие речи страстного оратора, или, как теперь говорят, «харизматика». Или «осененного Духом». Каким словом обозначить этот порыв человеческой души, поддержанный напряженным вниманием множества?

Он атаковал канцелярию сердца. Показалось, что то была схватка с собственным одеревенением. Бунт против «скандала

старения» — такой тоже есть, колоссальный, но почти незаметный. О нем не говорят, потому что старость молчалива, она уже знает о бесполезности слов.

Коллеги священника выслушали проповедь с видимым напряжением, а настоятель даже счел нужным поправлять впечатление от подобной горячности, и произнес несколько гладких фраз.

Леклер в начале предупреждал:

— Экскурсия бесплатна. Некоторые захотят, вероятно, дать на чай. Прошу вас, воздержитесь. Я хочу показать вам Дом. Вы ведь не берете денег с ваших знакомых, если показываете свою квартиру?

О, Боже, каких людей я застал в начале девяностых!

## 11

После праздников, когда схлынет толпа, можно побыть одному. Почти одному, усевшись в северной части трансепта.

Иногда тут сидят и разговаривают на идише два старых еврея. Похоже, что они вспоминают о жизни на юге Польши. Потом они сидят молча и смотрят. Пока не всплывет новая тема минут на десять. Часа в три они незаметно уходят. И если теплый день... как сегодня, например, — южная роза витражей сияет, ничто не страшит — ничто не цепляется к моей беззаботности. В конце концов, для планов и начинаний нет никаких средств. Больше того: в этом помещении настолько весело и зримо прошедшее время столетий... Восемь. Восемьсот лет. А мне всего 45... 47... 52... (просьба исправить в вашем экземпляре). 61.

Восемьсот! Чувствуете, как все бесполезно? Даже дотягивая до ста... ну, еще чуть-чуть! До 122-х!.. (Сумела-таки одна дама возле Лиона). Уф, до двухсот — уже нет, не дотянуть.

Будем сидеть и незаметно становиться монахами. Время выстрижет тихонько тонзуру всем нам. Подарит смирение по имени старость.

Впрочем, сидеть здесь с записной книжкой и каким-нибудь чтением — не самый худший вариант жизни. Если не лучший:

к этому возрасту наступает свобода от устремлений и пожеланий. Должна бы наступать. Рассеивается пар, прохлада размышления ласкает мозг. Кентавр превратился во всадника, а всаднику можно сойти, наконец, на землю, отпустить коня по имени Успех. И с улыбкой смотреть, как вслед за ним бежит толпа молодежи. Ничего, пусть побегают.

И верно: если не толпа, то все-таки заметная группа подростков располагалась рядом, на стульях и просто так, усаживаясь без церемоний на пол. Посреди них высился преподаватель с пачкой листов, и он начал их раздавать. Вероятно, урок по истории, не так ли, Средних Веков, например. Или искусств. Школьники лицеисты. Цветение юности, томление плоти. Ожидание, посеянное природой: ну, когда же, наконец, кончится предисловие и начнется Главное Интересное? То, о чем не говорят.

Совсем рядом со мной искала место девушка, одетая легко, в блузке и коротенькой юбочке: и ей еще приходилось усаживаться на пол! Не без ужаса я подумал, что тогда от юбки уже совсем ничего не останется. Этого опасался не только я, но и товарищи по лицу. Об этом говорили ставшие совершенно круглыми глаза — вытаращенные глаза юношеского вождения.

Миг страшного ожидания: ну, как же все теперь будет?

Лицеистка, садясь, вдруг накрыла загорелые колени и бедра своей большой сумкой! И я почувствовал в сердце тепло благодарности к юному существу. Гипноз мгновенья прервался, я тотчас ушел в безопасное место.

Ева была на этот раз деликатна: в старом соборе, где бедный Адам представлен мужчинами всех возрастов. В том числе и таким, когда труды по продолжению рода не предвидятся, когда насаждение желанья ощущается скорее ненужным насилием: моя жизнь стремится уже к берегу иному...

Скандал ненужного желания.

Может быть, он поважнее, чем проблема вращения Земли. Писание в своей величественной простоте о нем говорит радикально: «Не пожелай жены ближнего». И это еще ничего. Это



слышали еще евреи. К христианам требование серьезнее: «всякий, смотрящий на женщину с вожделением, уже согрешил с ней в своем сердце». Что это значит? Да у кого не бывает? Церковь молчит.

Дьявол. Искушение.

Так говорили. Теперь говорят о гормонах. Страшные Гормоны под командой жестокого Гипофиза. От него зависит таинственная Сублимация: превращение первичной энергии низа в благородную работу мысли. У кого бы узнать поточнее? Может, есть уже и таблетки, чтобы успокоиться — и поумнеть, и вдохновиться?

Нотр-Дам с птичьего полета бездомности.

Ах, я забыл самое интересное: соколов! Они построили гнездо в северной башне. Ремо говорит, что именно эту породу, *faucou crécerelle*, приручали в Средние Века для охоты.

Да, в то время еще не было при входе табличек: «Опасайтесь карманников». Как будто в парижском соборе их повышенная концентрация.

— Ремо, помогают эти таблички?

— Гм! В общем-то нет.

Досада на таблички проходит. Полный народа неф, тихо сидят спокойные люди. Тепло (а на улице свищет!)

Епископ так хорошо говорит. О благой вести, и вообще.

Она, несомненно, вошла в нашу жизнь, разделилась на множество ручейков, на тысячи крошек, растворилась в повседневности до неузнаваемости.

В первом ряду видна лохматая голова: антилец Эдуард, особенный человек, он проводит весь день в соборе. Сидит, спит, читает (очевидно, Новый Завет). А с недавних пор он и пишет! К сожалению, он не слишком разговорчив. Да и с ним не особенно разговаривают. Но терпят.

Во время проповеди он вдруг встает и делает шаг к амвону, словно намеревается подойти. У некоторых в этот миг мелькает недоумение (и, может быть, опасение: мало ли что...) Епископ делает рукою почти незаметный жест, пресекая по-

пытку. Эдуард, очень довольный, садится на место. Вероятно, для него этот жест — тайный знак контакта с главным действующим лицом. Да и епископу это может нравиться: вот и юродивый, как в Средние Века.

Евангелие читает сегодня Жеан Реверс. Бывший регент. Точнее, он почти поет его, как пели когда-то. Голос, чуточку печальный, одинокий, покинутый умолкшим хором. Не причастный к злomu: ни голос, ни его обладатель.

Прозрачное ясное лицо: я видел его однажды улыбавшимся. Он восторженно говорил о диалоге органа и хора.

Во время великого поста он кутается в пальто. Постящиеся мерзнут.

Конец вечерней воскресной мессы. Скрежет большого органа: а вовсе не музыка. С ним что-то такое, никак не починят. Заключительная процессия: впереди несет распятие клирик высокого роста, с большими зальсинами. За ним плывут два свеченосца. Клирики и священники идут парами: неподвижные лица, невидящий взгляд. Только епископ позволяет себе улыбаться, делать рукой жесты приветия. И даже отвечать на рукопожатия! И даже — я видел собственными глазами — остановился и выслушал женщину, взял бумагу. Клирики ждут: так решил Эминанс, ничего не поделаешь.

Толпа тает. Но еще сидят тут и там одиночки, беседуют группки знакомых. Не все спешат к телевизору. А служители, конечно, спешат, рабочий день их окончен. Динамики разносят суровый голос:

— Собор закрывается! Пожалуйста, на выход!

Контрапункт. Первый удар молотка по только что построенному хрупкому зданию.

Порыв суховея обиденности.

Иногда к микрофону подходит другой человек: он почти уговаривает покинуть помещение. Все-таки мягче.

Действительно, вечером помещения закрываются. Еще не слишком поздно: открыто метро, где температура значительно выше уличной.

Постоять на паперти, посмотреть на ярко освещенный фасад, покрытый скульптурами, арками, колонками. Как все переменялось с тех пор!

Быть может, главная польза от преподавания истории, это передать ощущение перемены, ухода... чтоб юность могла защититься от своей поспешности. Жадной неразборчивости.

Пусть возникнут науки о человеческих возрастах. Ну, геронтология уже есть. Не хватает... акмеологии (35-48 лет), ювентологии (17-34).

Холодный ветер гонит бумажки, гремит банками из-под напитков. И людей он сдувает с паперти, кроме нескольких упорных туристов, вероятно, только сегодня приехавших и жаждущих видеть.

Вдоль фасада шла группа клириков, уже переодевшихся в штатское платье. Среди них выделялся один высокого роста, с лысой головою. Оказывается, их ждали. Вернее, поджидала маленькая женщина. Она подошла вплотную к людям церкви и стала что-то выкрикивать, очевидно, нечто недружелюбное. Ветер разносил непонятные визгливые фразы.

На мгновение остановившись, священники пошли дальше. Женщина — вероятно, из тех, которых когда-то называли кликушами — продолжала кричать. Неожиданно лысый прислужник высокого роста подбежал к ней — и ловко ударил ее ногою под зад.

Вот так аргумент! Было в нем что-то от движения опытного футболиста.

Женщина отлетела в сторону, подобно мячу.

Я старался постигнуть смысл увиденного.

Звонили колокола в северной башне.

Они вылиты из русских пушек, из севастопольских орудий, после Крымской войны. Ну и история! А прежние колокола Нотр-Дам сняли во время террора в 1793-м и перелили — и было б забавно, если на пушки. К сожалению, неизвестно, может быть, просто на деньги.

Русские имеют отношение и к Нотр-Дам. Странная война 1853 года началась из-за похищенной в Вифлееме звезды, ин-

крустированной в пол грота, или вертепа, где родился Младенец. Я там был и видел звезду. Правда, не знаю, ту ли самую.

Наступает декабрь. Навстречу идет Рождество. Или мы мчимся ему навстречу на нашем земном шаре.

## 12

Отдавшись ходьбе и размышлению, я выхожу нечаянно к Сене. К статуе Свободы.

Простор пейзажа, серые облака.

Вдалеке виден высокий берег Сен-Клау. Королевские места: один основал, другой монарх там погиб.

И все-таки среди серого — там и тут синие лунки и жилки чистого неба.

Как предел и порог.

До него-то и до-тя-нуть, до-тер-петь — а за ним начинается захватывающий и грандиозный мир ясности.

Мимо станции «Жавель». Когда-то тут были заводы знаменитого моющего средства. По улице Конвансьон, мимо церкви Сен-Кристоф, симпатичной церкви прошлого века (скоро придется уточнять, что девятнадцатого). Это время заимствования форм: симпатичную колокольню видел, кажется, где-то в другой стране и в другой эпохе.

Она очень светлая.

Тут приятно отдохнуть.

Ах, я оказываюсь некстати: на меня недружелюбно оглядывается человек, и с ним рядом еще двое других удрученных. Они смотрят на обугленный и закопченный стенд.

Один из них, по-видимому, священник.

Кто-то поджег.

Судя по моей физиономии, легко подумать, что я «из тех самых». Слышны и раздраженные слова:

— Некоторые способны только портить и разрушать!

В меня вонзается взгляд: типичная шапочка на голове, рюкзак, солдатские ботинки (очень прочные, кстати) — ясно, что «некоторый»!

Как помочь огорчению этих добрых людей?

Прошли разрушители.

Отчего сложилось у них желание разрушить? Нельзя ли его каким-то способом вынуть? Предупредить его появление?

Может быть, рассказать пострадавшим в качестве утешения случай, который я наблюдал в Ганьи, в пригороде, в тамошней церкви Сен-Жермен?

Такой рельефный, хотя и загадочный.

Они слишком раздражены, чтобы слушать.

Правильнее, вероятно, ретироваться: как-нибудь в другой раз.

Потом.

\*

Злые дни: они словно сухие листья на ветви реальности, красивой, огромной, тяжелой, полной сока и почек.

Но я видел шедевры поступков!

Будучи все в том же уличном костюме. Куртка, давно, вероятно, не мытая, рюкзак, местами зашитый и на веревочках. Я вхожу в церковь Сен-Поль-Сен-Луи, в IV-м районе, в Маре. У нее есть свои особенности... но об этом в другой раз.

Алтарь здесь украшен чеканкой. «Ужин в Эммаусе», добротная бронза XVII века. Оказывается, можно купить открытку с этим барельефом. Но где, у кого?

В самом начале нефа стоит стол и сидит читающий человек. И к нему я обращаюсь:

— Простите, можно вас о чем-то спросить?

Он моментально встает, чтобы разговаривать стоя, — перед бомжем и клошаром, не ясно ли, разговаривать вежливо и доброжелательно, как с любым другим посетителем, даже самым почтенным!

Я ошеломлен. Обычно в подобных ситуациях наблюдается движение встать, затем быстрый взгляд, оценивающий мгновенно и точно мое социально-материальное положение, и человек остается сидеть.

Я чувствую восхищение: такой простой жест вдруг прояснил, словно перл!

В лацкане его пиджака блестит крестик. Священник. И, может быть, иезуит: эта церковь, кажется, всегда им принад-

лежала. Она и повторяет очертанья римской церкви Виньоля, родоначальницы «иезуитской архитектуры».

\*

Скоро шесть вечера. Брат Серафим откроет часовню Трех Святителей.

На знакомой улице — я уже повернул на Лекурб — приходят в голову знакомые мысли.

Если вернуться к добровольному нищенству... ведь что оно делает... несомненно, понижает стену отгороженности от людей, от ближнего. Стену своего Я. Самолюбия.

Самолюбие, оно еще и экран, через который видно нечетко и всегда в свою пользу. Вы страдаете. Ну, ничего (я не страдаю): пройдет. Ах, теперь я страдаю: неужели вам все равно! Вы говорите мне пустые слова утешения.

Впрочем, самолюбие неотделимо от юношеского взлета. Как если б сам человек был заморожен тем, что в нем происходит, что он видит впервые.

Тут что-то естественное.

Полоса экзаменов (и не только школьных) продырявит раздувшегося не в меру.

Но если действительно хочется большего — познать самого себя, как говорится... если прощение милостыни не по плечу, то есть упражнения полегче. Поднять, например, брошенный кем-то окурок и положить в мусорный ящик (если он, впрочем, открыт: во время борьбы с террористами их запечатывают).

И посышится обиженный внутренний хор голосов:

«За всяким таким подбирать... мне за это не платят... зачем все это нужно... теряю время на чепуху...»

Как если бы брошенный мусор несет в себе презренье ненужности: коснись — и оно перейдет на тебя. И все подумают, что ты такой же никчемный. И станет стыдно.

Хотя никто из торопливых прохожих не оглянулся.

Да на улице и нет никого.

Есть много других упражнений.

«Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться ...» — читает брат Серафим.

«... взгляните на птиц: они не сеют, не жнут... посмотрите на лилии, как они растут? Не трудятся, не прядут...»

Теплый полумрак. Горят свечи.

И брезжит какая-то разгадка.

«... и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них».

Лилия и царь Соломон.

Лилия и король!

Ах, вот она откуда, лилия французской монархии.

Подобранный однажды рисунок с гербом лежит в моей записной книжке. Так и есть! На филактерии — почти цитата:

*Lilia non laborant neque nent.*

Лилия не трудится и не прядет.

«...если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры?»

Если девиз взят из Евангелия, то, вероятно, позволительно вслед за ним вытянуть продолжение?

«Трава полевая... сегодня есть, а завтра будет брошена в печь».

Лилия была брошена в печь революции.

Пророчество произнесено в первом веке, опубликовано в X-м или XI-м: тогда лилия была присвоена королю. Пророчество осуществилось спустя восемь столетий. Но никто не предвидел. Как всегда.

Сегодня двенадцатый век... а завтра — восемнадцатый... Дни Божьи — века.

Странно все-таки, что пророчества никто не прочитал.

Мир живет своей жизнью, иногда вспоминая, что неплохо бы справиться в Книге. Но нет времени. Да и матч начинается через полчаса.

Кончилась служба.

Брат Серафим закрывает ставни.

Старый Владимир, согбенный в половину роста, пьет вечерний чай.

Стучит в дверь и вваливается рослый Ремо, и с порога сбрасывает на нас ворох политических новостей. Впрочем,

брат Серафим слышит все хуже. Да и Владимир уже снял свой слуховой аппарат. «Я выключил радио», — говорит он.

Мы пьем чай.

— Ты что-то читаешь? — интересуется брат.

— Вот, смотри-ка, мне дали в соседнем приходе: «Le Saint Abandon». «Святое самоотречение».

Знаменитый труд аббата Виталия, изданный в 50-х бенедиктинцами Брикбека. Экземпляр не разрезан.

Ремо тоже смотрит. Толстая книга, шрифт не крупный, ее хватит надолго. На всю жизнь.

— Ты не пробовал ночевать в ночлежке на улице Шато де Рантьее? — вдруг почти советует он.

Это место я знаю. Но, пока не слишком холодно, можно быть привередливым. Трудным, как говорится по-французски.

— У меня все есть для ночлега на воздухе, — говорю я.

— Это призвание, — говорит брат Серафим.

Ремо смотрит на него недоверчиво, но спорить не собирается. Он никогда не спорит.

Ему вдруг смешно:

— Шато де Рантьее! Каковы рантьее, таково и шато!

В самом деле забавно.

— Каково шато — таковы и рантьее, ха, ха!

Так тоже смешно.

Мы вместе выходим на холодную дождливую улицу, поднимаемся к станции метро «Вождар». Мимо запертого на ночь скверика (тоже, вероятно, бывшее кладбище).

Около станции роется в мусорной бачке человек. Подбирает длинный окурок. Ремо сует руку в тяжелый, полный мелочи карман.

— Можно тебе предложить?

Человек осторожно берет из пальцев Ремо пять франков, осматривает монету и возвращает, отрицательно качая головой.

Ремо теряет:

— Да ты что, она настоящая! Ну, возьми другую! Десятифранковую!

Человек отрицательно качает головой и неторопливо уходит от нас. До него уже не дотянуться и дружеской руке.



Знакомый костюм нищеты: слишком короткие брюки, кеды, тесноватая куртка. Вид состарившегося подростка.

На бедных жертвуют часто одежду своих выросших детей.

— Ну, добрый вечер, счастливо, прощайте!

Брат Серафим едет домой в Кламар. Ремо идет куда-то, наверное, в какое-нибудь «шато».

Мы забыли Владимира! Он, впрочем, давно уснул в своей комнатке при часовне.

Больше того, он начал и болеть спустя год или два. Его перевели в старческий дом в Сент-Женевьев-де-Буа: «Так вам будет удобнее», — сказал присланный из Москвы настоятель. («Да и нам тоже».) Вскоре Владимир умер.

Ночь.

Зима.

Теплая в этом году.

Не особенно торопясь, чувствуя усталость дня, я иду на ночлег, выбирая путь покороче.

Лекурб. Переулок. Эстакада метро. Круглая площадь. Белье смутные очертания памятника Пастеру. В темноте ученый смотрит вдаль, на освещенный электричеством купол Сен-Луи.

Церковь Сен-Франсуа-Ксавье обнесена решеткой, но ее на ночь не запирают. Ее нужно лишь обойти, чтобы оказаться у стены, обойти с запада; или с востока, со стороны фасада.

Я уже поднимался на деревянный перрон.

Все-таки гармония мира нет-нет да проглянет в событиях и предсказаниях. Как королевская лилия из Евангелия, не так ли. Но потом иногда бывает, что хаос...

Напротив меня за оградой остановился автомобиль с крутящейся лампой. Хлопнули дверцы. Из нее мгновенно вышли полицейские и подошли к решетке:

— Мсье, вы что-то ищете? У вас есть документы? Подойдите сюда.

Движения я начать не успел: из полутьмы быстро вышел человек:

— Что здесь происходит? Я кюре этой церкви.

И объяснялся теперь — полицейский:

— Обычный контроль... Нам позвонили, сказали, что видят *заблудившуюся личность*. Мы приехали проверить. Но если вам это не мешает...

— Нет, ничего, не мешает.

Он исчез. Исчезли и полицейские.

А мое ошеломление длилось. Как если бы встретились и столкнулись силы — рядом со мной, над головой, из-за меня.

Подумать только: меня защитили.

Такая неожиданность: незнакомый человек защитил и ушел.

Оказывается, я говорил серьезные вещи, когда шутил, что ночую в гостинице Господа Бога...

Ну, тогда спокойной ночи.

Тогда будет все хорошо.

Декабрь 1996. Рождество.

Пока я приводил эти записи в порядок, вглядываясь в прошлое и снова живя им, настоящее вторгалось своими событиями, наслаивалось неотделимо. С каким волнением рассказывал бы о них Ремо!

Убитые и раненные взрывом бомбы 3 декабря на станции скоростного метро «Пор-Рояль» в Париже; высланные из Франции беспаспортные румыны (51 человек), о которых ничего другого не было сообщено; священник Жан Уль в местечке Кингерсхайм (Эльзас), найденный мертвым. Он был известен своей отзывчивостью, тем, что занимался обездоленными и бомжами. Полиция насчитала 33 раны на руках и спине. Тридцать три... если случайностей, как известно, не бывает, то... чей возраст безумная ярость написала ножом на теле старого кюре? А главное, зачем?

И все-таки навстречу нам шел Праздник! Революционеры в Перу освободили больше половины заложников «ради Рождества». В Париже открыли на ночь вторую станцию метро — для бездомных и клошаров. Стоят морозы, и газеты ведут статистику смерти: найдено пятеро замерзших; на 30 декабря — семеро; в Бухаресте — 24. Всего за эту зиму погибло в Европе больше двухсот человек.

Чтобы уныние не сделалось необратимым, человеку даны миги радости. Чтобы радость не превратилась в самоуверенность, человеку даны ужасы.

Теперь время мира: горящие свечки и разноцветные лампочки, и ожидание-надежда на что-то, и после колебаний — оказаться в Шампани, среди французов в церкви св. Людовика, одного из покровителей Франции. Провинция, глубинка. Множество лиц! Сегодня подарено — среди них увидеть и образ: лицо молящегося прислужника, с закрытыми глазами, сосредоточенное, ясное.

Время радости Клары: разворачивание и раздача подарков! Восторг десятилетнего сердца увлекает всех быстрее других — Анну, ей всего 21, ну, а потом и родителей — Мадлену, Бориса... отняв его у философии и мировых безнадежных проблем. Хозяйка дома приготовила подарок всем: средневековое кушанье из дикой утки, рецепт которого однажды нашли между страниц ветхого тома Фомы Аквината.

Энтузиазм еще длится, а когда он начинает ослабевать, Клара напомнит о нем, напевая освоенную в этом году — и такую старую — рождественскую песню:

Stille Nacht, heilige Nacht,  
Alles schläft, einsam wacht...

Анна только что вернулась из Лондона и полна английских впечатлений; может быть, ей интереснее слышать Silent night! Holy night!

Но все-таки и по-французски тоже, мы ведь живем в этой стране: douce nuit, sainte nuit...

Кажется, по-русски нет этой песни. Не попробовать ли перевести? Быть может, моя попытка воодушевит более умелых.

*Тихая ночь, священная ночь  
Людские тревоги прогонит прочь.  
Чтобы горела звездочка та,  
Сон бережет святая чета  
У колыбели Младенца,  
У колыбели Младенца!..*

Париж

## СОВПАДЕНИЯ

Солнечный весенний день 1989 года в Лионе, на квартире родителей Филиппа. Он собирает разные вещи для монастыря в Веркоре, куда мы едем на несколько дней. Позднее Филипп станет там послушником.

Его родители в отъезде. В ожидании конца сборов я рассматриваю квартиру. Жилище говорит многое о своих обитателях, особенно в их отсутствие. Книги, картины, безделушки. Вещицы, появившиеся здесь только потому, что понравились. Как образ самого себя, как отражение внутреннего мира.

Вот куча каменных яиц на блюде — из мрамора, агата, яшмы. словно множественность намерений души, простых и драгоценных, лелеемых, но никогда не осуществившихся. А вот что-то знакомое: настоящая горка из самоцветов. Такие «уральские горки», как их называли, были модны в московских домах 50-х годов.

И в моем детстве был подобный предмет, стоявший на этажерке, а этажерка стояла в углу, и к ней прижимался диван, занимавший почти всю стену в длину, а вдоль другой стены во всю длину стояла тахта, впритык между стеной и этажеркой. Комната крохотная, но очень уютная — может быть, потому, что такая маленькая. Да я и сам еще маленький: шесть или семь лет.

А вот еще один чрезвычайно знакомый предмет в лионской квартире, тоже бывший в квартире московской: статуэтка Венеры Милосской, с аккуратно отрезанной выше локтя рукой. Точно такая же стояла на этажерке в комнате дома 24 по Уланскому переулку. На пятом этаже (считая по-московски, то есть начиная с rez-de-chaussée).

Статуэтку привез из Германии отец. Когда кончилась война, многие привозили вещи оттуда. Особенно офицеры: для них были устроены распределители, где они выбирали подарки для дома. Туда свозилось добро из немецких домов.

Были еще немного обгоревшие часы с боем, французские репродукции известных портретов: «Мадам де Помпадур», «Мадам Рекамье с дочерью», тоже нашедшиеся в Германии, попавшие туда, вероятно, из Франции. Вот еще «Тирольские девушки на лугу». Пуховая перина — в ней было занятно «тонуть». Приемник «Телефункен». Но этот испортился: в него забралась мышь и замкнула какую-то цепь. И сама погибла, и радио.

Так вот, Венера Милосская. У нашей маленькая изящная голова была отбита и затем приклеена желтым — очень ярким — клеем, и эта полоска на шее так и осталась.

А это что за коробочка?.. Я не удерживаюсь и открываю: в ней лежит всего одно перо, стальное, школьное. Да таким я и писал, его нужно было вставлять в ручку и макать в чернильницу! № 11.

Уральские самоцветы, Венера, перо...

И тут происходит неожиданное. С полной, изумительной ясностью, не знающей и тени сомнения, я понимаю — нет, я просто нахожу в себе совершенно законченное знание, как знают совершившийся факт: в сию минуту отец пишет мне письмо.

И это — событие. За мои 44 года (в Лионе в 89-м) отец пишет мне впервые в жизни (и своей, и моей), и за границу, из далекого Жданова, где он женился еще раз и остался (ныне опять Мариуполь).

— Филипп, — говорю я, — только что узнал совершенно точно, что отец пишет мне письмо. Может быть, уже написал.

— Ах, я не люблю всего этого! — закричал Филипп из кладовки. — Все эти интуиции, видения, предсказания!

Я не настаивал. Факт казался настолько бесспорным, что я уже размышлял о возможном содержании письма. Первого в жизни. Впрочем, и в детстве встреч было немного, даже всего одна, вероятно, в 1953-м, когда отец приехал в Москву (кажется, разводиться) и навестил меня в летнем пионерском лагере.

Мы спустились на улицу. Из Лиона путь лежал в небольшой Роанн, где Филипп работал художником в витражной мастерской. Там переночевали и наутро, захватив еще одного попутчика — тоже будущего монаха, — взяли курс на голубые холмы Веркора.

Спустя три недели я добрался до моего парижского пригорода. Уже началась Страстная неделя, шли предпасхальные службы.

Меня ждало письмо от отца.

\*

Уж если мы оказались так далеко, в Москве 1952, 1953, 1954-го... 1957 года, в этой уютной комнатке, где живем мама и я, то не задержаться ли тут на ненадолго одной-двух страничек? Вот еще ковер на стене! (Тоже из побежденной Германии.) Коричневые и темно-красные узоры по краю; на фоне далеких гор и елей стоит олень с могучими рогами и смотрит, а нежная олениха пьет воду из ручья.

Зеркало! — тоже с Запада. В резной раме, уже с темными крапинками и уголками.

В квартире живут еще соседи, в своих более или менее таинственных комнатах, совершенно не похожих друг на друга.

Мама приходит с работы (она угадывает погоду). Мы ужинаем. Еще можно немножко что-нибудь поделаться: порисовать, построгать дерево (например, кухонную доску: мама уже смирилась).

А если пора спать, то это тоже интересно. В преддверии сна часто называется «это»: рот наполняется какой-то таинственной «пищей», я ее «ем», и это очень вкусно и необыкновенно. Непонятно как, но я «вижу» эту «пищу» — не физическими глазами, не как образ или предмет.

С «питанием» иногда сопряжено и другое событие, я называю его «разматыванием клубка»; клубок состоит из «длиннот». Это тоже внутри меня. «Клубок» сам по себе, он от меня не зависит, но могу его прогнать, перестать им заниматься. Он, впрочем, остается где-то «рядом», к нему можно вернуться.

Об этом я не говорю взрослым и ничего не спрашиваю: ведь, наверно, у всех так, раз никто об этом не говорит и не спрашивает.

Оказывается, подобное «питание» было описано и даже имеет название «феномен Исаковера», по имени американского психиатра, опубликовавшего статью в 1938 году. Нелишне упомянуть, что об этом я узнал из книги «Метанойя» Эме Мишеля (Aimé Michel. *Phénomènes physiques du mysticisme*. Paris, Albin Michel, 1986), где обсуждаются загадочные явления в жизни христиан. И тем почтить память недавно умершего автора, поразительного эрудита, совсем неизвестного широкой публике.

Как раскачивается маятник памяти! От загадки детства до — если не объяснения, то хотя бы признания такого явления прошло сорок лет. И маятник влечет меня обратно, чтобы вспомнить.

Но нельзя прямо пройти к событию. Для других нужно проторить дорожку через заросли повседневности.

Чтобы приблизиться к странному Предчувствию детства, 25 лет ждавшего своего осуществления.

...Из Москвы мы ездили с мамой к дедушке Федору и бабушке Софии в деревню. Она километрах в 25 от Загорска (ныне снова Сергиев Посад), по Ярославскому шоссе, за Краснозаводском.

Сначала мы едем на электричке: Москва-Третья (но Второй нет), Лосиноостровская, Мытищи, Пушкино, «далее со всеми остановками!» — гремит громкоговоритель на Ярославском вокзале. Среди них есть станция Софрино. Маленькая, ничего особенного. Крашеное охрой зданьеце.

Но в течение всех 50-х годов при подъезде к станции Софрино меня охватывали страх и тоска. Неодолимые, сосущие. Никогда мы там не сходили. Никто из родственников и знакомых там не жил.

Поезд останавливался. Я отворачивался от окна, смотрел в пол и повторял про себя: «Ну, поехали! Скорее, скорее!» Поезд наконец трогался: какое облегчение! Почти счастье!

Едем в деревню — ужас на станции Софрино. Едем обратно — то же самое.

Годам к 14-ти страх ослабел, почти исчез. Теперь эту станцию я просто «не любил». И никогда не любопытствовал: что за название, что там такое.

А после нее — одни радости и восторги: белостенная Лавра в Загорске, автобус, а потом еще три километра пешком — нетрудных, под гору. И с этой горы — чудесные синие дали лесов, впадина речки Кунья — притока Дубны.

Снег скрипит под ногами.

Зимние сумерки все гуще, все менее различимы силуэты женщины и мальчика... (Как если бы я смотрел им вслед, идущим и не уходящим).

Деревня Язвицы начинается сразу на крутой стороне оврага, по которому течет ручей; поблизости от него — колодец с журавлем.

Я жду этот миг — я так его люблю! — подниматься по крутой тропе к первым домам деревни, еще шаг — еще выше, еще шаг — и открывается вдаль уходящая деревенская улица. Ярко светится в сумерках оконце — не слишком далеко — «нашего» дома.

— Ну, приехали! В такую даль! — говорит дедушка, довольный. Сам он ездит в Москву редко, никогда зимой, а осенью, на «сельскохозяйственную выставку» — поудивляться небывалым плодам и даже купить саженец. Так в его огороде появилась двухурожайная малина (второй урожай созреть не успевал), китайские помидоры, — их желтые плоды имели специальные мешочки-футляры, защищавшие от птиц.

Мама выкладывает городские гостинцы: сахарный песок, мука (вот это кстати! Пироги на зимний Иванов день), карамель «подушечка», сушки и баранки. И даже — мозговую кость с обильными остатками мяса.

Бабушка немедленно начинает устраивать кость на ночлег — на холод, и чтобы кошка, не дай Бог... Кость кладется в чугуны и закрывается чугунной сковородой, а сверху кладется камень. И ставится на «мосту»: это дощатая площадка на сва-



ях, сразу же за дверью во двор, во вторую половину дома, хозяйственную. Крытую и с земляным полом, без окон. С моста во двор спускается лестница.

А главный вход — через крыльцо: это довольно крутая лестница с навесом, ведущая в застекленную веранду. Из нее через капитальную дверь мы попадаем в кухню с огромной русской печью — любимым местом фольклорного Иванушки; узкая двустворчатая дверь ведет в переднюю часть избы, чистую, с крашеным полом и высокой печью, «голландкой». Здесь — главная комната с обеденным столом и две комнатки без дверей с кроватями.

Всех детей родилось в доме семь. Первый — Ванечка — умер младенцем. Затем родились Александра, Павел, Виктор, Вера (моя мама: царствие ей небесное), Полина и снова Иван. А уж затем в разных местах начали рождаться внуки, и правнуки, и... уже всех имен я не знаю.

Нам пора ехать в Москву.

Пусть только дедушка допьет свой чай.

В этом есть что-то монументальное. Еще кипит на столе самовар (наконец-то на этих страничках появился герб моей родины, который доставили нам когда-то из Китая неугомонные татары). Дедушку я вижу в профиль. Сзади него в углу — икона, обрамленная полотенцем с вышивкой. Это бабушкина область; дедушка не скрывает своего вольтерьянства. А между тем в молодости он был близок к православию и рассказывает, как, будучи «еще молодым мужиком», служил камердинером у студента Духовной академии по фамилии Симанский (будущий патриарх).

Чай пьется вприкуску: кусочек твердого рафинада держится между зубами и подслащивает чай, потягиваемый из блюдца. Пить «внакладку» предосудительно: перерасход сахара.

Но сегодня вместо сахара на столе вазочка с роскошной карамелью «подушечка», начиненной повидлом. Пар поднимается от самовара, из чашек и блюдец; вспотевшие лбы, запотевшие окна, мама, что-то рассказывающая, бабушка, дума-

ющая о таинственном своем, кошка, мурлыкающая и всегда готовая прыгнуть к упавшему кусочку.

Что-то из слышанного я понимал. Главное удовольствие — быть со взрослыми, купаться в их общении между собой — и быть принятым, своим. Дома.

Ах, уже сумерки воскресного дня, пора зажечь свет. Завтра на работу и в школу, пора идти, к сожалению, хотя путешествовать интересно. Уже в сумку помещены деревенские гостинцы: соленые огурцы, грибы, капуста.

Едем обратно. И опять это страшное Софрино.

Софья Алексеевна умерла в 1961 году, в мае (а родилась в 1887-м). Федор Сергеевич умер в 1967-м, в январе. Поездки в деревню прекратились.

После славных 50-х прошло десять лет, двадцать. Осенью 1974 года обстоятельства моей жизни предвещали крупные перемены: под следствием, подозреваемый в авторстве подрывных произведений и уличенный в распространении оных, без работы и без жилья (ну, это ничего, это моя судьба! Иначе прирасту и стану полипом). Уже смутно вырисовывалась альтернатива вынужденного путешествия на Восток — или на Запад. И если на Запад, то навсегда.

Нас — меня и Ирину — опекал славный приятель Сережа Б. Он-то и нашел жилище на зиму. Немного далековато, правда, около часа езды, загородный дом, дача. Бесплатно! Надо просто жить и топить печь, и получится, что и охранять.

Прекрасно, какая удача! Какое все-таки облегчение. И где же?

По Ярославской железной дороге, ближе к Загорску.

Изумительно! В Загорске у меня дядя Павел с семьей, двоюродные братья. Кроме того, Абрамцево. И Семхоз, где живет великолепный Александр Мень, священник.

— Как называется станция?

— Софрино.

Меня обдало жаром, и ноги ослабели в коленях.

Конечно, мое ошеломление осталось незамеченным: как самолюбию обнаружить свой страх? А хотелось крикнуть: «Ни за что!» и побежать куда глаза глядят.

Но как отказаться, что сказать? «Я не могу там жить, потому что боялся этой станции в детстве»? Это же пустяки, так нельзя говорить, так нельзя отвечать на людское доброжелательство.

Внутренне омертвевший, я ехал на зловещую станцию, слыша внутри себя ноющую музыку, «музыку истребления». (Я и теперь ее слышу при чтении о царствовании Ииуя (4 Царств 9;10) и избиении им дома царя Ахава.)

Уклониться нельзя ни направо, ни налево, все было предопределено много лет тому назад, когда я еще не совершил, вероятно, никаких значащих поступков.

Как если б я приехал сюда умирать. Но ведь я этого не умею, меня никто не учил!..

Впрочем, звучали и нотки умиротворения: ароматы прелой листвы, яркие осенние краски Подмосковья. И дом оказался отличный: огромный, с камином и библиотекой изданий начала века: «Логос», Зиммель, Гуссерль. Ну и «Три разговора», и Трубецкой. Дом профессора университета, покойного историка Машкина.

Неподалеку обнаружился заводик Московской Патриархии, производивший церковную утварь и иконки в пластмассовых рамочках; а при нем и магазинчик с несколькими продуктами и бутылками коньяка.

Жизнь нашла свое русло и потекла. Пилка дров, мелкие заработки. Новости об арестах и обысках. Фотографирование архивов. Дружбы! Это было время чудесных дружб! И среди них — с Димой Леонтьевым: оказалось, что он уже вырос, уже музыкант и пишет прозу (После его смерти в 82-м останется интереснейший «Один год Федора Степановича», ныне частично опубликованный стараниями его матери). Генкин купался в снегу, словно варяг. Великанов, как обычно, под следствием, молчал, как обычно, и фотографировал старинным аппаратом, создавая из нас персонажи девятнадцатого века. Врывался

Игорь Мельник, ставил мировые проблемы и исчезал, не дожидаясь их разрешения.

Приехала старица-мама и привезла валенки: ну, теперь совсем хорошо и благополучно.

Сереза молился и пел псалмы у себя в комнате, вечером и утром. Он постился и худел, а мы ожидали: во что же все выльется? Впрочем, о вере мы не спорили.

В феврале 75-го я и Ирина возвращались из столицы почти ночью. Уже после одиннадцати мы вышли из пустого поезда и пошли по шоссе. Вскоре нужно было повернуть на тропинку среди сугробов, которая пересекала небольшое поле и приводила к мостику над ручьем. И затем начинался собственно поселок, опустевший на зиму. Впрочем, мимо домов к заводу Патриархии шла довольно утоптанная дорожка, а уже к дому Машкина тропинку протоптали мы.

Мы шли через поле от шоссе к мостику. На полпути я вдруг обернулся. За нами спешил человек. Мужчина, вероятно, чуть выше среднего роста.

Он очень торопился. Он даже бежал.

Наступившее внутреннее оцепенение сказало: вот это и есть *то*. Оцепенение жертвы.

Многолетний «софринский страх» должен был через мгновение объясниться.

Шедшая впереди Ирина почему-то повернулась и посторонилась, давая мне пройти вперед, и даже толкнула в спину, чтобы я шел быстрее. Мы перешли мостик и поднялись на противоположный берег. И оглянулись.

Человек стоял на тропинке перед мостиком.

Мы быстро шли к пустынному поселку. Оглядываясь, я увидел, что неизвестный пошел через поле обратно. Не торопясь.

Сереза эту ночь отсутствовал. Впрочем, такое случилось и раньше.

Я бродил по дому. Сидел у камина, не зажигая света. Что-то совершалось, изменялось бесповоротно, но где, но что... И как знать...

Не было веры с ее спасительными речами: «Ты слишком мал перед происходящим, не ты им руководишь, но ты вовлечен в него. Прими жизнь или смерть, и положишься на Бога».

Одиночество было предельным. Лишь первую половину молитвы я мог повторять: «Да минует меня чаша сия...» — но душа не имела той крепкой опоры, которую дают дальнейшие слова: «... впрочем, не как я хочу, но как Ты».

Самолюбие, поверженное, беспокоилось о другом: «Не ударить лицом в грязь». «Вывернуться», — прибавляла плоть, страшась оков и лишений. И уж тем более смерти.

Положительным было любопытство: чем все кончится? И еще предметы: сосновые поленья, смолистые и пахучие, с красноватой корой. И огонь — неторопливый, свободный, поверх ярких углей. Книга, обложка которой протерлась на сгибе, но еще держится на веревочках переплета.

Постепенно рассвет наполнил дом. Мирно был выпит утренний чай. Еще оставались приятные обязательства: перепечатать для заработка Нила Сорского нестяжателя и какие-то переводы.

Из окна комнаты, куда отправилась Ирина, просматривалась тропинка к дому. И оттуда донесся ее голос в пронзительно-птичьим восклицании:

— Они идут!

Дверь была заперта моментально, почти инстинктивно, — чтобы растянуть секунды и успеть осмотреться, чтобы это драгоценное мгновение не было отнято сразу. Проститься друг с другом.

По тропинке к дому шла группа людей. Впереди — незнакомый мужчина в такой характерной меховой шапке. Ну, вот и все.

И, однако, что-то не то... их можно было уже сосчитать: всего четверо. Маловато для обыска или ареста. Последним шел не кто другой, как Сережа!

Их оживленные голоса слышны за дверью. С Сережей приехали родственники покойного историка — автора, кстати,

учебников — и возможный покупатель дома знаменитый шахматист Спасский.

Торжественный и огромный смысл в бытовом эпизоде: Спасский, конечно, фамилия, но не простая; ее носит и башня Кремля, она от Спасителя. Где-то выиграна злая партия: выиграны наши жизнь и свобода.

25 апреля я и Ирина сошли с самолета в Вене. «Софринский ужас» остался навсегда позади. Быть может, он предвещал мне пробитую голову и смерть. Но ведь не состоялась тогда ни то, ни другое.

Для чего же он был «послан»? Был ли возможен другой исход?

Пророческий, он предупреждал о событии в будущем. Он и ныне говорит нечто успокоительное: «Все решено заранее, все предопределено. Прими и жизнь, и смерть. И не бойся. Но все-таки помолись». Все та же «неопределенная предопределенность» псалма 138.

Спустя годы в десяти километрах от этого места был убит Мень. Ударом топора в затылок.

\*

В моей коллекции есть маленькое событие, не относящееся к разряду совпадений. Но жалко отложить его в сторону.

Снова деревня, в преддверии Нового 53-го года. Мы ужинаем позднее обычного. Бабушка София, дедушка Федор и я. Упомяну для уюта и кошку.

Несомненно, дедушка выпил по случаю праздника стопку («баночку», говорил он) самодельной водки. И лег спать. А бабушка и я вышли пройтись по деревне, что обычно не делалось.

Конечно, в деревне 50-х годов — как, надо думать, и сейчас — уличного освещения не было, но ведь зимой из-за снега не бывает слишком темно.

Деревня Язвицы состояла из двух рядов домов, растянувшихся на два километра, повернутых лицом к довольно широкой улице, единственной, где зимой утаптывалась прохожая часть; я застал еще время, когда там появлялись и сани.

Деревня расположилась почти точно по оси север-юг; начинаясь на бугре глубокого оврага, она затем незаметно спустилась по отлогой стороне на равнину речки Кунья.

Веселые блески и мерцание снега! Тишина — нельзя ли назвать ее «сладчайшей»? — заснеженного пространства вдали от города.

Подняв голову, я увидел нечто. И описать это нечто не просто.

«Облачко», «свиток»... представьте себе прозрачную косынку малинового цвета или короткий газовый шарф с размытыми углами. Она была прозрачной — сквозь нее были видны звезды — и тем не менее цветной, малиновой.

Величина ее была приблизительно с ковш Большой Медведицы. Она пульсировала и перемещалась по небу с востока на запад; нужно было поднять голову довольно высоко, чтобы ее видеть, — стало быть, градусов 65-70 над горизонтом.

— Бабуся, бабуся, смотри, летит! — закричал я. В ответ бабушка стала говорить о слабости зрения. «Пульсируя», «словно живая», малиновая косынка прошла на фоне звездного неба и скрылась. Все зрелище длилось несколько секунд.

Мое сердце наполнилось восторгом и удовольствием, необъяснимым, невыразимым. Это было «мое» событие. В течение тридцати лет память хранила его неизменно свежим, словно оно произошло накануне. Оно радовало и утешало. Никогда никому я о нем не рассказывал до 83-го года. Но и рассказанный, случай жил в памяти еще несколько лет.

\*

Спустя много времени: Эльзас, городок Эрстен (немцы скажут: «Эрштайн»). Осень 91-го. Местная церковь сохранилась, несмотря на Вторую Мировую, она достаточно старая, в ней есть «привилегированный алтарь». Когда-то к нему совершались паломничества, молитвы перед ним отличались разрешительной силой. Об этом рассказывает табличка, и она же рекомендует прочесть «Верую», «Отче Наш» и трижды «Богородица Дево». «И ваша молитва будет удовлетворена». Ну, если

так просто... да просто из любопытства... Все равно хочется посидеть и отдохнуть. «Отче наш, иже еси на небеси...»

Городок находится в 20 километрах от Страсбурга, и ясно, что я не успеваю дойти, ночь опустится раньше. Мне мечталось: вот если б подвез кто-нибудь! В большом городе легче найти ночлег и пищу. Кроме того, после уборки винограда в Рибовиле у меня появились знакомства, вот и страсбургский адрес.

Надев рюкзак, я обошел церковь. Пустынная площадь. Пустынная улица; выходя из города, она становилась дорогой. Ни одного человека в послеполуденное время.

Вот еще: вода в бутылке кончилась, и не у кого попросить.

Меня обогнал «Рено-5», резко затормозил и затем вернулся задним ходом. Водитель, открывая окошко, громко говорил:

— Я еду в Страсбург. Вам не нужно?

Взволнованный, я укладывал рюкзак в багажник. И потом четверть часа, пока мы ехали, расспрашивал водителя:

— Вы что-нибудь подумали или почувствовали, когда увидели меня с рюкзаком на обочине? Почему вы остановились?

И в самом деле, он обычно случайных попутчиков не берет. Но сегодня... нет, ничего не подумал. Выехал на дорогу — увидел, остановился. И всё.

— Кстати, куда вам в Страсбурге?

И он подвез меня прямо к собору. Немного удивленный моей взволнованной благодарностью, улыбнувшись, он уехал.

Провидение или случайность?

О, как зависит «психологическая окраска» мира от моего выбора. Сказать — «случайность», и мир останется механическим, пустым, холодным. А если все-таки табличка в церкви была права, и автомобиль остановился в ответ на молитву? Таинственный невидимый Друг отозвался на мечту утомленного бомжа, и выяснилось, что жизнь мягче и ласковее, чем выглядит иногда.



## АМУР И ПСИХЕЯ

На этой фотографии — той самой, перед парижским Пантеоном — М. очень похожа на кого-то из моих близких. Чутьочку детская припухлость щек, ямочки. Живая мысль во взгляде — и вместе нотка печали. Вдруг меня осенило: она напоминает мне Игоря! Ну, просто как сестра своего брата.

Об этом сходстве я думал, просыпаясь медленно утром. Оно открывало дверцу воспоминаниям: Игорь. С ним я познакомился в шестьдесят пятом. В отделении психиатрии военного госпиталя Дальневосточного округа, занявшего огромную территорию на берегу Амура. И ближе всех к реке стояло именно психотделение.

Тут я почти подскочил: Амур и психиатрия! Другими словами, «Амур и Психея»!

О, Рильке, о, снова его загадочные строки из «Дуинских элегий» наполняются смыслом: «Не думай, будто судьба — что-то большее, чем речения (das Dichte) детства».

Так вот, мне лет 12-11. И я люблю рассматривать репродукции разных картин, собранные в коробку. Вероятно, она привезена отцом или мамой из побежденной Германии. Среди прочего есть и картина «Амур и Психея». По-видимому, я еще не знал, что такой Амур в мифологии, но мне уже было известно, что на Дальнем Востоке есть река с этим названием. Я подумал, что полулежащий юноша — ее божество, наподобие дядьки Черномора, выходящего на картинке из (Черного?) моря. А Психея — его возлюбленная. Нежная девушка, прильнувшая к атлетическому Амуру, почти... обнаженная...

— Мама, а кто такая Психея?

— Это, дорогой мой, душа.

— Чья?

— Человека.

Тут была трудность: если чью-то душу зовут Психея, то, очевидно, души других людей имеют другие имена? Но мама торопилась на работу.

Нежное человеческое лицо на снимке вдруг отправило меня в далекое прошлое. Из парижской мансарды я вышел в другое пространство, где-то бытующее спустя столько лет: коридор и комнаты с голубоватыми стенами, железные голубые кровати. И много людей — молодых. Юношей, одетых в сероватые рубашки и кальсоны.

...Мой сосед по палате выглядывает в дверной проем — тут не полагаются двери — и делает мне знак рукой. Я поспешно лезу на подоконник, цепляясь за выступ стены, за створки рамы, цепляясь изо всех сил, — а их-то немного после девятидневной голодовки (точнее, как пишется в дневнике наблюдений, «отказа от пищи»). Окна здесь непрозрачные, с впавленной металлической сеткой. Но в верхней части окна отбит угол, через него можно смотреть одним глазом, можно дышать.

Стену больничного корпуса здесь отделял узкий проход — от другой стены, огромной стены территории. И за нею был берег Амура, где располагался плавательный бассейн. Открытый. Клубы пара висели и торжественно поднимались на холоде, ничего не было видно. Но все было слышно: музыка, какую тогда разрешали, вальс или танго, восклицанья купальщиков. И даже — смех купальщиц! Голоса наших сверстников, свободных, счастливых. Можно было и нам, попавшим в неволю, присоединиться к их радости жить. Деревья стояли вдали, опущенные снегом, далеко простиралось белое пространство замерзшей реки. Среди зимней бархатной белизны и пара мы наслаждались девичьим смехом и музыкой. И жадно дышали морозным воздухом.

Стоявший на страже — такой же остриженный наголо и в кальсонах — защекал языком, и я слетел с подоконника и даже успел соскочить на пол, как в палату заглянул санитар Он что то почувствовал — и цепко смотрел, желая догадаться о совершенном поступке, — разумеется, какогонибудь запрещенного свойства Он даже приблизился своей мягкой рысью походкой и приподнял матрас, — не спрятал ли что

Уже смеркалось, когда удалась минута, и на подоконник мог вскочить Игорь мой сопалатник Дышать и смотреть А я наблюдал за движением в коридоре

Ночью мы разговаривали повиснув на спинках кроватей Обо всем и взахлеб озаренные вспыхнувшей дружбой как бы вает в юности Он тоже был «с Запада», как говорят на Даль нем Востоке из Подмосковья точнее из Монино, из военной семьи Художник Он здесь рисовал вынутыми из карандашей грифелями (сами деревянные палочки иметь запрещалось). Впрочем, имел он и половинку лезвия бритвы, несмотря на все обыски и смены одежды

Я думал ты доходяга, — сказал Игорь и показал мой портрет: кости лица, обтянутые кожей словно на анатомическом рисунке И мертвая неподвижность всех черт

Ты спал

И не просто, а после укола амиазином Кто испытал действие этого препарата, вспомнит мучительную невозможность проснуться по настоящему, очнувшись после десяти часов сна, невозможность снова заснуть, чтобы выспать оставшийся сон

В палату заглядывает санитарка и не скрываясь вслушивается в наши разговоры

А Эдгара По любишь?

Еще бы! А Ван Гога?

Спрашиваешь!

Вероятно, она не может понять, о ком идет речь И о чем Мы слышим ее сообщение в коридоре кому то, коллеге по ночному дежурству

А доходяга с Мельником — как две собаки

Мы прыскаем смехом Тут же возникает голова санитаря

— Развеселились.

Он носит ватные штаны и ватник. Вероятно, спецодежда согласно правилам безопасности. Тут схватки бывают.

Политика Игоря не интересует. А вот искусство, идеи, причем неожиданные, это да. И отношения мужчины и женщины. Разговоры всегда нас приводят к этому океану. Быть может, кстати, то, что армия оторвала нас от любимых, и есть главная причина, чтобы из нее вырваться.

— Люди не думают, они просто совокупаются, и всё, — возмущается Игорь. — Им в голову не приходит, какая тут спрятана сила, каков магнетизм, тяготение планет и звезд, чтобы так стремиться друг к другу, через ужас и смерть!

Мы склонились друг к другу, словно два заговорщика.

— Вот, например, упражнение влюбленных в древнем Китае. Мужчина и женщина спят в одной постели, но между ними положен остро отточенный меч. Их влечет друг к другу, это понятно, но лезвие угрожает им раной и гибелью. Представляешь, до какого напряжения можно дойти? Какой может быть направленный взрыв творчества?

Это упражнение — свежая для меня новость, хотя ему тысяч пять лет. Но и мне есть чем поделиться: Соня прислала мне в полк посылку, и вложила туда лекции доктора Фрейда. Их успели издать энтузиасты в двадцатых годах.

— Ты любишь пенку на молоке?

— Терпеть не могу.

— Знаешь, почему?

— Ну?

— Своими трещинками и складочками она напоминает материнский сосок, от которого тебя отлучили когда-то чем-то горьким. На всю жизнь эта память. Ты понимаешь, что вся наша программа «люблю — не люблю» вложена в нас, и она включается с первого взгляда на женщину, стоит ему чуть-чуть задержаться?

— Ай да Фрейд! Как это он догадался?

Мое дело ведет лейтенант военврач Фролов. Он заменяет мне уколы аминазина таблетками. Я научаюсь задерживать их

во рту, и если его не осматривают, то выплевываю. Осматривать перестали: доходяга, такой делает все, что велют. О, блаженство освобождения от липкой химической паутины.

Смех купальщиц и музыка. Белый пар просвечивает на солнце, и мне кажется, что я вижу голубые и красные шапочки на головах, они появляются и исчезают, словно разноцветные мячи. Я так увлечен, что Игорю пришлось подбежать и дернуть меня за кальсоны, и я почти падаю на кровать, стоящую у окна. Я застигнут санитаром.

— Ты что на чужую кровать залез? Сульфазина захотел?

Боже упаси! Кто хоть раз испытал сульфазин, тот уж будет его бояться всю жизнь. Эта острая боль в суставах — от колен и локтей до малейших — суставов пальцев, на долгие часы, когда заснуть невозможно — боль будит. Мученье настигает при малейшем движении, а как же лежать, не шевелясь совсем?

Собственно, это средство для нейтрализации буйных. И для устрашения. Согласно проступку: два кубика, пять, восемь. То есть кубических сантиметра. Санитары почти с восхищением вспоминают о великане Гогоберидзе МДП (маниакально-депрессивный психоз): того сульфазин не брал! А ему вкальвали двенадцать кубиков! И связывали шесть человек!

Поздно вечером пришла маленькая медсестра:

— Ты с Запада?

Я острожно киваю.

— А я здесь родилась, а старики приехали до войны. Я прочитала в тетради: Боков. Ну, думаю, что за Боков? Пойду посмотрю. Я — Бокова.

Однофамилица смотрит на меня с родственной нежностью.

— Ну, ты и дошел! Ты не ешь ничего?

Она наклоняется к моему уху, поправляя подушку, и почти шепчет:

— Ты еще три недели будешь лежать на экспертизе. Все, что ты говоришь и делаешь, пишется в тетради. Понял?

Естественно бы кивнуть. Но я неподвижен: слишком все поставлено на карту, нельзя себе позволить ни малейшего ослабления.

— Она за тебя, — объявляет Игорь. Он слышал наш разговор, отвернувшись к стене и рисуя.

В субботу и воскресенье врачи не приходят. Всё успокаивается. Только Сорокин МДП вдруг кричит или лает. И маленький Шмеров марширует бесшумно по коридору из конца в конец. Как белая тень, как призрак он мелькает в дверном проеме. Он смотрит прямо перед собой и шагает, правильно отмахивая руками, словно на военном плацу. Опираясь спиной и на корточках, неподвижно сидят вдоль стены юноши в нижнем белье. Кучка курящих у входа в уборную. Болтовня санитаров. Вдруг дверь на лестницу отворилась, и вошел мой лечащий врач Борис Серафимович, лейтенант медицинской службы. И позвал меня в кабинет.

— Так тебя взяли в армию — из университета? И почему? На философском нет военной кафедры?

Ему интересно со мной, я чувствую. Он не намного и старше: ему 25. Он только что из академии, военно-медицинской. А до этого учился в Саратове, в консерватории. На дирижера! И когда его взяли в армию — музыкантов берут, — то предложили учиться дальше... на военного психиатра! А если нет — то во флот на четыре года. И он согласился. И вот он здесь. И вот мы разговариваем о том и о сем, и вообще о жизни. Но я осторожен: он говорит мне «ты», ясно, что он мною владеет. Моею свободой.

Другие врачи: пожилой затертый жизнью майор и еще один, штатский. Так их и зовут: майор, штатский. Дело Игоря ведет майор. Конечно, приятнее было бы оказаться у штатского, но ведь кто его знает. Бывают штатские почище военных насчет заботать.

Борис Серафимович открывает толстую общую тетрадь в черном коленкоре. И читает:

— «Говорит, что не любит пенку на молоке». «Читал иностранную книгу». Что это за книга?

Мне оставили две книги, когда все прочее унесли на склад. Обе изданные в советском отечестве: «Путешествие к центру земли» по-французски и антологию англо-американской поэзии, прореженную от вредных имен, поскучевшую.

— А еще что пишут?

— «Ел неохотно»... «порцию не съедает». Ты можешь кушать спокойно, — говорит военврач и смотрит чересчур пронизательно. На всякий случай я смотрю мимо.

— Тебя должны показать студентам. Майор получил разрешение.

Студенты-медики приходят сюда на практику. Часто с полковником, начальником всего отделения. Нас на этаже около сорока человек, месяца за три это число обновляется, этажей всего три. Наше здание стоит ближе других к Амуру, рядом с открытым плавательным бассейном. Крыши, деревья и река покрыты ослепительно чистым снегом. И даже великая серая стена, разделяющая два мира, посыпана снегом, он обильно повис на гребне и в шероховатостях штукатурки. Зима шестьдесят пятого. Душа и Амур. Вот чем обернулось чересчур внимательное рассматриванье известной картины «Амур и Психея», хочется мне воскликнуть. В шутку, конечно.

Понедельник начинается криками. После укола кричит Шмеров. Его вопли несутся из процедурной, когда дверь — а там она есть — открывается. И видно, как он бьется в жгутах простыней. Ему прописаны шоки. Считается, что если шоковая ситуация — в него стрелял часовой — вывела его в невменяемость, то нельзя ли его вернуть обратно инсулиновым шоком? Удар на удар, зуб за зуб.

— И с таким взглядом на психику — да это же дикари, коновалы! — они хотят устроить счастье всего человечества! — возмущается Игорь. Вполголоса, конечно.

Кончилась экспертиза. Сначала меня, а потом и его переводят, увы, в другую палату, с окнами абсолютно целыми и глухими. Кончились наши побегы с помощью зренья, слуха и носа. Но зато номер новой палаты — шесть. Моя жизнь опять

цитирует литературу! Антон Павлович, родной и нежнейший, как же вы так точно написали, а я, доверчивый, в отрочестве прочитал? «Палата № 6». И вот, пожалуйста. Кажется, что это лестно: обнаружить в шедевре себя.

Шмерову откликается Сорокин, и началось! Их передразнивают дебилы со свекловидными головами, почти сплошь деревенские парни из пьянствующих деревень. Они бывают и сострадательны: меня, терявшего сознание в период обильного аминазина, они подбирали и приносили в палату. Бранное слово у них — «ты, инсулинщик!» Психотделение у них — «дурдом».

Теперь заняты все четыре койки. Наши соседи: ракетчик Рыбин с делириум тременс и молдаванин Гришук, рослый, красивый, брюнет. Рыбин повесился в казарме, но его вовремя сняли. А Гришук — даже странно, что он здесь: весельчак, со всеми приятель. Кушает с аппетитом, любит смотреть телевизор.

Я читаю «Путешествие». И немного пишу грифелем Игоря, он мне подарил самый длинный. Кое-какие слова для памяти на полях книги, стихотворные строчки.

Всё произошло очень быстро: посышался странный звук, который иногда издают собаки, зевая, и затем чьи-то пальцы сдавили мне горло, и мир предстал в моих глазах оранжево-синим. Все слилось в бушующий хаос вспышек света и криков. Потом пришло облегчение, и я вздохнул. Меня несли на руках.

Меня принесли и положили на кровать. Из возбужденных рассказов выделилось, наконец, что Гришук прыгнул на меня и начал душить, полудремавший Игорь очнулся и бросился на него, отгаскивая за туловище, вбежавший санитар схватил Игоря за ноги и потащил в коридор, подбежали еще санитары и всех нас выволокли из палаты, и обнаружили, наконец, и меня полузадохшегося в этой куче-мала.

Шея болела. Уж не сломал ли ее балагур? К счастью, нет, только вспухли багровые синяки, и она онемела. Чтобы взглянуть влево и вправо, я неуклюже поворачиваюсь всем корпусом. Игорь не удерживается от смеха:

— Ты извини, но у тебя вид Командора в «Каменном госте»!

Мне тоже смешно, но больно смеяться.



Гришук получил десять кубиков сульфазина и вскоре уже корчился, и стонал, привязанный к кровати. В тот же вечер его унесли в буйное. Я и Игорь от сульфазина едва спаслись. Его привязали, и хотели привязывать и меня, но тут появилась запыхавшаяся медсестра Бокова и сказала:

— Да что его привязывать, доходягу! Да если б не Мельник, было б *чепе!* — И нас не стали колотить.

— Вот тебе и знамение, — стремился я пошутить новым, незнакомым мне самому голосом, — с Боковыми ты попадаешь в историю, но они же тебя выручают.

В следующее дежурство она принесла нам два домашних пирожка с капустой и яйцом. Немного рискованный поступок прошел незамеченным. Подчас хочется сделать жест доброты и любви, и именно вопреки запрету. И кто скажет, почему так устроен человек?

— Потому что не в брюхе же только дело! Не в мясе! — Игорь с силой ударил себя по бедрам. — Есть тонкие вещи! Кружева!

Есть тонкие вещи! Не только жир и власть! Не только сульфазин и эдипов комплекс!

— Тебе давали инъекции амитала натрия, для повышения аппетита, — сказал Борис Серафимович. (Ах, вот почему хотелось есть до безумия). — Я отменил. Однако старайся кушать. А то ведь в каком виде ты вернешься домой? Тебя увидят друзья... и тем более, твоя подруга?.. Она музыкант?

Как он всё помнит и знает, и делает выводы. (Среди моих вещей было несколько писем С.). Сердце мое билось: значит, меня выпускают, это решилось. Почти. Свобода, свобода моя дорогая...

— Тебя будут показывать студентам, — озабоченно продолжал он. — Может быть, тебе что-нибудь скажут. Не придавай этому значения! Ты понял?

Что мне можно такое сказать? Я уже слышал и видел всё. Ну, почти.

В нашу палату номер шесть поступил новенький. Танкист Олег Свежов. Он прошел однажды обследование, был признан здоровым и выписан в полк. Дезертировал и был арестован во Владивостоке. В порту: уж не собирался ли он... Теперь, если его опять признают здоровым, то тюрьма неизбежна.

— Борис Серафимович, у меня новый сосед, симпатичный. Свежов.

— А, этот... «слышу и вижу море»... Он симулирует псевдогаллюцинации. — В голосе лейтенанта звучало презрение. Вот он какой бывает, такой дружеский и почти музыкант. Он излучал холод опасности.

— Его дело ведет майор. Ему нельзя помочь. Не вмешивайся.

Интересно, что галлюцинации бывают «псевдо», и их еще можно и симулировать! Достоевский потер бы тут руки от удовольствия.

Немного смягчив выражения, я передал разговор Олегу. Но он уже знал. С ним не церемонились и сказали, что скоро переведут в следственный изолятор. Сразу после комиссии.

Рыбин храпел на своей койке. В коридоре слышались мягкие шаги санитаря, его голова повисала время от времени в дверном проеме.

— Надо резаться, — решительно сказал Игорь. — Другого способа нет.

— Резаться? — ужаснулся танкист.

— Ну да. Вскроешь вену, дашь натечь крови. А мы поднимем тревогу. Свобода стоит того.

— А чем же резаться? — надеясь на затруднение, почти умолял Свежов.

— Я дам тебе лезвие.

Игорь хранил его в расслоившейся корочке своего блокнотика.

— Завтра ночью, — сказал Игорь. — Нужно действовать немедленно, тебя могут увезти со дня на день.

С утра Игорь, улучая минуты безнадзорности, точил бритву о подоконник. Перепуганный Олег что-то шептал,

быть может, молился. И даже Рыбин тяжело вздыхал, не понимая, что происходит.

— Резать будешь здесь, — сказал Игорь.

И показывал, где: поперек запястья, сдавив предварительную вену и сжав кулак, чтобы она набухла и стала упругой. Самто он резал: белые шрамики пересекали его запястья.

Быстро пришла ночь. Зажглась тусклая синяя лампочка в потолке. Храпел отчаянно Рыбин. Свежов залез с головою под одеяло.

— Режь хорошенько, поглубже, — советовал Игорь. — Пусть натечет много, это впечатляет. Когда польется, выставь руку наружу.

Танкист что-то шептал и возился. Напряженье росло. В тишине проступали ночные звуки: далекие глухие крики и причитанья, удары в стену, безответный звонок телефона.

И плач. Совсем рядом, под одеялом Свежова. Он высунул голову:

— Я не могу, — слышалось сквозь рыдания.

— Эх, ты! — с досадой сказал Игорь. — Ну, тогда и сиди!

Он имел в виду — в тюрьме.

— Пожалуйста, порежь меня! — плакал танкист.

— Нет, — сказал Игорь.

Конечно, нет: а если Свежову придется рассказать обо всем? Нет, так опасно.

Игорь спрятал драгоценную бритву в обложку блокнотика. Печальные, мы не спали.

— Мы попросим вас ответить на несколько вопросов, — ласково сказал майор. Он был не один: человек пятнадцать юношей и девушек в белых халатах, держа тетради и блокноты, сидели и стояли полукругом в большом темноватом кабинете с мутными окнами.

— Они все студенты, и хотели бы узнать о вас больше.

— Вы тоже учились? — спросила курносенькая девушка. — Я читала в вашем деле, что вы учились.

— Вы пишете стихи? — полюбопытствовала девушка с челкой и миндалевидными зелеными глазами.

— Как вы отнеслись к призыву на службу родине? — спешил направить разговор аккуратный студент в галстуке.

Я чувствовал себя странно. Милые женские лица — а всякое женское лицо мило, не правда ли, особенно если ты попался в клубок жестокостей жизни. И даже юноши не были злыми. И халат курносенькой нарочно не застегнут, так, что виден треугольник кожи и косточки ключиц. Запах... запах женских духов, несомненно, словно запах любви и свободы. И мне как-то неловко быть в кальсонах и рубашке со ржавыми пятнами, хотя, впрочем, по важному случаю мне дали застиранный синий халатик, к сожаленью, без пуговиц. Их срезали после того, как силач Гогоберидзе оторвал на каком-то халате все пуговицы и проглотил.

— Ну что же, перейдем к следующему пункту вашей биографии, — ласково, почти улыбаясь сказал майор. Ах, как мне было приятно в этом дружеском кругу! Словно из злого кошмара я проснулся в мою чудесную юность.

— Помните, как вы говорили, что вам страшно? Когда вас привезли со станции Ледяная, вы не хотели кушать и говорили, что вам страшно. Помните?

Приближалась смертельная опасность, я это чувствовал всем существом, но — увы мне! — не успевал выплыть из очарованья тепла, женских лиц и улыбок. Так и вовремя увидев блеснувший нож, не успеваешь начать движение, чтобы спастись.

— Так вот, когда вы всё это выдумывали, вы не знали одной вещи: если человеку страшно, в его крови повышается содержание адреналина. Мы взяли у вас кровь на анализ — вы помните? — и адреналина у вас оказалась норма. Вы нам лгали. Зачем? Вы не хотите служить в армии?

Подо мной открылась бездна, и я закачался над ней.

Собственно, подо мной была темнота, и я падал в нее неотвратимо.

Я не знал, что сказать или сделать. Сказать: «да, не хочу» — но это как раз и наказывается. Я вел другую линию: «хотел бы, да не могу» — и вот, ее у меня отняли.

Лиц я больше не различал, они превратились в овалы без черт. На языке оказалось слово, и я его произнес, почти воскликнул:

— Убийца!

Майор удовлетворенно кивнул. Он смотрел на меня с особенным интересом, его глаза были совсем близко, и я поразился светившемуся в них уму.

И потом удар жара в темени. Я успел заметить, что колени меня больше не держат, и погрузился в тьму.

Ненадолго: пронзительный запах нашатырного спирта приводил меня в чувство. Я сидел на стуле, мне делали какой-то укол в мякоть руки, и за плечи меня держали две женские руки, и на одном пальце было колечко с зеленым камешком.

— Вот вам случай реактивной депрессии, — говорил майор, довольный удачной демонстрацией. — А теперь мы подведем итоги и после перерыва обратимся к более сложному случаю...

Медсестра Бокова с одной стороны и курносенькая с другой, и еще одна девушка психиатр несла мой халатик сзади, — меня вывели в коридор. Медсестра оглядывалась на них неприязненно. А курносенькая меня откровенно жалела взглядом, но мне было не до нее, словно я нес в себе какую-то рану, провал, забиравший все силы. В коридоре она не утерпела:

— Скажите, а вы там, в Москве... с поэтом Вознесенским знакомы?

Ей так хотелось услышать «да» и потом этим «да» питаться и согреться в далеком Хабаровске. Увы, я не был знаком. И однако ей нужно было что-нибудь подарить.

— Мой дядя его хорошо знает, — сказал я. Все-таки кое-что: «там сидит один, так вот, его дядя хорошо знает Вознесенского!»

Боже, мне плохо: горечь во рту, тошнота и озноб, и знакомые клейкие паутины аминазина — конечно, им укололи — начали обволакивать сознание.

— Идем, идем, а то упадешь! — командовала Бокова. И вела меня твердо. Усадив, она забросила на кровать мои ноги и накрыла всего одеялом. И, уходя, провела ладонью по виску и щеке ласкающим жестом.

— Ну, что ты молчишь? Ну, что они тебе сделали? — почти сдержался Игорь, когда я проснулся на другой день.

— Ничего. Я не знаю. Они ничего не сделали. Я не могу говорить. Я сбит с ног.

— Ну, что ты дрожишь так!

Меня душили рыдания, и чтобы их задушить, я закрыл лицо подушкой. Всякому известно, что недостаток воздуха плач убивает.

— Я им отомщу! Я ему отомщу! — Угрожая, я чувствовал облегчение, хотя и понимал всю инфантильность моих угроз. — Я им поверил, открылся! Раскрылся! И тогда он ударил!

Тон Игоря сделался торжественным:

— Ты победил! Враг наносил тебе смертельный удар, но ты упал вовремя, и меч прошел над твоей головой!

Мне стало почти смешно: поразительна — и спасительна — была способность Игоря находить патетическое повсюду. Переворачивать ничтожное так, что оно казалось грандиозным! Я смеялся сквозь слезы: ну, что там за меч у майора в протертых штанах?

Фролов знал всё до деталей и был недоволен:

— Я же предупреждал! А он-то каков: попросил тебя взаимно показать студентам и занялся членовредительством. Анализ на адреналин здесь, в Хабаровске! И ты поверил?

— Нет худа без добра, — успокаивался психиатр. — Твое дело теперь выглядит безупречно. Студенты твой случай запомнят и других таких же... ну, хрупких, чувствительных — до ручки не доведут.

— А Свежов? Он добрый парень. Что ему делать в тюрьме?

— Он вел себя глупо. Случай слишком ясный, ты понимаешь? Редко, но в психиатрии это бывает.

— Пятимиллионная армия без одного танкиста не погибнет.

Но лейтенант Фролов не слушал.

— А тебе пора собираться, — сказал Борис. И вдруг добавил:

— Жалко, что ты уезжаешь. Все-таки приятно было знать, что ты здесь, когда я шел на работу. Конечно, это эгоистично звучит... Что делать? Жизнь состоит из встреч и расставаний.

В 25 лет он это знал. Я еще думал в мои 19, что — только из встреч.

А открывшаяся пропасть под ногами не исчезала совсем. Холодок тянул из этого места. И снова, заснув, я проваливался в нее и просыпался, обливаясь потом.

«Вот так и раскалывают интеллигентов, — комментировал годы спустя психолог Шершнеv. — Их ловят на логику. Точнее, на нелогичность их поведения: ловкий следователь умеет это внушить».

Пропасть нужно закрыть. Какой-то особенной мезтью. Танкистом Свежовым. Они говорят, что он безнадежен, что с ним все ясно, что его место в тюрьме. Так вот, пусть они его освободят. И тогда мы квиты.

— Я вырву у них Олега, — сказал я. — И яма закроется.

— Не связывай вместе две разные вещи, это опасно, — сказал Игорь. — Ведь если его посадят, то яма с тобою останется.

Наверняка. Но мне нужно схватиться за что-то, чтоб выбираться! Воображаемую ступеньку. Сделанный из чего-нибудь якорь.

Ведь нет безнадежного положения, тем более в молодости!

И вдруг: всё стало ясно мгновенно. Весь сценарий.

— Олег, ты понимаешь: мне нужна твоя свобода. Иначе я боюсь заболеть. Ты мне можешь помочь?

Изумленный Олег кивал головою.

— Веди себя так, словно ты умираешь. Нет-нет, не резаться, об этом нет речи! Ты можешь перестать смотреть телевизор? И первым бежать на обед? Пожалуйста, ходи кушать, но только после напоминания! Теперь самое важное: ты напишешь прощальное письмо маме. О том, что жизнь тебе невыносима и что ты кончаешь с собой.

— Она с ума сойдет от такого письма!

— Она его не получит. Его получают врачи, но случайно. Ты понял?

— Шанс есть, — сказал Игорь.

И он принялся крутить трубочку бумаги, чтобы сделать из нее и грифеля — карандаш.

Олег писал письмо два дня. Мы слышали, как он плакал: ему было жалко себя и маму, и снова себя, и опять маму. Она жила в Ленинграде, как тогда назывался Петербург.

Апрель. Солнечный день.

— Желаю счастья — грустно сказал Борис. — Вот вы и свободны. Вы мечтали об этом дне, правда? Вот он.

Подошла медсестра Бокова:

— Ну вот, все обошлось. Смотри, ешь хорошенько! — И у нее вырвалось: — Ты мне... *кто-то!* — Она сжала мне виски ладонями, и ладонями провела по щекам. И отвернувшись, быстро ушла.

— О, какую она нашла формулу всех отношений! — с восторгом сказал Игорь. И возмущенно продолжил: — А мне еще здесь сидеть одному! От тоски умереть.

— Ты тоже скоро едешь в Москву.

— В Москву, в Москву!

Меня вывели на лестничную площадку. Два сержанта в шинелях стояли, смущенные одиозностью места, и ждали меня. Сержант по фамилии Генералов командовал моей доставкой на место призыва, в Москву. Санитары принесли мои вещи, и я торопливо переодевался в солдатское платье. В сапоги.

Роль сумасшедшего кончилась. Мой халатик уже уносили, и в кармане его — письмо Олега матери.

— Стойте, стойте! — Я вытащил сложенный квадратиком листок бумаги. Санитары смотрели.

— Чуть не забыл: меня попросили отправить.

Санитар рванулся и схватил меня за руку:

— Почта проходит через врачей!

— Пусти! — кричал я. — Человек прощается с матерью!

Железные пальцы разжали мне кулак и вынули белый квадратик. И он исчез за дверью.

Гремя сапогами, вниз по лестнице. Мимо дверей других этажей, приглушенного шума и криков.



Во дворе солнце заливает мне обильно лицо, я слепну, свежий ветер, пахнувший талым снегом, щиплет мне ноздри, текут слезы.

— Что это? — ужасается сержант Генералов.

Из моего носа хлынула кровь. Кружится голова. Разбив ледяную корку сугроба, солдаты наскребли горсть снежной крупки: приложить к переносице.

Алая кровь на белом снегу.

Сладость свободы. Ни с чем не сравнимая сладость.

Поделиться ею с друзьями: послать телеграмму:

*«Москва. Петрову Борису. Извергнут курдлем».*

— Мы не принимаем непонятных телеграмм, — сказала девушка в окошечке почты. Тот, кто читал «Охоту на курдья» Лема, тот понял бы. Это был наш шифрованный язык, составившийся из чтения и разговоров.

— Девушка, дело в том, что я принадлежу к национальному меньшинству томилов, и телеграмма написана на томильском языке. Примите, пожалуйста, а то могут быть у вас неприятности.

Ах, вот как... Телеграмма дошла.

Томилы — от названия станции Томилино по Казанской ж.д.

Спустя месяц вернулся Игорь. И привез с собой все: смех и плач, надежду и крики.

— А помнишь, как они устроили избирательный участок у нас в отделении!

— А Сорокин проглотил бюллетень!

— А майор...

И через полгода приехал Борис. На повышение квалификации.

— А с Олегом что стало?

— Освободили. Было перехвачено письмо его матери, где он писал о неминуемом самоубийстве и с нею прощался. Да и что такое один танкист для пятимиллионной советской армии? — Борис подмигнул. — А если б он и в самом деле повесился? Майор не хотел рисковать.

Вот мы и квиты.

Но все-таки пропасть моя... нет, окончательно никогда не закрылась.

Когда их коммунизм развалился, Игорь стал фермером где-то под Рыбинском. Отцом семейства и приемных детей. Кажется, у него родились и свои дети.

В девяносто четвертом он умер.

Жестокое, но прекрасное прошлое. Состоявшись однажды, оно хранится в неведомом месте. И вдруг зовет к себе на свидание — едва заметным жестом или сходством на фотографии. И нельзя не пойти. Как хорошо, что затем можно вернуться в Париж, к Пантеону. Перед его колоннами на снимке улыбается милое лицо с припухлыми по-детски щеками, улыбается чуточку печально.

## ДЕВЯНОСТЫЙ ПСАЛОМ

Поздний зимний вечер в Шампани: повсюду закрытые ставни. Впрочем, освещены окна кафе, но уже перевернуты стулья и подняты на столы. Хозяин подметает пол. Два посетителя молчат у стойки: переговорено обо всем, но они никак не могут расстаться. Никто не спешит своему одиночеству на встречу.

За церковью, при входе на кладбище, лежат доски. Удача! Из них можно устроить сиденье и, забравшись в спальный мешок и завернувшись в пленку, блаженно заснуть. Сидя на деревянном. Натрудившееся тело накопило тепла часа на четыре бездействия.

А потом сон прервался: первые иголки холода кольнули в спину и ноги. И погода стала другой: туман стоял накануне, а теперь ветер нес жгучую водяную пыль.

Ночь. Едва угадывается линия горизонта. Далеко-далеко вспыхнул и прошел по небу луч автомобильных фар. Белесое пятно обозначает большой город: вон там, несомненно, отсветы Реймса. Ветер, и его тонкий свист в проводах. На моей голове — капюшон. Пленка покрывает рюкзак и спину, и грудь. Ледяная пыль. Ночь.

И блаженная отрешенность: нельзя ничего изменить. Вот когда течение жизни и течение времени совпадают. Другими словами, если нет никаких вариантов, то тебя подхватит мощный поток бытия мира: как, уже прошел двадцать километров?! Не заметил.

Это странное «сжатие» расстояния. «Неподвижность» часов. О чем говорит Иоанн, к сожалению, не объясняя: «и *тотчас* лодка пристала к берегу, куда плыли», — когда ученики приняли в нее Иисуса, шедшего по морю (6, 21). Таинственное «тотчас».

Не тому же ли удивлялся врач, оперировавший Папу в день покушения в 81-м? Путь до больницы он проделал за *нереально короткое время*.

Рассвет застал меня в городочке Аи. Он известен в России как марка шампанского (где-то мелькнула в каких-то стихах).

Первое, что нужно сделать, это найти почту. Нет, не отправить письмо, а согреться: в общественных учреждениях топят.

В крошечном отделении связи нашелся и стул. Сел на него, чтобы — вот так, в тепле, не двигаясь, — ах, какое блаженство — пятнадцать, ну, двадцать минут, дольше неловко... И, едва сев, уснул.

И проснулся от взгляда. Служащий смотрел на меня, приподнявшись, через свое окошечко, немного с удивлением, с чуточкой сочувствия. На его лице начиналась дружелюбная улыбка.

— Господин, благодарю вас, — сказал я, выходя.

Дальше простиралась площадь с ратушей и торговлей. О, булочная! Открывается дверь, и из нее несется умопомрачительный запах свежего хлеба.

(В моей памяти раздался крик, и я сразу все вспомнил. Весна 86-го в Париже, рядом с больницей Сен-Венсан-де-Поль, где находилась моя дочь Мария. Идя к ней, я купил себе хлеба на обед. Я попросил булочника разрезать длинный хлеб пополам — свежий, замечательно пахнущий, еще теплый хлеб, — и вышел с ним на улицу. И вдруг из толпы, изверженной станцией метро, ко мне бросился человек. Он закричал пронзительно тонко: «Господин, дайте мне хлеба! Господин, дайте!» с тем акцентом, который выдает испанца или португальца. Или приезжего из Латинской Америки.

Я сунул в руку полбулки. А потом сообразил, что мог бы отдать все.

Но он уже исчез.

Его крик оставался со мной неделю, вдруг взрываясь в памяти. И теперь, два года спустя, я улыбнулся ему как старому знакомому).

В булочной было несколько человек, когда я осторожно вошел. Я не стал бы просить, если б не было никого: продавщица если б и подала хлеба, то, может быть, не по расположению сердца, а просто испугавшись бродяги.

— Извините меня, мадам, — начал я, — может быть, у вас осталось немного черствого хлеба, который вы могли бы дать бесплатно?

Момент был неудачен. Булочная едва начала работу, и желание торговать еще не насытилось. Как и во всяком занятии, в торговле приходит усталость и посматривание на часы. И тогда почему бы не дать — вон тот, например, подгоревший батон? Но так рано...

А посетители насторожились. У них не было готовой реакции, и они ждали ответа почти с таким же интересом, как и я. Ответа, несомненно, хозяйки: наемная продавщица пошла бы спрашивать, что делать.

— Господин, я очень огорчена, но у нас не осталось черствого хлеба.

— Госпожа, я вас все-таки благодарю.

— Не за что, господин!

Суровый городок. В стихах он наряднее: «Я послал тебе черную розу в бокале / Золотого, как солнце, Аи». На то и стихи, да еще в Петербурге сто лет тому назад.

Читатель с хорошей памятью поправит: «золотого, как небо».

И ошибется: безнадежно серое небо брызжет в лицо ледяной пылью.

Многовековый собор св. Бриса как бы упрекнул меня своим видом — и утешил одновременно: своими готическими стрелами, порывом вверх, отрешенностью. Булыжная мосто-

вая перед ним, зеленый мох. Этот ли Брис — ученик св. Мартина (Мартына Милостивого), споривший и ссорившийся с ним, и все-таки его преемник в Турской обители и тоже в конце концов святой? Он.

Аи стоит на канале, идущем параллельно Марне и соединяющем эту реку с Рейном в Страсбурге. А на Марне стоит Эперне, «столица шампанского». Участок дороги между ними совершенно прямой — как и все пути, которые строила армия, от Юлия Цезаря до наших дней. Эти военные дороги для одинокой пешей ходьбы трудны. По линейке прочерченные на карте, они короче всякой другой, естественно сложившейся, выходящей в складках рельефа от села к селу. Батальону тут маршировать хорошо. А для одиночки она нескончаема: нет этапов. «А теперь дойду во-он до того поворота... а теперь...» Этапов нет, и усталость приходит гораздо раньше.

И голод сильнее. И кстати поразмыслить о нем, если уж нельзя позабыть.

Например, его роль при ведении ветхозаветных «священных войн». Не зря монахи называют пощение «озлоблением плоти». Лишенная пищи, она становится злой, раздраженной. А солдату предстоит сражение. Противник делается виновником страдания тела от голода, препятствием к насыщению. «Убить его, и тогда можно будет поесть!» А есть нельзя до вечера — до победы. Тело солдата спешит, оно хочет заставить время пройти поскорее! Действия приобретают стремительность, натиск стал мощным, армия — непобедимой. До вечера.

Вот приказ Саула накануне битвы с филистимлянами: «проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим. И никто из народа не вкусил пищи» (1 Царств 14,24). Кроме Ионафана, его сына и любимого друга Давида (в будущем), не услышавшего заклатья отца. Он поел меда в лесу, и «просветлели глаза его». Изобличенный, он должен умереть.

Удивительна незначительность количества пищи, от которой просветлели глаза. Если у вас есть терпение, то я найду сейчас точную цитату, чтобы уж быть точным до конца.

Отвернувшись от проходящих машин, закрывая книгу от водяной пыли... вот: «протянув конец палки, которая была в

руке его, обмокнул ее в сот медовый и обратил рукою к устам своим, и просветлели глаза его».

Только-то, что глоток. Реакция тела несоразмерна. «Абсолютный» голод имеет огромный вес, и его уничтожает малейшая пища! Голод не исчез, но теперь он другой, потерявший в значительности.

В этой несоразмерности что-то сквозит. Огромность полного голода, но мгновенно вернулась обычность, если чуточку съесть. Тут кроется какая-то «нематериальность» — спрятана «подъемная машина» абсолютного усилия полного голода — к небу ли, к Богу?

Полный голод ведет к умиранию, и тело отчаянно сопротивляется. Но ведь смерть, то есть освобождение от тела — обязательное условие бессмертия. Хотя бы и не доведенный до конца, голод делается интереснейшей репетицией смерти и Встречи: о, так хочется заглянуть *туда!*

Если чрезмерная прямизна пути его удлиняет, то голод шаги убыстряет, думаю я, достигнув окраины столицы шампанского.

Если «не есть» делает злее, то, конечно, «есть», да еще «есть вместе» служит примирению. И наше время не отличается от ветхозаветного. Любой деловой ланч, «обед» на переговорах министров и глав восходят к тем временам, когда, примиряясь, Иаков и Лаван «едят хлеб вместе», когда едят вместе король и свита, Саул и Давид. И Исаак благословляет Иакова, поев вкусного блюда, и даже для обманутого и опоздавшего Исава находится несколько ободряющих слов. Хотя и не благословение: тотчас второй раз пообедать невозможно, даже опасно.

Водяная пыль сменилась мокрым косо летящим снегом. Философствовать стало труднее: слишком сильны стихии и стенания плоти. Вот последний резерв: терпение, молча. Если и его почти уже нет, то есть еще привычка терпеть.

Наслаждение мига: дверь хлопнула позади меня и отсекала непогоду. Зал ожидания на стенции Эперне. Теплая батарея: о, блаженство рук, положенных на нее; чувствую, как расправляются мускулы лица, и оно становится мягким.

Громкоговоритель объявил о прибытии поезда на Париж и все ожидавшие вышли. Осталась только скромно одетая женщина лет тридцати пяти. И раз, и два она подходила к двери, и возвращалась, и взглядывала на меня, словно желая что то сказать. Скрип тормозов подошедшего поезда придал ей решимости.

Господин, извините меня. Что вы сказали бы, если бы вам предложили маленькую купюру?

Госпожа, я был бы весьма признателен.

Тогда вот, возьмите, пожалуйста! И всего доброго.

Она вышла, а я остался стоять с двадцатифранковой бумажкой в руке. Так кстати, что никого не было. Эти спазмы в горле и глаза обожгло.

Он взглянул на тебя, и увидел твое бедствие, и у Него было это сердце и эта рука, чтобы тебе помочь. Благословенна страна, где вырос этот человек, благословенны растившие его.

И я еще сморкался и восклицал, пока не стали собираться пассажиры к следующему поезду. Я отправился купить хлеба, много хлеба. Еще захотелось зайти в Нотр-Дам, стоящую вблизи станции, посидеть в густеющих сумерках. Купить и зажечь свечку. Труд обернулся праздником, в тесноте обозначилась дверь — пожалуйста, вздохни и не унывай.

Бог неожиданен.

Ночевать я вернулся в тот же зал ожидания.

В дверном проеме показалась голова человека. Цепко взглянув на меня, он исчез, и скоро снова возник в сопровождении еще одного — неторопливого, плотного.

— Ça va? Ты хочешь спать здесь?

Я кивнул.

Невозможно. Мы все спим в соседнем зале ожидания, бывшего второго класса, а этот, бывший первого класса, оставлен пассажирам. Такая договоренность. Мы приглашаем тебя провести эту ночь с нами.

Подобной учтивости и определенности нельзя было не принять. В соседнем зале ожидания оказалось человек двадцать,



с вещами и без, иные были одеты «как все», другие — в лохмотьях. Трезвые или совсем измученные алкоголем. Две-три женщины и даже немецкая пара, ведущая и на улице семейную жизнь. Посередине, поставив ноги на сиденье, сидел на спинке стула раздетый по пояс человек: очевидно, «король», или, говоря языком XX века, «президент».

— Ты можешь провести эту ночь здесь, — подтвердил он. — Все-таки в тепле.

Я постелил на полу пленку и спальный мешок. Ботинки положил под него же в ногах, рюкзак — под голову. И мгновенно заснул.

Впрочем, и проснулся мгновенно, словно кто-то меня толкнул.

Речь шла обо мне. Раздраженный голос говорил, что я-де сплю бесплатно, а другие (и в частности, сам говоривший) должны платить — по-видимому, президенту — 14 франков. Во-вторых, почему бы не «бросить взгляд на содержимое этого старого рюкзака»?

Общество в ответ помолчало. Но потом кто-то поддакнул. И даже громко сказал: «А он прав!»

Мне было приятно, что и тень беспокойства не вошла в мое сердце. Все так, Господи, все так!

Впрочем, в момент непосредственной опасности я читаю 90-й псалом.

Уже кто-то легонько толкал ногой мой рюкзак. Все громче делалось сопение приближавшихся людей.

*Живущий под кровом Всевышнего  
под сенью Всемогущего покоится.*

— Тащи, тащи! — Рюкзак выдернули из-под моей головы.

— А ты заплатил 14 франков?! Ты что, думаешь найти их в его мешке?

*Только смотреть будешь очами твоими,  
и видеть возмездие нечестивым!*

Двое и трое ссорились надо мной. Четвертый не мог развязать тесемку рюкзака, и кто-то щелкнул складным ножиком.

*Ибо Ангелам Своим заповедует о тебе – охранять тебя на всех путях твоих.*

— Это была моя идея! — прорезался в шуме голос инициатора:  
— Мерзавец!

Они тянули рюкзак каждый к себе и шумно дышали.

— А-а! — дикий вопль инициатора и звонкая оплеуха слились в одно. Вторая, третья. Глухие удары по телу и крики. Его откровенно били.

*И видеть возмездие нечестивым.*

Инициатор всхлипывал в углу. Отдаленное затихающее ворчание там и тут, как удаляющаяся гроза. Рюкзак шлепнулся рядом с моей головой.

— Eh, toi, on s'excuse! («Эй, ты! Извиняемся!»)

Не выглядывая из мешка, я снова превратил рюкзак в изголовье и погрузился в сон.

Когда я поднялся, все еще спали. Только чья-то горемычная фигура в углу, над помойным ведром, сотрясалась в приступках рвоты.

Ботинки все-таки оказались в другом месте, впрочем, недалеко. И шнурки их были связаны вместе. Ну, это пустяки, школьные шалости 50-х годов. Да у пьяных рук и не достало ловкости затянуть узел.

— Спасибо и прощайте, — сказал я разноголосому храпу. А на еще темной городской улице с наслаждением повторял:

*— За то, что он возлюбил Меня, избавлю его!*

За городом на холме, среди черных кустов виноградного поля, высилась старая церковь. Я еще не знал, что она называется Сен-Мартен-де-Шаво, что спустя два года я вернусь сюда и буду слушать в ней «Семь слов на кресте» Гайдна. Поблизости, в селе Тур-сюр-Марн, стоит особняк начала века, «замок» в парке, принадлежавший фабриканту из Реймса. Во время Первой Мировой в нем находился штаб фронта. А теперь там приют для детей-инвалидов, и среди них — моя дочь.

## **ЗИМОЮ В БУРГУНДИИ**

Меня поместили, как и раньше, в «комнате святого Франциска», устроенной именно для подобных случаев. Тут все было: стол и стул, симпатичный подбор книг. Библия, популярные издания отцов Церкви. Постель, умывальник. Газовая печка. И даже нижнюю часть окна украшали цветные стекла, почти витражи.

И опять, заметив светящуюся щель в потолке, я собирался попросить инструменты и заделать ее наконец, вспомнив прочитанную где-то сентенцию: «Пусть после твоего ухода место будет чище и крепче».

Наслаждение смирным сидением в комнате св. Франциска после жизни на открытом воздухе. Зажженная свеча, довольное количество еды. Записные книжки.

Перелистывая их, я видел, конечно, прибавление «жизненного опыта», то есть череду новых встреч, положений: оказывается, вот еще что бывает с человеком! Вот еще как он может себя повести! Я удивлялся не только другим, но и себе самому.

Снова посещало желание «обобщить» законы, «действующие в людях и их отношениях». Иногда казалось, что почти ухватил: вот и тут следы повторяемости, проблески неизменности в этой переменчивости человеческой жизни!

Так размышляя, я готовился написать моей матери старице Вере: до меня дошла весть о ее испытаниях, и они стали моими.

Что ж, приблизимся к страху смерти.

К большому страху, когда более или менее ясно, что она проходит вблизи.

Есть еще и малый страх, прячущийся за тысячью беспокойств: ах, опять там же болит: уж не ли?.. нет работы... через неделю нечего будет есть... послезавтра негде будет спать... вечером нечем защититься от холода.

Обычно страх смерти (и она сама) побеждается забвеньем о ней: пришли гости, родственники... слушатели, зрители. Мы — вместе! Мы — кусок бессмертного человечества, нас ничто не берет.

И это — отдых. Милость человеческой встречи, она дарована и освящена. Добавим, что в конце нашего XX века единственное место, куда можно войти, не покупая билета и не предъявляя документов, — это церковь. Войти и даже принять участие в литургическом действе.

Вот что есть у нас на сегодня: полчаса-час дружелюбия, призыв к взаимной снисходительности и любви. И драгоценный миг после «Отче наш», когда участники ассамблеижимают друг другу руки и говорят:

— Мир Христов.

Эхо пасхального целования, дошедшее через толщу веков. Тут католикам позавидуешь.

Полное печали письмо, пришедшее из Москвы. «О сын мой, мне было страшно столько раз за тебя... а теперь я не знаю, как быть: мне страшно просто так...»

Как же перевести на язык сердечного чувства великие идеи? И если они непереводимы, то какой же в них смысл перед лицом катастрофы смерти?

Смерть преодолена Христом. Настолько, что апостол Павел хочет «разрешиться» (*dissolvi*, распасться) и быть с Ним. Но еще ему нужно остаться «для пользы братий» (Фил 1, 21-24). Спустя две тысячи лет комментатор «Иерусалимской Библии» недоумевает по поводу этого стиха: ведь полагается, умерев, «заснуть до всеобщего воскресения». А Павел минует странную спальню! Хочет прямо ко Христу и уверен, что так и будет. И это не какой-нибудь бесправный мистик — посмешище для

ученых специалистов, а полномочный апостол, которому мало кто отказывает в уважении.

Интереснее быть с Павлом, во всяком случае мне лично, а не с комментатором. Прямо ко Христу, оставив объятья Морфея ученым.

— Господи, пошли мне *modus vivendi*.

Образ жизни. Если нельзя к Тебе сию минуту, сейчас, не вставая от стола, не кладя пера, не дописав предложения, (пождав, вздохнув) то даруй знать, чем заниматься в ожидании. Потому что уже испробовано, вероятно, все. Миги приближения к тончайшей, незримой — а все-таки чувствуемой преграде... к стоящему вертикально лезвию смерти... смотря в лицо предполагаемому убийце, заглядывал — хотел заглянуть — за эту грань.

В болезни тела, плавая в жару и поту, я смотрел внутрь себя: не открывается ли «дверь», на чуть-чуть. Чтобы проскользнуть к Тебе, выскользнуть из этого тела радостно и с облегчением.

Макон — небольшой город на берегу Соны. Столица молодого вина Божоле.

Древностей тут почти нет. Разве что церковь святого Климента, в которой каждый век что-нибудь прибавлял: неф к хорам, галереи к нефу и хорам, пресбитерий к галереям, нефу и хорам. Сошлись вместе все стили. Оставили след трогательная свежесть бедности и веры, скучная зажиточность, мертвые привычки.

И вот она обветшала настолько, что и вход в нее запрещен «по соображениям безопасности» (грозит объявление на стене).

Рядом образовался шумный перекресток дорог, автомобильных и железной.

«Еще постоять, потерпеть, подождать!» — читалось мне в подпорках стен, в дырах вывалившихся камней.

Двери были открыты. Пол — снят. В траншеях горели яркие лампы, перекликались молодые голоса. Археологи искали что-нибудь и здесь. И даже нашли: множество костей, черепов лежали на стеллажах, с четкими надписями, чтобы легко уви-

деть на плане, где вырыли череп с единственным зубом, или другой, с отверстием в темени, или эти славно потрудившиеся когда-то берцовые кости.

Я их коснулся: почтить, может быть, безвестных святых, работников Иисуса. Просто потому, что их владельцы, стоявшие некогда здесь, давно перешли великий предел.

Кисть руки: отпавшие фаланги пальцев, а ныне обратно сложенные в должном порядке ученым искателем, на чистом листе бумаги с пометкой: М/91//11.

Забавно рядом с ней положить свою кисть для сравнения: покрытую плотью и кожей. Пока еще «моя».

Скромный коричневый череп с елочками соединений его отдельных костей. А на «моем» есть еще волосы бровей, бороды и этот болезненный прыщик (чем бы помазать?..) Еще вздрагивают глазные яблоки под веками, под пальцами.

Нужно ли воскресать всему этому, не достаточно ли 50-70-90 лет?.. По крайней мере мне. О каком же воскресении говорит Новый Завет... с такой замечательной неопределенностью. И так мало! Мария Магдалина «увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что это Иисус» (Иоанн 20, 14). Близкая ученица, знавшая Его несколько лет, не узнала.

Клеопа и еще один ученик на пути в Эммаус: «глаза их были удержаны, так что они не узнали Его» (Лука 24,16). Семь учеников в Галилее: «Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали, что это Иисус» (Ин 21,4).

А если они узнают, то что видят? «И сказал им: мир вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа» (Лк 24,37).

Венец загадочности — в том же эпизоде рыбной ловли у Иоанна: «Иисус говорит им: придите, пообедайте. Из учеников же никто не смел спросить Его: «кто Ты?», зная, что это Господь» (21,12).

После слов Иоанна Петру в лодке («Это Господь»), после встречи с Ним Петра и остальных, вопрос остается, хотя и не произносится («Кто Ты?»). Вопрос не снят, несмотря на знание,

«что это Господь». Если я знаю, то о чем спрашивать? Если есть неясность, то почему не осмеливаться спросить?

Темный вечер, ноябрьский, неподвижный, холодный воздух, к заморозкам.

И, однако, сколько же в Маконе ливанских кедров! Одно дерево — и почти лес. Если встать под крону и взглянуть вверх... да, небеспочвенны ветхозаветные предупреждения по поводу «ветвистых деревьев»! Что еще так же легко вызовет восхищение, как не изящная множественность переплетений ветвей и веточек, иголок хвои, в меру густой, сквозь которую мерцают звезды?

Я возвращаюсь на ночлег при церкви св. мученицы Евлалии (Благогласной), испанской девы, столь популярной в Средние века, почитаемой и в России (ее память 22.8/4.9). Церковь — отнюдь не древняя, типовая конца XIX века.

Чтобы попасть в ночлежную комнату св. Франциска, нужно пройти через другую, заставленную и наполненную подсвечниками, стульями, шкафами с книгами и предметами для приходской лотереи, коробками со свечами и огарками, ящиками с вином. «Если тебя мучает жажда, то тут есть чем ее утолить!» — неизменно шутит о. Альберт, указывая на эти запасы.

И уже чувствуя, как подходит и окружает меня сон, еще договаривая слова последних благословений и даже пытаюсь прочесть что-нибудь в приготовленной книге... кого же... Иоанна Флорского или сладчайшего, свежайшего Августина...

Меня разбудил холод. Обогреватель погас и остыл, окно в лунном свете блистало инеем. Выйдя на улицу, я застал ночное светило окутанным морозною дымкой. Тишину окраины городка нарушали только включившиеся бойлеры частных домов (или, как выражается современный французский, «павильонов»), составивших улицу рядом с церковью.

Тропинка вела под навес, к характерной будке из неструганых, но побеленных досок. Под навесом же стояли приходской микроавтобус и автомобиль о. Альберта.

Раздавшийся в ночной тишине хруст был оглушительным. Человек — я его сразу не увидел — вскочил на ноги и, комкая заледеневшую полиэтиленовую пленку, бежал из-под навеса мимо меня, во двор пресвитерия и дальше, на улицу.

— Останьтесь, вам нечего бояться! — кричал я.

Какой-нибудь бродяга, думал я, возвращаясь, s.d.f. (sans domicile fixe, теперь имеющий в русском замечательный эквивалент: бомж. Чудный неологизм, в котором слышится «Боже мой!»).

Странно, что он убежал: чего можно бояться в его положении? Его не нашедший объяснения страх заразил и меня: я даже запер дверь комнаты.

Шаги по гравию послышались на рассвете. На окно легла тень остановившегося человека. Несомненно, то был ночной незнакомец. Вот он медленно, как бы не решаясь или раздумывая, поднял руку и легонько стукнул в окно.

Я открыл.

Он стоял, опустив голову в вязаной шапочке; одетый в синий комбинезон, какой часто носят рабочие. На боках, на груди, на ногах и руках — по всему телу свисали вырванные лоскутки материи, словно ему пришлось пролезать через колючую проволоку. Пятна засохшей грязи усиливали впечатление.

— Здравствуйте! Хотите войти?

По-видимому, он не понимал. А услышав приветствие по-английски, он поднял голову. Крупные черты лица, большие глаза, упорно смотрящие в землю, красная обветренная кожа на скулах, бледно-зеленоватая во впадинах щек. Губы его зашевелились, словно он что-то про себя говорил. И потом он медленно произнес замерзшим ртом:

— I'm from America. I'm travelling to Rome. («Я из Америки, я еду в Рим»).

После настойчивых приглашений «войти и разделить тепло этого благословенного убежища» он наконец согласился. Его лицо просветлело, когда он увидел горящий обогреватель, и он стоял, протянув над решеткой лиловые руки. Оказалось, что его зовут Джозеф Мартин, из штата Массачусетс, что в Риме он намеревается изучать богословие. И затем отправится в Россию.



Прежде чем сказать что-нибудь, он медлил, шевеля губами, словно что-то произнося. Наконец я осмелился спросить и об этом, начиная, впрочем, догадываться. В самом деле, он повторял про себя:

— Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy upon me, sinner!

В который раз меня догнала «Иисусова молитва», этот па-роль посвященных — читателей «Рассказов странника своему духовному отцу». Теперь это был американец.

К несчастью, я забыл спросить его, не в повести ли Сэлинджера он ее почерпнул? В «Фанни», которая научила Иисусовой молитве множество американцев, а Русского Странника превратила в близкого друга, всегда идущего где-то, в необъятных земных пространствах.

В сумерках снова раздался легкий стук в окно. Джозеф стоял на улице, опустив голову, и я опять упрашивал его войти, а он, прежде чем ответить, беззвучно шевелил губами.

Вероятно, обыкновение смотреть в землю Джозеф усвоил из восточного монашеского этикета, который рекомендует не смотреть «с дерзновением» в лицо другого человека. Любопытно, что в XVI веке это правило перешло в устав ордена иезуитов, который смотреть в лицо собеседника запрещал.

Приготовленные бутерброды исчезли мгновенно. Согревшийся Джозеф стал объяснять мне, как молиться по четкам (он придерживался западной школы), и подарил где-то найденные, поредевшие, но еще с порядочным количеством алых бусинок. Тема, усложняясь, привела нас к розарию и его 15 тайнам; я сказал, что св. Дмитрий, митрополит Ростовский, в XVIII веке составил молитвы на пять скорбных тайн.

И уж особенностей русского алфавита нельзя было не обсудить: Джозеф изучал его долгое время. Считается, что сначала появилась болгарская глаголица, «круглое письмо», немного напоминающая грузинский алфавит. Позднее Кирилл и Мефодий из Фессалоник составили новый славянский алфавит, заимствовав буквы в основном из греческой азбуки, но также из латыни и иврита. Пресловутые трудности с немецким епископатом заставили включить явно латинские буквы Зело

и Землю, явно еврейские Ша и Ша (шин). Тогда думали, что для богослужения допустима только «трилингва» — три языка, на которых была сделана надпись для креста Иисуса. Кириллица, соединившая элементы трех освященных языков, была признана годной для богослужения.

Выяснилось, что в «новом состоянии» Джозеф живет уже четыре года. Но исходной причины он не захотел объяснить.

Ночевать в теплой комнате он отказался. Да и в соседней его смутило удобство: бетонный пол.

— At home, I sleep on metal. (Дома я сплю на металле).

— Джозеф, увы, тут нет железного пола! В конце концов, вы же в пути? Вы разве не знаете, что в путешествии заниматься аскезой запрещено?

Нам почему-то стало смешно: Джозеф почти рассмеялся, все-таки успев предварительно пошевелить губами. И улегся на бетоне, ничего не постелив и накрывшись своим полиэтиленом.

Утром в окно постучал о. Альберт: он шел в церковь служить раннюю мессу. Новость о появлении Джозефа произвела на него сильное впечатление, а уж вид американского странника вызвал нескрываемую озабоченность. Кюре осторожно рассматривал паломника, а тот стоял, опустив, по своему обыкновению, голову и отвечая на вопросы протяжным «yes».

— Спроси его, католик ли он.

— Are you catholic?

— Yes!

— Хочет ли он присутствовать на мессе?

— Yes!

В церкви св. Евлалии ситуация перевернулась: было забавно наблюдать озабоченность — теперь Джозефа. Здесь были приняты иконы — русские, греческие, эфиопские; они создавали теплую атмосферу, но вместе с тем — непривычную.

— Please, ask the father whether this church is really catholic?

В голосе американца звучала суровость. И уже о. Альберт отвечал в тон, выслушав перевод (католическая ли это церковь):

— Yes!

Джозеф попросил разрешения причаститься.

Его присутствие породило некоторое напряженное внимание, какое вызывает подчас в собрании «новая голова» (pou-velle tête, — свежо определяет французский).

После мессы несколько женщин готовы были им заняться: ясно, что верующий, очевидно — бедный, и тем более — иностранец. Разумеется, одинокий. Мади и Дениз повели его пить чай (и меня заодно, как переводчика).

Джозеф немедленно съел целый «хлеб» (400 граммов), и женщины, умиленно вздыхая, попросили узнать, хочет ли он еще хлеба.

— Yes!

И второй хлеб (400 г) был съеден. Мади и Дениз встревожились: так сразу, так много! Зная по опыту, что пустой желудок необъятен, я уже спрашивал сам:

— Joseph, would you like...

— Yes!

Дениз отправилась в булочную, а Мади снова угощала чаем. Джозеф пил только горячую воду без сахара.

И третий хлеб исчезал под беспокойные реплики женщин, что после длительного голода надо есть понемногу, пить соки...

— Не хотите ли сока?

— No, thank you. Is it possible to shower? (Можно ли принять душ?)

Начались хлопоты о том, как и где штопать, стирать и мыть путешественника. Но уже приходилось с ним расставаться: я отправлялся на отдаленную старую ферму среди полей, где предстояло провести зиму в одиночестве, молчании, чтении и работе. Что может быть полнее?

Дорога на ферму шла через Клюни. То самое знаменитое аббатство X века, которое разбирали на камень во время революции (французской, 89-го года). Разбирали и продавали в течение 18 лет, пока наконец кто-то не спохватился! Уцелела одна башня трансепта со шпилем и еще одна, «башня с часами». И руины.

В холодном чистом небе вокруг шпилей кружатся галки, от их звонкого крика начинает щемить сердце. О, этот образ ушед-

шего, исчезающего... утекающего, как песок между пальцами... объясните мне печаль этих мест, этих людей, которых любил... и эту любовь я почему-то ношу в себе, хотя ее некому высказать.

Здесь, среди колонн — а ныне обрубков — проходил, приезжая из Лотарингии, Гумберт-монах, впоследствии непреклонный кардинал и участник знаменитой схватки с другим непреклонным — Михаилом Керуларием, патриархом Константинополя. 15 июля 1054 года. В тот день христианство разорвалось на Восток и Запад, хотя, кажется, никто этого не заметил: такие ссоры высоких начальств бывали и раньше. О возможном разрыве говорил уже св. Григорий Назианзин за семь веков до того.

Крики галок все тише. Дорога начинает подниматься на перевал. Тут хорошо обернуться и долго смотреть на заполненную домами долину.

И опять в нижней части постройки, ограды какого-нибудь огорода обнаружится обтесанный камень, явный кусок капители, словно взрыв разбросал по округе эту самую большую церковь христианского мира — больше базилики св. Петра в Риме!

Дорога идет по краю огромной впадины. Мне скоро сворачивать. Если идти прямо, то попадешь в Тезе, в тысячную толпу приезжих искателей веры. Там слышна и русская речь.

Последние дошедшие о Джозефе новости были те, что он отказался сменить одежду, немного заштопал свой комбинезон и ушел. Ему предстоял его труд. Как всем нам, впрочем. Каждому свой труд жизни, невзирая на возраст, неизбежный в любом положении, дящийся до последнего вздоха (на этой земле), до первого вздоха — там.

Этой зимой приход св. Евлалии меня как бы не отпускал: там все внимательно следили за судьбой 8-летней Анны. Она болела лейкемией.

О ее выздоровлении молилась бабушка Марсель. Вместе с бабушкой молились — неся тот же груз, усиливаясь его все-таки несмотря ни на что донести! дотянуть! — молились столь многие в церкви. И во всем Маконе.

Одолеть двухлетнюю болезнь.

Мать Анны Агнесса, беременная, родила в декабре. И тотчас состояние Анны резко ухудшилось. Рядом с больницей в Лионе, где находилась девочка, Агнесса установила кибитку-прицеп (с такими ездят в летний отпуск), чтобы там ночевать, а день проводить в больнице у дочери.

Мужество материнства, от которого замирает сердце. Человеческого материнства, в котором начинает сквозить нечто большее, чем просто «продолжение рода».

И труд священника я увидел. Молитву о Альберта, отрешенного от всего, находящегося где-то, в таинственном месте «призывания Имени». Он — предстоятель и защитник «овец» (и Агнесса значит «овца»!..). Словно Моисей на Синае, вставший между Яхве и народом и заслонивший его от уничтожения.

Как священнику примирить с Богом, отбравшим ребенка, — мать, ребенка не отдававшую, и всех, бывших, в общем-то, с матерью? На ее стороне?

Печаль священника, когда из лионской больницы донеслось: «Анна...»

Скончалась.

Не защитил овцу и овечку.

О, кто не знает недоумения обманутого ожидания, страдающая убитой надежды?

На отпевании церковь была переполнена. Всем нужно было там быть.

К концу второго тысячелетия хочется знать больше, что там и почему так.

Капитальное событие жизни.

Важнейшее, уникальное.

Дух захватывает при мысли об этом дне. По крайней мере у меня. Окончательном, бесповоротном, желанном («уже быть со Христом») и страшном («как же все это будет»). Ликующем: «все будет другим и новым!»

Может быть, дело не в словесном ответе, не в ученом объяснении, а в обнаружении «полосы понимания», «зоны ответа», куда можно «войти» и воспринять всем существом — временно-вечным нашим существом — невыразимое.

«Славная и дорогая старица мама Вера Федоровна, перебираю случаи, когда я был уверен, что смерть неминуема, когда, как говорится, я смотрел ей в лицо. Но она не состоялась».

Хочу рассказать тебе об уникальном событии: однажды я думал, что умер!

Конечно, слишком субъективное нас расхолаживает, мы ему склонны не доверять. И тем не менее расскажу тебе этот случай, в нем есть что-то радостное. Пусть он субъективный, но подлинный, мной пережитый.

Весной 1988-го, после возвращения с Афона и из Святой Земли, однажды ночью я проснулся «абсолютно легким».

Мое тело лежало внизу, на постели, а «я» был над ним, в воздухе. Спящее тело дышало, я видел поднимающуюся грудь, слышал вдохи и выдохи.

«Я умер», — была словесно выраженная мысль, с тенью вопроса в ней.

«Вот как умирают».

«Чистота, прозрачность, невесомость, блаженство!»

Так длилось мгновение. Я успел еще подумать: «Теперь — куда?»

Тело — мое бывшее, внизу, на постели — застонало и зашевелилось. Страшная сила потянула — нет, дернула — «меня» невесомого вниз, мгновенно «вложила» меня обратно в тело. И уже вся тяжесть, теснота охватили меня, я снова был в нем, в моем проснувшемся теле, мы снова стали «одно».

Сорвалось!..

Этот стон и шевеление были началом агонии? Несостоявшейся. Вероятно, агония — это судорога оставленного тела, уже «опустевшего», лишившегося «Божьего духа», души, отлетевшей в иное место? И то, что мы видим страждущим, чему сострадаем и соболезуем, — всего лишь оставленный кокон, чехол, сосуд, завершивший земное служение...»

## ЗОНА ОТВЕТА

Летом 1990 года я ждал поезда на маленькой станции парижского пригорода, многолюдной лишь утром и вечером, а в другое время пустынной.

В то время меня тревожило разделение христианства на части. Возможно ли обнаружить его причину? Не такую, конечно, которая ссылается на волю королей и пап. Это эфемерные решения загадок истории, успокоительные таблетки ума. Впрочем, если нет ничего другого... «Папский легат Гумберт и константинопольский патриарх Михаил отличались твердостью и непримиримостью характеров». И так отличились именно в 1054 году! Прокляли друг друга, обвинили в ереси, разошлись навсегда. Все ясно и просто, не правда ли?

Я ехал в Сен-Морис, в предместье Парижа на краю Венсенского леса. Там теперь больница, разместившаяся в корпусах бывших казарм. Она специализируется на травмах конечностей и реабилитации после лечения. В ней много спортсменов, иногда знаменитостей дня. И много детей, инвалидов с рождения или пораженных уже после.

Туда на лето переведена моя дочь Мария, прожившая зиму в одном из «центров реадaptации» в Шампани, около Эперне, а если быть совсем точным — в Tours-sur-Marne.

С нею мы догм не обсуждаем: эти вопросы, субтильные и непроверяемые, хороши для голов посильнее наших. А нам как быть — и что нам думать о спасении нашей души, если Маша сумела запомнить *Отче наш* наполовину? А те, которые не могут и этого... которые вообще не говорят... и вообще не шевелятся.

«Есть какое-то несоответствие между жесткостью формулировок — и Божественной Любовью. А она-то мне и нужна, она-то и должна быть в сосудах веры и религии. Она-то и есть спасение. На ее присутствие отзовется всякий тот, кто не улавливает, может быть, смысла в формулировках.

Дело, вероятно, еще серьезнее: от меня этот смысл начинает ускользать. Слово он испаряется, улечивается. Что же значит, например, непримиримость и самоуверенность сторон? Партий? Неужели с ними — Божественная Любовь, которая не ранит, не казнит, — и, однако, изменяет и устроит так, как хочет?»

Так говорила моя усталость последних лет. Преодолеваемая, конечно: усилием воли встряхнуться и отправиться дальше, сбросив изнеможение куда-то вниз, в ноги. В копилку смерти тела.

Я прогуливался по платформе станции, зажатой между двумя высокими склонами: здесь строителям железной дороги пришлось прорезать холм. Был конец июля: уже утомленное лето, пыльная тусклая листва, время донашивания плодов.

Послышавшийся легкий свист предупредил о подходе скорого поезда, и он промчался, обдав волной воздуха, стремительный, блестя вымытыми вагонами.

«Так зачем эти усилия и старания, если все ясно, формально, если мне с моей дочерью никогда не дотянуться до истин — ну, предположений — богословия? И не только до них — не постичь никогда и алфавита, никогда не встать на ноги и не пойти?»

Зачем же делать бесплодную работу? Из любой аскетики известно, что бессмысленный труд — одно из самых трудных упражнений, доступное одним лишь совершенным».

Конечно, я мог возразить моему унынию, и возражал: «наша человеческая печаль порождена недоумением при виде гибнущей гармонии наших представлений о мире. Снова вырывается из уз едва усмиренный хаос. Опять беспорядок в доме головы и сердца! Опять энтропия».

Но ведь опасен не только хаос. Маленькому порядку моей экзистенции опасен и большой порядок космоса, если ему там



не находится места. Интересно, конечно, что иногда наш интеллект словно слабее «чего-то еще». Может быть — всего нашего существа. Он долго уговаривал и утешал, и вот — обессилен. А был бодрая часть усталого целого.

В тот миг пришла помощь. (Из-за каких-то моих мыслей и чувств? Благодаря произнесенной где-то молитве? Воспоминанию обо мне?)

Это событие я описывал. Внутри меня образовалось «пространство». «Комната в груди» с неясными пределами, однако видимая открывающемуся новому зрению, второму, параллельному природному. Нужно сказать и даже подчеркнуть, что это явление не похоже на поэтическое вдохновение, — на состояние томления и неопределенности, разрешающееся вдруг полными смысла строчками.

Не это я имею в виду, говоря о новом зрении, и слухе тоже. Не символы и не образы.

В «пространстве груди» раздался голос. Настоящий голос, мужской, дошедший до слуха не через наружные уши.

#### *attention la réponse entre en gare*

«Внимание, ответ подходит к станции». Ответ. Было ясно, что ответ на сомнения, на мою печаль о дочери. Я стал искать его: написан ли он где-нибудь? Произнесет ли его какой-нибудь попутчик? И, оглянувшись, *увидел*. И понял его мгновенно, принял всем моим существом, до всякой мыслительной операции:

через станцию медленно шел товарный поезд.

Составленный из множества платформ и вагонов. Из цистерн с нефтью. И с химическими веществами. Автомобили. Шпалы. Зерно.

Его тянул за собой старый электровоз, покрытый копотью и пылью. Без рывков, с постоянным усилием. С каким-то выражением смирения и отреченности он совершал эту работу. Я вдруг почувствовал сострадание к нему, словно к товарищу, больше того, брату. Аллегоричность увиденного была налицо:

скоро я тоже прицеплю к себе несколько вагончиков, везущих жизненно важную для людей продукцию. Свои драгоценные товары для человечества:

немошь, слабость, печаль, незащитность, зависимость. Все то, что отличается от здоровой нормальной — увы, иногда самоуверенности, увы, подчас непримиримости, скажем прямо, жестокости.

*note bien il tire mais lui-même ne transporte rien*

«Он тянет, но сам не везет ничего». Над обыденностью вошла радуга смысла. Юношеские бодрость и легкость наполнили мое существо. Вот зачем мои действия. И действия столь многих. И увечность этих растущих человеческих детей. И моей дочери: и если б не ее немошь, мы были бы сегодня в других местах, среди жира и крови мирского благополучия.

\*

Смысл: то есть полезность. Вернее, целесообразность: вот связующее звено в цепи (или цепочке), нить в ткани, а еще лучше — клеточка в организме человечества. Мое страдание имеет смысл и пользу. Возьмем, например, смерть (хотя как ее взять?): ну, какой в ней смысл, какая тут польза, кому?

Каждый раз мы хотим ответа о смысле смерти, иными словами, о смысле жизни. Да или нет? Почти невозможен такой точно попадающий вопрос. Ни ответ.

«Да-или-нет» — это мышление компьютера: «истина-или-ложь», «цепь замкнута-или-разомкнута».

Вероятно, нужно искать не формулы вопроса и ответа, а зоны. Не точки, а область, куда можно войти со многих сторон, и в ней побыть, ожидая.

(Такую зону я ищу в настоящее время — апрель-май 1996 года — внимательно рассматривая события текущей жизни. Уже третий год я не знаю, где находится моя дочь, и мне больно. Нужен смысл. Или, может быть, забвение? Смысл или забвение?)

А тогда на Восточном вокзале я пересел на метро. Ближе всего к Сен-Морису оно подходит в Шарантоне, где Сена и Марна сливаются вместе.

У выхода из метро стоит церковь св. Петра, совсем не древняя, конца прошлого века, в виде типовой базилики. Тут орнамент в апсиде использует свастику. Роспись сделана в 20-х годах, когда этот эмблематический знак еще не стал одиозным.

Больница дальше. Рядом с ней церковь св. Андрея, приход Сен-Мориса. На память о военном городке вокруг территории осталась значительная стена и ров вдоль нее. Он постепенно с годами затягивается землей.

В будке возле ворот и шлагбаума сидит дежурный. Сегодня — господин Соломон. Кажется, он уроженец Антильских островов.

Соломон. Библейское всегда рядом с нами. Настоящее не лишено отзвуков и отсветов прошедших столетий. И если скорости сопоставимы, то они начинают быть заметными. Прошлое растянулось между летящим на самолете и идущим пешком.

А тут некоторые еще приезжают на велосипедах, для коих устроена стоянка под навесом. Здесь я оставляю свой рюкзак: в нем есть все для ночлега. Чтобы не возвращаться в Ганьи: денег на поезд больше нет. Да и времени жалко.

Полукруги аллей ведут ко двору, образованному фасадом и двумя флигелями. Тут еще и фонтан, и цветник. Если же огибать эти постройки справа, то дорога придет к новым корпусам Национального института реадaptации. *I.N.R.* Знакомое сокращение... (*Iesus Nazarenus Rex...*) только еще одного *I.* не хватает.

Три этажа, длинные коридоры, спальни, кабинеты и процедурные. Приспособления для малоподвижных, для лишенных конечностей. Интернат и экстернат.

Навстречу идет громко плачущая Анна: она совершает ежедневное упражнение в ортопедическом аппарате хождения. Ей десять лет.

Эта мука борьбы с непослушным телом, с разбредшимися мускулами. Заставить их исполнять функцию, несмотря на боль и крик привязанной к телу души. Конечно, есть желание вступить-ся. Сказать: «хватит». «Если так, то вообще не нужно». Но ведь...

Изменить ничего нельзя. В этой точке мира происходит именно это. В одной из точек. И происходит не самое страшное.

Мария уже заметила меня и довольно улыбается, однако своей радости до времени не обнаруживает. Потому что по дороге к ней мне еще нужно поздороваться с Бернардом, едущим в кресле, и с блаженной Надеждой (она родилась без кистей рук), и с Рашидом: он передвигается на снабженной колесами койке, лежа на животе. И, наконец:

— Здравствуй, Мари, дочь моя.

— Это мой папа! — Маша спешит представить меня. Она немного озадачена тем, что, улыбнувшись и поздоровавшись, медсестры продолжают заниматься своим делом: похоже, что они не разделяют ее восторга. Странно.

А другие дети откликаются на ее радость грустью и завистью: ей-то хорошо, а им-то каково! Есть несколько детей, к которым родители не приходят никогда. Они не во Франции. Или погибли. Или мало ли что.

Ну хорошо, будем рисовать. Этот Центр не возбраняет присутствия посторонних и даже их участия в общей жизни. Приюты, или *foyers*, бывают ревнивы и скрытны, словно можно там подсмотреть что-нибудь такое.

Часам к двум процедуры и кормление закончены. Наступают трудные часы незанятости. А тем более летом. Целые дни бывают трудны: суббота и воскресенье. И особенно праздники. Особенно тем, кого не навещают. У кого нет никого.

В самом деле, можно порисовать: есть бумага и карандаши, есть немного непослушные руки. Если они совсем не слушаются, то можно смотреть, как рисуют другие.

Или нет, сегодня играем в песок! Все-таки здорово: наложить влажного песка в голубое ведро и перевернуть его. И постучать по дну лопаткой. Маша это делает ловко. А теперь ведро...

— Только осторожно... Вот так!

Дружное восклицание восхищения. О, такая замечательно аккуратная песчаная башенка. Дитя мое, с тобою... дети мои, с вами... с вами я посещаю собственное детство. Блаженная Надежда. Всего боящаяся Софи. И девочка Орели, играющая един-

ственной рукой: она даже оставила на время своих любимых резиновых динозавров и бронтозавров, страшных, зубастых.

— Хочу к сестре Амелии, — говорит вдруг Мария. Ее проекты бывают неожиданны и иногда необязательны. Впрочем, пойти повидать сестру Амелию... почему бы и нет? Конечно, да!

Она монахиня, точнее, *religieuse*: то есть монахиня в миру. «Младшая сестра бедных»: по названию ее ордена. Дети устремляются к ней, заслышав ее голос и легкие шаги особенной монашеской походки, быстрой, летящей. Дети спешат к ней: уцепиться, повиснуть — и выбраться, может быть, из ситуации их жизни, тревожной и странной, хотя другой они и не знают. Сестра Амелия принадлежит, Впрочем, не кому-то отдельно, а всем.

Она итальянка. Ее мечта — работать в Африке. Вот уж где бедность, вот уж где нищета. Но и здесь своя бедность: и здесь интересно.

Это знакомо. Когда обнаруживается вторая чаша весов (с надписью: бессмертие; это бывает к середине жизни), то выясняется, что все положения человека имеют один и тот же вес. Один грамм, вероятно. Один миллиграмм. Хотелось бы написать об этом подробнее.

А Мария хочет рассказать сестре Амелии обо всем, подарить свой рисунок. Мы вместе, и мы дружелюбны: наш маленький драгоценный отдых. Возобновление надежды.

Не хочет ли Мария принять участие в паломничестве? Ну, об этом грандиозном проекте мы еще поговорим. А мне сестра сообщает — осторожно, щадя мое самолюбие, если оно еще есть, — что у ордена есть «банк одежды», что ей много принесят хорошего подержанного платья. Что я сказал бы, если бы мне предложили воспользоваться такой возможностью?

Ну, мы еще успеем об этом поговорить. А она тем временем приготовит мне небольшой пакет.

— Сестра Амелия, вы обращали внимание, на что намекает название этого учреждения?

— В самом деле... Об этом я не думала, но сейчас...

I.N.R. Не хватает только одной буквы *i*. Впрочем, без нее смысл гораздо шире. Вселенский.

- Мари, до свиданья.
- До свиданья, сестра.
- До скорого!

В том же году сестру Амелию перевели в Африку. В Заир. Но скоро там началось такое!

— Где твой рюкзак? — говорит Маша. — Я хочу видеть твой рюкзак!

Мимо корпусов с открытыми окнами, лицами, креслами. С горшками герани на подоконниках. С остановкой у фонтана: Маше хочется бросить камушек в воду. Одна из любимых ее игр на берегу Марны. Да и кто не любит бросать камешки в воду? Особенно плоские, чтобы они подпрыгивали?

Мимо каштановой рощицы, вернее, через нее, настолько густую, что солнце не проникает сквозь зеленую массу листвы. Похоже, что и воздух не проникает: здесь после полудня душно, как в комнате.

Маше весело: такой рюкзак! Ни на что не похожий! Во-первых, пять кармашков с пятью молниями. И кроме того, главное отделение с тесемками. Ну-ка, что тут?

Пластмассовая бутылка!

— L'eau! — говорит Маша. Вода.

Зубная щетка!

— Les dents! — весело кричит Маша. Зубы!

Ножницы! Гребешок! Ножик! (Осторожно, осторожно!)

Коробочка.

— Это что? — спрашивает Маша по-русски, нарочито про-износя «ч», словно француженка.

— Соль.

— Покажи.

— Хочешь попробовать? Да?

Ой, в самом деле соль. Маша морщится, высовывает язык, чтобы вытереть его. О рукав, например. О салфетку, всегда висящую у нее на груди.

— Это что?

— Библия.

— L'église! — соглашается Маша. («Церковь».)

— Это что?

Записная книжка, еще, кажется, молитвенник, еще какая-то книга. Куртка, шапочка, полиэтиленовая пленка (3х4 метра, если развернуть). Свитер.

— Кто купил?

Неясно, что Маша вкладывает в абстрактное понятие «куп-ли». По-видимому, для нее — это право взять понравившуюся вещь в магазине. Она думает, вероятно, что такого права у меня нет. И не очень ошибается.

— Это что?

Спальный мешок. Хлеб. Несколько яблок.

— Хочешь? Мм... нет, не особенно.

— А это что?

— Посмотри-ка сама, догадайся!

Маша сжимает пакетик в руке, поднимает глаза к небу, улыбаясь ангельски, и восклицает, словно мысль пришла ей неожиданно:

— Bonbons! (Конфеты).

— Правильно!

И если прочие предметы, подержав или коснувшись их, Маша отдает обратно, то конфеты просто откладываются в сторону: ясно, что они для нее, тут и спрашивать нечего.

Ну, еще банка с сардинками, карандаш, ручка, тюбик с клеем, веревочка... иссякает и содержимое мешка, и интерес. Пойдем дальше. Пойдем посмотрим, что за конфеты. Пакетик открыть нелегко, и еще труднее развернуть конфетную бумажку. Ничего, вместе с папой как-нибудь...

— Пойдем дальше!

Теперь — по левому полукругу аллеи, мимо той же рощицы и фонтана с ленивыми красными рыбками. Войдем через главный вход и в огромном больничном лифте поднимемся на второй этаж. Это одно из событий дня: Маша нажимает на кнопку, и лифт, вздрогнув и загудев, ползет вверх. Такая махина! Нужную кнопку надо показать и дотянуть до нее непослушную руку. На этаже — коридор, заставленный зелеными растения-

ми вдоль прозрачной стены процедурного зала. Там люди: эти крутят педали, тот сгибает и разгибает ногу с помощью планки на пружине. И морщится. Чуть дальше — дверь больничной часовни. Вероятно, выгороженная часть того же зала, теперь с престолом и цветными стеклами в окнах. Здесь немножко приторный запах недавно натертого паркета. Аккуратность, чистота. Немноголюдность.

Итак, зажжем маленькую парафиновую лампадку: это не просто и не сразу. Но зато потом весело смотреть на зеленый огонек. И в окно: отсюда виден весь двор, аллеи, ворота и часть улицы Сен-Мориса, уходящая вдаль. Кресла на колесах, гипсовые утолщения на руках и ногах. На шеях. Белая марля на голове. Больница нашей жизни.

— Пойдем дальше!

Любимая машина фраза. Но сначала она показывает на огонек: надо задуть, и она дует, и задувает-таки, наконец.

В корпусе появились лица из внешнего мира: некоторые родители приехали после работы. Дети очень внимательны к этим подробностям: папа такой-то, мама такого-то. Особенная ценность родителей — при хронической нехватке своих собственных. Особую ценность я представляю, конечно, для мальчиков: они начинают держаться ближе, подъезжают на креслах и разговаривают. Рашид, Бернар, Седрик. И немой Филипп, объясняющийся — довольно ловко — с помощью аппарата: нажимая на клавиши, можно составить фразу на полоске экрана:

**ПРИВЕТ МЕНЯ ЗОВУТ ФИЛИПП КАК ДЕЛА**

Дети, конечно, растут: тела все тяжелее. Уже и вдвоем Лисинда и Мария-Кристина едва могут переложить Зульфию с кровати в резиновую ванну. Правда, есть теперь аппарат, что-то вроде миниатюрного подъемного крана. Можно поднять, приподнять, переместить человека.

После труда мытья потрудимся за ужином. Большие окна открыты, зала столовой стала почти верандой, выходящей к цепочке деревьев и стоянке автомобилей. Еда занимает много времени, по крайней мере, у половины обитателей. Под тарел-



ку кладется резиновый кружок, если ребенок ест сам: теперь она не уедет из-под ложки в сторону, если рука слишком сильно нажмет. Салфетка на шею (салфеток — гора). Впрочем, если предписано оставаться в твердой скорлупке сидения кресла, то ставится столик на особо высоких ножках.

Детей всего около двадцати: лето. Уехали на каникулы с семьями. И еще несколько человек собираются в великое и дальнее паломничество (кстати, что это такое? Ну, путешествие). С сестрой Амелией! На пять дней! И Мария тоже едет! И я тоже! Если, конечно, найдется место\*...

Быстро едящие дети уже разъезжаются и расходятся. Несколько их отодвинулось в угол с телевизором. А мы еще доедаем кефир, и еще этот компот... Впрочем, вкусный.

Уф.

Ну, хорошо, можно теперь погулять. До ворот — и обратно.

Впереди едет на своей кровати Рашид: сам. Лежа на животе, он вращает колеса руками. Вслед за ним медсестра Лисинда толкает кресло Виргинии, а рядом с ней Кристина везет Анну. Андре — ему лет двенадцать — предпочитает идти на костылях рядом со взрослыми. И Натали тоже, держась за руку Вероники, идет, поворачиваясь всем телом, каждый шаг ее уносит немного в сторону. Франсуаза везет молчаливого, всегда погруженного в печаль Армея, рядом с ними едет самостоятельно Кристоф, его брат. Добродушный Бернар блещит своими роскошными очками; его кресло толкает Пьер, единственный медбрат, вносящий оживление в среду медсестер и немного избалованный легким успехом. Маша и я замыкаем шествие-прогулку: одетого в белое персонала, в светлое летнее и в отстиранное от всякого цвета — детей.

Разговоры, шутки и смех.

Приветствия пациентов из окон минуемых корпусов: некоторые там живут здесь долго.

Завершается день нашей жизни. Пора возвращаться в корпус I.N.R. укладываться спать, а перед этим:

— Бернар, на горшок!

---

\* Нашлось!

— Зульфия, Анна, Мария! На горшок!

Все как один. Очень важное дело! Почти начало мифа. Маша, кажется, думает, что ее помещают в больницы и приюты из-за бывающих в постели пи-пи. Из-за бывавших. Поэтому она так старается, так хочет исправиться. Успех на горшке вызывает радость, неподдельный восторг, взрыв надежды на возвращение.

Вдруг кто-то захотел: звонить по телефону домой! Ну что ж, в холле при входе есть телефон-автомат. И у кого-то есть и монета! Звонить по телефону! Звонить домой! Домой!

Общее движение увлекает и Машу: звонить! Звонить маме! Может быть, она...

К телефону образуется очередь. Пять, семь, одиннадцать... сошлись, съехались, ждут. Ждут терпеливо. И печальный черный Армель на кресле, и его брат Кристоф тоже приехали и встали в очередь, хотя их родители, кажется, не во Франции, кажется, их родителей... Печальные черные братья.

Не так-то легко набрать номер: тут еще старомодный диск. Впрочем, своего номера никто, вероятно, не знает — не помнит. Но надежда делает все препятствия несуществующими. Трубка достается наконец Бернару, и он громко в нее кричит:

— Пепе, Пепе, добрый вечер! Как дела?

Все внимательно слушают его разговор с дедушкой. Получает кусочек своего счастья и Маша.

— Мами! — кричит она, прижимая трубку к груди изо всех сил. — Мами! Это Мари! Са ва? — Ей отвечаю я, немного в сторону, немного изменив голос:

— А, это ты! Как дела? Ты где?

— А l'hôpital. (В больнице.) Ты придешь?

— Да, очень скоро, спокойной ночи, дорогая, целую тебя, до свидания.

— Au revoir, — тихо отвечает Маша. И еще слушает: не скажут ли ей что-нибудь еще. И отдает трубку Седрику: он тоже звонит домой.

Уф, такой подъем настроения требует выхода. Давайте поиграем в мяч. И Анна, и Виргиния с нами, и Бернар. Может

---

\* Иногда она произносит: l'hô-pipi-tal.

быть, ловкости нам не достает, но интерес наш не меньше, чем у детей, играющих в мяч во всем мире, в садах на зеленой подстриженной траве или на битом кирпиче пустырей.

Каждый получит этот мяч. Конечно, и Маша. О, как нелегко его бросить! Удачно взмахнула — а мяч остался в сжатой руке.

Разжала — а взмахнуть не успела, и мяч упал на колени и скатился на пол! Но все равно интересно.

Анна бросает мяч превосходно. А Бернар думает, что лучше всего держать мяч в руке. Ему кричат:

— Бросай, бросай!

Волна укладывания в постель достигла нашего конца коридора. Восемь, почти девять, десятый час.

— Ты завтра придешь? — уже беспокоится Маша. Ее соседки Зульфия и Элен внимательно слушают наш разговор.

— Приду! Пойдем гулять далеко, пойдем в Парк цветов. И бабочек: там устроен вольер для бабочек-капустниц. И есть игрушечный поезд для детей.

— Tu viens? — еще переспрашивает Мари, вслушиваясь в тон ответа. Если словами можно обмануть, то тоном голоса, там, что на самом дне...

— Приду после полудня. После обеда сразу пойдем! Спокойной ночи, моя дорогая дочь. *Отче наш...*

— ... *уже еси на небеси...*

До половины — наизусть. А затем уже как-то не совсем все, и не так уверенно. Ну, ничего, первая половина — самая важная, богословская.

В медленных летних сумерках я пошел в свою спальню. Она учредилась сама у пересечения двух аллей Венсенского леса, Saint-Louis и Tribunes. Здесь деревья, кусты и крапива спрятали уютнейший уголок. Лежащего на земле с прохожей части аллеи не видно. И даже с высоты конского крупы: параллельно аллее пролегает дорожка для всадников, и рано утром по ней проезжают конные жандармы. Их конюшни и казармы — напротив Венсенского замка.

Легкий вечерний бриз. Господь благословил это место тишиною и миром.

Ночь под светлым парижским небом. Многие соединилось тут вместе: где-то растущий дуб святого Людовика, под которым король отправлял правосудие. Древний дуб недавно посажен и еще не имеет мемориальной таблички\*. Необычные крики птиц: кажется, фламинго в зоопарке, он неподалеку. Оттуда доносится рыканье — видимо, львов. Волны мелодичного звона, словно тончайшие стеклянные сосуды или трубки ударяются друг о друга. Загадочный звон объяснился во время одной из прогулок, когда мы увидели буддийский храм. А вот зоопарк нам не очень пригодился: Мария боится больших зверей, слон привел ее в трепет. Впрочем, и крупных людей она опасается.

Независимость не имеющего ничего. Она плодоносит особенного рода наслаждением: мой дом теперь всюду, не нужно вечером возвращаться, ни торопиться утром. Весь мир стал домом.

Дитя мое, Мария, к нашим жизням приложены великие и страшные силы, цель которых нам неизвестна.

Медленно наполняясь сном, я еще думаю, что страдание Маши менее остро, чем детей, инвалидами ставших: они помнят ловкость рук и ног, утрата печалит. Лучше не иметь, чем потерять.

Как странно, что большая немощь другого подчас утешает! «Маша инвалид на 80%, но ей все-таки можно быть в сидячем положении, все-таки она жует пищу, не раня языка и губ, все-таки...»

Утешает, что твое бедствие меньше, чем несчастье другого! Даже сообщает некоторое превосходство, приглашает тебя оказать покровительство пораженному сильнее. Это открытие аббата Пьера: помоги тому, кто несчастнее тебя. Бедствием другого можно лечиться: на этом строится целое направление в психотерапии. Монашество знало это уже в IV веке. (Дорофей из Газы и его больница).

Благополучный день: благодарим Бога, что не было приступа эпилепсии (врачи говорят, что она). К этому мучению дочери я особо чувствителен.

---

\* Уже есть, уже есть: во дворе замка.

В конце концов... кто мы... зачем мы... и где мы? Что лучше: быть в космосе — или от него отделиться теплой постелью, крепкой стеной и дверью, незыблемостью повторяемости жестов физиологии.

Мне тоже дан уют, но другого рода: ты еще жив в этом мире, но ему не принадлежишь. Твоя душа уже проросла куда-то в иное. Твое счастье уже *оттуда*. Каждому свое.

Капли падали с легким шлепком на спальный мешок, я ленился проснуться, надеясь, что это роса с деревьев, почти умолял дождь — перестать, не начинаться.

И в то же мгновение вскочив, едва успел развернуть пленку (3х4 метра): ливень хлынул, да так, что вода ощутимо полилась потоком по ту сторону хоть и тонкой, но прочной стенки пленки. Кустарник и деревья гасили порывы ветра, гром же и молнии внезапной ночной грозы ничего особенного в ситуацию не вносили.

Вода проникала повсюду, и даже внутрь самого полиэтиленового кокона, — через мельчайшие протертости от камешков и веточек. Вода лилась по земле, и я начал подумывать о бегстве.

Тьма и вода, молнии и гром.

А на краю леса стоит каменная беседка, вернее, стена и крыша: два других угла покоятся на столбах. Стена, правда, не доходит до пола почти на метр, и ветер свободно гуляет по всей конструкции. Она продумана так, чтобы в ней нельзя было бы поселиться. Но можно переждать дождь.

Беседку, конечно, заливало водой. Я взлез на каменную скамью. Молния вспыхнула, и я увидел, что на ней стоят еще люди, и ближний ко мне — повернувшись лицом к стене, подставив непогоде спину.

— Са ва? — сказал я соседу. — Хочешь немного пленки?

Поколебавшись, он взял протянутый угол и держал его, наступив ногой на нижний край. И так получился занавес, превосходно защищавший нас от шквала ветра и воды.

Неистовство природы длилось.

А потом вдруг все стихло. Небо расчистилось и оказалось утренним, с зарозовевшей полоской на востоке. Люди расходи-

лись. И мой ночной знакомец — с небольшой бородой, за сорок лет, Жерар, — надел рюкзак и ушел в сторону леса.

Свежесть влажной листвы и земли.

Я вернулся на место ночлега и затем, перейдя начало Национальной дороги № 34, оказался на территории новых посадок, широких аллей с конскими тропами. Аллеи сходятся к большому кругу из кустов роз; от него хорошо видно постепенное снижение местности к замку и Парижу на горизонте.

Белесая башня донжона и крутая крыша церкви. И так далеко видно. И так тихо. Еле-еле доносится гул кольцевой дороги, Периферика.

Еще нет никого.

Некуда спешить на рассвете.

Блаженное время. За эти годы отвердели привычки: чтение одних и тех же молитв, во-первых. Как образ неизменности. Якорь. Затем несколько отрывков из Книги. Чтобы помнить о преходящести всего видимого, даже когда-то священного, даже заветов и клятв.

И бывает, что придет ощущение всем сердцем — нет, больше, всем существом, душой и плотью вместе — ощущение радикальности события смерти, его величия, его несравнимости ни с чем.

«Глядя оттуда» — как мельчают мгновенно происшествия в бедном видимом мире. Ни успехи, ни скорби, — ничто не выдерживает приложения этого масштаба.

Сегодня еще немного истории: тут древнее место Франции, хотя и не очень древние постройки.

Круг кустов красных роз.

Пойти побродить по брусчатке, поросшей травой, мхом.

Недалеко от казарм и конюшен я вижу Жерара. Он затракает. И заглядывает одновременно в какую-то книгу. Мы ведь знакомы? Навстречу он не спешит, но разговаривать не отказывается. Он переносит меня вежливо и терпеливо. Из кратких ответов что-то складывается: около десяти лет тому назад имело место событие. Очень важное. Сказать прямо — откровение. Он раздал имущество, свою часть родительского наследства отдал сестре. С нею у него договор: каждый месяц

она выдает ему небольшое пособие, на еду и на стирку-мытьё. Зимой он ночует в ночлежке на улице Шато де Рантьее, не так далеко отсюда. Летом живет в лесу.

Читает себе Библию в разных переводах. Это самый загадочный текст. Словно пустой Ковчег Завета в храме, переполненном комментариями и переводами. Как же узнать, что — «на самом деле»? Было и есть? Археология текста не дает много: она сопряжена с критикой. Естественно. Она начинается с освещения темных сторон, это правда, но конечный результат — опять темнота. Если не помраченность.

Жерар остался сидеть на скамье.

Ров вокруг замка. Впрочем, уже давно без воды, превращенный в аккуратный газон. Над ним перекинуты мосты.

Церковь, Сент-Шапель (одна из многих, где хранились частицы Древа Креста и Венца; главная же — в Сите, неподалеку от собора Нотр-Дам). И она открыта! Вечером предполагался концерт, и теперь в нее вносили стулья.

Витражи горели в лучах поднимающегося солнца. Широкие и пространные жесты... трубы и ангелы... обнаженные тела низвергаемых в ад и ведомых в рай.

В огромных высоких окнах сиял и горел Страшный Суд.

Кажется, 16 век\*. А некоторые лица — словно раскрашенные фотографии. Это, конечно, следы реставрации прошлого века, когда увлеклись только что появившейся новинкой. Вон чей-то снимок, врезанный в диск солнца! Ну и ну.

Смешались и соединились эпохи. Смотри, смотри, с северной стороны: ангел у престола раздает белые одежды мученикам! А напротив, с юга — ангелы с серпами, они жнут созревшее поле! Это сбор урожая душ. Уже и под твое тело подсовывается лопата, чтобы швырнуть его в печь тления. Мякину — в огонь.

Скоро полдень, по местному. Пора идти в I.N.R. Там — «шестой час» новозаветного времени.

После перевода Мари из приюта в Шампани в неизвестный приют в департаменте Ёр в 1993 году я ее больше не видел и

---

\* 1558.

по сей день, 26 апреля 96-го. Попытки найти ее натолкнулись на молчание. На советы знакомых действовать «через прокуратуру».

Ну вот, скучное человеческое правосудие. Как же быть с неисповедимой волей Творца... в чем она, где она... неужели она уступила теперь место маленьким поступкам и мыслям людей, их скучной зависти и страхам? Или смысл происходящего гораздо дальше, — это не второе и не третье звено причинности, а сотое/энное?

18 мая Марии исполняется 20 лет. Следующие странички — почти дневник оставшихся трех недель. Может быть, так образуются искомая

### *Зона ответа*

27 апреля, сбб. Автобус довез меня до Ножана, расположенного на краю Венсенского леса. Я пошел к нему, чтобы выйти к Сен-Морису кратчайшей дорогой. Меня окликнули из автомобиля. То была Франсуаза, из ассоциации гидов Нотр-Дам, в которой я тоже записан. Оказывается, она живет здесь, рядом, возвращается с покупками, и — если я не тороплюсь — она приглашает меня позавтракать в полдень вместе с ними.

Дружественный и сердечный тон. Муж Анри и 20-летний сын Лоран. Есть еще дочь — 30-летняя Патрисия. И еще был ребенок — первенец Марк, умерший двадцатилетним. Сейчас ему было бы 32.

Он родился инвалидом. Правда, сначала в это не верили. Вот он, улыбающийся, на фотографиях, вместе со счастливой матерью. Я слышу внутренний отклик на похожесть судеб моей дочери — и этого мальчика; на эту связь между целью моей сегодняшней поездки — и неожиданной встречей с его семьей. С историей их сына.

Когда Марку исполнилось 20 лет, он был переведен в приют в Бельгии, во Франции для его возраста не нашлось свободного места. Там он вскоре скончался.

Он продолжает жить в своей семье: «Ему было бы 32 года...»



Нужно ли распространить на Машу это сходство двух жизней? Может быть, она умирает, а я ничего и не знаю? Уже умерла?.. Я был встревожен и опечален.

Франсуаза отвезла меня в Сен-Морис на автомобиле.

Малолюдность корпуса I.N.R. Покой и отдых субботы. При входе ожидают каких-нибудь встреч две девочки на креслах, две Сабрины. И Седрик такого же возраста.

Далекий плач в глубине бесконечного коридора.

Франсуаза отправилась расклеивать объявления о благотворительном концерте в Сент-Шапель, в церкви замка. Организуемом «Белыми бабочками Венсенна»: это ассоциация, заботящаяся об умственно отсталых детях. И о взрослых тоже — о тех, которым удастся вырасти.

Достался и мне листик с объявлением.

Мимо аллеи святого Людовика. О, как все изменилось за пять и шесть лет... Моя спальня заросла ежевикой, крапивой.

Через множество гуляющих, играющих. Пускающих змеев. Дремлющих на солнце.

Розы еще не распустились.

Иссиня-черная крыша церкви, ее белые стены и остроколенные башенки пинаклей. Седой донжон. Сент-Шапель оказалась закрытой; миновали часы организованных посещений. Впрочем, витраж с Раздачей белых одежд виден и снаружи, с северной стороны хоров. Я пошел посмотреть.

И опять эта брусчатка с проросшей травкой. Опять тишина и колкие крики галок над шпилем. У меня сжимается сердце, и слезы подступают к глазам. Если б узнать мне этот секрет моей души: почему она всегда так отзывается на эту встречу с местом? Быть может, что-нибудь объяснилось бы?

Пещера La Caverne. Приготовляя ужин, копаясь в бумагах, вдруг вспомнил о знакомстве в Шалон-сюр-Сон: с адвокатом, защитившим когда-то убийцу от неминуемой гильотины. Вскоре смертная казнь во Франции была отменена.

Его-то и разыскать и попросить заняться /нрзб./.

4 мая. Концерт в Сент-Шапель Венсенского замка. Церковь полна, люди стоят вдоль стен. Витражи, гаснущие вместе с наступлением ночи. Пока идет исполнение грандиозного Реквиема Керубини. Хор, стоящий тремя ярусами, оркестр. И снова трубящие ангелы, и ангелы-истребители. Звезды, упавшие с неба, камень, поверженный в море, гибнущие корабли, тонущие люди. Господи, помилуй нас. Хор и оркестр, и витражи, и все вместе:

— Кирие элейсон!

И все это организовали Венсенские Белые Бабочки.

Простота жеста Алена Буржено, дирижера: после «Концерта для арфы» Генделя арфа осталась стоять, занимая место пульта. И сам дирижер вместе с другим музыкантом унес инструмент. Вероятно, немногие дирижеры смогли бы стать на мгновение рабочими сцены: слишком силен гипноз «комильфо Главного Лица». Крепки марионеточные нитки Роли.

Но вот, есть же свободные люди.

Прозвучала нота, не предусмотренная партитурой концерта. Исполняемого в пользу умственно отсталых. «Малых сих».

8 мая. Бомбардировка моего водосборника моими же дровами. Ее произвел какой-то прохожий в разноцветном спортивном костюме. Это событие стоит упомянуть, поскольку сегодня — годовщина окончания Второй Мировой. Вечером — в семье Франсуа В., давних знакомых, друзей. Неожиданный разговор о Галилее. О его неловкости и заносчивости, неумении повести дело, вовремя уступить. В общем, сам виноват.

Мне и прежде казалось, что процесс Галилея продолжается. Как и война протестантов и католиков.

Это, между прочим, довод в пользу историчности евангельских событий: время от времени конфликты той эпохи проступают вокруг нас. Хотя распределение ролей бывает совершенно иным, неожиданным и парадоксальным. В деле Галилея Папа был, по-видимому, первосвященником и Пилатом вместе, кардинал Беллармин — Никодимом, и так д.

Но кто мог бы провести границу между волей Бога — и волей людей, между откровением — и человеческим знанием? При приближении к ней она расплывается. Казалось бы, эти разногласия и сама проблема должны сниматься догматом о двух природах Христа, неразделимых и неслиянных. Божественной и человеческой.

В. тоже ничего не знают о местонахождении Марии, ни о ее состоянии.

Их семья — маленькое чудо: девять детей! И уже начинает очерчиваться продолжение: старшая дочь, очевидно, отделяется в самостоятельную жизнь.

«Кому дано, тому еще прибавится, — говорит Евангелие. — А кому не дано, у того отнимется и то, что думает иметь». Первую половину этого изречения я вспоминаю, глядя на чудесных детей В., — и к ним еще присоединяются дети соседей, и товарищи по школе, и дети из их прихода св. Августина. Вторая часть изречения — очевидно, для меня, потерявшего следы единственной дочери-инвалида.

9 мая. После многих хождений и ожиданий получил вид на жительство до 2005 года. Случайно по радио — интервью с молодыми москвичами на пл. Маяковского (там тоже праздник окончания войны):

— Пришли мы сюда пивка попить, повеселиться, погулять...

Боже, как их жалко, как всех нас жалко с нашим пивком и цепляньем друг за друга.

11 мая. Столько моего прошлого в моем настоящем. Кажется, что жизнь — это путешествие по кольцевой дороге, и среди незнакомого и перемен я кое-что вдруг узнаю.

Отстойник памяти: прошлое гуще настоящего.

*Le 12 mai. La généralisation impose une attitude type, avec ses jamais et toujours. D'où sortent des préjugés, des rigidités,*

des idéologies. Et pourtant, généraliser, c'est l'essentiel de l'activité de l'esprit.

L'affaire Galilée contient une possibilité de réconciliation. S'il dit, 'Et pourtant, elle tourne!' on répondra calmement avec un sourire : lui aussi, il tourne (le soleil) Si l'Eglise insistait avec acharnement sur ce point c'est pour préserver 'le vrai' de notre vision du monde. Mais, curieusement, un historien de l'Eglise préfère d'attaquer l'évidence même et écrit, '*Galilée n'a pas été inquiété*'. Dommage. Son angoisse, son malheur, sa folle espoir, faut-il chercher à les gommer ?

Трогательная комичность парадных портретов 17, 18 веков. Даже еще и 19-го.

Птичья пестрота костюма.

Отставленная в сторону нога в белом чулке.

Надменный поворот головы.

Казалось, так будет всегда.

Хотя, казалось бы, известно из истории о прекращении многих династий власти. «Но ведь то они, те, а теперь я, я...»

13 мая. Трилогия о Марии. I. Труды Марии. Ее самый счастливый день: в 1992 г. мама и папа приехали в приют в Турсюр-Марн, и потом все вместе оттуда уехали. Это ликование, восторг, счастье 16-летней Маши! Не только ее увозили, как она думала, из приюта, но и ее любимые родители воссоединились.

II. Зона ответа (читаемая в сию минуту).

III. «Уходи ты первый». Последнее свидание с дочерью в феврале 93-го.

И возвращение к событиям 80-х: Маша утонула (сент. 84); поездка в Фатиму и «дорожка покаяния» (триста метров пройти на коленях); спуск с Пиреней к Лурду, мимо атомной электростанции (начало темы предчувствия Чернобыля, 26.4.86).

Результаты? Уже те, что эти усилия (поездка в Фатиму и Лурд) вспоминаются как события жизни.

Мы помним особенно ярко времена интенсивной надежды: это время свободы.

И в то же время — растительность и инстинктивность (травянистость и животность) человека: о, бедный я, бедный! Владение неизвестно кого. О, история человечества — это история стараний увеличить расстояние между импульсом и поступком, и заполнить эту полосу моралью, законом, философией, обычаями. Теперь еще и наукой, и политикой.

13 мая. Богослужение в Американском соборе в память умерших от *спида*. Чтение о добром Самарянине: о жертве разбойников. Среди жертв этой болезни я знаю и десятилетнего ребенка, заразившегося от матери, уже умершей. Он ведь не причем, и Библия говорит, что дети за родителей не отвечают, а вот ведь... (странно вспомнилось, что эта формула была лозунгом в сталинское время; словно тирану пришла на память учеба в семинарии).

Болезни века и их загадочные названия. *Séro+* — анаграмма *eros*;

Русский *спид* — по-английски *скорость*; *aids* — «[он] помогает». И эти споры о приоритете открытия, и эта лихорадка исследователей и врачей, и эти миллионы долларов и тысячи мертвых... обличающая болезнь, обнаруживающая половые органы, их «правильное» или «неправильное» употребление.

Перед смертью от *спида* — сильное страдание больного от холода, замерзание человека. Медленная остановка его. Прекращение.

Мое новое состояние, которое я назвал бы «непроходимостью мысли». Сонливость при чтении, как если бы то было следствием перенасыщенности внимания и памяти. И верно, я не жду больше ничего «принципиально нового» от чтения. Теперь все какое-то нескончаемое уточнение деталей. И многие детали его не выдерживают: эти все предположения, заимствованные и добавленные для полноты и законченности.

Увы, наше знание, увы, мое знание — исчезающее, словно роса, словно нежный туман. И опять остается прозрачное стекло и тьма космоса за ним (образ и переживание в мои 18 лет).

Опереться на размышление другого: просто идти по проторенной тропинке. Это отдых.

17 мая. В возрасте двух лет Маша едет в Грецию. Ирина и я, Маша, мы все вместе оказываемся в блаженной Фуникунде, где нас охватывает ощущение счастья без всякой видимой причины. Оттуда мы приезжаем в Дельфы, в место какого-то «братства», о котором осталась память в названии. Дельфийские игры, пифия, «познай самого себя». Дельфийский стадион. Вот что-то написано на пожелтевшем листке.

Тут проходили атлеты  
тяжелой походкой победителей  
и побежденных  
с венками из лавра на голове  
символ бессмертия  
вечной славы  
вечная память  
веет легкий утренний ветер  
мелкая травка и мох на камне сидений  
ни атлетов ни зрителей ни пифий  
эта дверь в вечность закрылась

Впрочем, вид и дали здесь хороши. Пифии поверили: Сократ, Эдип, Софокл, Фрейд, мои знакомые К. и Т. ... Отсюда изошло новое духовенство бессознательного. Древнее лекарство в новейшей упаковке: выслушать и не осудить.

О, моя бедная свобода человека, она же и западня.

18 мая 96. La Cavegne. По святцам, сегодня память мученицы Ирины. И в этот день двадцать лет тому назад в клинике Режанс в Мезон-Альфоре, на берегу Сены и Марны, я поднимался по лестнице.

Как до изнеможения долго я ехал на метро, извещенный о рождении дочери, Марии, ребенка. Очевидно, я тоже рождался в эти минуты: опять, в который раз. В дребезжащем вагоне

метро рождался отец. И, как и Мария, отец родился недоношенным. Должно быть, я не имел в себе зародыша «отцовства»: выросший без отца, я не знал, что это такое, что значит им быть: я никогда не видел его вблизи.

Впрочем, видел и даже провел один день вместе, в возрасте семи лет. Один день.

Семимесячная Маша была немедленно крещена: в клинике работала Наташа, сестра диакона Semenoff'a, сразу позволившая священнику Полю Пуарье. Опасались, что младенец не выживет.

Может быть, в этот момент малюсенькое существо взяло меня, 31-летнего, на буксир, стало моим мистическим локомотивом?

Признаться, мое новое положение усилило мои страхи: я определенно не справлялся ни с чем. Комната на чердаке не годилась, заработка на квартиру не хватало. Бесконечный упор без отдачи. Отягощенный московскими привычками. Впрочем, самое трудное, причина всех бед было отсутствие ясного представления, что ценнее чего и что же теперь делать. Самыми главными хотели быть, как это обычно в момент кризиса, природные инстинкты и их социальные продолжения. Духовный Египет казался единственной страной в мире. Ни Моисея, ни Христа.

Крохотная Мария переведена в соседний городок Кретей в больницу и положена в «инкубатор». Ну, кажется, все устраивается, ну, обойдется, ничего! И, кажется, нас приютят в Монжероне, на «мельнице Санлиса», на реке Йер. Русские эмигранты там когда-то устроили детский дом, теперь он пустует (почти), и еще существует ассоциация. Вот и квартира: бывшая сторожка из двух помещений, и круглая башенка над ними: вот там-то все и будет хорошо.

Там, однако, болезни продолжились. Жизнь пересекала полосу несоответствий: моих представлений о себе самом — и представлений обо мне окружающих. «Это они виноваты, окружающие: не ценят, как должно». Да и французский язык не так легок, как казался в Москве. «Это он виноват... гм...» Да

и литература, оказывается, вовсе не самое лучшее средство социального продвижения: в Москве это революция, жизнь или смерть (и обожание читателей, а еще лучше — читательниц), а на Западе — ну, занятие, одно из многих, «если уж ничего другого не умеете...»

Твердая почва — хотя бы чужая — казалась песчаной ямой. Вместо цветущего райского луга — так надеялось, верилось, глядя из Москвы — навстречу высунулся экзистенциализм с его «ничего не поделаешь, попался!»

Маленький локомотив Марии меня вытаскивал. И вытаскивал бы, если бы.

Если бы вытаскивал.

Ей хотелось ползать, как и всем младенцам. Но не очень-то получалось. Я ползал вместе с ней за компанию, чтобы показать, научить. И нам бывало смешно и весело!

Мария вытягивала своего родителя — в отца. Из канавы — на ровную поверхность. Ну, еще чуть-чуть! Еще... поползем... подождем... понадеемся!

Но осенью 78-го она сильно испугалась. Во время семейной ссоры. Ничего конкретного не произошло. Только что-то в ней «закрылось». Так я пережил этот момент. И тогда-то, я думаю, она и остановилась в развитии.

Другими словами. Родителей можно представить как будущее их ребенка. Он, развиваясь, «идет» им навстречу. Они его «ждут» и все время «зовут» к себе.

Мария вдруг увидела, что ее не ждут. Вернее, «там» происходит что-то страшное. «Туда не надо и нельзя». Остановился и я: локомотив меня уже не таскил. Он ведь и не ожидал, что ему вставят в колеса палки!

И так тяжело, и все время в гору, а тут еще...

Впрочем, другие считают, что травма произошла в момент рождения, что нужно было делать кесарево сечение.

Иные расскажут иначе: одна волна подхватывает и несет, другая захлестывает и топит.



Несет спасенного, топит тонущего.

Одному — религия личного Бога, другому — религия судьбы и случая.

Да и нам — то 20, то 30, то 50 лет.

Да и страны — то Россия, то Франция, то Германия. А то и Америка.

То коммунизм, то капитализм.

То нельзя, то можно, то вредно, то обя-за-тель-но!

Время веселой весенней травы. Время ягод в кисти. Время одиноких деревьев. Время пустыни.

В юности меня очаровывали Экклезиаст и Иов. Гефсимань с ее отреченностью. И оцепенение всех после Голгофы. Готовили ли меня к будущему? Или во мне мое будущее — насаждали? Другими словами, помогли мне не умереть под лавиной и мусором, или воспользовались моей доверчивостью читателя?

Что бы такое особенное устроить сегодня в твой день рождения? Пригласить тебя, драгоценная дочь Мари-Маша, погулять по берегу Марны? Побросать камешки в воду? Пойти поесть картошки *фрит*, запивая ее кока-колой!

Мысль неплохая, хотя не оригинальная.

В приютах обычно готовится торт, и со свечками, и вообще. Всем развлечение: и обитателям, и приходящему персоналу. О, дитя мое, где ты? Уж не предстоит ли тебе путешествие в дальний приют для инвалидов старше 20 лет. Все дальше и дальше, все реже свидания. Все труднее перепривыкнуть: связь с Землей утончается необратимо, ей все легче прерваться. Последнее путешествие в твой /нрзб./.

Течение дней относит неумеющих в камыши, и их там загибает ряской и тиной. Как быть душе, которая себя не может выразить? Ведь даже и умевших, и громко кричавших, и кричащих еще, — и их тоже /нрзб./.

Крик на кресте: «Почему Ты меня оставил?» В наше время комментаторы спешат отвлечь внимание от этого места. Зама-

зять его прямой смысл, фундаментальный для человека кричащего. Потому что не он главный в истории, главный — выпивающий и закусывающий. И его криками беспокоить нельзя.

19 мая. Память Иова Многострадального. Дочь пророка Осии зовут Лорухама. «Непомилованная» в переводе. Но пока перевод не сделан, ее зовут Лорухама. Десятки поколений прошли, не узнав перевода.

Тридцать лет тому назад я думал о персонаже, о не существовавшем человеке «Мария Дементная». Почему-то он имел ко мне отношение; вплоть до того, что он, вероятно, это я сам, несмотря на женское имя. «Отстань от меня, Мария Дементная!» — любила пошутить красивая нервная В. Шесть или семь лет спустя это была уже «Марина», дочь персонажа, героя Омозололова, обреченного на смерть.

Спустя еще годы — Мария родилась у Ирины.

Спустя шесть лет, однажды я увидел, вообразил, узнал, понял, что она — образ и портрет моего состояния души. Ее инвалидность — моя внутренняя.

Потому-то я и противился операции Машинных ног в феврале 93-го: я полагал, что изменение и исправление моего духовного состояния повлечет за собой исправление психомоторики ребенка. Выздоровление. Хотя и не сразу.

До сих пор сожалею об этой операции. У нее были свои доводы, конечно: если не сделать сейчас, то потом будет поздно, мышцы затвердеют и ноги останутся скрюченными, сжатыми, а в таком состоянии трудно мыть.

Я-то сравнивал только, что «наука знает» и о чем она пока и слышать не хочет: это же мышь и — гора! И вот наука определила, что развитие Марии остановилось из-за погибших клеток мозга. Навсегда. А спустя несколько лет заметили, что нет, что эволюция продолжается, Мари запоминает новые слова, движения и ситуации. Странно: ведь этого не должно быть. Но уже некому это сказать, некого позвать, чтобы увидели. Уж нет сил еще к кому-нибудь обращаться.

Ну, хорошо, уже идет вечер, уже скоро поползет в долине Марны голубоватый туман. И накроет ночь наши усталые головы и сердца.

В 64-65 годах со странной тревогой и печалью я разбирал стихотворение Элиота 'Marina' (1930). Спустя годы оно вдруг вспомнилось, да еще как! Словно моя жизнь цитировала его, причем именно в виде событий. Или было пророчеством обо мне и о дочери, абсолютно темным тогда? Волновавшим уже, но не поддававшимся рассудку? Впрочем, не свойство ли это всякого пророчества.

What images return

*O my daughter.*

Что за образы возвращаются,

О моя дочь.

(...) *Those who sharpen the tooth of the dog, meaning / Death*  
клык собаки, означающий смерть.

(Девочка с собакой рядом с Машей, и тоже по имени *Маша*, по фамилии *Клыкова*, постепенно замещающая ее, природную дочь, в сердце ее матери.)

(*клык собаки обернулся собакой Марии Клыковой*)

*let me*

позволь мне

*Resign my life for this life, my speech for that unspoken*

Отдать мою жизнь за эту, мою речь за несказанное

*and woodthrush calling through the fog*

И певчий дрозд зовущий в тумане

*My daughter.*

Мою дочь.

«Отец и дочь» и «корабль и море»; «отец» становится «кораблем», а дочь Марина — морским пейзажем. Дочь, умершая

во время путешествия. Растворение человеческих отношений в природных. Творение мира, население его человеком. Собой, в первую очередь.

«О, позволь мне отдать мою жизнь за эту...»

На ней ведь нет никакой вины. О, позволь.

\*

Кажется, зона ответа незаполнима.

Из нее уже нельзя выйти.

Оставить место «для заметок» другому. Отдать ему написанное: не донесется ли уточнение через него? Через его хмыканье, удивление, радость, сострадание. Через его насмешку?

Через ровное дыхание засыпающего читателя. Через его сны.

Сижу и пишу в Нотр-Дам. У алтаря горят семь свечей в напоминание о семи монахах-траппистах, взятых заложниками в Алжире. Сейчас стало известно, что они убиты 21 мая.

## ЭПИЛОГ

9 сентября 1996: в сегодняшней почте — письмо с адресом и телефоном приюта L'Arche (Ковчег): здесь находится «Мадемуазель Мари Боков...» Городок Вернёй-сюр-Авр, недалеко от знаменитого Дрё. На карте помечен и не известный мне «монастырь св. Николая» в том же местечке. Почтовый штемпель от 28 августа (Успенье). Почти десять дней письмо блуждало в недрах почты.

Сегодня — годовщина гибели о. Александра Меня. Еще письмо — от Данилы Петрова-Ляндо из Москвы. Он говорит о предстоящих днях памяти отца Меня. И вложил в конверт русскую книжечку Клодеа.

Адрес дочери и мой адрес на конверте написаны рукою ее матери.

Твоею рукой, Господи.

## БАТ КОЛ

Мое пребывание в Арле в январе 88-го было коротким, однако настолько насыщенным, что сегодня оно кажется посещением конца света. Если вы не фундаменталисты, то вы согласитесь, что страшный суд — это состояние души или части мира, а не финальный акт. Страшный суд прячется, так сказать, в мире, он вдруг всплывает на поверхность и становится видим. Например, Чернобыль: было замечено, что название места значит «полынь»; легко предположить, что это та самая «звезда полынь» Откровения (8,11), отравляющая третью часть вод. Между прочим, полынь по-гречески *абсент*, и я думал до Чернобыля, что речь идет о знаменитом алкоголе, сводившем людей с ума в начале XX века и в конце концов запрещенном, несмотря на то, что Пикассо извлек из него замечательных «Любительниц абсента». Все-таки жалость к людям — если не сочувствие к предпринимателям, чьи рабочие попадали под влияние этого напитка и снижали производительность, — взяла верх над вкусом и жаждой. И это трогательно в наш денежно-чувственный век.

Кроме общего фона есть, конечно, и личные причины. Мои личные, хотя поразительно те же самые в жизни других. Одиночество, например, которое я ощутил сегодня, когда моя знакомая не смогла пойти со мною в кино. Она помыслила, вероятно, по-современному — если уж в кино, то непременно и... тогда как у нее, кажется, были на этот счет другие планы. Нет-нет, уверяю вас, меня сегодня вполне устроило бы и просто поболтать. Но я не смог правильно объясниться. Впрочем,

может статься, я выразился правильно, и симпатичная одинокая женщина обиделась: как! Всего-навсего поболтать?

Ввиду всех этих сложностей социальной жизни я просто немею. Буквально ничего не могу сказать. А ведь как раз и нужно говорить, чтобы рассеялись недоумения и чтобы воссияла правда сердца.

Простите мне такой импрессионизм. Он ведь хорош в живописи Клода Моне (хотя я предпочитаю Марке), а не в этой книге очерков жизни, где я собираю случаи, когда Провидение писало мною словно пером. Может быть, и сейчас оно мною пишет, если уж быть до конца верующим. И ставит мной кляксы.

Не естественно ли живущему иметь минуты слабости, покинутости, отчаяния? Многократное эхо «Боже, почему ты меня оставил?» на кресте, хотя катехизис и объясняет, что это-де не всерьез, что это чтобы человеческая природа Христа обнаружила свой предел и решилась на прыжок к божественному.

Друзья мои, сегодня катехизис кажется мне аспирином для больного раком. Океан печали подступал ко мне уже третий день, и вот — захлестнул. Напрасно я открываю ветхое письмо, начинающееся словами «Мой дорогой». Я целую его — и чувствую руку, его написавшую. И музыка приходит на помощь, та самая: вступление и хор из «Страстей по Матфею». Ее мы слушали вместе, замороженные, в затерянном среди снегов уголке Москвы, зная, что это пророчество о нашей жизни. И вот — о, вот! — спустя столько лет жасминовая прохлада ее руки касается моего лица. Утешение в страстную пятницу 2002 года.

А в январе 88-го я пришел ночью в Салон-ан-Прованс. Главная улица тонула в полумраке. Да в провинции и не нужно много света: ночью здесь никого и нигде. Поиском места ночлега я не стал затрудняться: козырек над входом в лицей обещал защитить от дождя, если б тот начался. Большая картонная коробка из-под холодильника рядом с выставленными мусорными бачками вызвала чувство домашнего уюта: она сделана из толстого гофрированного картона, непробиваемого для холода, поднимающегося от земли. Как-никак, а в наш ин-

дустриальный век и тем более в развитой европейской стране нищие пользуются удобным материалом.

Спальный мешок нежно принял мое усталое тело, и я заснул моментально. Вероятно, так спят звери: глубоко и отдыхая, но слух их не дремлет и улавливает малейшую угрозу опасности. Меня разбудили далекие удары падающих предметов, легкое трясение почвы. Непонятный ночной шум приближался, но я остался лежать, полагая, что надежно скрыт тенью козырька над входом.

А потом я увидел. Два силуэта стремительно двигались вдоль тротуара. Сильным толчком человек опрокинул мусорный бак и судорожно разбрасывал отбросы, что-то ища. Ах, вот что: он поднес руку ко рту, и я услышал хруст грызлого яблока. И другой бак с грохотом падал, вываливая содержимое, и третий. Люди искали съедобное.

Надеюсь, вы согласитесь, что их метод был в корне порочен: ночью, при плохом освещении, в безумии голода можно ли найти что-нибудь ценное? Они быстро удалялись, почти бежали.

Что поделаешь, не все переносят голод спокойно. Некоторые не могут вытерпеть и дня без пищи. С улыбкой я вспомнил двух товарищей юности, диссидентов, которые решили проверить однажды, как их организм отнесется к лишениям в лагере или как, например, он себя поведет, если понадобится держать голодовку протеста? Вечером первого же дня они сдались, ошеломленные невозможностью не есть, униженные силой его несогласия с волей. Невзирая на любовь к свободе и на готовность жертвовать жизнью ради нее! Нет, желудок ничем жертвовать не собирался, вернее, он-то и был готов пожертвовать всеми идеалами ради кусочка хлеба. Вот кто палач и тюремщик нашей вечной души. Вот кто мотор цивилизации.

Есть, конечно, люди, которые подчиняют себе тело. Йоги, например, аскеты или желающие иметь стройную фигуру женщины. А большинство — нет, не могут. Молчаливое большинство кушает.

Было еще темно, когда я поднялся: меня разбудила машина мусорщиков. В моем рюкзаке было немного хлеба, я его ел

на ходу, чтобы не терять времени. В окрестностях Тараскона меня обрадовал вид яблоневого плантации. Известный сорт золотой налив, или *гольден*. На безлистных ветках там и тут висели плоды, немного сморщенные, но абсолютно целые. Фермер возился у трактора. Господин, нельзя ли собрать немного ваших яблок? Он окинул меня быстрым взором и кивнул. И я собрал толику прошлогоднего урожая, килограммов пять-шесть. Нет, семь-восемь. Нет, девять-десять. Жадничая, конечно, но полагая, что половину я съем быстро и на ходу, долго нести не придется всю эту тяжесть.

Вообще интересно, что нехватка еды начинает сказываться на ходьбе. Даже если к голоду притерпелся, ноги идут все медленнее, хотя бы усталость и не чувствовалась. И тогда самое малое количество пищи — оливка, например, — вдруг вызывает прилив энергии, которой хватает на два-три километра.

В Арле я уже был однажды за семь лет до того. И тогда я был гостем и другом Блена, приехавшим с веселыми приятелями на автомобиле из Авиньона, заполненного публикой по случаю фестиваля. Ну как же, из города римского Папы в город Ван Гога и римского цирка. Нельзя не пройти по следам гения и страдальца, давшего благодаря мукам души культурный продукт высокого качества. Такую возможность для капиталовложений.

Не странно ли: словно тогда был другой человек, не я. Дерзавший говорить громко, и громко смеяться. Обнимавший красивую К., возлюбленную мою, за которой охотились мои же приятели, шумно дышавшие от избыточной мясной пищи и вождения. Жар лета, горячие камни, горячие руки, а уж головы! Мы мчались в автомобиле, и за рулем сидел любитель быстрой езды Жан, исключенный из компартии за вольнодумство, французской, конечно. Долой! Будем мчаться свободно! Пусть трусливые буржуа жмутся к обочине дороги (и истории), уступая нам путь! Мелкие буржуа, конечно; с крупными лучше дружить.

Спустя восемь лет холодный ветер дул мне в лицо. Небо нависало и грозило дождем. Притупившийся голод стоял во всем теле, привычный, забежавший вперед на десятки — нет, сотни — обедов и ужинов. Яблоки, как ни странно, кончились, и я



жалел о плодах, оставшихся позади на плантации молчаливого фермера: они сгниют, пропадут, вкусные золотые плоды! Но нас разделили шесть часов упорной ходьбы.

Колокол ударил к вечерней мессе. Пойти побыть в помещении, вместе с другими, с людьми других судеб. Просто с людьми. И даже испытать миг общения, когда соседи пожимают руки друг другу и говорят: «Мир Христов». Я его ждал. Но стоявшие передо мною не обернулись, а до соседней половины — за проходом посередине — я не успевал дойти. Да и вид у меня: вытертая до блеска пуховая куртка, и сам я раздутый из-за многих свитеров и брюк. Нет уж, лучше стоять смирно. Так получилось: и в этот раз не досталось рукопожатия. Ну, я привык. И не сразу понял, чего хочет от меня молодой человек, совсем юный, может быть, лет семнадцати: он стоял передо мной и протягивал руку неторопливо, глядя серьезно мне прямо в глаза.

Я был взволнован. В отрешенности жизни, в отделенности от всего — близких и дальних, теплого помещения и легкодоступной еды — такой жест казался подарком с неба.

— А вы попробуйте ночевать в спортивном центре, — неожиданно сказала пожилая женщина, задержавшись возле меня на мгновение при выходе из церкви (св. Трофима, если не ошибаюсь). — Там теперь ночуют бомжи... ну, вообще нуждающиеся... — Она нашла термин помягче.

Центр находился за железной дорогой. Несколько капель упали на мостовую, и дул странный ветер, налетавший шквалами с разных сторон, словно искавший прореху в одежде. Замигал красный светофор, и опустился шлагбаум. Автомобили начали скапливаться в длинную очередь, и я подумал, что обстоятельства предвещают мне неудачу: места не будет, все занято, или еще что-нибудь. Обстоятельства часто говорят заранее о результатах.

Спортивный центр был пустынен. Нигде ни души, только лужицы воды на асфальте, мешочки из супермаркета, принесенные ветром и прилипшие к металлической сетке ограды. Светились квадратики — видимо, окна — огромного странного сооружения с плавущими формами углов, с овальной крышей. Доска расписаний: открыто с... до... Теннисный корт.

Я открыл дверь. В меня ударил электрический свет, смешанный шум радио и голосов, запахи пищи. Человек в морской тельняшке жарил на плитке кусок мяса. Он не обернулся на звук хлопнувшей двери, весь поглощенный бульканьем и шипением жира, стоя наготове с ножом — и не столовым, а сразу увидел, а боевым, с этим характерным утолщением спинки, придающим лезвию смертельную жесткость.

Множество кроватей, поставленных рядами. Лежащие люди, накрывшиеся с головой, их замечаешь, присмотревшись. По-видимому, свет не гасится здесь никогда. Беседующие двое сидят на кроватях свесив ноги. И они не повернули головы при моем появлении. И молчаливые четверо, играющие в карты на тумбочке, поставленной в проходе. Не откликнулся на мое появление и человек у стены, лежавший на спине с журналом и карандашом в руке, вероятно, местный интеллектуал. Что он читает... и время от времени пишет... не крестословица ли... ну, конечно. На стене над его головой — огромная фотография-плакат обнаженной хохочущей женщины, раскинувшей ноги, словно приглашающей повеселиться в ее компании. А вот дальше еще плакат: знаменитый футболист Джек. И снова женщина: стоящая на четвереньках, выдвинувшая круглый задик навстречу униженным и обделенным. И еще несколько. Кислый запах давно не стиранной одежды. Редко моемых тел.

Однако натоплено. И это главный аргумент за то, чтобы терпеть все остальное. И мое тело, теперь не скрываясь, радуется предстоящему отдыху. Горизонтальной поверхности мягкой и теплой. Забыть всё и заснуть. Назавтра всё станет другим. И многих забот и опасений уже не будет: исчезнут неизвестно куда. Это называют в Ватикане «фактором времени». Другими словами (и кстати, словами молитвы), «всё проходит».

Всего около сорока ночующих. И есть еще много свободных кроватей, голых железных, а далее, у стены корта, свалена куча одеял, и место пусто. И воздуха много: метров десять до потолка с закругленными углами. И на последней кровати заселеного места, куда я прошел со своим рюкзаком, сидел человек с сэндвичем в руках. Он ел его крайне медленно. Настолько, что и спустя время, когда я снова взглянул на него, он сидел в

той же позе собирающегося откусить. Всмотревшись, я понял: он спал. Сидя на кровати и начав есть, заснул. Не раздеваясь. Шея была замотана шарфом, и на нем поблескивали точки в ярком свете спортивных софитов. Они шевелились. Вши.

Я почувствовал отвращение. Странно: я так давно его не испытывал. Так давно привык ко всему. Так давно.

И вот, нельзя остаться в тепле: меня выгоняла брезгливость. Несмотря на доводы разума: ничто не мешает мне установить мое ложе подальше, шагах в десяти. Но не чересчур далеко, разумеется, чтобы это не прозвучало вызовом обществу, социология предупреждает нас о такой опасности. Человеческая солидарность обернется ненавистью к отделившемуся. А сами вши вряд ли одолеют за одну ночь такую дистанцию, если их вдруг привлечет запах моего вкусного тела.

Нужно уйти. Опять мне вредило чересчур живое воображение: ползание насекомых под мышками, по спине, в бороде, укусы. О, если б я знал, что бедствие вшивости настигнет меня три года спустя совсем при других обстоятельствах! Главная неприятность от них — это, вы согласитесь, чесотка. Смешное желание почесаться в укушенном месте, которое будит, лишает сна, ведет к изнеможению. А брезгливости почему-то не стало. Впрочем, о вшах как-нибудь в другое время и в другом тексте (я посвящу его Ролану Барту).

Пожалуй, лучше уйти. Наверняка у этих людей сложились свои отношения. Есть уже, вероятно, лидеры, соперники. Группы. И как они относятся к новичкам? Меня вовсе не усыпило нарочитое равнодушие к моему приходу. Да я и поймал оценивающий взгляд вон того крепкого мужчины, слушавшего, казалось бы, радио не отрываясь. Он не успел отвести глаза.

Небо меня помещало в откровенно рискованные ситуации, и я знал, что отсутствие всякого страха — это знак его стопроцентной защиты. Позволяющей приблизиться к чему угодно без всякого трепета. К крови и гною. Когда исчезает всякое понятие «нечистого». Ибо, в противность человеку, божественное нечистоты не боится. «Чистому всё чисто», говорит Павел.

Человеку хотелось уйти. Мимо кроватей с неподвижными силуэтами лежащих, там и тут стоящих на полу бутылок.

Задумчиво штопающего свои брюки мужчины с волосатыми ногами. И другого, на мгновение заинтересовавшего: он сидел перед своей кроватью на стуле и отрывал от листа газеты кусочки. И клал их на одеяло в каком-то только ему известном порядке. Он взглянул на меня, улыбаясь. Его позабавила моя немая озадаченность. Или обрадовало внимание к его работе.

Свежий холодный ветер ударил мне в лицо, я почувствовал облегчение и радость. Вышел из пограничной между человечеством и небытием зоны. Там, где дарвинисты переглядываются, будто заговорщики, а святой Франциск воздевает к небу руки. Ветер на улице свежий, и это прекрасно. А вот то, что он холодный... Сделав шагов сто, я начал жалеть о тепле, оставленном позади. И все-таки звуки жизни, разговоры, возможность поздороваться. И я сам виноват: почему не попробовать завязать отношения? Люди повсюду люди. Нерешительность — одна из трудностей моей жизни. К. любила мне говорить, что недаром мой знак зодиака — рак, который всегда пятится, и цитировала «Бестиарий» Аполлинера. И смеялась звонко, как только она умела. Да, один Бог может тут помочь.

Вновь я пришел к переезду, за которым начинались дома, и дорога расширялась в маленькую площадь. На тротуаре стояли черные мешки в ожидании проворных мусорщиков. И вдруг. Вдруг меня охватило знакомое, не слишком частое состояние, несущее радость и трепет. Присутствие — одно из его названий. О нем я рассказывал устно и на бумаге, незнакомым людям и друзьям. И почти всегда меня едва понимали. Это убеждает меня в редкости, если не в исключительности явления.

Голос прозвучал в моем сознании. Словно то была мысль, неожиданно пришедшая в голову. Это случается со многими, хотя и нельзя сказать, что со всеми. Бывают ведь и совсем странные мысли, захватывающе оригинальные или, напротив, абсурдные, жуткие.

Позднее я прочитал в одной книге, что мистикам это явление известно, что оно имело место в жизни Жанны д'Арк и тысяч других. Еврейские мистики называли его *бат кол*. Голос неба, голос Бога. Голос ноосферы, если хотите. Голос кол-

лективного сознания, сказал мне один профессор. Постепенно скопились объяснения подобных случаев.

В Арле я услышал странную вещь. Голос сказал:

*открой мешок*

Не странное ли предложение, если с неба? Всего-навсего развязать мусорный мешок?

*открой мешок*

Ничего не поделаешь. И потом, все-таки приятно, что кто-то ко мне обратился, может быть, Кто-то. Кто-то меня видит и вникает в мою жизнь, которая, в сущности, никому не нужна. Ну, разве моей дочери. Я развязал мешок. Сверху лежали куски хлеба, точнее, куски хлебной лепешки.

*возьми и ешь*

И правда, я голоден. Вероятно, небу угодно меня накормить таким способом. Бог питает и малых птиц, а насколько же вы лучше их, говорит Господь своим ученикам. Всегда приятно, когда священный текст обретает, так сказать, буквальность. Собственно, тогда-то он и наполняется содержанием, тогда исчезают скучная фигуральность и символизм проповедников: «Евангелие говорит о насыщении пяти тысяч человек пятью хлебами, но дело в том, что нужно понимать правильно: речь здесь идет об образном, символическом изображении причастия...» И так далее. И людей в церкви все меньше. Кому не наскучит бесконечная отсылка куда-то в давние времена? А нам что? Даже маленького чудика не осталось? Одни бумажки, размноженные на ксероксе.

*возьми и ешь*

Я взял и откусил. В ту же секунду меня окружила банда подростков, взявшаяся неизвестно откуда. Человек двадцать,

быстрых и юрких. Посыпались смешки и тычки. Ну вот, попался: им захотелось играть. Они начали толкать меня, словно мяч, по кругу, и, чтобы удержаться на ногах, я должен был бегать.

Чувство растущей опасности. Непонимание, как же спастись. Мою попытку прорваться из круга между двумя маленькими подростками, почти детьми, встретил дружный смех и улюлюканье. Множество рук отшвырнули меня на середину. Эти румяные хищные лица, оскаленные крепкие зубы на смуглом лице. Белозубый смех и синегубый страх. Вдруг мальчик высокого роста — почти юноша — закричал:

— Ты взял это здесь?

Он показывал на кусок у меня в руке и на мешок из черной пленки.

— Да, да! — воскликнул я. Ну, теперь мне конец. Мало того, что в потертой одежде, заросший. Он еще и ест отбросы! Да такого убить. Выбросить больного волка, пока не заразил всю стаю. Но произошло неожиданное. Лицо подростка выразило гадливость. И властным жестом он прекратил забаву, переходившую в избиение. Все вдруг исчезли так же внезапно, как и возникли. Я стоял со своим куском и со вкусом во рту. Нет, это не был хлеб, лепешка была из гречневой муки.

Пронизывающий ветер. Водяная пыль в лицо. И необозримая глубина происшедшего. Тайна великого Голоса, спасшего меня простым жестом моей руки. Немного необычным, конечно. Построившего из подручных материалов. Из выброшенного людьми.

Услышавший Голос ждет остаток жизни одну только вещь. И ожиданием наполнены дни: увидеть Его. В мгновение, когда кончится возня миллионов, убежденных, что они никогда не умрут. Ну, соседи умирают, родители, даже сверстники, это нормально. Но не они же! Не я же!

Каков человек, таков парадокс. На краю жизни в обществе меня нельзя коснуться даже кулаком. Тогда приятно почувствовать себя неприкасаемым. Вы понимаете, конечно, что после такой школы письмо без обратного адреса — мне как божья роса? Протянутые два пальца для рукопожатия — словно манна?

Арль, город знаменитой арены. Когда-то, видите ли, римляне стояли тут гарнизоном и жили согласно своим привычкам. Здесь были львы, импортированные из Африки черной, нубийцы рабы, гладиаторы, борцы, натертые маслом спины и бицепсы.

О, как они кричали и бились насмерть! О, как выветрились с тех пор и замшели эти камни, трибуны. И ныне здесь нет никого — в этот пронизывающий холодом январский день, в эти сумерки. Здесь единственный зритель сегодня, он же актер, если можно взглянуть на него со стороны. На себя. На него. Схватить смысл этой строчки, только что написанной на странице моей жизни — мною. Вот мое место и профессия: мыслящее перо. Кто-то мной пишет, а я стараюсь понять. Вы понимаете?

Среди тысяч людей, которых я встретил — то есть тех, чьи имена я услышал и повторил — я стараюсь припомнить, кто понимал бы. Кто отозвался на мой вопрос, повернув хотя бы голову и взглянув, на секунду погрузившись в себя, согласившись принять мое наблюдение как исходную точку. Или даже тех, кто сказал бы, покачав головой: вопрос надо поставить иначе. Или даже: это неважно. А важно вот что. Вот где зарыто. Точнее, занесено. Песком времени. Торчат из этой пустыни высохшие черепа любителей корриды. Красавицы, танцевавшей перед тираном. Восковые фаланги пальцев, сжимавшие кубок с вином.

Вблизи сумрачных стен светились прозрачные стены кафе, слышались восклицания. Люди стояли при входе, мест больше не было. Ни в этом кафе, ни в соседнем. И прочие были полны. Я приблизился, наслаждаясь светом и возможным теплом — если б я оказался каким-то чудом внутри — виртуальным, как теперь говорит даже владелец моей мансарды (но в 88-м словцо еще не было так в ходу).

За столами сидели люди с разложенными перед ними таблицами. Посередине на высоком стульчике сидел человек во фраке, открытый взорам. Он что-то извлекал из мешочка и возглашал числа. На двери кафе висела афиша, извещавшая о том, что город Арль проводит чемпионат игры в лото.

— Четырнадцать! — воскликнул человек.

Игроки озабоченно склонились к таблицам, и некоторые удовлетворенно отозвались жестом или междометием. Были и просто зрители. И даже — сидел с раскрытой газетой и кружкой пива господин, непричастный ни к чему, словно вырванный из контекста. Он был похож отдаленно на... затрудняюсь сказать. Он и трубку курил.

— Семнадцать! — вскричал ведущий игру.

Я пошел дальше по улице.

— Тридцать три! — догонял меня крик.

Араль, город Ван Гога. И Гогена. Однажды я подумал, что оба художника и есть библейские Гог и Магог, ожившая цитата священного текста. В нем скрывается великий источник всего современного, бывшего когда-то будущим. Но оставим эти сложности. Тем более, когда идет игра. И как в эпоху императоров, нынешние президенты приходят на стадионы порадоваться со своим народом забитому голу, пожать руку знаменитой на весь мир ноге.

— Сорок пять! — кричали навстречу. Разгоряченные напитками и волнением лица, капельки пота над верхней губой. Пиво, бокалы с красным вином и рюмки. И ветер, секущий лицо одинокому зрителю, выглядывающему из темноты улицы.

— Пятьдесят три!

Стариковские дрожащие руки, глаза, близоруко вперившиеся в таблицы. И мужчина в расцвете лет, немного скучающий: он предпочел бы картишки. Человек играющий, *homo ludens*, как говорят в Ватикане. «Народ сел есть и пить, а потом встал играть». Священный текст сообщает, конечно, об отдельном событии в прошлом, и однако оно стало вечным, повторяющимся повсюду и до скончания века. Тогда они встали играть, пока Моисей был на Синае.

Вдруг лампы погасли, улица мгновенно сделалась черной. Крики недовольствия взлетели над городом. Замелькали огоньки зажигалок и спичек, а вскоре и фонарей, и свечей, и газовых светильников.

— Семьдесят пять!



Игра продолжалась. А я мог располагаться на отдых, подобрал отличный картон. Оставалось найти место, немного в стороне от ветра и взглядов. Поломка электрической сети отодвинула город в другую эпоху. Но буря в воздухе сиреной и мигающей вертящейся лампой, в улицу въехала красная машина пожарников. Молодые люди с баллончиком и носилками быстро вышли из нее. Светя фонарями, им махали руками официанты кафе в жидком мерцающем свете горящего газа. Ну вот, кто-то там. Вот и кто-то: мужчина, лежащий между столиками.

— Семьдесят шесть!

Нарушивший течение игры, славный чемпионат. На лицах видны выраженья досады и скуки.

— Восемьдесят восемь!

— Партия! — кричит мужчина в сапогах и в тирольской шляпе с пером. Оригинал. Повезло.

А неудачника несут на носилках, накрыв лицо маской. Каждому свое время. Ну, ничего, может быть, еще отойдет и сможет еще поиграть.

Вот где я буду спать спокойно: на этой автобусной станции. Здесь все замерло до утра. Ни души. Обширная крыша над местом. Правда, ветер дует и здесь, но брызги дождя не долетают. Сначала кладется картон. Сегодня мне повезло, он толстый трехслойный (и кстати и вспомнить, что я буду однажды устраиваться на картонажную фабрику в Тур-сюр-Марн, чтобы делать именно такой картон! Но там не взяли. Не повезло.) Нет, сначала кладется полиэтиленовая пленка, а уж на нее — картон. И затем — спальный мешок, в него я забираюсь одетым. Тесно, не повернуться, но надежно. Пленкой закрываюсь и сверху, оставив маленькое отверстие на уровне носа и рта. Если слишком холодно, то лучше закрыть и его. Многослойность, вот что спасает. Между прочим, этим же принципом руководствуются при изготовлении космического скафандра.

Ветер дует поверх моего кокона, я чувствую упругость его поглаживаний, и думаю насмешливо: дуй, дуй, пока не лопнут щеки! Но сюда ко мне тебе не попасть.

Быть в Арле и не вспомнить об ухе Ван Гога? Нет, невозможно. Просто невежливо. Вы помните, конечно, что однажды художник отрезал его себе и послал приятелю Гогену. Как говорится, в припадке безумия. И однако заметим, что именно ухо, а не что-нибудь другое. И отрезал, а не, например, оторвал. Тут что-то такое, думаю я, согревшись, наслаждаясь теплом и особенно тем, что оказался под временной, а все-таки крышей. Если присмотреться, ухо отдаленно похоже на младенца в утробе матери. Как зреющий плод. Созревший. И перерезают, собственно, пуповину. Ухо, словно некий младенец. Словно ребенок Ван Гога, погибающего художника. Ребенка нужно спасти. Послать его другу перед своим исчезновением. Любопытно, что и спальный мешок напоминает о материнстве, и спящий в нем — младенца, которому предстоит родиться наутро.

## ИСЦЕЛЕНИЕ

В Бари я задержался, разнежившись на не слишком горячем, зимнем, но все-таки итальянском солнце. Звали забыть все и остаться голубые дали — чистая бирюза! — Адриатики. Вилась дорога вдоль моря, уютно (до слез) плескалась вода о пляжную гальку. На пути возвращения город показался приветливым. Он меня медленно узнавал. Без всякого знака с моей стороны остановился маленький «Фиат» с оторванной дверцей, обшарпанный, нагруженный кусками белесого дерева, очевидно, собранного на берегу.

Шофер предложил подвезти. Лючиано — как выяснилось — казался огромным в автомобиле-малютке. Он собирал выброшенное морем дерево и отвозил его в пиццерию, где топил им плиту. И стряпал пиццу, конечно. Он был и владельцем предприятия.

— Бари пропал, Бари плохой, Бари погибнет! — повторял он, словно пел песню. Да что там такое?

— Бари пропал! Но ты можешь придти вечером в пиццерию возле собора, я дам тебе поесть. А Бари — пропал!

В Бари меня интересовал собор. Очень старый. Там хранятся останки святого Николая, привезенные из Мир Ликийских в Азии (там я тоже был, но об этом как-нибудь в другой раз). Ныне это турецкий город Демре, и он борется за возвращенье мощей! Турки считают, что венецианцы их похитили хитростью в XII веке. Так вот, пусть нам отдают знаменитость! Мы почтим его не хуже вас! И уж тем более сумеем продать билеты

паломникам! (Как это и делается в Демре, в храме, где служил славный епископ).

Навстречу шла демонстрация с красными флагами. Хриплый голос кричал что-то в мегафон, порывистый ветер рвал фразы на куски и разбрасывал, так, что они казались злым лаем. Ноябрь 87-го: еще собирались люди в колонны и шли.

А в соборе было довольно людей, в крипте, вокруг саркофага. Между прочим, в древних житиях святого говорится, что он был одно время городским нищим, после своего возвращения из Иерусалима. Но этот эпизод в современных биографиях исключен церковной цензурой. В самом деле, не слишком ли: святой и епископ, и вдруг стоит с протянутой рукой? Что подумает современная молодежь? Не испугается ли она евангельской бедности? Не усомнится ли в возможности сделать карьеру?

В крипте висела огромная лампадка с плавающим поверх масла фитилем. И можно было добавить из своего сосуда! Так я и сделал: у меня было оливковое масло в пластмассовой бутылке. Моя драгоценность. Ей даже полагался отдельный кармашек рюкзака. Люди сидели молча. Неожиданно залепетал ребенок, мать шикнула на него. Ну вот, простота. Господи, где же Ты, что же Ты. В этом все дело, а не в теологии и науке ученых. Где же Ты.

Мой небесный покровитель — герой тысяч легенд и поверий. И филологических курьезов. Недавно я узнал, что имя Наполеона — преобразованное *Naboleone*. Так называется одеяние статуи св. Николая, которую возят на лодке во время майского праздника моря.

Я предполагал пройти Пулию и Кампанию, пересечь итальянский сапожок и спуститься к Средиземному морю, к Неаполю. И двигаться дальше, к Риму и французской границе.

Выйдя из Бари, я заблудился. Часа два я шел к северу, а нужно было — на юг. Уставший, обескураженный, в крохотном Битонто я пошел проситься на ночлег в местную церковь. Никто этому не удивился, и люди не сжались сразу: меня медленно принимали, я почувствовал. Отбрасывание также ощущается сразу.

После мессы священник заговорил с крупным мужчиной, оказавшимся владельцем маленькой транспортной фирмы. Раз и два взглянув на меня, протягивая спокойно руку (и все пять пальцев), он слушал кюре: вот путешественник... нельзя ли его... что-нибудь сделать?

Почему бы и нет? Можно, легко. И я ужинал в семейном кругу. Дети украдкой бросали любопытные веселые взгляды: путешественник! Надо же! И где только он не был. И говорит, что русский, но идет во Францию. Кто они такие, русские, не американцы ли?

Хозяин отвез меня ночевать в контору своей фирмы. То была огромная комната, почти ангар, в ней стоял стол и два стула. Холодно не было, скорее свежо. Хозяин запер дверь снаружи, сказав, что я могу спать безмятежно до восьми утра. Я предвкушал это блаженство: спать в помещении. Только вот незадача: пол был бетонный. И нечего постелить. Ни пачек газет, ни картона. Стол был слишком маленький, чтобы улечься, и вдобавок железный. Ай-ай, какая досада. А за дверью стояли при входе, прислоненные к стене, какие-то доски, я их заметил, когда мы приехали. Я почти чувствовал их доброжелательное присутствие за дверью и готовность помочь. Но нет, недоступны. Нет.

Холод быстро пробился через мешок, слежавшийся в тонкий слой за эти два года. Он был куплен однажды для поездки в Америку. Ну, тогда все было окей, билет на самолет, вернее, билеты: К. летела со мной на крыльях Боинга, точнее, мы летели вместе на крыльях любви. И мешок тогда не понадобился: были друзья, радовавшиеся встрече, и ночлег подразумевался сам собой. Были просто знакомые, облизывавшиеся на ослепительную К., уже во всю протиравшие новенькие джинсы в американских университетах, копя даты и цитаты для диссертаций.

Спать зимой на бетоне рискованно, даже в солнечной Италии. Мое тело как-то не сопротивлялось иголкам холода, и он напознал на меня, словно тень от облака. Я еще медлил вставать, перевернувшись в мешке и стоя в нем на коленях и локтях в сладкой дремоте, почти негодую на холод, все-таки проникав-

ший в меня даже через ничтожно малую площадь соприкосновения. Признаться, я никогда не любил спать на бетоне.

В восемь утра дверь отворилась, и я обрел автономию. И шел дальше.

Кончился пояс вилл. Дорога пошла через виноградники. Там и тут еще попадались ягоды, впрочем, почти совсем испорченные. В поисках остатков я углубился в ряды обезлиствивших лоз. Было тихо: автомобили проезжали все реже, дело близилось к полудню. Напротив моей аллеи остановился один, и вышедший из него человек что-то кричал и махал мне рукой. Я вообразил, что он хочет меня подвезти, и побежал, и подбегал к нему радостный. Он смешался на мгновение при виде моего лица и продолжал менее сердитым тоном, и я понял наконец. Это был владелец виноградника, и он возмущался тем, что я зашел на его землю. Ну, в самом деле. Выговорившись и успокоившись, владелец полей сел в «мерседес» и уехал. В памяти остались черные усики.

Дорога в нужном направлении ответвилась и заметно сузилась. И стала подниматься и петлять между холмами. Строения делались все реже и непригляднее, и даже попался первый дом с проваленной крышей. Начались огороды. О, бедность овощей и людей.

Привычный ритм пешей ходьбы развеивал мысли. И делался сладостным: я люблю ситуации, которые становятся чистыми символами. Как эта дорога и свежий воздух. И одиночество путника. И неизвестность старящегося дня. И ностальгия сумерек. И приятное чувство возвращения: впереди на пересечении дороги и проселков возвышалась постройка с округлой крышей. Правда, без двери. И стены не везде доходили до земли. Вероятно, дожди вымыли почву, и образовались неприятные дыры. Достаточные, чтобы создавался сквозняк. Удача же была в том, что множество досок лежали сваленными у стены. Вокруг громоздились части сельскохозяйственных машин.

Ночью я любовался звездным небом, большим вертикальным вырезом его в дверном проеме. Но все более остывал и

утром почувствовал, что усилилось недомогание предыдущего дня. Ночью шел дождь, и я был доволен сквозь сон, что сплю под крышею.

Новый день встал мокрым. Дорога поднималась по склону, пустынная и асфальтированная. От нее отделялась другая и уводила к обязательному Кастель дель Монте, «замку на горе» (на днях я получил от него привет спустя годы — купил в магазине оливковое масло с его адресом!)

Вид миндальной рощицы, уже без листьев, но с черными плодами, висящими там и тут, вызвал у меня всплеск надежды. Их я насобираю десятка три, нагибая ветки и даже залезая на деревья. Но предвкушение обильного завтрака померкло. Известно, что миндаль бывает сладким или горьким. Орехи этой рощицы относились, увы, к последнему виду. Ничего не поделаешь. Ну, ничего.

С перевала открылся грандиозный вид на долину. Меловые и песчаные обнажения ярко горели в свете дня, их обрывистый край тянулся на километры. Островки кустов и деревьев, несомненно, посаженные. Брошенные хутора.

Цвета этого дня: легкие серые и серо-стальные слои облаков. Неподвижно висящее и блестящее, словно алюминиевое, солнце.

Солнце Страшного Суда, подумал я. Таким я увидел его однажды на старинной гравюре. Солнце Дюрера.

Иногда на серой поверхности небосвода проступали жилки и островки лазури. Дул ветер: не очень сильный, но удивительно постоянный, без порывов. Наверно, у него есть свое особое имя.

После полудня, пройдя километров двадцать из тридцати четырех обычного дневного пути, я начал чувствовать усталость. Немного странную: пройдя полкилометра, я должен был останавливаться и присаживаться. Отдыхать. Остановки учащались: через каждые двести метров. Через сто. словно в машине моего тела иссякало какое-то горючее. Приближалась полная остановка, может статься, и окончательная. Но ни страдания, ни беспокойства.

На противоположном склоне колоссальной впадины показался городок. Со своей церковью и колокольней, с домами, высокими в центре и делавшимися все меньше к окраинам, исчезающими среди серо-зеленых окрестностей. От моей дороги во все стороны простирались поля, перерезанные оврагами.

Но пустынной местность не была. Там и тут медленно двигались люди, по одиночке, по двое, опустив голову и смотря в землю, словно они что-то искали (или опечалены чем-то, подумал я). Люди, одетые в черное, как это почти всегда в итальянской провинции. Длиннопольные пальто мужчин и кацавейки из «панбархата» женщин. Точь-в-точь такую носила моя бабушка Софья в 50-х годах, когда она отправлялась в город.

Монотонный ветер, пронзительное солнце, на которое можно взглянуть безболезненно, открытая даль горизонта. Сосредоточенные молчаливые люди, в разных направлениях идущие по полям.

Указатель на столбе подтвердил то, что я узнал из карты (той самой, протертой на сгибах, лежащей сейчас рядом на камне): городок на горе называется Спиначцола, и до него семь километров.

В другое время я проделал бы легко этот путь. Но участвовавшие остановки и — вот новость — приступы, по-видимому, лихорадки, я то замерзал, то меня бросало в жар, — сделали надежду дойти до городка засветло какой-то беспочвенной. Такой, впрочем, она и должна быть, а иначе разве это надежда? Простой расчет.

И правда, я чаще сидел на обочине, чем шел. Равнодушие к трудностям земной экзистенции, утвердившееся за последнее время, царило в сердце. На всякий случай я проделал, впрочем, упражнение Павла: «предание себя смерти» (2 Кор 1,9). Оно замечательно избавляет от груза ответственности: ах, все ли я сделал, ах, все ли продумал? От всего этого беспокойства самолюбия, отбирающего последние силы. Господи, сказал я твердо, если приходит смерть, то помоги перейти ее, как прилично христианину, чтобы уже быть с Тобой. А если нужно жить дальше, то подари исцеление.



Ответ пришел через четверть часа. То есть я подумал, что это ответ. Странную «четверть часа» я отмечал не однажды. Единственный за весь день автомобиль меня обогнал и вдруг остановился.

— Если хотите, я вас подвезу, — сказал водитель, опустив стекло. Спасибо, синьор. Мой рюкзак поместился на заднем сидении рядом с корзиной, полной незнакомых мелких грибов. Поверх грибов лежал револьвер. Я невольно улыбнулся такому соседству, плодов досуга и орудия смерти. Италия, ясное дело: мафия, и все такое... Оказалось, что водителя зовут Катальдо Кузано, что он полицейский, и у него выходной. И он ездил собирать грибы. Именно в этот день — традиция! — собирать грибы выходят очень многие горожане. Вот чем занимаются молчаливо бродящие в полях люди.

В городе Катальдо остановился возле кафе и заказал мне чашку кофе с молоком. Мои бедные гортань и язык были ошеломлены нахлынувшей гаммой тепла и вкуса, а уж желудок! Полицейский поспешил на службу, сказав, что найдет меня вечером, если у него будет время.

Я сидел в помещении кафе, пока гарсон не начал бросать на меня упрекающий взгляд. Тогда я пошел знакомиться с городом, поискать укромное место для ночлега и еще что-нибудь для еды.

Группа женщин в черном несла по переулку статую Девы Марии (если не изменяет мне память, Лурдскую: с желтыми розами на сандалиях). Я предложил им помощь. Конечно, конечно, несите вместе с нами. Они были дружелюбны. Более чем приятно выйти подчас из состояния «чужеземец» и стать на время «своим». Мы принесли статую в небольшую церковь и установили возле рождественских яслей. Любимая Западом сцена Рождества. Ангелы, овцы, пастухи и волхвы. Был и бык, и осел.

За помощь спасибо. На душе тепло и бодро. А плоть слаба неоправимо. Теперь к лихорадке прибавилась срочная необходимость: найти туалет. Его нигде не было. Да и зачем он в маленьком городе? Дом всегда в двух шагах. Решимость припертого к стене человека подчас удивительна: я подошел к префектуре и попросил разрешения воспользоваться туа-

летом. Полицейский офицер меня пропустил и провел. Не без удивления, конечно, но как бы не имея душевных сил отказать путнику, едва объясняющемуся на местном наречии. Да еще утиравшему струящийся пот.

Хочется сравнить болезнь с тонущим кораблем. То там, то тут взрываются пробоины, редущая команда бросается заделывать их. Но все меньше защитников, корабль набирает воду.

Рядом с префектурой стояла главная церковь городка, Синьора Ностра. Стемнело уже давно. Колокол отзвонил к вечерней мессе. Я шел, словно делал непосильную работу, такую, от которой в глазах гаснет свет. Нужно было останавливаться и вздыхать. И собираться с мыслями: в них появилась какая-то путаница.

Держась за стену, я одолел ступени лестницы. И долго открывал дверь: никак не удавалось понять, толкать ли ее или дергать к себе. И где же ручка. Пустое пространство за дверью меня испугало. Я пересек его усилием воли, до последнего ряда скамей, и встал позади на колени, держась за спинку, повиснув на ней. И еще говорил, как в тумане: «... пришло время выйти из этой жизни... чтобы мне умереть... как должно... к тебе... а если надо еще...» От далекого ярко освещенного алтаря пришел голос священника:

— *Race con voi.*

«Мир вам». Но боль во всем теле сделалась чрезвычайной. Не было ни одной частички, которая не страдала бы. Меня пережевывала гигантская пасть, полная острых зубов. Острых и мелких. Едва я успел — даже не подумав по-настоящему, а увидеть мысль: «Нет, этого не могу перенести».

И потерял сознание.

В себя я пришел очень скоро: месса почти не подвинулась в своем последовании. По-прежнему я стоял на коленях, позади рядов пустых скамеек, держась за спинку последней из них.

Я был совершенно здоров.

Осталась чуточка слабости, какая бывает после болезни. Приятной слабости.

Исцеление было полным: ни жара, ни пота, ни рези.

В голове абсолютная ясность.

Я легко поднялся на ноги, едва донеслось:

— Andate in pace.

«Идите с миром». И услышал свой голос в общем отклике:

— Rendiamo grazia a Dio.

Шум встающих и заговоривших людей, идущих ног. Блаженный мир в сердце. Агония обратилась в праздник. Что же это такое было со мной... может быть, чудо? Кстати, какие у него официальные признаки... во-первых, мгновенное, во-вторых, полное выздоровление... в-третьих, научная невозможность вылечиться медицинским путем. Ах, вот третьего-то и нет. Медицинской справкой я не успел запастись. Но мне было и так хорошо.

У выхода меня ждал Катальдо, одетый в полицейскую форму. Он сказал, что попробует устроить меня на ночлег к францисканцам. На звонок в дверь рядом с порталом церкви вышел брат средних лет, как впоследствии выяснилось, Кармил. Переговоры шли быстро, и я не успевал понимать, о чем, собственно, речь. Но они оказались успешными: Катальдо и фра Кармил привели меня в комнату. Брат принес ужин (горячий: как не сохранить эту божественную деталь?) Вкус мягкого сыра, плавающего в оливковом масле... Как, и ему, вкусу, есть место в духовном? Ну и ну.

Кровать сверкала чистыми простынями. Стопа мягких одеял. Такой ночлег достоин и кардинала. Эти предметы были из другого мира, и я не решился на них посягнуть. И так я уже причинил хлопоты. Мне не хотелось возмутить душу чересчур смелым жестом. К моему счастью нельзя было ничего добавить, я это чувствовал. И я улегся на полу (застланном, впрочем, ковром) в спальном мешке.

Колокольчик прозвенел в моем утреннем сне. Я вскочил на ноги бодрый. Спустия время где-то в темноте зазвонил большой колокол к мессе. А потом явился Катальдо (снова в штатском) и сказал, что завтракать я буду у них, что он договорился с Маддаленой, женой.

Пожилые женщины в черном, оглядывавшиеся на чужака во время мессы, к нам подошли. Они все напоминали мою русскую бабушку детства. Откуда я? Верующий ли? Мне подарили приличный случаю образок Синьоры Ностра да Спиначцола. Множество слов было произнесено, итальянских, певучих. Я не все понимал, но ведь доброта и нежность достигают нашего сердца без перевода.

Чистенькие занавески на окнах, свежая скатерть. Дети играли в соседней комнате, изредка врываясь к нам в порыве веселья, и снова исчезали за дверью. Дети свои, и дети соседей. И еще ждали детей. Маддалена преподавала им катехизис.

На дорогу мне была собрана сумка с продуктами (а на дне, как я обнаружил в Неаполе, были положены и деньги. Онигодились: ими я заплатил за новый жизненный опыт). Катальдо сказал:

— Мы с Маддаленой решили сделать тебе подарок. Вот телефон. Если хочешь кому-нибудь позвонить — позвони, где бы этот человек ни находился. В любую точку земного шара!

Вот это да! Я растерялся. Кто на земном шаре ждет моего звонка? Позвонить маме в Москву, или сыну туда же? Но тогда автоматической связи не было, и сколько ждать, пока соединит телефонистка — неизвестно. Пока-то кремлевские собаки проверят и разрешат (или нет). Дочь во Франции я боялся испугать такой неожиданностью. Да и отвык я от телефона. Спасибо, спасибо, нет, не могу. Но возможность сделала свое: сердце совершенно растаяло, размякло, увлажнилось.

— Езус Крестус мольто джусто, — сказал я. Это формула высшей благодарности.

Катальдо повез меня на машине, чтобы немного «подбросить». Мы проехали пять, потом десять километров. Потом до какого-то особенного перекрестка, где «бывает много машин» и легче берут попутчиков. И тут мы простились.

Но он еще медлил уезжать. И говорил нарочито медленно, чтобы мне было легче понимать. Он сказал, что у него странное чувство: ему хочется все оставить и пойти со мной — вот так, безо всего, туда, где он никогда не был, где он не знает ни

языка, ни дороги. Где его будет вести один Бог! Но так поступить он не может, ему уже поручено дело. Кроме того, даже в этой местности, где он родился и вырос, он не всегда находит нужный язык!

После полудня я поднимался к маленькому городку на горе. Охристые и с желтизной стены. Церковь. Площадь перед ней. Там стояли одетые в черное мужчины. Изредка они говорили несколько слов и снова замолкали. Добрый вечер, сказал я. Добрый вечер. Далеко ли до Салерно? О, далеко. Километров восемьдесят. А пешком еще дальше. Как так? Но то была шутка. Никто из них никуда ехать не собирался. А вот брат одного должен был возвращаться к себе на работу. Он работает в Салерно поваром. Он тебя и захватит, если хочешь.

Брат оказался неразговорчивым. Мы ехали молча. Он только спросил однажды, легко ли найти место повара в Париже. Я сказал, что не знаю, но, по-моему, легко: сотни тысяч людей в Париже едят пищу. Некоторое время за нашим скромным «Фиатом» следовал роскошный автомобиль, не рискуя обгонять на извилистой горной дороге. Надменное лицо его водителя не выражало никаких чувств, ни тени досады на наш пыхтящий в гору «Фиат». Рядом с ним сидела молодая синьора с крохотной собачкой на коленях. Как только дорога сделалась шире на спуске к морю, «ягуар» без всякого видимого усилия набрал скорость и нас обогнал.

Огни города сияли все ярче и гуще, оживленная толпа текла в свете витрин и неоновых трубок. Люди спешили, иные лениво сидели за столиками кафе.

## БИЛЕТ В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

Голубое небо над морем, пустынные пирсы. Утром свежо, просто холодно: декабрь на дворе. Зима даже в Греции. Ну, на свой лад зима, здесь не Сибирь и не великий Север. От холода можно укрыться в зале ожидания порта. Сюда приходят большие корабли. Не океанские, разумеется, тут всего-навсего Средиземное море.

Декабрь восемьдесят шестого. Пирей. Я ночью позади церкви Агиас Триас, в портике служебного входа. Это приятное укромное место, закрытое кустами. И чистое: благочестие не позволяет грекам мочиться тут. И до семи утра нет никого.

Карл приходит сюда ночевать. То есть Шарль, и Шарль из Бордо, но он переназвал себя, убежав из дома. Ему лет шестнадцать. Однажды он познакомился с египтянином из Александрии, и теперь стремился туда, навстречу своей судьбе. Он тоже старался попасть на корабль, раз в неделю отходивший на Хайфу. В Святую Землю. Где однажды все началось. И, может быть, продолжается.

Снова на моем пути море. И опять пешком невозможно идти: там далеко Сирия, и закрыта граница с Израилем. Так вот, как попасть на пароход без билета? Как приобрести билет, если нет денег? В Бриндизи это затруднение чудесным образом разрешилось. Как-нибудь я расскажу об этом.

Туда, туда, в тепло тех лет: в Грецию середины восьмидесятых. Она подарила русским алфавит, прибавив немного латинских и еврейских букв. Ну и веру, конечно: тяжелые ризы священников, кадила, кропила. Пухлые белые руки митрополитов.

Прозрачные зеленоватые волны набегают на скалы. На мои воспоминания и мысли. Под ослепительно синим небом, высоким, холодным. Завтра еще одна пятница, и снова отходит корабль на Кипр и дальше. В конце пути — Иерусалим. Это волшебное имя я написал на куске картона и прикрепил к рюкзаку. Уличные мальчишки свистят и выпускают насмешки: посмотрите на этого, как его звать и откуда, он собрался ехать автостопом через море! Дурачок. О, это не название города: это имя-ключ к невидимой двери в прошлое-будущее.

И есть еще хлеб в моем рюкзаке, довольно много. Подарок булочника на рынке. Ах, как люблю: быть на высоком холме Пирея и смотреть вдаль, где сливаются две грандиозные синевы моря и неба. Воон там еще островки в пенисто-белых воротничках. Тишина, только ветер. Чистый и бодрый, с легким свистом летящий сквозь ветви оливкового дерева. Сухая трава под ногами и камни со скудной землей в складках и трещинах. Элада. Кажется, я появился здесь вовремя — в первый год моего акмэ, сорокалетия. Уж теперь-то я подготовлен, уж в этот раз непременно пойму, схвачу истину Бога! Я наемся, наконец, смыслом происходящего! Я им напьюсь: я измучен каждой пустыни всевозможных теорий.

Возле ступенек Агиас Триас величаво лежит нищий Викентий. Перед ним расстелена тряпка, на которую ему бросают монетки. Оболы и драхмы. Он лежит опираясь на локоть, словно пирующий на фресках Помпеи. И у меня остались еще деньги от огромной милостыни в Афинах: там торговец, стоявший у входа в лавку-туннель, вдруг опомнился от летаргии при виде меня, защелкал языком и стал манить рукою. Путешествуешь? Куда? В Иерусалим? Это доброе дело. Ну-ка, выпей чашечку кофе со мной и моим племянником Николаосом. А меня, кстати, зовут Константинос. Ах, вот как! Да меня самого зовут Николаос! А Константиносом зовут моего отца. Вот маленькое, но приятное совпадение. Тебе понадобятся деньги, сказал Константинос. И дал мне тысячу драхм. Ну и ну.

Поэтому я приехал в Пирей на метро. Вообще правильнее говорить Пиреос. Но я не настаиваю. Хотя, между прочим,

эстонцы боролись насмерть за вторую букву Н в названии Таллина. И победили. Оказывается, надо писать Таллинн. Почему бы и нет. Но мне одному не защитить Пиреос.

— Калимера, ти канете? — говорю я Викентию. Добрый день, как дела? Мы разговариваем, насколько позволяет мой греческий. Я изучаю его со страстью, хотя я, увы, не Шамполион, мой максимум — двести слов в неделю. Вывески, словечки на улице, вопросы, богослужение. Новый Завет. И просто англогреческий словарь, приобретенный на подаяние. И даже попался у букиниста немецкий учебник новогреческого: за бесценок.

Сегодня неподалеку от Викентия расположился новенький с рюкзаком. Бомж, как теперь говорят. Филипп из Труа. Привет, Филипп, как дела? Неважно, неважно, да просто плохо. Француз, ясное дело, они всегда сетуют. Он специалист по сезонным работам. Вишни, яблоки, виноград. Сюда приехал на апельсины. Вот-вот начнется *портокалия*. Я уделяю ему от афинской тысячи: на тарелку супа. Здесь все едят вечером суп в тавернах. Голос Филиппа теплеет: он благодарен. Дело ведь не только в супе, хотя, конечно, и в нем дело. Но вот еще дружеский жест, лучик любви, который вдруг блеснет в темноте существования. Это пища для сердца.

— Нет, ничего не нашел, — я почти жалуясь Костасу. Это мужчина лет сорока, он стоит в Агиас Триас за маленьким прилавком. Продает свечи, приносит и уносит церковную утварь, запирает вечером двери. Он знает, что я ночую в портике служебного входа. Он не против. Вообще он поразительно нейтрален: в выражении лица, в тоне голоса, в суждениях. Только однажды удивление мелькнуло во взгляде: я спросил его, чувствует ли он себя наследником античной культуры. Как он носит эти несколько тысяч лет на плечах? Он посмотрел на меня с опаской и отвернулся. Спустя несколько дней он сказал:

— Мне кажется иногда, что я все знаю. Но ведь это не так.

Мы разговариваем на греко-английском. О моей трудности с билетом ему известно. Он считает, что мне нужно ходить в эту церковь, и все. И однажды все разрешится благополучно.



(О, прошлое: выйди из своего далека, словно шелковый платок из шкатулки, покрой мне голову и лицо, дай взглянуть на мир через веселую полупрозрачную зеленость. Нежная шелковая прохладность: проводи меня через оставшиеся пустынные годы к великой смерти.)

— Завтра в Пирей придут русские, — сказал Костас. Точнее, советские. Западные люди этой тонкости не различают. Впрочем, может быть, она есть только в голове диссидентов, то есть романтиков?

В полутьме церкви шел грузный священник. Седая борода, седая грива, черная ряса. Все правильно.

— Отче, можно вас спросить...

— Ортодоксос?

— Да. Дело в том, что...

— Сейчас я занят. Приходи вечером.

Может статься, он подумал, что я хочу просить у него денег.

Ноябрьские сумерки афинского порта. Как и всюду, люди спешат вернуться, закрыться. Погрузиться во флегму установленных отношений. Папа с телевизором, мама с соусом, дети со своими игрушками и пузырями. И все говорят по-гречески! Это все-таки поразительно. Столько нужно труда, чтобы усвоить новую фразу, а они на языке Гомера, Златоуста, Кавафиса бранятся, злословят. А на нем нужно говорить о любви, о любви. Только о ней, прекрасной, божественной, или — бывает — крохотной, не дольше случайного — но все-таки взгляда.

А о вечности! Как он говорит о вечности! «И жизни будущего века» — «ке зоин ту меллондос эонос». Блаженство звука и ритма.

В этом состоянии и нужно писать. Чтоб ее дыхание и дуновение сохранилось навсегда в рассказе, в промежутке между словами и строчками, — тогда в годы пустыни будет чем вздохнуть. Чем напиться. Умыть воспаленные веки. Глаз.

Тогда и надо было все записать, думаю я сегодня под серым нормандским небом. Но я ничего не делаю вовремя. Течение влечет меня к какому-то месту, где главным занятием становится вглядывание в неизвестность. Я не настолько при-

вязан к этой, с позволения сказать, жизни, чтобы хотеть приблизить смерть: желающий умереть страшится страданий, и все. Он зависим. Освободившийся от нее равнодушен. В том числе и к борьбе и крикам молодых поколений, верящих, что уж они-то будут жить вечно.

Главных вещей рассказать невозможно. Эти поразительно непроницаемые стенки между возрастами! О, старость знает о них, и это преимущество, не правда ли: все-таки знание. Но никто этим преимуществом воспользоваться не может. Вот почему старость становится молчаливой. Знать молча. Молчать, зная. Это последняя попытка понять. Безуспешная, впрочем. Открывающая дверь в смирение. Однако некоторые восстают, вырываются.

Спускаясь к морю, я увидел у причала серо-зеленые глыбы. Военные корабли. Как сразу уменьшились белые пароходы с красно-синими трубами, — а были такие большие. Чудовища войны пришли с визитом, видите ли, дружбы. Странны русские буквы названий, «Слава» и «Комсомолец Украины». Толпа любопытных шевелилась на набережной, муравьиной цепочкой поднимаясь по трапу.

Совсем близко кусочек моей безумной родины. И я могу его посетить. Несмотря на легкий холодок опасности, смешавшись с доверчивыми детьми Эллады. Им-то забавно. Что им?

Наверху у трапа стояли матросы — совсем молодые ребята — и помогали сделать по палубе первый шаг. Мне помогли сверх того снять и рюкзак: его полагалось оставить у входа. Течение публики приводило в полукруг офицеров. Они были в кителях с блестящими — на радость молодым женщинам — латунными пуговицами. Среди них один выделялся осанкой и возрастом. Больше того, он имел — даром, что советский офицер — длинные свисавшие меланхолично усы. Типичные украинские, похожие на бретонские как две капли воды (вот совпадение, достойное внимания вдумчивого этнографа). То был, разумеется, капитан. Вокруг него витала почтительность.

Настала моя очередь пожать ему руку. Я сказал:

— Капитан, мне приятно повидать соотечественников. Позвольте подарить вам на память книгу, которой наверняка нет в вашей библиотеке!

И я протянул ему Новый Завет. Капитан взял книжку в руки, раскрыл. Другие офицеры заинтересованно вытянули шеи, чтобы прочесть название. Но тут из-за их спин выдвинулось злое молодое лицо:

— Сначала я должен ознакомиться с содержанием этой книги!

И вынул ее из рук капитана. Никто не проронил ни слова. Командир корабля опустил руки по швам. И даже выражение лиц ни у кого не изменилось. Молодой человек имел власть так поступить. Я с младенчества знал название этой власти: кагебе.

— Лейтенант, — весело сказал я, — вы можете оставить этот экземпляр себе. Для капитана у меня есть другой. — И я вынул его из кармана. Капитан взял книгу. Снова раздался голос, и все более раздраженный:

— И с этим экземпляром я должен предварительно ознакомиться!

Рука выхватила книгу. Офицеры молчали. Сзади напирала греки.

— Простите меня, капитан. Я не хотел поставить вас в неловкое положение, — сказал я. Он вздохнул, но ни один мускул не дрогнул на его лице. Накопившиеся посетители толкали меня вперед.

Мне было не до осмотра. Советское прошлое во мне всколыхнулось. Страх, чувство беспомощности, возмущение. Они все те же, они повсюду. Бежать от них, поскорее бежать! Здесь их территория, их проклятая тюрьма, они могут сделать со мной все что угодно! И кто вступился бы за меня?

Вдруг из бокового прохода вынырнул молодой офицер:

— У вас нет еще одного экземпляра? Для меня?

Камень упал с моего сердца. Нет, время монолита бетона все же прошло, вот поры, воздух проникает повсюду. Дуновение.

— Я мог бы достать. А как вас найти?

— Нас отпускают в город. Завтра.

— Приходите к большой церкви, Агиас Триас, ее видно от моря. Я жду вас в десять.

Он кивнул. Ну, вот и сообщник. Он говорил спокойно, без всякого страха. Оказалось, его тоже зовут Николаем. Из Ленинграда. (И кто бы мог знать, что всего пять лет спустя этот город вернет себе имя Санкт-Петербурга?)

Чувство свободы вернулось ко мне, когда я вступил на причал. Мои встречи с родиной как-то всегда неудачны. Мы по-разному дышим, вот в чем дело. Она — рабством и смертью.

Знакомая голова за стеклянной стенкой пивной вблизи моря. Резной профиль: немецкий. Человек улыбается, машет рукой. Это Гюнтер из Штутгарта, вышедший на пенсию легионер. Он просто путешествует и где-то ночует. Сегодня он трезв и печален. И ждет утешения. Как жаждет подвигов, выпив.

— Ну, как дела?

— Неплохо. Мне дали адрес одной израильской фирмы, она занимается перевозками. Быть может, они наймут меня на корабль?

— Может быть. Ну, пока. Ну, я пошел.

В минуту героического подъема Гюнтер лишился очков (уж не выбросил ли), и ему стало неудобно жить. Это не шутка, очки, вы согласитесь. Очки — это целое состояние, если... ну, вы понимаете. Да и кто мог бы подумать, что два кружочка с припаянными проволочками стоят так дорого.

Вдоль порта идет улица, застроенная большими домами, с маленькими вывесками у дверей, с лавками, переполненными греческими бутербродами и разноцветными баночками напитков. Я нахожу нужный подъезд, а в списке квартирантов название «Эластир». Она-то и перевозит товары в Израиль. На шестом этаже. Даже странно, что так незаметно существует коммерческое предприятие: они ведь всегда хотят быть на виду, влезть в глаза и уши. И в карман, разумеется, это главная цель.

Два внимательных молодых человека при входе на этаж. Что вы хотите? (Во Франции выражаются элегантнее: *Можно ли вам помочь? Что я могу сделать для вас?* И начиная раздражаться: *Могу ли я дать вам справку?*)

Да вот, «Эластир»... Ах, «Эластир», ну конечно. Минуточку. И вот девушка, служащая «Эластира». Дело в том, что я еду в Иерусалим. Предприятие моей жизни. И надо же такому случиться, что у меня кончились деньги! Нельзя ли меня нанять на какое-нибудь судно с тем, чтоб я переплыл на нем море?

Девушка даже воодушевилась на время, настолько случай ей показался редким. Такое бывает в Израиле: это романтики, они съехались туда со всего мира. Мечтатели. Ищущие таинственной родины, а если сказать прямо — земного рая.

Черные брови ее поднялись, зеленые глаза заблестели. Поколебавшись, она пошла узнавать и вернулась в обществе господина в галстук и с набухшими веками. Он сказал, что нет, невозможно. Что экипаж комплектуется в стране, и случайных работников нет: страховка, вычеты, пенсия. Сами знаете, работа есть работа. В наше время найти ее — это удача. Клад. Так что нет, очень жаль, но нельзя. И действительно в его голосе звучало сожаление. И они, удрученные, скрылись за дверью, а молодые люди смотрели на меня выжидающе.

Я вышел почти обласканным. Да и солнце сияло, и небо блистало синим. В Греции не бывает плохой погоды. Вообще там нет ничего плохого.

Я отправился на местный вокзал за водой. Маленький и пустынный. Конечная станция. Тут люди собираются утром и вечером, а днем никого. Ни поездов, ни — что логично — людей. В туалете есть умывальник с водой.

К сожалению, дверь в кабинку не запирается, и не удивительно, что она открылась, едва я дернул за ручку. Хуже того, находившийся внутри господин за нее держался, сидя на унитазе орлом, и он едва не упал, когда я потянул дверь. Не знаю, бывали ли вы в таком положении. Он гневно заговорил по-гречески, но слишком быстро, и я не понимал его, а стараясь понять, оставался стоять перед ним и, естественно, на него смотреть. Наконец, дошло до меня, что обстоятельства не самые подходящие для занятий лингвистикой.

— Сихорите, кирие, — вежливо сказал я и ушел. Лучше людей не тревожить в момент их интимной встречи со своим ор-

ганизмом. Они этого не прощают. А потом, когда все уляжется и минует опасность, можно к ним подойти.

Господина уже не было, когда я вернулся. И я поступил так, как поступают тысячи людей на земле в данную минуту. Я взгромоздился. Вскоре за дверью послышались быстрые шаги. Кто-то рванул за ручку, и передо мной оказался тот господин, которого я потревожил. Мы буквально поменялись местами! Он яростно говорил что-то по-гречески, я разобрал слово «мория». Оно значило в данном контексте приблизительно «дурак». Мало того. Человек замахнулся и дал мне пощечину! И это невзирая на мое беззащитное положение и на то, что я был иностранец.

Впрочем, мне было приятно проверить, насколько я усвоил известную заповедь, призывающую подставить другую щеку, несмотря на все попытки модернистов (да и консерваторов тоже) представить ее как «метафору». Признаться, и выбора у меня особенно не было, события развивались стремительно. В замешательстве я перепутал слова и вместо спасительного «сикорите» (извините) я закричал «эвхаристо», то есть «спасибо». И ярость человека достигла своего апогея: конечно, он подумал, что я над ним насмехаюсь. И он замахнулся снова. Ну, давай же, давай! Нет, не ударил. Он повернулся и ушел.

Я еще надеялся, что найду его на вокзале и попрошу прощения, и посмотрю на его реакцию. Монашеские писания убедительно говорят о чудовищной силе смирения.

И однако приятно, что я ни на мгновение не возмутился душой. А ведь бывали у меня приступы гнева, от которых до сих пор неприятный осадок. Уносившие меня в какую-то бездну. Теперь же передо мной открылся неведомый горизонт. Я очутился в стране, где я совсем другой, не тот, неприятный и надоевший себе, а хороший, живущий по заповедям. И что будет дальше? Не даст ли Провидение обещанного так давно?

Несоответствие сердечных и душевных настроений людей, вот где секрет. Сделать себя недоступным для ярости другого, и тогда она, ударившись, словно волна о волнолом, упадет. Для этого и нужно подставить другую щеку. Исчерпать ярость противника неожиданным поступком. Нелогичным. Тут что-то

японское, прием дзюдо в морали. Борьба сил — преступника и полицейского, например, — приводит к победе сильнейшего. Между прочим, преступник заведомо сильнее: он может убить, но за это его не казнят. Не имеют права. Позади полицейского больше нет государства, которое платило той же монетой. Зуб за зуб еще возможен, а вот глаз за глаз... В этом новизна положения, посмотрим, какой ответ даст человечество.

Под ступенями входа Агиас Триас есть магазинчик религиозной литературы и сопутствующих товаров: четки, иконки, ладан. Торговец по имени Иосиф. Он выясняет довольно тонко, прямо скажем — по-византийски, кто я, и с какими ресурсами. Я попросил у него Новый Завет по-немецки, для Гюнтера, и кроме того, нельзя ли насчет очков? Новый Завет пожалуйста, и даже два экземпляра в придачу по-русски, все равно они лежат здесь без пользы. А очки вещь более трудная. Если кто и может помочь вам, так только отец Германос. Такой плотный, грузный. Ах, да, и я его знаю. Вот-вот, хорошо, вы обратитесь к нему, и он вам даст адрес конторы, где могут дать вам очки для бедных.

Опять книги, мой рюкзак все тяжелеет. Надо бы мне быть поразумнее. Впрочем, после стольких километров тело стало железным: ничто его не берет. Даже изнемогши, оно ведет себя как машина, в которой кончилось горючее. Кусок хлеба и два часа сна — и оно снова полно решимости.

Полумрак церкви. Ни одного человека: день будний. И одинокий читающий псалмы чтец. Он-то любит свое дело. Самозабвенно он произносит, почти поет меланхолически древнюю песнь. Тысячелетняя грусть греческого псалмопения, вышедшая из еврейских синагог времен апостола Павла. Так было давно, так всего накопилось много. С трудом поместилось в мою жизнь последних шести лет. Неужели и тут возможны перемены? И зачем они мне. О, дайте мне песчинку неизменности, и я найду вам Бога!

В полумраке боковой галереи плывет массивная фигура в черном. Священник Германос, отец. Патера по-гречески.

— Калимера, патера Германос!

— Ортодоксос?

— Имэ росос.

«Я русский». Странно говорить так в 86-м. Да это и диссидентство: вызов коммунистическому интернационалу. За границу не опасно, скорее приятно. А теперь в новом тысячелетии это почти обязательно — быть русским. Во всяком случае, прилично так себя называть и совершать соответствующие жесты. О, о, диалектика: то, что было глотком воздуха и протестом, начинает душить обязательностью.

— Я хочу причаститься.

— Это хорошо.

— Значит, надо исповедоваться?

— Надо, надо.

Исповедь я готовил в местном Альянс Франсез: там на-шлись словари. Конечно, мы знаем множество греческих слов науки, аптеки, искусства. Но вот собрать их в отдельный словарь, чтобы выразиться по-гречески... К счастью, о. Германос полон доброжелательства к моей попытке излить душевное состояние на языке Гомера, вернее, народном греческом *димотики*. Он отпускает мне грехи ведомые и неведомые, известные и неизвестные. Тема неведомых грехов меня занимает: может быть, это первое предположение о подсознательном. О том, что наша психея ведет свою жизнь в неведомых местах, о которой сознанию мало что известно.

О. Германос умилен и растроган: откуда этот человек перед ним, то ли русский, то ли француз, вынырнувший из пучины жизни на пути в Иерусалим? Город великий и странный, почти небесный!

Он дает мне адрес на листочке бумаги, — там окулист выпишет бесплатные очки для бедного легионера. А мне он протягивает деньги: бумажку в пятьсот драхм.

— Ты понимаешь, что это очень, очень большая сумма?

Я молчу. Вопрос о том, понимаю ли я, всегда непростой. Часто он имеет в виду, принимаем ли мы мнение спрашивающего как безусловно верное. Это вопрос о приоритете и власти.



Но в наше время отвечать нужно быстро, иначе решат, что нет, не понимает. Ничего не понимает!

— Ты понимаешь, о чем я тебя спрашиваю?

Я киваю.

— Это очень, очень много денег! Старайся расходовать их разумно.

Мы идем вместе по галерее, полутемной, прохладной, пахнущей ладаном. Костас бросает на нас внимательный взгляд. Мы выходим на паперть, и на мгновение слепнем. Синее яркое небо, заливающее нас лаской и нежностью. Ну вот, все хорошо. Вдохни чистым воздухом моря. Еще ты прикреплен к этому миру, но тебя уже давно касается нежность свободы. Вечность такая и есть. Бессмертие. Наконец-то я остановился и открыл. Точнее, открылось. Само. Улыбнувшись моим усилиям.

И вот еще нужное: булочница вынесла мешок из плотной бумаги и поставила у входа. И это приятно: это ведь остатки печенья и торговли. То, что не нашло сбыта в нашу зажиточную эпоху (в зажиточных странах, конечно: в соседней Турции такая сценка немислима). И правда: куски сломанных или черствых булок, перепачканные мукой. Целый обед!

А десерт висит на деревьях, надеялся я. Апельсиновые деревья посажены вдоль улиц Пирея и Афин. И пришло время уборки плодов. *Портокалия*. Ах, увы! Уличный апельсин, оказывается, несъедобен: он кислый до горечи и переполнен зернышками. Ничего, кроме зерен и кислоты! Даже голодному желудку с ним не справиться.

— Гюнтер, ви гейтс?

Бывший легионер поживает неплохо. Он сидит греясь на солнце, подняв к нему сгоревшее давно лицо. Он улыбается детской улыбкой. Как это он мог воевать.

Мы отправляемся на поиски окулиста. Чистенький квартал стоит на холме, чистенький дом. В приемной врача нет никого. Девушка — быть может, и секретарша — нас оглядывает недоуменно. И потом к нам выходит и эскулап, точнее, *ятрос*. Доктор. К счастью, он понимает по-английски, и понимает тотчас, в чем дело. Ласково улыбаясь, он объясняет нам, что

он крайне занят и очень торопится. Что с бесплатными очками нам помогут в другом месте. И он пишет на листочке новый адрес и провожает нас к двери. И смотрит нам вслед, стоя на пороге, а из-за его плеча выглядывает лицо юной женщины, по-видимому, секретарши. Очень люблю такие мгновения. Я оборачиваюсь и долго смотрю на них.

Гюнтер колеблется, нужно ли идти по новому адресу, но я настаиваю: нужно всегда идти до конца, чтобы потом не было сожалений: ах, надо было бы... Мы находим большой дом с интерфоном, а в списке — фамилию окулиста. Нам отзывается приятный мужской голос. Увы, он говорит по-гречески, это так естественно в Греции. И чуть-чуть по-английски. И он, к сожалению, не располагает бесплатными очками. Интерфон пустиет.

— Ду бист люстиг, — говорит мне Гюнтер. — Ты смешной и забавный. Кто и когда давал что-либо бесплатно?

Его спокойный пессимизм меня раздражает.

— Пойдем в таверну, у меня есть деньги на чашку чая, — говорю я.

Солнце стоит высоко. Ласкающее декабрьское солнце Эллады. В тени, конечно, свежо, даже прохладно.

Сегодня день отплытия парохода в Хайфу. Раз в неделю в Святую Землю идет пароход. Быть может, Провидение меня на него проведет своим таинственным способом?

— Гюнтер, скоро опять Рождество. Здесь так тепло, что декабрь пришел незаметно.

— В Штутгарте у меня есть маленькая внучка, а я ее ни разу не видел, — неожиданно мягко сказал ветеран.

Перейдя вершину холма, я взглянул на залив, и мое сердце вздрогнуло. Внизу стоял у причала белый корабль. «Палома». Голубка, если перевести. Над ней развевался малтийский флаг. О, голубка, перенеси меня, муравья, на тот берег! Я тебе когда-нибудь пригожусь.

— Привет, заходи к нам, — сказал мне худощавый человек по-английски. Открытое светлое лицо. Большой автомобиль

стоял в стороне под натянутым тентом, на стульчиках сидели дети и девушки, из глубины выглядывала женщина.

— Меня зовут Джон, а ее — Тереза, мы из Америки, — сказал он. — И это наши дети. Мы торопимся в Иерусалим.

— Я тоже, — сказал я.

— Идут последние времена, вот-вот все начнется, — сказал Джон. — Тереза имела видения. Верные должны успеть собраться в Иерусалиме, только он уцелеет и те, кто в нем.

Тереза смотрела на меня в упор. Действительно, в ее взоре было что-то такое. Нечто неподвижное, подобное камню в течении ручья.

— Тереза все знает, — говорил Джон с абсолютной уверенностью. — Все начнется в июне, в крайнем случае — в ноябре 87. Мы едем немного заранее: приготовить место для наших, они ждут известий в Америке.

Ну что ж, если они в это верят. Не спорить же с ними.

— Увидимся на пароходе, — сказал Джон. Тереза поманила его рукой, и он нагнулся к супруге. Она что-то говорила ему негромко, лицо его выражало крайнее внимание. Две старшие дочери в джинсах сидели на стульях, смотря безучастно, как подбегает подросткам рядом с родителями. А маленькие бегали с криком вокруг, залезали и вылезали, смеясь и толкаясь.

— Ну как, тоже плывешь? — спросил меня юноша высокого роста. Оказывается, меня заметили. Дэвид, американец. — Ты волнуешься?

— Еще бы, — сказал я. — Все-таки спускаемся в вулкан мировой истории.

— Ты поэт, — засмеялся Дэвид. — Можно предложить тебе сэндвич?

Рыча, подходили грузовики и становились в очередь. Пришедшие накануне водители образовали свой клуб новостей. Многие плыли на Крит и Кипр. А молодежь с рюкзаками прибывала и располагалась на пирсе группками. Ветер путешествий овеивал нас, счастье открытий: уж там-то, конечно, там что-то такое — там свобода, любовь!

Я противился грусти. А она подступала, словно кто-то во мне — и кто же? — знал: нет, не сегодня я оторвусь от моего привычного континента Европы. Нет, не сегодня.

Было уже однажды на моем пути море, в Италии, в Бриндизи. Я приходил в порт и ждал. Множество грузовиков и простых пассажиров тоже ждали. Но они были уверены во всем, и в руках у них были билеты, впрочем, некоторые спрятали их в карманы. Шоферы, проехавшие Европу, утомления не скрывали. И грусть расстававшихся любящих, и облегчение надоевших друг другу. Блеск в глазах ехавших за неведомым счастьем. Кассир в окошечке кассы курил сигарету: все купили и отошли. Он с готовностью взглянул на меня, и я спросил, сколько стоит самый-самый дешевый билет.

— Сорок тысяч, — сказал он и снова погрузился в газету, услышав мой вздох.

Два английских водителя ехали в Турцию на огромном грузовике, в кузове которого стоял гигантский покрытый брезентом трактор. Джон и Фул звали их. Мы подружились накануне, и они проникались ко мне все большим сочувствием: ехать так далеко, не имея денег!

Вдруг все зашевелились, говор прошел над толпой ожидающих, и его заглушил мощный гудок: к причалу подходил пароход. Он шел в Игуменицу, ближайший греческий порт, буквально напротив.

— Мы начинаем грузиться, — вдруг сказал Джон. — Смотри, какой грузовик: чудовищный! За всем уследить невозможно, и если кто-то спрятался под брезентом и попал на корабль — ничего не поделаешь, его счастье! Мы абсолютно не при чем. Не правда ли?

Англичане явно хотели помочь, и я был тронут. Но ехать зайцем... нет, не хотел. Нет, я не боялся. Я просто почувствовал приближение тоски обыденности. Почему бы тогда просто не ездить зайцем, как делают многие? Нет-нет, если Богу угодно мое путешествие, то Он устроит все сам неожиданным способом! — жарко объяснял я Фулу и Джону. — И тем самым обна-

ружит — о, блаженство! — свое присутствие, *you understand?* Ехать зайцем мне неинтересно: это слишком по-человечески. *It is too human!*

Англичане пожали мне руку. Чем-то взволнованный Фул с высоты окна своего грузовика-динозавра протянул мне пачку печенья. И крикнул:

— Удачи!

Пирс опустел. Провожавшие стояли разрозненно и махали руками. И кричали слова прощания людям, облепившим борт корабля. Я был у трапа, но на меня никто не смотрел. Никто не интересовался чувствами путешественника, которого оставляют одного позади. Я заметил, что кто-то бежит вдалеке. Кто бы это мог быть... Молодой человек... с мешком на ремне.

— Пожалуйста, один билет до Патраса, — сказал он кассиру, шумно дыша. Тот протянул ему бумажную полоску. А мне сказал: — Ну что, не едете? Я закрываю.

Вновь прибывший внимательно посмотрел на меня:

— Вам тоже надо? Куда?

— На ту сторону!

— Сорок тысяч? — Юноша рылся в карманах. — Слушайте, вот вам тридцать! Очень жаль, но это все, что есть у меня. Счастливо! — И он побежал к своему пароходу, загудевшему отплытие.

— Сколько вам не хватает? — С надеждой сказал кассир. — Десять тысяч? Постойте... я попробую... — И что-то сообрав, уже отрывал желанный кусочек бумаги.

Я бежал к кораблю под свист и крики матросов: они стояли, готовые убрать трап, а я бежал по нему вверх, счастливый возможностью плыть. Особенно — чудесным разрешением задачи. Ах, кто этот человек, давший мне деньги? А самое главное — почему? Быть может, ему что-то открылось?

Я бросился искать капитана. Матросы подсказывали, куда идти: направо, налево и вверх, вверх, пока я не попал в просторную застекленную кабину, где стоял за штурвалом человек в морской форме. А рядом с ним — ну, разумеется, капитан, его сразу узнаешь. Я принялся объяснять ему — греку со спо-

койным загорелым лицом и в белой фуражке с золотыми вензелями, — почему мне так важно найти молодого француза, севшего на другой пароход. Нельзя ли связаться с ним по радио, чтобы хотя бы спросить его имя? И почему он так поступил?

— По-моему, все ясно, — сказал капитан. — Вы получили ваш знак. Незнакомец покупает вам билет, кассир снижает вам цену, матросы ждут вас у трапа, — где вы все это видели? *It is not human!*

Его последняя фраза и была настоящим знаком! Вспышкой. Он произнес мои собственные слова англичанину-шоферу. Их он не слышал! Онемевший, я стоял, глядя на капитана, и он улыбался мне, удивленный.

— Ваш капитан — очень бравый человек, — сказал я матросу на палубе.

— О да!

— Как его имя?

— Христос.

Даже так! Конечно, я знал, что греческое имя Христос пишется чуточку иначе, чем Христос Евангелий. Именно чуточку — с разницей в одну букву. Я стоял у борта почти невесомый и дышал морским воздухом, и мощный корабль легко нес меня в бескрайнюю голубизну.

И вот она снова передо мною — недоступная голубая даль. И снова меня не берут, и нужно вмешательство сил. И как это будет?

— Тереза сказала, что, к сожалению, мы ничего не можем для тебя сделать, — сказал американец Джон. — Но самое важное я тебе сообщил: мир идет к концу.

— С той стороны у меня есть родственники, они помогли бы, — сказал Дэвид.

И вдруг я увидел знакомую голову: тот самый юноша, купивший мне билет в Бриндизи! Я рванулся к нему, словно к родственнику.

— А, и вы здесь! — удивился он. — И как дела?

— Да вот: снова жду.

— Я был на Крите и заработал немного. К сожалению, не могу вам помочь в этот раз.

— Это неважно. Важно другое: как вас зовут? И почему тогда вы купили мне билет?

Кажется, он был немного смущен моей прилипчивостью и вопросами.

— Ну, Себастьян, — сказал он. — Да купил просто так: вам же нужно было переправиться? Нет, ничего не почувствовал. Нет, ничего особенного не подумал. Просто смотрю — парень без билета, а корабль отплывает. И все. Счастливо, удачи!

Шли пассажиры с вещами. Въезжали грузовики через откывшуюся корму парохода. Скоро отплытие, скоро! Туда, далеко за горизонт! Оставим скучные хлопоты здесь!

Медлительные моряки. И еще незаметные люди в темной одежде, внимательно вглядывавшиеся в лица пассажиров и затем терявшие к ним интерес навсегда. Служба безопасности, это она: Израиль — вечная линия борющихся сил, тысячелетняя парадигма. Ко мне приглядывалась полиция берега и корабля: он без билета, естественно, будет пытаться проникнуть. Но прорывался другой, как выяснилось потом, Джерри, англичанин. Ему нужно было на Кипр. Он кричал и доказывал, но его вытолкали без церемоний. Тогда он поступил по-другому. Он полез по якорной цепи, спускавшейся на пирс и прикрепленной к чугунной чушке. Моряки не могли этого видеть, борт им мешал, но стоявшие внизу невольно следили за опасным предприятием. Почти удававшимся: Джерри был уже высоко, ну, еще несколько метров! Увы, наш взгляд его выдал: какой-то матрос, начиная догадываться, выбежал на причал и увидел нарушителя! Тот спрыгнул на палубу, еще мгновение — и он скрылся бы! Ах, какая досада! Раздался свисток, моряки побежали обыскивать судно. И скоро его почти принесли: вырывающегося, с разбитым в кровь носом, изрыгающим страшные английские ругательства. Бедняга оказался рядом со мной. И вдруг он принялся надо мной насмехаться. Не удивительно ли? Ведь мы были товарищи по несчастью. Нет, он не хотел такого товарища, «дурака, которому не на что купить билет на трам-

вай, не то что на пароход». Береговые полицейские потащили его в свою кутузку.

Корабль загудел. Маленький буксир затарахтел мотором и натянул трос, полоска воды возникла между кораблем и причалом, она становилась все шире, ее уже нет, не перепрыгнуть, борта корабля облеплены людьми, а на причале толпа растекается. Я остался один со своим рюкзаком. Я стоял и надеялся. Видел же я чудеса в жизни! Почему бы опять ему не случиться? Разумеется, как-то неожиданно, по-небесному и по-божественному? Бог всегда неожиданен.

И тут на причал с грохотом въехал огромный грузовик и отчаянно загудел. То был опоздавший. Он гудел и гудел требовательным басом. Мне показалось, что корабль замедлил движение, — он уже выходил в открытое море. Нет, не замедлил. Он лишь загудел в ответ — печально, но несколько отчужденно, желая сказать, что ушел и что изменить ничего нельзя. Я люблю почему-то такие моменты отрешенности. Обреченности. В сущности, это и есть главное содержание любой трагедии. Вообще — человеческой жизни.

Карл из Бордо не пришел ночевать к Агиас Триас, и правильно сделал: ночью явилась полиция проверять документы. И если его ищут родители, то он, быть может, попался бы. Он словно предчувствовал. Он сказал на другой день, что ему вдруг показалось неприятным там ночевать. А до этого место было уютным. Карл верил своей интуиции.

Утром Костас пришел до того, как я проснулся. Спящий на улице спит крепко и полноценно, и в то же время чутко. В человеке пробуждаются привычки додарвиновского животного, готового вскочить и спастись при малейшей опасности. Все-таки от инстинкта не одни неудобства, хоть их, разумеется, больше.

В утреннем полумраке церкви не было никого. Лишь одна голова отбрасывала тень из-за тревожно горящих свечей. Они освещали спокойное женское лицо, чуточку одутловатое. Такие лица бывают у юродивых, я это заметил, их на Западе на-



зывают утрированно «безумными во Христе». Почему уж сразу безумные? Живут по-своему, только и всего. Если уж нет у них денег — так обязательно и безумие.

Женщина была одета в кофты и длинную юбку, делавшие ее фигуру бесформенной. Это защищает от вожделенного взгляда. Такая же цель и у монашеского одеяния. На меня она бегло взглянула.

— Ну, как дела? — спросил Костас без особого интереса.

— Все так же, — сказал я.

— Бог поможет.

Это я тоже знаю. Но вот как? Нужно ли пойти Ему на встречу, туда, где Он меня ждет с протянутой рукой помощи? Или, наоборот, не двигаться, ожидая?

— Она знает, — сказал Костас, поведя головой в сторону женщины возле подсвечника. Это круглый тазик, наполненный песком, в который воткнуты горящие свечи. Очень удобно.

Женщина повернулась и смотрела в нашу сторону. Я поклонился ей и вышел.

Море сияло своей синевой, неощутимо сливаясь с небом — там, далеко-далеко, где уже было, собственно, море. Его безмятежность лечит от хлопот, я это заметил давно, с первого раза, когда увидел море впервые. Это было Балтийское, легкое в своих северных акварельных расцветках. А потом, приехав опять к подмосковным бабушке с дедушкой, обнаружил, что шум хвойного леса напоминает шум моря. А вот обратного нет — шум моря на шум леса не похож. Эта односторонность похожести меня беспокоила в детстве: закон симметрии здесь почему-то не действовал.

Меня тронули за рукав. Обернувшись, я увидел женщину, вышедшую следом. Она заговорила по-гречески с очевидным усилием, словно ей было трудно произносить. И сказав, смотрела на меня улыбаясь и вопросительно, ожидая ответа. Но я ничего не понял.

— Как вас зовут? — спросил я.

— Мария.

— Простите меня, Мария, я говорю по-гречески мало, повторите, пожалуйста.

Она повторяла, а я не понимал! Мария начала сердиться.

— Тетарти, тетарти! — сказала она и топнула ногой. (Четверг, четверг!)

Меня осенило:

— Ты хочешь, чтобы я пришел сюда в четверг?

Лицо Марии просияло, и она повела головой вверх, довольная (это греческий утвердительный жест).

— Вечером?

Радуясь, она подтверждала.

— Непременно приду, спасибо, спасибо!

Она уходила довольная, словно выполнила важное поручение.

И я отправился. Сначала на рынок, надеясь поживиться там остатками фруктов и овощей. Мария не объяснила мне ничего, но я чувствовал, что это связано как-то с моим путешествием. И ее просиявшее лицо. И робость, которую я почувствовал, глядя на него: сияние безмятежной души, той чистоты и хрупкости, рядом с которой боишься пошевелиться, до того ты грузен и грязен.

В четверг вечером церковь оказалась полна. Приезжий митрополит делал доклад о духовном, и жители Пирея пришли во множестве. И как тут было найти Марию? Я и не пытался. Я старательно слушал удивительную греческую речь (на мой славянский слух, разумеется), — звонкую с шепелявыми межзубными согласными, но понимал не слишком много. Как это часто бывает, от усилия, скудно вознаграждаемого, меня начало клонить в сон. Приятна дрема в окружении человеческого множества, настроенного дружелюбно. Но вдруг все задвигались, заговорили: лекция кончилась. Кто-то осторожно толкал меня.

Сияющее лицо Марии. Робость в душе (быть может, сходная с той, которую испытывал Петр, когда говорил Иисусу: «Выйди от меня, ибо я человек грешный»). Она поманила меня и стала пробираться через толпу, озабоченно обходя группки

беседующих. И наконец взяла меня за руку и подвела к молодому человеку, болтавшему оживленно с другими двумя-тремя. И произнесла:

— Автос.

«Этот». Загадочная фраза, не правда ли. И кому она была адресована, юноше или мне? Продолжая беседу, юноша косился на нас, а мы стояли и ждали. Мария улыбалась, чем-то очень довольная. Собеседники решили вступить с нами в общение, и молодая женщина обратилась к Марии:

— Вам понравилась лекция?

Улыбка сбежала с лица блаженной, оно сделалось отчужденным. Нет, так Мария беседовать не хотела. Или не могла. Она повторила, показывая на юношу:

— Автос!

Тогда он спросил меня:

— А вы что тут делаете? Вы путешествуете?

Мы начали говорить на смеси греческого и английского, и Мария слушала нас, следя за выражениями наших лиц: это ведь тоже язык, и, пожалуй, красноречивый.

— Вот что: я могу вас пригласить ночевать. Хорошо?

— Хорошо, — сказала Мария и, коснувшись моей головы покровительственным жестом, исчезла в толпе. Мне было немного неловко оставить Карла одного, и я сказал об этом новому знакомцу, как выяснилось, тоже Николаю, точнее, Николаосу. Он сказал, что места у него хватит на двоих. Карла мы нашли на ступеньках перед церковью.

Жилище неожиданного благодетеля оказалось комнатой в народном районе Пирея. В ней были остатки другого образа жизни: трюмо красного дерева, кровать с резной спинкой. В углу висела икона, и перед нею теплилась лампада.

— Ты едешь в Иерусалим?

— О, да, — сказал я. — Иду пешком, иногда меня кто-нибудь подвозит.

— И вот ты на берегу моря, — заметил Николаос.

— И я жду погоды, — ответил я в тон.

Он вышел в маленькую кухню и возился там. И вернулся с бумажником.

— Я даю тебе десять тысяч драхм, этого должно хвалить на билет, — сказал он, протягивая деньги. На лице Карла изобразилось изумление: так просто взять и дать ощутимую сумму! Но и холодок отчуждения повеял от него: мне повезло, а ему... Мы вдруг оказались в разных классах. Почти кастах. Мне было неудобно оставлять его одного с нашим общим затруднением, но что тут поделать?

— А твой товарищ куда едет? — не сдавался Николаос.

— В Александрию.

— Так и ему нужен билет?

— И еще как!

— Ну, вот еще десять тысяч.

Такое Карл видел впервые в жизни. И нечто совершалось в его сознании бесповоротно: незнакомый человек расставался с деньгами легко и просто. Только потому, что он, Карл, был в затруднении. И не с какой-нибудь единственной драхмой. Если б он сам не видел, то не поверил бы. А я поражался спокойствию Николаоса. Часто люди, подав милостыню, затем раздражаются на нищего, словно он их ограбил.

— Я не умею сказать тебе спасибо по-настоящему, — сказал я. — Но я думаю, что ты — рука Провидения.

Николаос почти смутился:

— Не говори так. Вам нужно, а у меня лишнее. Вот и все. Счастливого пути! Теперь вот что: я вас оставляю одних. Когда будете уходить завтра утром, захлопните дверь.

Он стоял в дверях.

— Постой: ты знаешь Марию? Женщину в церкви, которая меня подвела?

— Впервые видел.

Мы ужинали в комнате Николаоса, взволнованный Карл и я, не менее взволнованный.

— И в первый раз видел Марию! А я подумал, что это ее знакомый.

Признаться, я еще чувствовал особенное беспокойство, почти ужас, меня посещавший, когда вдруг обнажались нити и приводные ремни *оттуда*, обычно невидимые, замаскированные «случайностью» и «причинностью». Священный ужас, нужно уточнить. В нем была сладость и свежесть.

— Все в порядке, можете плыть дальше, — сказал мне человек в агентстве, протягивая билет. Он был доволен: я столько раз уже к нему заходил, расспрашивая о тарифах и скидках. И ему было досадно, что он не может мне ничего продать.

Счастье. Горизонт снова открылся, и показались древние стены и пустыни священных мест. Конечно, и здесь они были впечатляюще древними, но уж очень их здесь много, — я имею в виду богов. Священное меркло в деталях и человеческом. А там было место единственного, единого, главного Бога. Единственное само по себе божественно, не правда ли.

Путешествие в античность я уже совершил однажды нарочно, за восемь лет до того. Дельфы, Олимп, Афины. Именно в Пирее выяснилось, что деньги кончаются. В номере дешевой гостиницы, со следами на обоях, может стать, убитых клопов. Я беспокоился о жене и двухлетней дочке, хотя, конечно, и о себе. И о своем, так сказать, социальном лице. Как же мы теперь будем? Домой в Париж не могли мы вернуться немедленно: билет на самолет имел точную дату отлета. Ситуация показалась безвыходной. И восклицания Ирины о том, что «повсюду есть люди», меня не утешили. Тогда произошел странный приступ удушья, повергнувший меня наземь, хотя я и оставался в полном сознании, и все отлично запомнил. И испугалась. А потом все прошло. Но пять дней ожидания были мучительны, мы почти ничего не ели.

Как странно, как странно! Говорил я себе, счастливо вытягиваясь в спальном мешке, постеленном на толстом картоне. Как удивительно. О, мое восприятие мира стало иным. Мир стал моим. Моим домом. Наконец-то, в мои сорок лет. Впрочем, мысль об удобстве мне не чужда: вот и картон для подстилки хочется найти потолще, почище. И сухого хлеба побольше.

ше. Ничто человеческое мне не чуждо, как любил повторять...  
гм, кто-то.

— Костас, вот мой билет!

— Ага! Поздравляю! Что я говорил?

И Иосиф из магазина сделался дружелюбен. И другие. Всем хотелось погреться на солнце удачи. Они ведь повсюду те же, эти тепло и лучи, в сердце нищего и в печени миллионера. Как смерть и страдание, знаете ли. Не отделяй себя чересчур от плача и смеха других: тебя караулит иллюзия исключительно-сти.

Что-то мешало мне праздновать мой билет. Какое-то опасение. И вправду, пока ты еще здесь, не спеши отдаться ликованью удачи. Это я твердо запомнил однажды в Москве, когда агент «безопасности государства» — о, уже четверть века прошла с тех пор, и уже смыла его волна истории в клоаку! — держал мое разрешение на выезд — мою свободу — в руках и холодно и зло говорил, процеживая каждое слово: «Вы еще не пересекли государственную границу. Еще неизвестно, придется ли вам ее пересечь».

То был крайний исключительный случай. Жизнь или смерть, свобода или рабство. Такая альтернатива бывает не часто. Чаще — насчет поесть, насчет количества комнат и слуг.

— Мария! Спасибо! Я еду в Иерусалим!

Она смотрела озабоченно. И даже как-то покачала головой. И взяв меня за руку, повела. На пюпитре лежала икона, и Мария показала на одну из маленьких сценок, располагавшихся по бордюру: Иоанн Креститель в темнице. И сказала: «Авто». Это. Что «это»? Я не понимал.

— Я приеду в Иерусалим, Мария? — тревожился я.

— Нэ, нэ! — сказала она. Как ни странно, «нэ» по-гречески «да». А греческое «нет» — Охи! — напоминает русское восклицание боли.

Меня узнавали матросы. Все та же белая «Палома». Но теперь я с билетом!

Я полноправно стоял в очереди пассажиров, продвигавшихся довольно быстро к принесенному столику, за которым

сидел человек в морской фуражке. Он взял мой билет и эмигрантский паспорт. Как обычно, я выглядел белой вороной: твердая — а не мягкая, как у других обложка, и на ней слова *Travel document*.

— А где же израильская виза?

— Мне сказали в посольстве Израиля в Париже, что виза мне не нужна, — сказал я, внутренне холодея. Ведь известно, что первая придирка — это начало конца.

— Как так, не нужно! *You think so?* — иронически сказал человек. — Подождите, пожалуйста, в стороне.

И меня оставили. А другие — нормальные, хорошие люди с безупречными документами шли и шли на корабль, поднимались на палубы, кричали с борта знакомым, рычали грузовики, въезжая в исполинские недра, а также легковые автомобили, и их прикрепляли тросами к специальным крючьям и кольцам.

— Подойдите сюда, — сказал капитан. Он принялся листать мой славный документ не имеющего родины беглеца. Да, визы не было, но ведь мне сказали в Париже, что...

— Вам нужна, разумеется, виза, — сказал он.

— Но вы знаете, сколько километров от Пирея до Парижа?

— А вы поезжайте в консульство в Афины, там вам дадут визу, — сказал капитан, уже отворачиваясь и отдавая приказания. Матросы побежали в разные стороны, зазвенели звонки, заскрежетал, поднимаясь, настил, служивший мостом между причалом и нижней палубой, и он же закрывал зад корабля и становился кормой.

— Николя! — кричал мне с борта Карл и махал рукой. — Держи!

Он свернул свой свитер в комок и бросил изо всех сил. Я поймал его, но и этот отчаянный жест утешения не мог одолеть моей скорби. Да что такое, в самом деле! И билет теперь есть, и однако не плывется, не едет.

Представьте себе полноводный ручей, пересекающий лес и равнину, вот он приближается к пустыне, мельчает и исчезает в песке. Так бывает с планами человека. Так и со мной. О, эта

горечь! Быть может, придется все отложить. И отправиться на Афон. Может быть, там мое место?

И тут на причал ворвался человек с рюкзаком. Он подбежал к самому краю и простер руки к ушедшему пароходу. Междометья досады срывались с его губ.

— Когда следующий? — задыхаясь, спросил он по-английски.

— Ровно через неделю, — сказал я.

Это был Ювенций из Югославии, ехавший в Израиль работать в кибуце. И вообще все там посмотреть. И надо же, такая досада! Так опоздать! Такие расходы — жить здесь неделю! Впрочем, он успокаивался: у него не было визы, так как в Любляне нет посольства, и ему нужно ехать в Афины. А за эту неделю постараться подработать: денег в обрез.

— На уборке апельсинов, — предложил я. — Поедем-ка завтра в Аргос: там столица *портокалли*. Поедем на попутной машине.

— А сегодня я приглашаю тебя пить чай, — сказал Ювенций.

Довольные встречей, мы нашли общие интересы: хасидов, Мартина Бубера, смешные истории цадиков, тревожные истории «я» и «Ты». Мы сидели в таверне на этаже и пили вкусный сладкий чай, разговаривая обо всем. Кроме, надо думать, политики: она осела где-то внизу, словно красноватая муть на дне стакана. Ночь спустилась на портовый город, ночь. Таверну начали закрывать. Чувствуя себя старожилом, я пригласил Ювенция на ночлег к себе — под козырек заднего входа Агиас Триас. Спать на улице ему было внове, хотя у него и был спальный мешок.

Аргос. Столица апельсинов. Кучки молодежи, люди с рюкзаками, таверны, полные разноязычной речи. Огромные кастрюли с супом, — на это дешевое и удобное блюдо постоянный спрос. И неизбежный участник всякой уборки — полулежащий на тротуаре человек с бутылкой. Его совсем развезло, он что-то бормочет.

Ба, знакомые лица: Филипп из Труа.

— Привет, Николая!



— Знакомься: Ювенций.

Нет, не клеится дружба. Даже настолько, что Филипп пользуется моментом, когда Ювенций пошел себе взять салат и десерт, и говорит:

— Зачем ты с ним связался? Это же копия Носферату!

И в самом деле, лысоватый бледный Ювенций похож на вампира из знаменитого тогда фильма. Ну и что же?

— Филипп, ну и что же? Вся наша жизнь — почти что кино.

— Рассказывай глупости! Кино — это газета, типичное жизни, понимаешь? И если тебе попался вампир — будь осторожен!

Конечно, сходство с вампиром слегка беспокоит. Впрочем, Эллада почему-то не знает этого мифа. Тут кровь не сосали. Не пускали. Этот обычай расцвел дальше, на Севере. Связанный с библейской мыслью, что душа человека — в крови.

Собрание едящих и пьющих в таверне отзывается гулом на дурную новость: *портокалия* начнется несколько позже, чем думали. Дня через три-четыре. Если не пять. Но мы не можем так долго! Мы не можем жить в Аргосе просто так. Мы пришли заработать. Именно, что пришли: пятьдесят километров пешком, никто не остановился нас подвезти. Вообще в Греции это реже, чем в Европе. (И в то время. Ныне этот обычай исчез почти всюду).

И с ночлегом здесь нелегко. После долгих блужданий мы нашли недостроенный дом, без дверей и без окон. И надо же такому случиться: с утра Ювенций начал покашливать. А теперь, когда мы разлеглись в спальных мешках, у него уже была лихорадка. Ночь оказалась холодная, почти с заморозком, — да, в этом краю золотистых плодов. Яркие звезды стояли в оконном проеме.

— Красиво, — сказал Ювенций. — Странно было бы умирать при таком освещении! У меня, впрочем, есть аспирин. — Он дрожал и кашлял. И только под утро заснул, выздоравливая.

— Это от перемены климата, — сказал я. — Однако ты крепкий.

— Филипп, до свидания. Мы уходим в Коринф и оттуда в Афины. Быть может, я вернусь на уборку.

— Ты брось этого типа, — шептал мне Филипп.

— Вот тебе тридцать драхм на суп.

— Спасибо! Ты все-таки умеешь сделать жест, — говорил Филипп растроганным голосом. Мне знаком этот тон благодарности, когда посторонний человек вдруг приходит на помощь. Драгоценность жеста участия однажды явилась мне в чистом, так сказать, виде: я собирался поднять яблоко, закатившееся под прилавок. На рынке, когда кончилась торговля. Яблоко, собственно, было моим: упавшее на землю, помятое, кому оно нужно? И вдруг торговец нагнулся и поднял его, и протянул мне. И тут-то открылось, что протянутая рука имеет свою ценность: чудесный добавок к пище, движение сердца, которое меняет все. Как и всюду. Вероятно, и при писании. В литературе. То, что ты любишь, рассказывая, полюбят и читающие. И это им нужно, это-то им главное.

Мы выходили из темного Аргоса, поднимаясь на холм к церкви. К ней вели белые ступени, неразличимые в темноте: они сливались в белое пространство, мы спотыкались. Над входом горела лампочка. Я открыл дверь: нас окатила волна тепла и ароматов горящего ладана, гудение голосов. Довольно много людей там стояло, и они оглянулись на наше вторжение. Ювенций попятился.

Горели многочисленные свечи, было жарко. Увешанные иконами стены, росписи поднимавшиеся все выше, до потолка купола, где помещался лик Христа. И рука в благословляющем жесте. Женщины, одетые в черное, постепенно привыкли к нашему присутствию. Я люблю этот миг успокоения ассамблеи, когда она начинает обволакивать своим настроением чужака. Из того, что пели и читали, я понимал немного, но я мог следить за ходом службы: славянское последование такое же, оно в сущности перевод, даже сохранивший отдельные греческие слова.

Когда кончилось, небо было уже светлым. Мы пошли к сосновому лесу, надеясь, что тем сократим наш путь до Коринфа. К нему подходили мы вечером, и ночевать устроились в

нартексе Агиас Николаос. Кстати Коринф: я хотел почитать послания Павла на месте, как говорится, событий, надеясь на какой-нибудь отклик спустя почти две тысячи лет. На сон. Так и умершие звезды посылают нам свет.

Не поразительно ли, что этот текст в недавно отпечатанной книге был принесен сюда и читался людьми, от которых ныне ничего, видите ли, не осталось, — одни лишь руины и обшарпанный мрамор, совсем не похожий на гладкий музейный? Слова остались и живут, все время меняя своего материального носителя — папирус, пергамент, бумагу. Распыляющегося, гниющего, горящего. Как и мы, Господи, как и мы, помилуй нас.

Афины. Холм Парфенона. И Агора, и где-то был здесь камень с надписью «Агностос Тео». «Неведомый Бог», то есть. Его обнаружил Павел и сказал пророчески, что ему-то и поклоняется. Теперь наша очередь, покачав головой, сказать, что это правда: Бог неведом. А долго казалось, что все уже ясно: миру шесть тысяч лет, вода превратилась в вино, накормлены голодные тысячи пятью лепешками. И вот, оказывается, это всего лишь метафора. Говоря по-народному — так выразился однажды Филипп — вранье.

— Этот переход незаконномерен, — сказал Ювенций. — Метафора функционирует иначе. Вранье или ложь предполагает намеренное искажение реального положения дел в сообщении. Но ведь реальность никому неизвестна. Метафора — это описание загадочного. Мистерии.

Мы спустились от Парфенона в жилую часть города. Здесь стояла церковь, показавшаяся после античных колонн почти домашней. И неподалеку от нее — дом, обнесенный забором. Брошенный. Фанерка предупреждала о крайней опасности в него проникать. Ну, часто такое пишут, желая избежать самовольных жильцов. Мы пролезли между забором и стеною, и затем прошли через вход. Двери отсутствовали. Полы были сорваны на этажах, пахло гнилью и калом. А чердак оказался неожиданно чистым, с ровной поверхностью земляной засып-

ки. Мы были тут не одни: десятки кошек смотрели на нас со всех сторон, спокойно, не сводя глаз. Я постелил мою пленку, призванную в эту ночь защитить нас от обильной паутины и пыли. *Polyetilenus universalis*.

Кошачье общество жило своей тихой жизнью. Иные мылись, иные смотрели в прореху крыши. Вон та прогуливается по балке. А эта мурлыкает от избытка приятных чувств.

Ювенций вдруг спохватился:

— Ты уверен, что здесь нет крыс? Их я не переносу совершенно, даже одного их вида! Я боюсь здесь спать, я лучше пойду на улицу.

— Что ты, какие крысы при таком количестве кошек?

Он стал успокаиваться, еще оспаривая возможности кошки справиться с крысой. Его страх совсем не сочетался с образом киновампира: в фильме крыс тысячи, ну, сотни, вернее, всего лишь десятки, конечно, но снятые с таким мастерством, что кажутся бесчисленными. (Не зря же он получил первый приз!) Интересно, что сказал бы Филипп по поводу страха Ювенция.

В израильском консульстве судьба нанесла мне удар. Усталая женщина в окошечке сказала:

— Мы не можем выдать вам визу. Обратитесь по месту жительства.

— А в Париже мне сказали, что виза мне не нужна! — защищался я, холодея от ужаса.

— Стало быть, не нужна, — разводила руками женщина.

— Но меня не берут на паром, потому что нет визы! И посылают меня к вам!

— Видите ли, виза выдается по месту жительства...

А Ювенцию поставили желанный штампель визы в его паспорт. С красной звездой на обложке.

В Пирей мы пошли пешком. Ювенций сэкономил деньги изо всех сил. А у меня их опять не было. И эта горечь: три тысячи километров пройти и проехать, и вдруг такая осечка! Хуже того: в дверях Агиас Триас я столкнулся с благодетелем, тезкой Николаосом, давшим мне деньги. Он был удивлен неприятно:

— Ты здесь? До сих пор не уехал? В чем дело?

И я мямлил насчет визы, чувствуя, как зарождается у него подозрение: вот так тип! Получил деньги на билет — и проживает их себе. Все они так... Я показывал и билет, стремясь оправдаться, но иногда это так трудно, почти невозможно.

Навстречу улыбалась Мария. Мой посредник с таинственным небом. Какая там погода? Неужели ничего, кроме странного отказа после стольких месяцев труда?

— Имею для тебя подарки, — сказала Мария. Немного стесняясь, она развернула маленький пакет из бумаги. Во-первых, моточек черных ниток для шитья. Чайная ложечка. Крохотная свечка, какие зажигают на день рожденья. И маленькая баночка с конфитюром, — их подают в гостиницах на завтрак. Подарки путешественнику. Надежда приблизилась к моему сердцу, но я боялся ей верить:

— Значит, я еду, Мария?

Она радостно сделала утвердительный жест. Говорил ли я, что греки в этом случае головой не кивают, а поднимают лицо вверх, немного вытягивая шею? А мне что подарить драгоценной Марии? Вот эту иконку, которую мне подарили на севере в монастыре Метеоры. Она смотрела на изображение Спасителя с такой радостью, словно Он улыбался в окне ее дома. И с ним удалилась в полумрак нефа.

— Гюнтер, я уезжаю!

Нет, не Гюнтер это в потертой кожаной куртке, опирающийся о стойку бара. Его я видел несколько дней до того, и с детской игрушкой в руках. Он опять вспоминал о внучке в Штутгарте и о близком Рождестве. И исчез из Пирея.

— Викентий, прощай, я еду в Иерусалим!

Непринужденно лежавший на тротуаре нищий сгреб в горсть мелкие монеты, которые ему набросали, и подал мне:

— На храм Гроба Господня.

И оно оттянуло мне карман, пожертвование нищего! Ну вот, прощай, Викентий, как знать, увидимся ли. И Костас прощался. Прощайте, друзья мои, я вас успел полюбить, но приходит время отплытия. Там ждет меня Кто-то, туда я стремлюсь, потому что Он позвал, пригласил. Таинственный великий незнаемый.

«Палома» гудела, причаливая. Даже странно, что все это скопление автомобилей может в ней поместиться, все эти люди и кучи ящиков! Снова вынесен столик на край опустившейся на причал кормы. Капитан и другие моряки в фуражках с золотой мишурой. Проходит контроль Ювенций: его паспорт вертят в руках неприметные молчаливые люди, вглядываются ему в лицо. Проходите, гм... господин! А теперь вы... Я, то есть.

— Так у вас нет визы!

— Мне сказали в посольстве в Париже...

— А что сказали вам в консульстве? — подошел ко мне неприметный человек. — Вы ведь там были позавчера?

А я уже открыл рот, чтобы сказать «нет». Соврать. Нет, лучше уж нет. Они все знают.

— Мне сказали, что визу нужно просить по месту жительства. А по месту жительства мне сказали...

Но неприметные люди меня уже оставили! Я им больше не нужен!

— Ну, хорошо. Деньги есть у вас?

Теперь моряки привязались. Помощник капитана, боцман.

— Если вас не примет Израиль, вам придется купить обратный билет. Я не повезу вас бесплатно!

Я вынимаю, гордясь, горсть мелочи — лепту Викентия на Гроб Господень. У боцмана даже рот раскрылся от удивления. А капитан безразличным тоном сказал:

— Проходите!

Я? Мне? Можно? Вот это да: неделю назад еще нельзя, а сегодня можно! Но ведь ничего не прибавилось, не улучшилось? Как было тогда, так и есть. Но вот: пожалуйста, проходите. Фактор времени: ничто не стоит на месте, крутятся колеса и песчинки.

С бьющимся сердцем я прошел и поднялся на палубу, еще опасаясь немного, что передумают, схватят и вышлют. С высоты многоэтажного корабля причал казался потерявшим в размерах. Рыча, въехал последний грузовик, приехавший первый: он плыл до Кипра. До Родоса. Басовитый гудок, от которого вибрирует пол под ногами. Скрежещут якорные цепи, корма

поднимается, бегают матросы, сбрасывают петли канатов, и их вытягивают на причал. Рассеиваясь, идут в разные стороны люди на пирсе. Кончено.

И начинается новое. Буксир изрыгает черный дым из трубы, напрягаясь изо всех сил, и корабль трогается наконец. Все дальше от берега мы уходим, все дальше. И тогда я замечаю маленькую фигурку на уровне дороги, идущей по карнизу холма. О, она мне знакома. Я машу ей рукой, я даже кричу до свиданья, но меня, конечно, не слышно, и ветер не в ту сторону дует. Я машу и машу рукою. И вдруг вижу, как женщина поднимает руку в благословляющем жесте. Она даже снимает косынку. Она машет черной косынкой. Таинственная Мария, завершающая ей одной известную миссию. Прекрасная Мария. И глаза мне щиплет и жжет. Прощай, Эллада. Афины, прощайте. Иерусалим, спасибо за это стремление к тебе.

## ОБРАЩЕНИЕ

### I

#### ПУТЕШЕСТВИЕ НА МЕСТО СОБЫТИЯ

Все замолкли и отдалились.

Тишина вокруг меня и во мне.

Наконец-то я на нужной дороге, идущей на север: ведущей меня на север осенью 1991 года.

Остановка и отдых на опушке леса, на половине склона. Мощные буки и ели поднимаются выше; а ниже моей стоянки — Распятие, нарочито огромный крест из толстых брусьев, покрашенных белой масляной краской. У подножья — фигуры Марии и Иоанна, из чугуна; в складках одежды лежит красноватая ржавчина. Немного ниже пролегают стены монастыря, башенки и крыши — домиков келий, гостиницы, церкви. Очень крутые крыши (зимой здесь много снега), из пластин сланца иссиня-черного цвета. Ярко блестят новым железом коньки.

Гран Шартрез. На первый взгляд, он безлюден. Только колокол отбивает часы расписания дня, с репетитором в три минуты. И если смотреть, то начнет ощущаться напряжение скрытой за стенами жизни.

Его двери мне открылись в 86-м: возможному кандидату в монахи, на время самоопределения. Тогда здесь был и иной отец-наставник, Кирилл: из Ирландии, легкий, словно огонь, с летящей походкой постящегося.



Теперь из старых знакомых я видел только брата-конвера (живущего при монастыре мирянина) Жоржа, похожего на дворецкого XIX века со своим жилетом и галстуком-косынкой. Как и прежде, он был озабочен здоровьем своей старенькой матери.

Впрочем, неожиданно я повидал всех насельников монастыря! Утром они вышли служить мессу во «внешнюю часовню», за стену: прощальную мессу по случаю отъезда сестер, заведовавших гостиницей. Их отзывал орден, ряды которого невосполнимо редели.

Дрогнувшие голоса, слезы, прощальное слово настоятеля.

Начавшийся тем временем дождь превратился в ливень. Моя замечательная пленка (3x4 м) от него защищала, это правда, но дождь шел и шел, а я стоял, накрывшись пластмассовым колоколом, по которому ощутимо лились потоки. И отправился проситься под крышу.

После наведения справок, консультаций и ожидания, после вздохов по поводу «неслыханного исключения» портье брат Жорж открыл дверь в стене коридора въезда. Ступеньки спускались в полуподвал с романским сводом и крошечным окном, умывальником и двумя кроватями. На них лежали огромные кожаные матрасы.

Здесь было прохладно. Влажный после дождя, я колебался, не зажечь ли мне печку — и не решился. В августе такой поступок среди аскетов мог показаться несколько вызывающим.

Впрочем, ужин, принесенный Жоржем в деревянном ящике с ручкой, и плитка, на которой можно было еду подогреть, меня утешили окончательно.

Ночной колокол меня разбудил. Внутренняя дверь была заперта, пойти в церковь я не мог. Но воспоминания были живы: мысленно я спешил по лестнице, там и тут возникали безмолвные силуэты в капюшонах и растворялись в тусклом освещении коридора. Мой путь новичка был другим: через залу со статуей (вероятно, св. Бруно, основателя ордена), где все окна были открыты, несмотря на ночной холод, и в окнах сияли яр-

кие горные звезды и чернела кромка леса. Запахи старого дерева, истлевшей бумаги.

Я помещался на галерее под самым сводом, почти всегда один. Можно было зажечь и лампочку, освещавшую огромный том латинской псалтыри и ноты григорианского распева.

Ночного богослужения, Ноктюрна I (для всех насельников) и Ноктюрна II (для отцов-ветеранов).

Братья расходятся: завтра им работать на огороде, на кухне.

А отцы остаются. Их основная работа — бденье и пост. До прозрачности черт лица.

О, порыв души. И не только моей. Много молодых голосов, в них слышалась особенная щемящая тоска — по небу, по вечности. По великому грандиозному т а м.

Et in Unum Dominum Iesum Christum\*

Почти восклицание. Уже не пение — почти крик, вопль нетерпеливой надежды многих.

Драгоценное человеческой жизни.

Прощай, место.

— Брат Жорж, прощайте!

И отец Кирилл тоже уехал, в Англию.

Его имя в монастыре — одного из двух братьев, просвещавших славян в IX веке. Они всегда вместе, Кирилл-и-Методий. Кто-то из братьев пустил в обращение прозвище: *Cyrille-sans-Méthode*, Кирилл-без-Метода. Шутник был, вероятно, уверен, что есть где-нибудь метод приближения к Богу, почти гарантия успеха.

Постепенно прозвище переменялось в другое: *Cyrille-sainte-Méthode*: Кирилл-святой-Метод...

Прощайте.

Теперь — вверх по тропинке, к перевалу, чтобы спуститься прямо в Савойю.

---

\* ... и во единого Господа Иисуса Христа (лат.)

Вверх, к домику лесопилки, к стоящей одиноко в лесу маленькой церкви св. Бруно. Там и тут лежат гигантские валуны высотой в десять метров, словно прикатившиеся страшной лавиной. Они уже навсегда обросли вековыми деревьями.

Церковка открыта, в ней есть молящийся человек.

И мне хорошо тут побыть, вспоминая мессу для послушников и кандидатов в послушники. Частицы преломленной облатки шли по кругу на золотой тарелке. Пронзительный образ: кусочки сухого хлеба, на золоте, потому что не просто хлеб...

Молившийся человек собрался уходить. Молча мне поклонившись, он показал связку ключей.

Мы простились, и я пошел по тропинке дальше, унося в памяти его имя: Франсуа.

И еще его лицо, точнее, состояние лица, иногда виденное мною у молящихся: глубокое лицо и спокойные глаза.

Лицо человека, знающего страдание, и тем не менее просветленное: он знал и смысл своего страдания. Это уже большая редкость.

Крупные черты, может быть, чуть неправильные, и однако — несомненная красота человеческого лица, от которой мне делалось тревожно: как Петру в лодке, когда он просил Иисуса: «Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный...» Страх испортить божественное чистейшее своим присутствием.

Тропинка тем временем вышла на луг с пасущимися коровами, к подножью отвесных скал Сома.

Руины свода и остатки колонн: быть может, следы первого монастыря, сметенного страшной лавиной в XII веке? Кажется, братьев было одиннадцать, и погибли все. Одного из них звали Николая.

Подъем здесь нетруден: ноги туристов проложили тропу; впрочем, тут проходят и братья во время еженедельной прогулки, «спасиман».

Показался и крест, поставленный братией в память о возвращении ордена во Францию. После разделения церкви и государства 1905-м и высылки.

Рюкзак тянет назад. Еще шаг, ну, еще, ну... Вот оно! Пространство долины, лесов и гор, сливающихся в зеленовато-голубоватую дымку горизонта. И над ним — огромная, с розовыми оттенками, масса Монблана, возвысившаяся в небо. Она меняет пейзаж, она уменьшает его детали до микроскопических.

Тогда, в 86-м, увидев впервые и вздрогнув от неожиданности, испуга и радости, я не спешил обдумывать этого движения души. Я им наслаждался: словно вся душа целиком могла вздохнуть, наконец, просто быть, расправившись после тяжести земной жизни: ну вот, я и дома, кончена каторга сундука с мелочами, мышами и пылью!

И это безмолвие.

И свежесть воздуха, еле уловимого бриза, вдруг принесшего запах далекого талого снега.

О таких вещах хочется поговорить, чтобы миг оставался и длился, чтобы излить несколько полноты сердца. Но всегда опасаясь, что слова нечаянно обернутся суждением — и проколет, и вытечет все.

Стоять и смотреть: как если бы все состоялось, все то, что я считал желанным, своим, драгоценным и вечным.

И в самом деле, все состоялось: в тебе теперь есть место, орган, часть души, который воспринимает, откликается, больше того — и страшнее — обнимает весь этот пейзаж бескрайности и высоты. В этой точке земли, где тебе даровано стать и смотреть, — мир не враждебен тебе, он любовен, он любит тебя, точно так же, как и ты его полюбил — после ужасов и потливого труда десятилетий. После километров глупости и вождений пришло время бескорыстия отъезжающего.

Время бескорыстия прощающегося.

Тропинки желтоватыми жилками пересекают луг, наклонившийся к лесу, а дальше и ниже, в глубине темно-зеленой хвойной долины видна ленточка асфальтированной дороги, и по ней едет игрушечный автомобиль. Людей с такой высоты и вовсе не видно.

Игрушечность мира. Вернее, его малость, муравьиность, секундомерность.

Но нельзя остаться здесь навсегда.

Мне даже хочется предупредить миг, когда начнет иссякать ощущение полета, свободы.

И детали начнут проступать, словно пятна на скатерти по окончании пира.

Облака уже стягиваются к Монблану, они еще не могут его заслонить, но повисают плотною кучей — и скрадывают половину его высоты.

Так трудно уйти! Вон виден еще монастырь, его острые крыши. Холмы и утесы, леса...

Вдруг что-нибудь произойдет — самое существенное, великое, отменяющее одиночество человека, вернее, Человечества, — произойдет то, что называется Божоявлением, Откровением? Как оставить это едва переносимое напряженное ожидание — нерв и двигатель монашеской жизни и религии вообще?

Ну, пойдем, уже солнце заметно перешло половину дня. Половину жизни.

Теперь идти вниз. Это, конечно, легче, но почему-то менее интересно. С каким-то смущением, словно не застав пригласившего в гости, словно не принятый по каким-то причинам, неясным, но неустранимым. С какой-то усталостью: опять то же самое, несмотря на труды и веру, опять возвращенье в мир хлопот о пище, об отоплении.

Вспоминая крест на вершине. Вспоминая и громоотвод на нем, металлический штырь, соединенный с землей толстым медным проводом.

Как если бы Бог мог поразить молнией крест!

И, кажется, поражал, и не только кресты, но и церкви разбивала, случалось, молния, и даже знаменитые, например, северный шпиль базилики Сен-Дени. Но как же так...

Да вот так: оказывается, это явление природы, и Бог тут ни при чем. Это электрический разряд, который...

Наука изменила наш ум, вот в чем дело, по-иному организовав избирательность внимания. Теперь все по-другому.

Но еще теплится смысла, еще тлеет фитилек символизма, не правда ли, еще можно, почти оправдываясь, подумать, что громоотвод — это сам крест, это Крест над миром, великий громоотвод Гнева. От него, в свою очередь, законы физики не защищают, — в странные времена катастроф; стужений несчастий в жизни, — одного ли человека или миллионов людей.

Усталость защитит от сомнений: настает равнодушие к выводам мысли, тело хочет — после всех километров — улечься на отдых, оно сегодня не умеет капризничать, оно согласно на тощую сухую подстилку. Среди странной местности: обгорелые пни, срубленные деревья и кустарники, завалы сучьев на склоне к Шамбери.

И странный звук высоко над головой. И снова.

И лишь спустя время, почти во сне я понимаю, что это пролетели пули. Ах, вот почему попадались плакаты, предупреждавшие о стрельбе: тут, должно быть, военный полигон, и кажет...

\*

Сон оборвал мысль.

Проснувшись, я снова подумал о постоянной связи народного тела и оторвавшихся частиц, эмигрантов: мне — безвредные шальные пули, а в Москве — военный переворот. Кажется, неудавшийся: новость о нем застала меня на сезонной работе, в детском летнем лагере.

Новость принесла болезненное ощущение, почти уныние: неужели *они* опять побеждают! Неужели — всё насмарку, и снова туда же: деревянные речи, всеильные люди в штатском?

Нет, не удалось: с этим бедствием кончено.

Начиналось новое бедствие, новая язва — время жадных жестоких людей. Это задача для нового поколения.

А я почувствовал освобождение. Словно моя жизнь началась и сложилась под знаком разрушения коммунизма в России. И вот, кончено с этим.

Быть может, я успею на сбор винограда в Эльзасе: на юге он начался, и теперь волна уборки шла через Европу на северо-запад. Не подхватит ли она и меня, сезонного рабочего среди тысяч, чтобы донести до Мозеля и Рейна? Там я поверну на север.

А пока вечер застал меня в Анси.

Тут есть базилика, не слишком древняя, очень ухоженная, натопленная, с указателем «приют для паломников». Он уже заперт на зиму.

И правда, начинается осень.

При базилике есть обитель сестер Ордена Посещения: в честь евангельской встречи беременных родственниц, юной Марии и престарелой Елизаветы. В дни своего основания — в начале XVII-го — орден был в возрасте матери Иисуса, орден молодых сестер. А ныне почти все они напоминают старицу мать Иоанна Предтечи.

Его основателя Франсуа де Салль († 1622) французы называют «чемпионом мягкости» (*champion de douceur*). В Лионе похоронено его сердце. Тело привезли сюда, и потом положили в новой церкви. И Жанна Шанталь, после гибели мужа и детей, участвовала в создании ордена. Она стала святой. Ее тело тоже лежит в саркофаге.

Вернее, кости, скрытые в восковой фигуре: церковное эхо Ренессанса.

Вероятно, древний обычай делить тело знаменитости на части уже не существует. На три части: сердце, кишечник и остальное. Труп знаменитости — капитал, за который люди сражались! Одна борьба аббата Сугерия за королевские костяки для Сен-Дени чего стоит!

Впрочем, «три части» — несомненно библейского происхождения: сердце, как пристанище ума; внутренности — орган доброты и жалости как человека, («взволновались все внутренности ее», — сказано о настоящей матери в притче о суде Соломона), так и Бога; и кости, схема будущего воскресения...

Хотя о маловерии нашего XX века говорят, такой материализм представлений верующих веков нам и не снился.

Указатель для паломников меня не обманул: рядом с запертым домиком я нашел широкую удобную скамью (деревянную, — как не отметить деталь, столь важную для спящего на улице?) Проблема ночлега решилась.

В базилике лежали листочки с молитвами местных святых. «Seigneur, Bonté Souveraine...»

— Господи, власть имеющая Доброта...

Девиз жизни обоих основателей.

И — необъявленный девиз города.

Это часто бывает. Крыши домов начинают подражать своей формой главному зданию города, собору или феодальному замку.

А нравы — нравам основателей.

И когда я шел к старым церквям в центре города, меня вдруг окликнули из торгового ряда:

— Эй, ты, для тебя тут что-то есть.

Зеленщица протягивала мне мешочек с фруктами. Отличными фруктами, может быть, чуть увядшими, — и потому они уже не могли удовлетворить нынешнего привередливого покупателя.

Поверх яблок и персиков лежал кружок камамбера.

Мне было приятно благодарить торговку: словно через нее донеслось приветствие откуда-то с того света...

Ее обветренное лицо улыбалось: ей было приятно слышать сказанное от сердца.

— Господи, величественная Доброта...

А над озером гремела музыка. Осенняя, одинокая музыка инструментов, в которую не вкраплены крики детей, восклицанья купальщиков, удары по мячу.

У берега стоял паром-ресторан. Его название было смешным для русского глаза: *La Libellule* (стрекоза).

Потому что почти двести лет в русских школах учат наизусть (и тем более — в советский период!) басню «Стрекоза и Муравей». Русский автор Крылов приспособил Лафонтена к северным условиям его *La Cigalle et la Fourmie* (Цикада и Муравей). Вероятно так же, как французский поэт приспособил греческого Эзопа, который, кажется, воспользовался египетской мудростью, если не персидской... ну, а персы, если иметь



в виду связи с Индией... Нет, сегодня я не поддамся приглашению в кругосветное путешествие! Еще я не совершил своего маленького похода в немецкий городок. Впрочем, эта «Стрекоза» сделала на зиму предостаточные, надо думать, запасы: на нее работало столько муравьев...

Женева. Приезд автостопом и попытка найти друзей угаснувших дружб, и встречи, и...

В записной книжке осталась мелодия, впервые услышанная здесь, в местной церковке. Мелодия «заповедей блаженства». В качестве автора указан Мироносицкий, живший в конце XIX века. Говорят, что он только записал мелодию у странников.



Блаженны плачущие, ибо они утешатся...

Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божиими нарекутся...

Не в этом ли сокровище христианства? Его открытие, как превратить несурязицу жизни в двигатель надежды. Для христианина наступающее несчастье таит обещание избавления: словно захлестывающая волна приносит с собой спасательный круг!

Старый священник говорил проповедь о необходимости веры. Я знал его близко лет 15 тому назад в Париже: отец Осия, испанец, выросший в католичестве, прошедший протестантизм и завершающий жизнь в православии. Такой маршрут поиска свойственен юности: желание найти воплощенное абсолютное, место, где навстречу выйдет Христос. Ведь должно быть на земле такое место!

Отец Осия меня не узнал.

— А где вы ночуете? — спросил меня певчий.

Пора оставить Женеву. Уже в пригороде, подходя к светофору, заметил три и четыре автомобиля, ожидавшие зеленый сигнал. Спокойный солнечный день. Никто из водителей не повернул головы в мою сторону, никто, казалось, и не заметил путешественника с красным рюкзаком: ничего интересного. Однако боковое стекло ближайшей машины вдруг поднялось. Поднялись стекла машины, стоявшей чуть дальше. И у совсем дальней машины поднялось и закрылось боковое стекло. Это раньше нужно было крутить ручку, не правда ли, а теперь достаточно нажать кнопку незаметным движением, лишь только потянет холодком от присутствия иной социальной *страты*, которой нечего особенно тратить. Ах, как интересно! Жизнь человека — неисчерпаемая жила ситуаций и положений, новелл и романов.

Успокоить человеческий дух. Избавиться от сомнений. В наше время — важнейшая задача. Она решалась, конечно, средствами эпохи. Иногда можно было приказать не сомневаться — и подкрепить приказ угрозой. Ныне это — нет, не работает.

Все дальше: через Лозанну, Люцерн... есть ли время остановиться?.. Через Фрибург: он показался радушным, дружелюбным настолько, что даже подумалось: вот здесь бы и жить... Не потому ли, что здесь стоит огромный готический собор св. Николая, и покровитель города приветил меня, тезку путешественника.

Горный город: дома на склонах, мосты, повиснувшие над пустотами. Пора уходить. И снова медлю: не откроется ли что-нибудь, не вспомнится ли. В рассеянности — в этой странной невнимательности — я начал терять избранное направление. Не в лесу, а среди домов и дорог! И вышел к Шварцензее, Черному озеру, после полудня, мимо лесопилки, куч бревен, веселых и задиристых приветствий рабочих.

Это дачная местность. В такой ночлег всегда затруднительно: заборы, собаки, заборы, собаки. И рискнул идти по проселку, не обозначенному на карте, почти наудачу, ориентируясь по солнцу. Оно уже лежало на линии горизонта.

На противоположном склоне долины показались дети, возвращавшиеся в деревню: ее крыши виднелись вдали и внизу. Дети несли букеты цветов.

— Эй, эй! — закричали они мне. И замахали руками.

Им было весело.

— Эй!

И я махал им в ответ. И почувствовал, что сжалось сердце, и на ресницах... что это, почему, кто ныне живет во мне?

Необыкновенная миролюбивость пейзажа, это часто в Швейцарии. Все как повсюду: обросшие кустарником прямоугольники угодий и пастбищ, одинокие яблони, сливы; склоны, засеянные и под паром. И однако что-то есть такое...

Наконец, я решил рассмотреть местность внимательно, деталь за деталью, и открылось: проволока! Проволока оград, натянутая между столбами, была гладкой, без колючек. И без электричества. Плавные линии ограды не ранили взгляда. Двести лет без войны. Оказывается, глаз отмечает колючки, хотя к ним, казалось бы, с детства привык: колючая проволока принадлежит обиходу XX века, как ложка и чашка.

Часто и церкви имеют что-то вроде нартекса: прихожую с дверью и окнами, и из нее уже ведет дверь в саму церковь, разумеется, запертую.

Такое устройство сельской церкви изредка встречается и в Шампани. В ней можно укрыться от непогоды. Счастливая находка в густеющих сумерках! Было славно расстелиться на деревянном полу церкви в селе Гутгисберге.

Утром меня застал человек: я складывал спальный мешок и пленку (3 x 4 м). Он посмотрел внимательно, но спокойно, не выказывая удивления, и поздоровался дружелюбно. Оказалось, он местный пастор.

Он пришел очень рано, потому что сегодня воскресенье и, кроме того, национальный праздник Примирения, *Busstag* (День Покаяния). В память о едва не начавшейся гражданской войне между католиками и протестантами. Совсем недавно, в прошлом XIX веке. Пастор Поль.

И другие участники собирались. Готовить Вечерю: воспоминание все того же ужина Учителя и учеников. Великого и страшного Вечера ожидания, что вот-вот в общенье друзей — и в общение любящих друг друга — войдут — нет, ворвутся — иные силы. Солдаты, прислужники храма, представители общности, полицейские в штатском

Впрочем, жизнь человека из этого и состоит: в состоянии любви и сердечного мира врывается смерть, жажды и страсти тела, жестокое, наглое.

В разных пропорциях, конечно.

Сегодня учеников изображали — ими и были — подростки и дети. Окружив пастора Поля и стол, — им служила накрытая купель.

«Ешьте и пейте, это Мое тело и кровь...»

«Какие странные слова!»

По рядам разносили хлеб, кусочки его лежали горками на подносах. И вино, вернее, виноградный сок. Он помещался в кувшинах с длинными носиками и ручками, какие часто бывают на картинах XVI века. Утварь того времени вошла в ритуал — он только складывался и был открыт — им освятилась и прекратила эволюцию. Так везде и всегда.

Потом все расходились, не особенно торопясь, разговаривая со знакомыми. Пастор сказал:

— Вы путник. Если хотите, оставайтесь с нами: мы пьем в кафе чай и кофе, вместе со всеми, а затем будем обедать у нас.

Его семья состояла из жены Доротеи и детей, уже взрослых, но юных Микаэля и Сюзанны.

Их окружала дружественная почтительность: разумеется, все-таки пастор, и сами видите, какой! Но была и другая при-

чина: семья была поразительно красива — и родители, и тем более дети, цветущие юностью.

«Какие красивые люди есть у Тебя!» — подумал. Хотя в то время я очень интересовался различиями христианских конфессий, за столом я не осмеливался слишком направлять разговор к этой теме.

Подобная красота собеседников — тоже аргумент!

Сегодня День примирения. В честь чудесного праздника приглашен к столу бомж s.d.f., хотя о нем уже знали, что он православный.

И еще пожилая женщина.

«Нищего введи в дом...» Твоя заповедь была исполнена, говов подттвердить. В нас живет сегодня Евангелие, не правда ли, в сидящих за столом в полдень. Их красота не стесняется убогости путешественника, нет, не стесняется.

Воскресный осенний день, переваливший за полдень. Сине небо и желтая листва. Но и обильная зелень пастбищ и всходов озимых.

И комья пашни, коричневые, лоснящиеся на срезе.

Постройки на склоне, напоминавшие аббатство. И я поднимался к нему: оказалось, что в прошлом оно здесь и было, а потом — а теперь дом престарелых.

— Ах, как хорошо, что вы пришли именно сегодня! — сказала мне, улыбаясь, старенькая дама. Ее везла в кресле санитарка, тоже улыбававшаяся.

— Спасибо за ваше гостеприимство! — отвечал я, улыбаясь. — И я тоже очень, очень рад!

Осень и здесь: черный влажный асфальт был засыпан желтыми листьями. Но еще цвели последние розы, и я увидел эмблему этого места: алый лепесток, оторвавшись, повис на паутинке и трепетал, и летал в дуновениях ветерка, точно миниатюрный вымпел.

Герб Риггисберга. Как сразу все делается понятным, — подумал я в неожиданном волнении.

Осень.

Ветви орешника наклонились над дорогой и роняют свои маленькие плоды, подпрыгивающие упруго и скачущие вниз по асфальту. И на повороте застревают и скапливаются в ямке. Горка орехов! Дорога на Заксельн приготовила мне ужин.

Дорога кормит.

Тут могила патрона Швейцарии, брудера Клауса, или св. Николая Флюэлийского\*. В двух километрах — само Флюэли: дом, где он родился, другой дом, где он жил с супругой Доротеей и десятью детьми. До того дня, когда какое-то Событие вырвало его из привычного круга и бросило на дорогу богоискательства.

В сумерках я поднимался навстречу темневшему небу. Почти наощупь, надеясь на швейцарскую чистоту, устроился около церкви. И, как обычно, заснул, едва голова коснулась рюкзака-изголовья.

Свет фонаря, ударив меня в лицо, пробудил.

— Keine Ursache, bitte, schlafen Sie gut! (Ничего не случилось, спите спокойно!) — встревожено говорил чей-то голос, и в нем звучала неловкость, — из-за того, что разбудил без причины.

Утром, разумеется, меня опять разбудили: на этот раз энергичный Иван Млакар из Лимбурга. Паломник и молитвенник: немедленно он подарил мне благочестивые образки и записал имена моих близких.

И ночной посетитель пришел: ризничий церкви Мельхиор. Начали собираться набожные местные женщины, и, как это бывает в местах паломничеств, месса прошла с жаром.

— Позвольте пригласить вас на завтрак, — дружелюбно и церемонно говорил Мельхиор. Ему было интересно узнать, что я русский по происхождению, из Франции, и что зовут меня так же, как покровителя всего этого места.

Подъезжали автобусы, шли одиночки и группы.

Брат Клаус умер в 1487-м. Последние годы — последние! Почти 20 лет — он не принимал пищи. Рассказывают, что по распо-

---

\* память 25 сентября

ряжению епископа состоялась проверка аномалии: подвижника заставили съесть хлеб с вином, и он едва не умер. Тогда — делать нечего — неядение было признано знаком с неба.

Кажется, вопрос о потреблении воды в хрониках не обсуждался.

Странно и весело видеть, как тропинки на склонах заполняются поющими людьми. Сам собою составившийся хор католиков и протестантов! Не чудо ли? Хор пел псалмы и церковные песни, следуя невидимому дирижеру, уже и осветившему местность мягким осенним солнцем. Ярко зажглась желтым осенняя листва. Белые пушистые облака неторопливо плыли над нами.

— Одного человека избрал Господь Бог, чтобы после него молились тысячи, — сказал Мельхиор (или, может быть, подумал я: в записях неясность).

— Это место, между прочим, известно тем, что здесь плохо растут фруктовые деревья, — говорил Мельхиор. — Кажется, тут неважный магнетизм: были исследования, — добавил он со значительностью, ожидая, видимо, моей реакции. Она последовала: я сказал о влиянии имен, которые мы носим — даже несем — на нашу жизнь, о влиянии подчас определяющем. Так и имя одного из волхвов — Мельхиор — пришедших поклониться Младенцу — неизбежно взрастило в моем собеседнике интерес к тайным наукам...

— Эта природная особенность места была причиной хронического конфликта: крестьяне отказывались платить «сырую десятину», именно, фруктами, — их пришлось бы покупать на стороне. Реформа упразднила этот долгий спор.

Роза, жена Мельхиора, взглянув на меня, выставила на стол множество сыров, колбас, булочек, фруктов...

После обильного завтрака Мельхиор предложил мне «взять с собой все, что Вы пожелали бы, с этого стола».

Как поступить, я не знал: ситуация была для меня совсем новой.

— Вас застигла нерешительность, — задумчиво сказал хозяин. — Если позволите, мы поступим по своему усмотрению?

И они поступили: рядом с рюкзаком меня ожидала сумка с продуктами.

— Простите, я не знаю Вашего материального положения. Быть может, несколько монет Вас не слишком обременит?

Такое воспроизведение евангельской сцены начало устрашать: я ведь бомж, путешествующий по святым местам, и только. Уж нет ли кого-то за моей спиной, кому и предназначены эти подарки?.. Снова, и спустя столько времени... две тысячи лет...

А пятьсот лет тому назад брудер Клаус приготовил еще одно место — одно из тех на Земле, где кто-нибудь вспоминал о Любви всю свою жизнь. Одно из бесчисленных мест, которых по-прежнему так мало: так не хватает на всех...

Пока вся Земля не станет огромным Местом Доброжелательства...

В келье брата Николауса: темно-коричневое дерево стеной обшивки, словно в русской деревне. Скамья-лежанка, в изголовье которой был заботливо положен камень.

Вероятно, кто-то решил, что деревянный чурбак, описанный в хрониках, недостаточно аскетичен: всякому ясно, что святой должен класть голову на камень! (или, если хотите, камень под голову!)

Век и эпоха хотят видеть повсюду свое представленье о том, как выглядит «святость». «Чудо». «Бог».

Келья сообщается через окошко с пристроенной часовней.

Она уже наполнялась людьми, и вскоре послышалась месса.

От того времени — говорят — осталось «Табло медитации» (Meditationsbild), стремившееся представить троичность наглядно.

Осталась молитва сурового брата вечного постника:



*Mein Herr und mein Gott,  
Nimm alles von mir was mich hindert zu Dir.  
Mein Herr und mein Gott,  
Gib alles mir was mich führet zu Dir.  
Mein Herr und mein Gott,  
Nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen Dir.  
Господи, Боже мой,  
Все возьми от меня, что от Тебя удаляет.  
Господи, Боже мой,  
Дай мне все, что ведет к Тебе.  
Господи, Боже мой,  
Возьми от меня мое –  
и отдай всего меня Тебе Самому.*

В последний стих попала добавка «философа и ученого», богослова хранителя формул. Ну, ничего: и ученые — люди, и им хочется побыть рядом с Божьими людьми. У них на устах.

Все-таки интереснее таинственный посетитель в рассказе о видении брудера Клауса. Но свидетельства из первых рук не осталось.

Место провожает меня жестами дружбы встречающих людей, далями гор и долин Швейцарии — страны пешеходов.

Мягкость осени Возвращения.

Отдых.

Наслаждение безмятежностью.

И вечером, не доходя до Люцерна, я ночевал в куче сухой листвы на паперти лесной часовни: высоко на склоне, над озером, над огнями жилищ и дорог.

Благочестивый еврей — с кипюю на темени — подвез меня до Цюриха. Он был молчалив: обогнав, остановился и ждал, пока я поравняюсь с открытым окошком. И в ответ на — «Здравствуйте, вы едете в Цюрих?» — кивнул. Рюкзак был положен на заднем сидении, и мы тронулись: молча; впрочем, водитель был внимателен к моим замечаниям, хотя оставался неразговорчив.

Однажды в его взгляде мелькнуло удивление: прощаясь и благодаря, я упомянул о Божьей помощи. Может быть, он не ожидал от бомжа такого оборота.

Между прочим, я стал замечать покрытые головы *практикующих религию* (бывающих в храмах, — простите этот галлицизм) евреев после похода в Иерусалим (86-88). Интересно, что и они стали относиться ко мне со вниманием, хотя внешне мое паломничество на мне никак не отразилось.

В Цюрихе я бывал прежде — десять лет тому назад, не правда ли, и хотя почти всегда на новом месте мне было интересно смотреть и запоминать, — многое в памяти потускнело, наслоились образы других городов, и память подчас соединяла фрагменты в несуществующий квартал или площадь.

Заночевал я возле Водяной церкви (Wasserkirche), около Лиммата. Кажется, здесь проповедовал Цвингли, участник Марбургского разговора. Крепкий, кряжистый реформатор, все-таки погибший в битве с католиками (1531), которые шли отомстить за аббата обители в Сен-Галле.

Нижний этаж примыкающего к церкви здания открыт, и пешеходы свободно проходят через зал, под сводами.

Стоят длинные широкие скамьи! Увы, каменные.

Память хранит и шум многоводного источника, бьющего из стены.

Умывшись, остудив ноги после целодневной ходьбы (о, блаженство!), улегшись и вытянувшись (о, наслаждение!), ужиная хлебом и яблоками (неописуемо вкусно!), я вспомнил с улыбкой свой первый приезд весной 82-го. Тогда обстоятельства были иными: меня проводили в гостиницу («тут останавливаются наши сотрудники...»), затем последовал ужин и посещение знаменитого кафе («именно за этим столиком *сидел* и писал *Джойс*... именно там, где *вы сейчас сидите*...»)

Трогательный Даниэль К. сказал... но я забегая вперед, вернее, слишком назад, это совсем другое время, я его посетить не готов.

Достаточно заметить, что я ничуть не жалею об этом ином образе жизни. Вот странно: тогда были постоянные доходы — и

постоянное беспокойство, что денег не хватит на то и на это<sup>\*</sup>. Теперь доходов не было никаких — а я наслаждался безмятежностью! Заснул я, как обычно, мгновенно, и только раз проснулся, услышав шаги и веселый молодой голос:

— Oh! Jetzt macht man hier ein Schlafzimmer! (Теперь тут устроили спальню).

Мне хотелось ответить шуткой, и я ответил бы, но сон оказался проворнее, а то я сказал бы, например, я сказал бы, что... напри...

Скрежет железа и разбойничий свист разбудили бесповоротно. То мусорщики трудились в городских сумерках. Около шести утра.

У меня было время не торопиться. На утреннее чтение и размышление, не так ли, — утром так драгоценно выйти из современности. Вспомнить, какие мы были раньше. В основном, такие же, хотя что-то переменялось.

В Верхнем городе я набрел на *Liebfrauenkirche* (Богородицы, а буквально — церковь в честь Возлюбленной Жены, как не без нежности говорит немецкий). Шла ранняя месса. Нескольких человек, полумрак, горящие свечи. Все, как обычно. Как всюду. Около получаса.

Конечно, есть и Пьета, одна из тысяч виденных. Мне было бы интересно проверить свою память — правильно ли она удержала схематичные линии складок тел и одежды (стиль современности) и раны — огромные, средневековые — в ладонях, ступнях, боку.

Мне было приятно зажечь маленькую лампадку, — наполненный парафином стаканчик, он заменил свечу повсеместно. Желание было настойчивым, из тех, что я называл «особенными» и старался исполнить. Пришлось поискать, где разменять мою единственную монету.

Приятно думать, что лампадка была веселого весеннего цвета. Как только что появившаяся трава.

---

\* И в самом деле, хронически не хватало!

Хватило денег не только на хлеб, но и на пакет молока! Из маленького «супермаркета» я вышел на старую, мощеную гранитными кубиками улицу. Ее защищал от автомобилей ряд невысоких бетонных тумб. На одной из них сидел человек, парень, молодой мужчина лет 25–28-ми. По-видимому, он собирался закурить сигарету: он держал ее между пальцами левой руки, а в правой держал зажигалку. И задумался, и так и не завершил начатых движений. Голова его стала наклоняться вперед и одновременно уходить в плечи, и он весь сильно подался вперед. Я невольно подскочил к нему, как подсакивают к падающему предмету, и, колеблясь, все-таки заговорил с ним:

— Du, wie geht's? Brauchst Du Hilfe? (Что с тобой? Тебе нужна помощь?)

Он не отзывался. Впрочем, его плечи произвели еле уловимое движение, которое мне показалось несомненным «да». Да и так стало ясно: сигарета и зажигалка упали на землю, он валился вперед, лицом на мостовую. Я схватил его за плечи и удержал.

Время замедлило свое течение. Мы могли ждать. И видеть с предельной ясностью отношение людей. Многие проходили, едва бросив взгляд. Молодая женщина посмотрела на него с ужасом и замедлила шаги. Тот отпрянул брезгливо. Иные делали вид, что ничего не заметили. Отойдя, останавливались и ждали развития событий. Посетители в кафе напротив смотрели с любопытством, рассеянно, двое приблизилось к окнам. Кто-то обронил слово:

— Overdose.

И голуби сели на мостовую и посматривали на нас, ожидая, вероятно, крошек, и ворковали.

Но вот совсем рядом остановились мужчина и женщина. Они смотрели на нас внимательно. На лице женщины появилось выражение жалости. К ним можно и нужно было обратиться.

— Простите, я иностранец (Fremdling!) Скажите, что в таких случаях делают в вашем городе?

---

\* Именно в Цюрихе вышел под этим названием мой роман в 1983 г.

Оказалось, есть скорая помощь. «Врач нужды», как точно определяет немецкий. Мужчина отправился в кафе позвонить.

Голуби, чего-то испугавшись, шумно взлетели. А неизвестный, тяжелея, тянул меня вниз. Но ему явно не удавалось меня утянуть. Наоборот, я как бы не отпускал его — не просто упасть, а вообще. Мы словно выигрывали время, чтобы успела придти помощь («и не только ему», — пришла мне в голову неожиданная мысль, явно чужая).

Спина же у меня совсем онемела. Мне даже пришлось взять неизвестного под мышки и почти посадить его к себе на колени. А на спине у меня висел рюкзак, от которого я не мог освободиться.

Ну и картина! Я отлично видел ее в отражении окон кафе. Ноги незнакомца разъехались, руки повисли плетьюми. Глаза были закрыты и слезоточили, из носа текло.

Наша группа что-то напонила. Произошло как бы совпадение образов, — виденного в церкви и совершающегося в данный момент. Точнее, виденная утром скульптура как бы порождала нечто подобное в реальности: словно с нее изготовлялся сейчас если не точный слепок, то тем не менее похожа копия! Из зрителя меня делали участником. Наверное, только так и можно понять что-то новое.

Послышался характерный сигнал, и в улицу въехал длинный автомобиль с красным крестом. Не торопясь сошли на землю люди в белых халатах. Один из них старательно и долго надевал тонкие прозрачные перчатки, надел и пошевелил пальцами: удобно ли? И подошел к нам.

Взявшись за лоб, он приподнял голову незнакомца. Ударил легонько по щеке, — голова мотнулась в сторону. Ударил по другой — голова мотнулась в противоположную. Открыл веко одного глаза, потом другого. Взял на указательный палец каплю коричневой жидкости, текшей из ноздрей незнакомца, и, поднеся к своему носу, понюхал. Вздохнул и сделал знак рукой.

Немедленно к нам подбежали четверо с носилками и лишили меня драгоценной ноши. На лицо незнакомца легла кислородная маска, его покрыли тонким одеялом.

Носилки скользнули по рельсам вглубь автомобиля. Захлопали дверцы, мигая голубым фонарем, скорая помощь исчезла.

Выходя из города, я снова шел мимо Либфрауэнкирхе.

...Еще горела зеленая лампадка. Как говорится, цвет надежды. Радостный цвет изумруда: царь Соломон знал его свойства, и смотрел на изумруд утром, для хорошего настроения. А также нюхал свежий иссоп.

О, страшные силы, приложенные к нашим жизням, они иногда позволяют увидеть себя — свой источник. О, бедное человеческое тело, добыча всевозможных страстей души, западней! Камера пыток души.

Собираясь уходить, я заметил что-то знакомое: брудер Клаус! На бронзовых барельефах начала века.

\*

Равнина Рейна. Островки леса. И местность предгорий Альп, возвышаясь все более, уходит к горизонту. Все ближе Германия. Странный, невообразимо изрезанный границей кусок земли, *Deutsche Ecke*, Немецкий угол.

Тут живет один из людей, запомнившихся навсегда, — потому что они встречались на пути в Иерусалим. Пять лет прошло с того времени (а сегодня — уже и десять... уже одиннадцать...) Готтлоб. Пока он не вернулся с работы, я могу пойти побродить по маленькому Рафцу. Вспоминая с улыбкой о встрече с суровым подвижником.

Я проснулся на рассвете, на палубе парохода, подходившего к Берегу. Равномерно работали двигатели, подрагивал пол. Вся поверхность его была занята спящими в спальных мешках: они напоминали спеленутые мумии фараонов. «Словно куклки в коконах! — думал я. — Они переплывают реку забвения — в обратную сторону. Чтобы вспомнить».

Один человек спал сидя на стуле. В черном потертом пальто, свесив голову в вязаной шапочке, он придерживал рукой раскрытую книгу, сползавшую по коленям. Книгу небольшого

формата, зачитанную, такую характерную, что нельзя было не догадаться, что это за книга.

На этот раз дверь отворилась на стук.

Готтлоб вовсе не удивился, он сразу заговорил по-французски:

— Добрый день, Николая, я знал, что ты придешь!

Отец готовил его к большой коммерческой карьере, и Готтлоб говорил на всех языках Швейцарии, по-английски, на иврите. А если он писал, то мысль его иногда бежала так быстро, что он переходил на стенографию. Как и философ Гуссерль: столько всего сказать, столько мыслей! Просто бурный поток, водопад. Толстые тетради Готтлоба тоже, может быть, превратятся когда-нибудь в книги.

— Именно Готтлоб, а не Готтлиб, — поправлял он. «Славящий Бога» и «любящий Бога».

Утром он шел на работу в огромный питомник: цветы, саженцы, семена. Вечером — встречи, ночью — толстые тетради.

— В воскресенье мы будем обедать у друзей, в крестьянской семье, — сказал Готтлоб. — После собрания.

Церковного.

Около получаса мы шли через поля пешком, по меже, потом по узкой дороге, на одинокую ферму, построенную в ложбинке, у леса.

Крепкие пожилые крестьяне: ну, почти мои дедушка с бабушкой 60-х годов в дальнем Подмоскowie! И часы такие же: громко тикающие, настенные, с маятником.

Простые блюда обеда. Приветы знакомых, деревенские новости, — насколько я могу догадаться по «ключевым словам» диалекта. Впрочем, Готтлоб иногда переводит.

Правда, религиозных тем в деревне моих предков, Федора и Софии, не касались. Почти. А тут это корень и живое дерево: молитва перед едой, после нее — торжественное чтение листка отрывного календаря с цитатой из Нового Завета и поучением.

Медлительно, торжественно, с дружным многозначительным «амен». Ханс и Эмма.

А потом хозяин отправился в хлев: лошадь должна ожеребиться, пойти посмотреть. Эмма тем временем присматривалась ко мне: бродяга... бедняга... уж не ли... или в самом деле... — И как было помочь ее затруднениям?

От денежного подарка я отказался: это было принято уважительно, легкая насмешливость («видели мы такую птицу...») с лица Эммы исчезла. И как она заметила, что у меня нет носок? Вдруг пошла поискать в комод — и вернулась с шерстяными носками: октябрь на дворе, и все холоднее, вам пригодится... Это правда.

— Спасибо, сердечное спасибо, высокоуважаемая Эмма.

— Теперь пойдем навестить Отто.

Старого, больного, ослепшего. В Германии, — и мы пошли через настоящий большой лес, по дорогам и тропинкам лесников...

Опять я застреваю в Рафце. Как и тогда, в 91-м. Как если бы ветер перемен меня влечет еле-еле, я готов задержаться в ямке, между корнями — мощными корнями народов этого края — чтобы зацепиться, вращи... Прорасти нитями и нервами знакомств, дружб, отношений. В конце концов, почему бы и нет? В любом уголке — своя красота, своя радость, — все те же, какие повсюду! Неужели мне не дойти до того места и дня? Где и когда все решилось, открылось?..

— Готтлоб, я должен идти: я прирастаю!

— Да?.. Ну, если тебе нужно идти — иди.

Он готовит мне сумку с хлебом, продуктами. Это очень кстати: чтобы войти в неизвестность обстоятельств, неплохо иметь небольшой запас на первый день или два.

Ах, да, я еще послал кассету Марии, моей дочери, в ее приют для инвалидов в Шампани! Запись моего голоса — обращения и чтения. А Готтлоб записал игру своей флейты.

Мария до сих пор вспоминает и говорит: «La cassette avec la flute». Кассета с флейтой.



Вдоль Рейна: и какой он узкий здесь.

Ах, еще Базель с музеем, церквями, с берегом, на котором сидит множество странной молодежи...

Ах, уже Франция. Здравствуй, Эльзас, место встречи и спора. Остров немецких имен, мост между двумя народами.

Тут проступает образ «единства частей».

Словно шов кусков одеяла мира.

Покрывала.

Чтобы любить Германию, Франции нужно владеть кусочком немецкого. По крайней мере, немецких названий.

Есть и другое: в этом районе церковь не отделена от государства. Через него и все государство связано с Церковью. Выпускники богословского факультета получают государственный диплом! Богословы в светской республике.

Последний кусок королевства.

Нить, ниточка.

Нечто подобное есть и в других местах, не так ли. Например, славянская Польша — в основном католическая, а латинская Румыния — православная.

Одно разделяет, а другое притягивает.

Разбежались бы в разные стороны, но вот, не пускает.

Напряжение и противоречие: как на земле, так и в голове. Незавершенность проблемы, вечная загадка!

Начинается сбор винограда. Я опаздывал на один-два дня: бригады уже составились, уже ехал навстречу трактор с прицепом, полным стоявшими и державшимися друг за друга рабочими — молодыми, веселыми. Ехали цыгане в караванах-фургонах — почти всегда марки «Баронесса»: ясно, что за рулем сидел несомненный барон. А рядом с ним — супруга и мать с висящей на ней гроздью детей. Около места найма утром стояла если не толпа, то все-таки человек тридцать.

Отсутствие работы меня не особенно огорчало, хотя от скудного летнего заработка почти ничего не осталось. Правда, воодушевление уборки — да еще винограда — охватывало и

меня: хотелось быть «вместе со всеми». Стать «своим», войти в регулярность труда рук и тела, принятия пищи, отдыха.

Зато у бродяги есть время смотреть направо, налево. Да и вверх тоже.

На виноградные поля, на аккуратные ряды лоз, уходящие к горизонту, прорезанные там и тут грунтовыми дорогами.

Среди полей вдруг поднимался острый верх церковки: маленькое село, еще одно, две-три улицы.

Как все обработано, ухожено! Тут больше нечего делать...

День начала уборки назначен! День, таинственно назначаемый каждый год особым декретом. Никто не имеет права начать раньше.

В Иссенхайме было как и всюду: «завтра — сбор винограда». И даже сестры в монастыре разошлись с озабоченным видом, едва закончилась месса, увлеченные общим настроением.

Ну, хорошо, меня не взяли на работу: вероятно, то было бы уклонением от моей собственной.

Уборка моего винограда не прерывается круглый год, не так ли. Вот и здесь надо посмотреть монастырь, для которого Грюневальд написал знаменитое Распятие, о котором столько говорят. Точнее, о «персте указующем» Иоанна Крестителя.

Знаменитое произведение ныне в Кольмаре, в Музее под Липами.

Еще километры пути.

Горизонт: там полоска чистого лазурного неба, цвета золота с голубизной, до него не достает серая пелена дождливого неба, висящего над головою.

Вся наша жизнь... жизнь человека в этом: лазурная полоска — словно пояс надежды, магнит для души. Ее дело — влечь усталоющее тело, вытягивать меня из пространства, загустевающего в ночь.

\*

Нарочито устремленный палец Иоанна Предтечи: «вот Он». Не Иисус, конечно, так сказать было бы неточно. Ведь Христос — это распятый Иисус, не так ли.

Впрочем, желание чрезмерной ясности в таких вопросах опасно. Она, несомненно, приносит минутное облегчение; и она же разгоняет Облако, наполняющее храм.

И вместе с ним — веру, это драгоценное состояние души молчащей и видящей.

Тут много пальцев: схваченные судорогой пригвожденных рук. Пальцы рук Марии Магдалины, воздетых в отчаянии.

Художник работал в момент катастрофы. Во всяком случае, сдвига фундаментов начала XVI-го. Тело Христа покрыто язвами. Испещрено какими-то ранками, запекшимися, гниющими. Одни говорят, что это язвы Антонова огня. Другие искусствоведы энергично настаивают на проказе.

Пожалуй, тут не до живописи, она превратилась в идеограмму, в «портрет идеи». Указующий палец. Язвы, тьма, плач.

И светлый тонкорунный Агнец у подножья креста, из его груди течет темно-алая струйка. Не на землю, конечно, а в чашу. Это маленькое светлое пятнышко, как ни странно, перевешивает массу тьмы. Как мало нужно света, чтобы начать видеть. Как много нужно тьмы, чтобы начать этому радоваться.

Вероятно, это изображение — начала XVI-го — очень отличается от первоначального события, первого, живого, еще вокруг Него. Не осталось ни зарисовок, ни фотографий.

Можно и нужно предположить, что фотографии все-таки были сделаны, а проявляются только теперь. С помощью химии вдохновения.

После такого Распятия рисунки Шонгауэра кажутся почти итальянскими. Это отдых для глаза в залах музея — и бывшего монастыря.

И огромная форма для печения литургической облатки. Она весила, вероятно, килограмм или более. И ее раздробляли на кусочки для раздачи в собрании («... от одного хлеба...») Кусочки постепенно оформились в плоские круглые хлебцы («так удобнее»). Ах, тайна этой постепенности — тайна истории, не постижимая, неуловимая.

Когда я вижу, как священник кладет такую облатку-монетку в рот (и особенно старым людям), то вспоминаю о настоящей монете, которую египтяне клали в рот умершему, — плату за перевоз через Подземную Реку.

Вернуться и взглянуть на Агнца: кажется, эта деталь, вон та... в сущности, это единственный образ — известный, знакомый всем — который меня посетил девять лет тому назад...

(Боже, уже пятнадцать: о, Господи...)

По залам несется возбужденный крик служителей:

— Messieurs Dames! S'il vous plait!

Музей закрывается: уф, дотерпели еще один день. И еще один. И еще один год. И еще. Одну жизнь. И еще... а нет, этого уже нет.

В вестибюле сталкиваются радость освободившихся и огорчение опоздавших. Тем — слишком много было смотреть, а этим — совсем ничего. Неравномерность мира буквально во всем и всюду.

Все той осенью было удачно.

Вот и тогда: ремонт улицы рядом с церковью св. Доминика, участок отгорожен щитами. А за ними — стопа досок, сосновых, свежераспиленных, пахнущих смолой, из них я устроил великолепную плоскость.

И если нет крыши над головой — так ведь нет и дождя. Множество звезд на небе, срезанном косо черной кромкой церковной крыши. Будет холодная сухая погода.

Забравшись в спальный мешок, окружив себя коконом из полиэтиленовой пленки (3x4 м)... — вот то, что немцы — за Рейном, рукой подать, да и здесь еще есть, в деревушке попался навстречу старик, не понимавший французского, — немцы называют это состояние *gemütlich*, а англичане — ну, это далековато... — *cozy*. Странно, что французский не имеет эквивалента «уютному»... наверное, потому что... Messieurs-Dames s'il vous plait.

В Риквире меня наняли на работу! Почти наняли, и наняли бы, если б я не сплеховал. Трактор привозил с поля прицеп с высокими коробами, полными винограда, и ставил его вплотную к платформе давильного пресса. Нужно было, поставив короб на угол, вращая его, подвести к загрузочному отверстию. И вывалить туда виноград. Так и поступал молодой рабочий в резиновых сапогах.

— Ну, попробуй! — равнодушно сказал мне служащий. — Нам нужен еще один на загрузку.

Поспешно сняв рюкзак, я поднялся на платформу. Наклонив короб и поставив его на угол, — ах, он оказался в моих руках тяжелее, чем казался в чужих! — я начал сообщать ему вращательное движение. И сообщил. Но тут возникло непредвиденное: короб направился совсем не в ту сторону! Он словно завладел мною! Все силы шли на борьбу с инерцией, на то, чтобы короб не вырвался. А он весил 70 или 80 килограммов. Стало ясно, что и в таком простом, казалось бы, деле нужно время на учение, чаще обедать и меньше читать.

— Сами видите, — равнодушно сказал служащий. — А резчики у нас уже все есть.

Те, которые срезают грозди. Это мне делать случалось. Может быть, найдется место в следующем городке?..

И вечер застал меня в оживленном Рибовилле. Ночевать и тут было удобно: в «музыкальном киоске». Это высокая круглая площадка под крышею шапито. В парке. На подобных эстрадах играли когда-то оркестры любителей. Неудивительно, что с такой гостиницей я почувствовал себя местным жителем, и по долгу гостеприимства пригласил на ночлег двух других искателей заработка.

Знакомство с ними произошло мгновенно, как бывало в молодые годы. Ах, молодость: щедрое доверие, еще не раненное и не утомленное пустяками!

Предвидя холодную ночь, мы вместе искали картон. Один из них, старший, Родольф, обнаружил умение жить: двух-трех фраз оказалось достаточно между ним и хорошенькой продав-

щицей закрывавшейся лавки, — и нам вынесли груды картонных коробок.

В музыкальном киоске нас посетила полиция и проверила документы. И удалилась, пожелав доброй ночи. Ужиная под звездным небом, мы разговаривали обо всем.

— А, ты был в Иерусалиме? Ну, и как там?

— Между прочим, в Мексике...

— Кстати, в Канаде...

— Как, ты говоришь — Джулиана Норвич?

— А затем, после уборки я пойду в Компостелло...

Это второй новый знакомый, Поль. Между прочим, он музыкант, гитарист, композитор: сон в музыкальном киоске имел к нему прямое отношение! Еще он изучал психологию в Страсбурге.

Благослови сон Твоих детей в Рибовилле. И повсюду, повсюду.

Утром мы были в толпе соискателей места. Слышна польская речь. Несколько молчаливых немцев. Донеслась и русская фраза. Но вот все встрепенулись и подались навстречу первому трактору с грузом винограда. Секунду спустя Родольф уже разговаривал с кем-то похожим на местного босса, и уже помогал разгружаться. И затем прибежал проститься, почти извиняясь:

— Меня наняли! Так получилось!

Ему было немного неловко нас оставлять, словно наши судьбы зависели от него. Или другое: чувство солидарности юности.

— Поль, я буду работать, сколько получится, а потом возвращаюсь в Страсбург! Заходи в гости, Николая! Пока!

Мы тоже! Мы пытались пристать то к одним, то к другим. Снова пришел трактор, и кто-то сделал нам знак рукой! Ах, не нам... А вот что-то, но нужно иметь свой ночлег... а тут... тоже нет.

К полудню все кончено.

Мы еще ждем и стоим, пока не иссякает надежда.

Неудачники начинают разбредаться. Двинемся и мы дальше, в сторону Селестата, спрашивая то там, то этих тут: не нужно ли?.. Нет, спасибо, все уже на местах. Вот если бы раньше, буквально вчера утром!.. Почти из Лафонтена-Эзопа-Крылова о Лисице и Винограде. Хотя виноград бесспорно спелый: его собирают! Правда, с детства меня удивляло, что лисица питается виноградом. Или только — Лисица литературная?

День пешей ходьбы.

Вечером на улочке городка Шервиллер мелькнула стрелка с надписью *Эммаус*.

— А! Будем ночевать у друзей! — говорю я с уверенностью.

Это название удивительной — почти монастырской, но совсем — конгрегации. Она и основана аббатом Пьером, бывшим монахом в юности (капуцином). Здесь молитва заменена работой, простой ручной; богословие состоит из двух максим: «помоги тому, кто несчастнее тебя». И — «в Эммаусе обрели надежду отчаявшиеся» (Лука, 22).

— Добрый вечер, — говорит нам человек в свитере, с лицом успокоившимся, но помнящим время жизненной катастрофы. — Ужин уже прошел, но идите в столовую: что-нибудь осталось.

И действительно, отличный ужин из картофеля с сельдью. И сыр. И компот.

К нам подходит человек в куртке, лет сорока пяти:

— Свободных комнат нет. Вам положили два матраса, около выхода на веранду: зимой им не пользуются. Есть у вас спальники? Нужны ли одеяла? Туалет — там. Душ — там. Мыло. Полотенце? Ну, спокойной ночи.

Гостеприимство Эммауса производит на Поля сильное впечатление: еще бы! Только и спросили, что наши фамилии.

Да и я взволнован, хотя вижу это во второй... нет, в третий раз. Ожившая строка из Евангелия, здесь и сейчас, воплотив-

шаяся в действиях людей совсем не книжных. Во всей простоте и мощи.

Благословенное место.

Говорят, здесь был когда-то бенедиктинский приорат.

\*

... О, Боже, я устал, изнемог, заболел.

Я пробираюсь в Марбург 82-го года через события последующих месяцев, лет, через заросли знакомств и встреч, через бурелом разрывов.

О, лес моей жизни! О, залитые солнцем поляны дружб!

Идя в Марбург 82-го, я воспользовался путешествием 91-го, думая, что дойду быстрее, — и вот я все еще в общине Эм-маус на подступах к Страсбургу.

Я все еще в черновиках 96-го и ныне, в 97-м...

\*

Живущих здесь около сорока человек. Столов в столовой больше, чем нужно. Некоторые предпочитают есть в одиночку, иные — вдвоем и втроем.

На нас посматривают, но не жадно. Никто не спрашивает ни о чем. Это, в общем-то, правило. Стиль много повидавших разного в жизни: не спрашивать.

Все и так более или менее ясно.

Нет, не все: у стены стоит пианино.

Кто-то подарил коммуне, — объяснили мне.

Поль — музыкант, и ему интересно. Попивая кофе из болика\*, он отправился посмотреть: в самом деле, можно играть! Чуть-чуть бы настроить, но и так хорошо.

Он играл знакомую мелодию, одну из великого множества знакомых мелодий. Мечтательную, с юношеским томлением о чем-то невыразимом, легкую, полную радости жить, когда все ново, свежо и само собой.

---

\* bol, вид пиалы



Публика замерла на мгновение, словно не веря своим ушам. Отложена газета, отставлено кофе. Выходивший остановился в дверях.

О, лица...

О, лица людей.

Острые черты лица моего соседа округлялись, смягчались.

Музыка благополучной жизни прозвучала и здесь, среди пластмассовых столиков и стульев, вязаных шапочек и обветренных лиц. Нет-нет, все еще не так плохо, не все кончено, мы еще понадеемся!

— Спасибо!

— Спасибо вам!

Многие захотели подойти проститься с Полем — ну, и со мной тоже — рукопожатием.

Во дворе возле старых холодильников возились двое мужчин в вязаных — как у меня — шапочках. Один из них снимал мотор: он работал спокойно отверткой и ключом. А второй раздраженно толкал холодильник, и даже ударил бесцельно ногой, сделав вмятину на белом боку.

Ему было и скучно, и лень, и ничего не хотелось. (Накануне я видел его на улице выпившим). Но другой словно не замечал раздраженья коллеги. И в самом деле — не замечал. Он, конечно, помогал своим терпением и невозмутимостью.

О, аббат Пьер...

У ворот я оглянулся: они поднимали холодильник — вместе, чтобы поставить на тележку.

Нигде не пригождались наши руки.

А мы уже покидали зону уборки.

Город Бар. Церковь св. Мартина, возле которой нашелся ночлег на скамейках. Между прочим, она лютеранская, и ее название теперь имеет в виду другого человека, не епископа Тура, а восставшего монаха и богослова, отменившего почитание святых!

Лес под дождем. Подъем в гору.

Поль медленно промокал в своей кожаной куртке, отказываясь разделить мой кусок полиэтилена. Он казался ему, 20-летнему, некрасивым; а мне, 46-летнему, таким удобным!

Мимо огромных ясеней, буков, мимо поворота к знаменитому (не помню названия) замку.

Начинают встречаться огромные неуклюжие постройки из многометровых камней. Иные — стены — поставлены вертикально, на них положены плоские — потолки. Кто, зачем... Ну, конечно, друиды! Вездесущие друиды, древние хранители древней мудрости кельтов, любители омель. Или просто первобытные люди.

В VI веке — говорят — здесь обосновался монастырь, чтобы присвоить место юному христианству.

После войн прошлого — и этого — века (не пора ли уже уточнять, что XX-го?) он отстроен заново.

И окружен стоянками для автомобилей и автобусов.

Паломников множество.

Ах, какие виды на зеленые холмы, тонущие в синей дымке кромки горизонта...

Тут хорошо. Побудем тут. И можно согреться в теплом кафе селф-сервиса. Поль сушит куртку на батарее. О, блаженство согревающихся рук. Если бы Евангелие родилось на Севере, это блаженство непременно оказалось бы среди прочих...

Хотя еще совсем не зима, еще зеленеет лес, но сентябрь и октябрь, уже осень.

От нас идет пар.

Конечно, мы останемся здесь ночевать: мы еще не осмотрели места. И вечер, и усталость. Вероятно, нас попросят выйти за ворота. Там есть скамейки, это во-первых. А во-вторых — на случай дождя — телефонные будки. Не очень удобно, конечно, не вытянуться в длину, — можно лечь по диагонали, поджав ноги. Так бывало в Аньере, в феврале 88-го. Гарсон в соседнем кафе забавлялся тем, что рано утром звонил мне в будку по телефону! И спросонок, еще не вернувшись в действительность, я однажды снял трубку:

— Алло!

— Пора вставать! — сказал он, смеясь. И мне тоже стало весело и смешно.

Не устроит ли святая Одилия — а ей посвящены монастырь и гора — нас поудобнее?

В самом деле, к нам спешил человек. Судя по решительной походке, ответственное лицо, да еще оторвавшееся от ужина. Девушки селф-сервиса нам ничего не сказали, хотя и бросали на нас взгляды. И вызвали почтенного клирика.

Еще издали он начал говорить, громко, почти возмущенно:

— Значит, сами себя пригласили? Взяли и пригласили! Потому что так захотелось!

— Бонсуар, пэр, — говорю я, невольно улыбаясь: забавна его незлая горячность. Да мне и все равно, где спать, в обители или в телефонной будке. Правда, в обители приятнее.

— Бонсуар! — кричит он.

— Видите ли, посетить обитель святой Одилии было моим намерением с давних пор. Но, по правде сказать, я вас ни о чем не прошу.

Как ни странно, он вдруг умолк и удалился. И тут же появилась пожилая монахиня со связкой ключей. Она — улыбалась. Она дружелюбно проводила нас в «комнату для молодежи», где стояли в два этажа кровати, застланные солдатскими одеялами.

— Забавна твоя манера говорить с администраторами, — смеется Поль.

Осенняя свежесть, солнце, паломники.

Здесь хорошо. Если б провести тут целый день: мне отдых кстати. О, Боже, меня догнала усталость последних лет, этих прожитых бесконечных лет!

Вероятно, нашлось бы издание *Hortus deliciarum* («Сада наслаждений») Геррады фон Ландсберг, настоятельницы в XII веке. Оригинал, кажется, сгорел во время войны 1870. Но репродукции сохранились. Рассматривать древнюю книгу именно здесь, на месте, может быть, ее составления: подобные совпадения мне кажутся плодотворными. Когда-то я даже искал их, предполагая, что дух места посетит читающего на том же самом месте — и дополнит несказанное.

Там было изображение Софии Премудрости в окружении семи белых голубей: семи свободных искусств. Семи даров. А две фигурки слушали диктанта двух черных птиц: эмблемы магии и поэзии!

Двенадцатый век рассек проблему иначе, чем двадцатый: он не считал поэзию ни свободным и ни искусством. И эта черная птица...

Церковь полна.

В первых рядах — паломники с белыми тросточками: считается, что сама Одилия была слепой. Родилась слепой и прозрела только после крещения. Ее атрибут — книга с глазами на обложке.

Во время мессы апостольское послание читает слепая женщина: громко и странно, смотря прямо перед собой, в неф, водя пальцами по странице.

Стоит чуткая тишина.

Но вот все задвигались, стали вставать, образовались очереди причащающихся.

Я чувствую чей-то взгляд. Это Поль. Он отделился, едва мы вошли в церковь, и ушел в боковую галерею. В начале нашего знакомства он иногда привычно шутил по адресу «официальной церкви»; однако спустя много дней уже не торопился подчеркивать смешное в облике этого древнего института. А сейчас он, может быть, ждал, как я поступлю. И как поступить? Проторить или нет — тропинку к Хлебу?

И не ошибся: краем глаза я видел, что Поль тоже встал в очередь к священнику с дароносицей.

Побудем еще на горе...

Здесь время весомо, словно созревший плод.

И еще какие-то имена проступают в памяти: постоит-ка...

Мимо проходит почтенный клирик.

— Глубокоуважаемый отец, простите, если я вас тревожу: не могли бы Вы нас приютить еще на одну ночь?..

— Еще что! — отрезает он, не останавливаясь.

Вероятно, у него были неприятные встречи с отверженными, бомжами s. d. f.

К счастью, Поль не придавал никакого значения этому обмену репликами: молодость снисходительна. И щедра.

Признаться, я не знаю, как быть.

Если о подобных случаях говорить — то не отнимется ли нечаянно последняя надежда у кого-нибудь уставшего? «А! Везде одно и то же, я и сам видел», — обобщит он в сторону горечи.

А если умолчать... то не слишком ли сахаристой предстанет эпоха, в которой я жил? Нужно ли «лакировать действительность», как говорили в советское время?

В пользу непредвзятости повествования говорит мне опыт последних лет. Опыт невидимой, но реальной моей второй жизни — скрытой от меня самой параллельной.

Сегодня, например, не получилось провести вечер в «Саду наслаждений» XII века, среди рисунков и надписей прошлых столетий\*.

Но ведь это только потому, что на сегодня назначено гулять по тропинкам *Hortus deliciarum* моего, XX века. Это чтение не менее занимательно, хотя, может быть, под дождем, с пустым животом. С горячей надеждой в сердце.

Но что все-таки могут значить кисти рук, высеченные на цоколе колонны Крестовой часовни?

Кисти рук утонувшего в камне.

Мы спускались в долину по противоположному склону горы, обращенному к Страсбургу. И заглядывали время от времени в книгу «Мягкое выживание», которой снабдили Поля друзья, провожая в такое дальнейшее путешествие, как Сант-Яго де Компостелло.

В книге описывались съедобные травы, корни, цветы, плоды, грибы, — все то, что можно встретить в полях и лесах Европы и воспользоваться, чтобы не умереть с голоду.

---

\* Мы не знали, что в это время любитель древностей из Страсбурга нашел потайной ход в библиотеку бывшего монастыря и выносил оттуда рукописи. Дело случайно открылось десять лет спустя.

Теория без достаточного опыта не всегда безошибочна, и хороший — по описаниям — гриб оказался горьким! И мы еще долго шутили: наверное, из книги выпал листочек с «Замечеными опечатками», на котором-то и значилось: «с. 66. Напечатано: очень вкусно. Следует читать: смертельно».

Поль даже изобразил умирающего, еще пытающегося дозвониться в издательство и предупредить. Впрочем, кое-что пригодилось. Впоследствии я убедился, например, что клубни репейника действительно можно сварить, если достаточно дров и терпения.

Кстати, о листьях репейника. Он называется *le labardan* и то же слово обозначает широкие тонкие пласты вяленой соленой трески. Это та «вкусная рыбка», которую едят в «Ревизоре» Гоголя и хвалят, — загадочный лабардан, учителя в московской школе его объяснить не могли. Как, впрочем, и многое другое. Соленая треска на обеде у губернатора! Почему бы и нет, Гоголь привез ее из Франции...

Около источника св. Одилии мы расстались: Полю нужно было налево... в Компостелло! А мне — на северо-запад.

И нужно бы идти побыстрее.

Но на пути — городок Эшау, Эшо по-французски, и его церковь св. Трофима. Сюда русские ездили — и еще ездят — специально, потому что тут мощи Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

Этот культ — византийский, и сюда принесен в XIII веке. Там он был — вероятно, для просвещенных — культом Божественной Мудрости и главных Добродетелей, рождаемых ею. А для народа выразился — как почти все в религиях — в культе семейно-земных отношений. Для понятности. Для вещественности: как понять, если глаз и руки не находят предмета?

Гм-м. Моя семейственность не чужда народному благочестию: мою мать зовут Вера\*, ее мать — звали София! Крестная мать у меня — Надежда. Была и Любовь...

И есть. Встреча с Нею ждет меня. Нас.

---

\* Она умерла в 1999.

Встреча с Нею происходит ежесекундно!

Тут хочется оторваться от земного: от споров, трактатов, примечаний, энциклопедий, инвентарных списков сокровищ.

Нужно еще посмотреть на знаменитый витраж в музее Страсбургского собора: Христос из Виссембурга.

Почти античная маска.

Только, может быть, нимб и примиряет ее с христианским окружением X века.

Стекло́нная маска с черными отверстиями глаз.

Для глаз?

Она кажется античной: ее реставрировали в эпоху, когда античность наводнила Средневековье, — думаю я, не заботясь о достоверности. — Именно наводнила: вино христианского подвига разбавила водой быстрых удовольствий.

Можно уподобить христианскую дисциплину гириям на ногах бегунов, их носили для тренировки. Затем вес снят: они бегут быстро, легко.

Взлет Ренессанса — результат душевных усилий, открытий и созерцаний аскетов.

Прочтем знак этой маски иначе: каждый лик Христа — всех миллионов Его изображений — в конце концов — маска, скрывающая Неуловимое Неизменное.

На ночлег я приходил во внешнюю галерею совсем современной церкви Воскресения, вблизи университета. Дождь туда не доставал.

Город отпускал меня неохотно: и мне он казался знакомым, словно когда-то я жил здесь, — но ведь нет, никогда.

Усилием воли я покидал Вольный (до 1681-го) город, Город Улицы — Strass-burg — Улицеград, — уходя по берегу Рейна, через пригород с каналом и портом, мимо заржавленных барж и фабричных конструкций.

И эти сиреневые сумерки осени... Там и тут зажигались огни, загорались желтым прямоугольниками окон: люди возвращались домой, в тепло и общение родственников. О, я тоже это люблю!

Но ведь и звезды все ярче на небе, зеленовато-синие, с острыми лучиками...

Едва не увязнув в Баден-Бадене. В легком городе состоятельных отпускников. Надеющихся больных.

Горячие городские фонтаны, в которых приятно согреть руки и умыть лицо после бодрящей ночи на картоне у Штифткирхе. В гостинице «Тысяча звезд».

Крики купальщиков доносятся из открытого горячего бассейна.

А в парке на склоне, на теплой крышке трубопровода с горячей целебной водой сидела читательница: с книжкой в руках. Книжка оказалась майстера Экхарта, и читала ее Оливия из Гамбурга. Воспитательница детей-инвалидов.

Ах, вот как! Да, да, у меня, знаете ли, дочь: у меня самого...

Оливия совершила трогательную попытку устроить меня на ночлег в православную церковь, «к своим». Клирик выслушал вдохновенный монолог Оливии, сочувственно кивая головой, и пожелал нам на прощанье всего самого доброго.

Глубокое синее небо осени над головой — первое, что я вижу, открыв утром глаза. Безбрежность и мир. Замшелые стены Штифткирхе.

В прирейнских селах — ни одной старой постройки. Ни одной и нигде. Мрачноватые современные церкви.

Памятники, могилы, памятники.

Полоса войн.

В Раштате около восьми вечера я попытался узнать, как пройти к центру города. И обратился к женщине, прогуливавшей собачку:

— Guten Abend, gnädige Frau, bitte...

Она шаркнулась в сторону, к автомобилям, стоявшим в ряд у стены, протиснулась между двумя: так, чтобы к ней нельзя было подойти ни сзади, ни сбоку. А перед собой она держала на поводке собачку, лаявшую визгливо.

Ошеломленный, я стоял и смотрел. Как страшно здесь жить!



И кричал ей, сложив руки рупором:

– Fürchten Sie mich nicht, bitte!

Пожалуйста, не бойтесь меня: иначе мне тоже становится страшно!

Иные зоны земли. Разные области: мира или страха.

А вот этот человек не боится, думал я, садясь в остановившуюся машину. Водитель — мужчина лет тридцати — предложил подвезти.

Нет, не боится. Может быть, потому что — мужчина? Или потому что на зеркальце обратного вида висят четки?

Приручить и цивилизовать человеческий страх.

Из дикой лошади инстинктивного страха (все той же Смерти, не правда ли) вырастить полезное домашнее животное осторожности, пусть возит дом мирной души.

— Вы практикуете? — спросил я, показывая на четки (это выражение значит ныне «соблюдать церковные обряды»).

— Подарок моей тети, — улыбнулся он. — Она ходит в кружок Магнификат («Величит душа моя» по-латински).

— Позвольте послать вашей тете маленький сувенир, — улыбнулся и я, протягивая репродукцию «Путников в Эммаусе», — очень красивой картины Лохнера (или его учеников).

Этот автостоп принес меня в центр Франкфурта-на-Майне.

Я высадился у собора. Разрушенного во время войны (Второй мировой) и восстановленного. Клирик запирает его дверь, торопясь. Восемь вечера. И пустынная площадь. Ветер, влекущий с шуршанием бумажки, сухие листья, пыль. Мертвый неоновый свет надписей: огромные буквы прикреплены к углам зданий из бетона и стекла. Огромные буквы идут по крышам. На пустынной площади стоят стальные кузова-коробы, выше человеческого роста. Для мусора. Возле них бегают крысы, и не сказать, чтоб они боятся. Меня, во всяком случае, — других людей и не видно.

Если идти по набережной Майна вниз по течению, то я попаду в долину Таунуса, не так ли? Там теперь живет семья моей крестной матери Надежды. Осталось найти на плане го-

рода меня самого. Где я?.. Иногда так трудно сообразить! К счастью, идет недалеко от меня прохожий. Единственный. Обрадованный, я делаю шаг в его сторону:

— Bitte, mein Herr...

Даже не взглянув, он бросается бежать. И бежит, не оглядываясь. Мне немного страшно: тут совсем другой стиль жизни! Ничего не поделаешь, просто пойду по набережной. Ночь и туман. *Nacht und Nebel*.

Почему-то я вспоминаю о Людовике XI, о его репутации коварного правителя. У него была все-таки симпатичная черточка: время от времени окунуться в народ. Может быть, чтобы отдохнуть в простоте. Смешно и весело представить себе прогулку современного президента по франкфуртской площади. Вечером, в одиночестве! Доступно ли это хоть одному канцлеру в мире? Или такой человек уже навсегда запаян в колбу телохранителей, референтов и неотрывных зачарованных взглядов? «Навсегда», конечно, относительное: до новых выборов. До пенсии. Ночь и Туман. *Nacht und Nebel*. Так народ расшифровывал буквы NN, которые нацисты писали на могилах казненных политических. Их хоронили: все-таки каждому полагалась могила.

NN — это латинское *Nomen Nescio*, имя неизвестное.

Но вот и зеленые холмы Таунуса.

Насаждения, превратившиеся в лес: почти незаметна геометрия посадок, деревья отклонились в разные стороны.

На склоне дня я вышел в Оберурзел. Название значит, по видимому, Верхняя Урсула. А Урсула — та самая популярнейшая святая дева, проповедница Евангелия в Кельне и мученица. Покровительница ордена урсулинок, сестер-преподавательниц. С ее почитанием связан один загадочный эпизод, я его непременно запишу, когда найдется место и время.

Церковь св. Урсулы открыта. Молодой священник служит вечернюю мессу. Будничный вечер: присутствующих немного. Но и не слишком мало. Они сидят компактной группой в первых рядах и в центре, перед алтарем. Размещение верую-

щих отражает состояние церковного тела: в церковном здании «тело» принимает зримую форму. И бывает слитным — единым — разбросанным — молодым — дряхлым. Несколько человек держатся особняком. Люди улицы, мои коллеги, они расположились позади, по краям нефа. Как и в жизни. Похоже, они пришли специально, а не просто ждут в тепле окончания службы, чтобы затем встать у выхода просить милостыню. Впрочем, одно другому не мешает. Людей не слишком много: у священника есть время проститься с каждым за руку, сказать несколько слов. Он и мне говорит:

— Вы — путешественник? Я не видел вас прежде. Если вы не торопитесь, подождите минутку.

Оказывается, он капеллан, фатер Иоханнес. Он хочет предложить мне ужин. Если, конечно, у меня нет иных планов на сегодняшний вечер.

И опять так хочется узнать, что происходит в человеке, когда он делает жест доброты. Говорит ли ему Бог прямо? Или «кто-то»? Что-то? Или, может быть, это «профессионализм доброты», привычка? Драгоценная, конечно, привычка. Редкая.

Иные отвечали, пожимая плечами: «Это нормально». Нормально! Нормально — не отвести глаз, а спокойно и бесстрашно (то есть свободно) рассмотреть случай.

А другие говорят: «Я сам был в дерьме. Я знаю, что это такое». Они хотят ободрить.

Фатер Иоханнес сказал нечто удивившее. Отужинав с ним и простившись, я записываю его слова при свете уличного фонаря: «Легко давать, когда просят, а вот когда нуждаются — и молчат...»

И еще осколок нашего разговора.

— Не имеет значения, много или мало людей в церкви, — сказал я. — В том смысле, что не в числе дело: Богу ничего не стоит наполнить ее до отказа.

Он кивнул головой.

Я забыл еще сказать, что уменьшение числа — как правило, приготовление к перемене.

Фонарь над скамейкой такой яркий, что и закрывшись планкой (3 x 4 м), мне хорошо писать.

Так вот, о святой Урсуле.

По одной традиции, она имела 11 тысяч дев-спутниц. По другим источникам, просто 11. Традиции любят прибавлять нули. Св. Урсула и 11 спутниц и сомучениц в варварском Кельне. Карпаччо и его замечательный «Сон св. Урсулы». Ах, и великий Мемлинг. В нынешнем веке она была исключена из римского календаря: при проверке биографий святых у нее не нашлось никаких документов (а без удостоверения нет не только человека божья s.d.f., но и святого!) Справки и печати если и были, то за давностью времени исчезли.

Правда, важные соображения дипломатического характера сохранили некоторых святых и без документов. Св. Георгия, например, несмотря на его странную битву с каким-то драконом. И вы догадываетесь, почему. А если нет, то напомню, что он — один из покровителей Британии: попробуй исключи такого!

И моего патрона св. Николая тоже не тронула твердая рука ватиканской комиссии: за него стоят Германия и Россия! Впрочем, и народу Италии он по сердцу.

Святую Урсулу депортировали в безвестность. А урсулилки остались в календаре! Причем как раз 11, и мучениц, но уже не спутниц родоначальницы, а казненных в 1794 году в Валансьене. Они прославлены в 1920-м. И носят имя святой, которая официально больше не существует!

Между прочим, картина Карпаччо напоминает по сюжету Благовещение, — чувствуя приближение сна, еще я пытаюсь думать. И там, и тут присутствует ангел. Это слово значит «посланный». Нельзя ли предположить, что назначение ангела — объективировать послание. Послание многовидно: пришедшая в голову мысль, вдохновение, догадка, откровение... Монахи в IV веке думали, что любая мысль означает присутствие в уме бестелесного ангела (или демона, если мысль была злой).

Апокалипсис Иоанна сближает эти понятия: откровение = показать = послав через ангела = пророчество = написанное.

Пять источников нового текста. Точнее, обновленного внимания к тайне.

Утром мне трудно уловить смысла этой записи, который накануне казался замечательно ярким, выпуклым, просто открываем! И так очень часто.

Дорога — это часы и дни простого труда, без праздников встреч и событий. Утром тело радуется своей бодрости и ловкости привычных движений ходьбы. Километры летят: первые 20. Но полдень... но солнце начинает склоняться в старости дня. Усталость повисает тяжестью на спине, густеет в ногах. Мелькнет мысль об уюте, о пище, об устроенной жизни. Мелькнет — и исчезнет. И вернется. И если еще и дождь, и холодно, — начинает превращаться в радужную мечту.

На окраине города показался старик, тянущий тележку с дровами, задыхающийся, напрягающий все силы. И что он тут делает, этот немец в богатой Германии? (Как выяснилось, Адольф).

Приятно предложить ему помощь. Он соглашается тут же, и с благодарностью. Да, он живет здесь, неподалеку, рабочие оставили куски спиленного дерева и расколовшуюся доску, ему это весьма пригодится, скоро зима. Вот его дом: бывший автомобильный бокс. А он пристроил печку-буржуйку.

Старик Адольф отдышался. Он улыбается, благодарит за кусок сыра (за который я вчера благодарил Иоханнеса). Ему тоже приятно мне что-нибудь подарить: ну вот, конфеты, например: старики любят сладкое...

\*

Этот эпизод 91-го мне вспомнился только вчера, в 97-м, когда я толкал, задыхаясь, тачку с дровами и, остановившись, ловя ртом воздух, почти с восхищением подумал о колее, проложенной в прошедшем времени прошлого, шесть лет тому назад. И вот теперь я сам попал на эту колею — и вспомнил событие.

Истина — дочь времени, — говорят, это сказал Бернар из Шартра.

У каждого человека есть свой возраст на все. Историю, например, делают сорокалетние. А потом начинают отдаляться — куда-то, назад ли, вперед ли: от 40 до 50. Да, да, все чаще хочется смотреть в прошлое: в себя. В этот беспорядочный склад случаев и эпизодов.

Сегодня я по-другому вспоминал разговор Иисуса и Пилата. Разговор созерцательного постижения — и власти. Очевидно, губернатор — пожилой человек, он настроен скептически после множества увлечений и убеждений, что вот наконец-то найдено-поймано «то»!

«Что есть истина?» — и кто может ответить на этот безбрежный вопрос? То есть: что не изменяется, всегда одно и то же, во всей полноте и имеющее отношение ко всему на свете? Другими словами, где Бог и кто Он? Или Что?

(Природа, — говорит Спиноза, и многие повторяют. Ничто, — сказал Экхарт и имел крупные неприятности).

«Я есмь Истина», — говорит Иисус.

Если отвлечься от известных богословских развитий этого ответа... Если вспомнить себя юного... посмотреть на любого другого в этом возрасте... Ведь и Иисусу «лет около Тридцати».

Помните ли вы это юношеское слияние «своего мнения» и энергии взлета в себе: я так считаю, — так, стало быть, и есть! Реальность — социальная ли, физическая ли реальность природы — следует за мной, мне подчинена, я ею владею.

В молодости я не рискнул бы произнести: «истина — это я»; однако мое «я» так себя чувствовало — да так себя и вело. Иначе как объяснить юношескую категоричность, самолюбивость, нетерпимость — и одновременно щедрость, великодушье, снисходительность?

Впрочем, мы уже не можем узнать живого Иисуса. Иисус Христос — теперь собирательное Имя для верований человечества за последние две тысячи лет. Верований и надежд 100 поколений: 100 слоев лака, царапин, срезов, реставраций.

Синее небо, желтые листья. Пустынная дорога через поля и перелески. Ходьба еще не мешает: еще не наступила усталость.

И все-таки Павел не говорит о том, что, собственно, он слышал «на третьем небе». Только лишь, что — «невыразимое, что пересказать нельзя». Это меня тревожит: ведь столько всего пересказано тем не менее! Без всякого смущения: то-то и то-то, и везде прибавлено: «слова Господа».

Какое необъятное расстояние между невыразимостью Павла и свитком пророка Иеремии: царь Иоаким сжег его, но пророк дал новый свиток писцу Варуху, и тот «написал в нем из уст Иеремии все слова того свитка, который сжег Иоаким, царь Иудейский, на огне...» — и это выглядит как-то естественно, но затем следует: «и еще прибавлено к ним много подобных слов».

Как же так? Если слова Господа, то как убавить или прибавить?

А если «добавлено много подобных слов», то Господни ли они? И сколько их, «подобных» слов, когда душа жаждет бесподобных? Одна глава? Две? Девяносто девять сотых книги?

Если уж я попался в историю, то как не удивиться отсутствию ориентиров на поле трясины человеческих мнений?..

Вероятно, все это не имеет значения. Досуг ходьбы позволяет так вспоминать и думать, — в дни ужаса и отчаяния о противоречиях я не помышляю. Главное в том, по-видимому, что жизнь постепенно проходит: это медленно летящая стрела, чтобы вдруг вонзиться в Неизвестность — и исчезнуть, оставив по эту сторону деревянную коробку с гнилью костей и мяса. Наука гигиена велит закопать ее в землю или сжечь.

До Марбурга около двадцати километров. Почти пять часов ходьбы по узкой пустынной дороге. Совсем близко. Но, оказывается, еще ближе: редкий автомобиль меня обгоняет — и останавливается. Студент Филипп возвращается на занятия в университет. Не нужно ли меня подвезти?.. Четверти часа едва

хватает на то, чтобы познакомиться, поговорить о России (кажется, у вас стало свободнее), о Германии (столько проблем!)

— Спасибо, до свиданья, спасибо большое!

— Это нормально. Пока! (Tschüss!)

Меня встречает и приветствует нищий, как выясняется, Леонард, полулежащий на общественной скамейке рядом с автобаном, позади вокзала, — отдыхающий беззаботно, так, словно скамья стоит на лужайке перед его домом.

— Хочешь немножко?.. — он протягивает мне свернутую в трубочку «Ди Вельт», из которой выглядывает горлышко.

— Нет, спасибо, я тороплюсь: я иду в церковь святой Елизаветы. Tschüss!

Он смотрит с удивлением, качая головой, словно желая сказать: «Ну и времена!»

\*

Сегодня я пишу эти строки: 31 декабря 1995-го. Нозль — Новый год — Рождество. Один, не жду гостей и в гости не собираюсь. Этот день я провожу — благодаря памяти и воображению — в Марбурге 91-го. Осенью. Какое пройдено — нет, прожито — расстояние! Еще и в 30, и в 35 лет я боялся остаться в праздник один. Не говоря уже о юности — времени «ягод в кисти»: приятели, девушки, музыка. Быть в праздник одному — да это умереть от тоски.

В 50 лет быть одному хорошо.

Блаженная свобода от всего. Почти от всего.

Состояния живущего на земле человека сменяют одно другое и не имеют существенных преимуществ. Всякий раз нам что-то нравится, а что-то не по душе. Тайнственные силы — нити — приводят в движение наши сердца, не отнимая у нас иллюзии самостоятельности. Одна из важнейших иллюзий. Настолько насущная, что люди рискуют жизнью для ее получения. Иллюзия должна быть совершенной. Иначе она не имеет права называться свободой.



Св. Елизавета стоит на берегу Ланы, у перекрестка, от нее поднимается улица в верхний город, к замку. Часть ее выгорожена под музей: тут стоят саркофаги местной знати, «ландграфов», туда вход по билетам.

Есть свой «транзи»: ландграфа Вильгельма начала XVI-го. Его надгробие имеет два этажа: сверху лежит феодал в доспехах, а внизу — полуистлевший труп (транзи), его же, может быть, даже с натуры (выкопанной из земли): тоже из мрамора (нужно, кажется, добавить).

Как если бы люди того времени нуждались в демонстрации тленности тела; этот обычай цвел почти три столетия.

И верно, иногда нужно видеть мощный знак переходящести — человеческий труп, например, — чтобы придти в себя от успехов в обществе.

А другая часть церкви — открыта, здесь бывают богослужения и концерты. Здесь и реликварий св. Елизаветы. («Мощевик», — поправит меня иной пурист русского языка. — «Не пурист, а ревнитель чистоты», — уже сердится он).

На барельефе святая раздает хлеб нищим: снова руки, много протянутых рук. Она умерла 24 лет, в 1231-м, родив троих детей, овдовев. Построила больницу — и основанный спустя 300 лет университет известен своим медицинским факультетом. Даже каким-то «марбургским вирусом»!

Елизавета была очень любима в Средние века, настолько, что ей пришлось произнести пророчество о другой любимице, Жанне д'Арк.

*O Lys illustre  
Dont les princes sont la rosée  
Greffé par le Créateur sur un buisson  
Garni des roses brillantes et immortelles ...*

*О, лилия прославленная  
Привитая Создателем на куст  
Роз ослепительных: бессмертных...*

Пророчество очень длинное.

Уровень пола церкви находится гораздо ниже мостовой, как это бывает у очень старых построек. Напротив через улицу — источник св. Елизаветы, под крышей: к нему тоже ведут ступеньки.

В церкви натоплено. О, блаженство. Тепло исходит и от множества парафиновых лампадок: красных, желтых, зеленых.

Среди людей нашлось и мне место. Отчуждения я не чувствую, хотя моя особенность замечена: во время сбора денег меня обходят.

Вероятно, костюм меня выделяет: военная куртка хаки (ревнителю чистоты языков уверяют, что это слово — персидское и значит «пыль»: армия, одетая в пыль...), светло-зеленый свитер, надетый поверх розового. Костюм попугая, но ничего не поделаешь: эти вещи нашлись в куче тряпья на улице, кажется, в Бад Хомбурге. Наступавшая ночь показалась до паники холодной. А свитеры были чистыми и подходящими по размеру.

Богослужение, по-видимому, лютеранское.

Снова в этом городе девять лет спустя, — и в совсем другом городе — городе верующих. Тогда пойти на церковную службу я не помышлял. Ну, разве на концерт органной музыки, — это почти полагалось.

Закрывать глаза и слушать рассуждения пастора о прочитанном Евангелии. Островки непонятного: еще один иностранный язык, вовремя не выученный, как должно! И проблески понятного.

Но дело не в этом.

Участвовать в общем ожидании Встречи, — вот главное занятие христиан, не правда ли.

И кончается час ожидания, но еще длится особенное состояние души, — медлительность, доброжелательство...

Выйдя и остановившись, я надеваю рюкзак.

Вечерние фонари. Водяная пыль, которая превратится, может быть, в иней.

Там и тут стоят группки знакомых между собой прихожан, их еще удерживает инерция встречи. Уже они начинают таять.

От молодых отделяется юноша в длиннополом черном пальто и неожиданно подходит ко мне. И заговаривает: откуда я, куда, надолго ли.

Мне легко говорить по-немецки: верный признак доброжелательности собеседника. Потому что он не думает ни о моем акценте, ни об ошибках, ни о том, что я иностранец.

Он хочет дать мне милостыню. Десять марок.

Это, конечно, большая сумма. Она открывает мне вход в кафе «Босоногий».

Вечер я проведу в тепле; смогу писать, собраться с мыслями.

В записной книжке есть имя благодетеля: Henning, студент-богослов.

Это больше, чем вечер в кафе: тут ждет меня Марбург 82-го, того самого года, когда произошли события, заставившие меня путешествовать ныне, в 91-м.

Все-таки я приближаюсь к месту взрыва.

К его эпицентру.

И почему-то я не могу идти быстрее.

Тесно стоящие столики, иногда сдвинутые вместе большими компаниями. Кофе и пиво, тарелки с несложным ужином. Свежие утренние — уже затертые до ветхости — журналы. Шахматы.

В 80-м, в 81-м я любил сыграть партию в шахматы, это правда. А К. любила смотреть, как идет игра; ей особенно нравилось, если я выигрывал. Вернее, выигрывали вместе: она переживала победу как общую и торжествовала совсем по-детски, по-средневековому: «Ага! Ура!»

Спустя 9, ах, уже 10, 11 лет... не изменилось ничего. Хотя, вероятно, в городе больше нет ни одного человека из тех, кого я знал, — они что-нибудь изучили и разъехались. Ну, разве только преподаватели остались, если не увела некоторых — с космической аккуратностью — смерть.

Спустя 9 лет: ни страхов, ни опасений, ни пожеланий побед и успехов.

Девять лет спустя: полнота души. Плирома, если ревнители позволят это звонкое греческое слово. Полнота, не оставляющая места для пожелания перемен. Развеет только повторения Того Самого Дня.

Ну, пора и пойти.

На соседней улице-террасе — еще выше по склону, поднимающемуся к парку и замку — стоит церковь св. Николая-епископа. Совсем неподалеку — университетская церковь, бывшего доминиканского монастыря. Тут висел листок из школьной тетради с объявлением: «Taizé Kreis. Очередная встреча состоится...» Мне захотелось пойти: то был привет из далекой Бургундии, где я жил почти по соседству с этим знаменитым ныне селом, на полпути к Кляуни. Жил две зимы подряд.

Подняться повыше — и открывается вид на город. На ночную долину с рассыпанными огнями, с белесыми столбами дыма и пара. Позади, на вершине холма сияют в свете прожекторов стены и башни замка.

Никуда не спешить. Ни о чем не беспокоиться. Просто начать жить в Марбурге, надеясь на Ответ.

Ночлег я устроил у апсиды св. Елизаветы, на широком каменном уступе. Ночью открылось, что прямо над ним расположен карниз: капля падала с треском на мою полиэтиленовую крышу. И я переехал в беседку источника св. Елизаветы, расположенную, правда, слишком близко к тротуару и мостовой. Воды в нем нет, и, вероятно, давно.

Позади парка нашлось несколько яблонь, я называл их шуточно «муниципальными». Полных красных некрупных яблок, — из этого сорта повсюду делают сидр. Сливовые деревья тоже нашлись: на берегу Ланы, вдоль паркинга, остаток снесенной фермы и сада. Дешевый ржаной хлеб. Очень дешевый и очень вкусный, но, оказывается, немного опасный: он кислый. В самом деле опасный, если становится основной пищей: желудок начинает слабеть. При уличной жизни незаменим белый фран-

цузский хлеб: его можно есть и свежим, и почти в любом количестве (если такое, конечно, имеется). И в черством виде он вполне доступен моим редеющим зубам.

Католическая церковь Петра и Павла стоит на Бигенштрассе, совсем новая, среди недавних университетских построек.

— Не хотите ли с нами поужинать? — сказал о. Норберт. Прислушиваюсь к тону голоса: в самом деле, меня приглашают. (Сами знаете: иногда приглашают так, чтобы вы отказались).

Человек двадцать ужинают вместе. Все студенты, участники общины «Центра Иоанна XXIII». Все знают друг друга, всем хорошо. Общее настроение строится вокруг священника: великолепный, блестящий, гостеприимный, тактичный. Умеющий коснуться почти любой темы.

Вокруг меня возникает «поле». Известно, что человек улицы, бомж s.d.f. может вызывать сильную антипатию. Особенно у студентов. Легко понять, что эта враждебность — особого рода, ее задача — оттолкнуть (если уж нельзя вытолкнуть) персонаж, заведомо не годный как модель для подражания. Полная планов юность ее ищет: модель подобна якорю, заброшенному в будущее, в «возраст, который предстоит жить». Зацепившись таким якорем, юноша усиливается начать карьеру.

Модель должна быть «хорошо одета»; ее автомобиль — добротный, почти новый — стоит под окном, и так далее.

А тут вдруг красное обветренное лицо («пьет, наверное»), и эти свитеры...

И другое сильное отношение, противное враждебности (случается, в одном и том же человеке!), — жалость молодого к стареющему «неудачнику» («под 50, а ничего нет у него»). Возрасты детей и родителей: и вот, дети кормят папашу. Да и жалко его. И странно. И как-то не по себе: «а вдруг у меня сложится похожая жизнь? То есть, совсем не сложится?»

Кому — обед, а мне просто трудный экзамен на роль анти-модели. Уф, кажется, сдал... Впрочем, кто не знает по себе, что такое быть «не своим»?

Мало того, другой священник — о. Людвиг — приглашает меня переночевать в «Центре Иоанна XXIII»! Широким жестом — и с искренней добротой. В холле Центра есть кушетки и кресла, там даже ночуют несколько студентов, пока не нашедших другого жилья. «Так что и Вы можете — если, конечно, у Вас нет других планов на эту ночь, — и Вы можете здесь спать».

Благодарю.

Настоящий отдых — время от времени ночевать в теплом помещении! Даже удивительно, какой запас сил приносит одна такая ночь. Армия Спасения, между прочим, сделала это открытие в прошлом (XIX) веке и выразила его в бессмертном лозунге «горячий ужин и ночлег». Другой ее девиз — на эмблеме Движения — немного загадочен: «Кровь и Огонь». Библейские слова пророка Исайи, повторенные апостолом Павлом.

Мне приятно подарить о. Людвигу недавнюю находку, — молитву из Анси. Оказывается, он знает французский, он начинает переводить, и мне тоже хочется участвовать, и еще не-скольким студентам.

...Seigneur, j'ai une confiance totale en Toi.

Herr, Ich habe ein absolutes Vertrauen in Dich.

Господи, я имею полное/абсолютное доверие к Тебе.

Полное — абсолютное... то есть «отреченное», «отделенное от всего остального», если вернуться к смыслу латинского корня. Доверие, не обращенное ни к чему и ни к кому другому в мире. Звучит захватывающе! Как же оно выразится в мелочах повседневности?..

Вечер прошел в беседе со студентом-вьетнамцем, ночующим на кушетке Центра Иоанна XXIII. Он учит немецкий недавно. Он говорит, что не стесняется разговаривать со мной, потому что я тоже делаю ошибки.

Может быть, это смущение — «ах, я снова не умею говорить» — главная трудность при изучении языка.

И правда, столько лет разговаривал благополучно — и вот, опять не умею! Словно мне снова три годика.

Не кроется ли тут терапевтический прием: нельзя ли кое-что лечить изучением иностранного языка, властно возвращающим в детство?..

Наутро я перепечатывал молитву под ледяными душами взглядами секретарши. «Приходите еще», — добродушно сказал о. Людвиг на прощание. Его голос был добр и искренен, однако, посмотрев на секретаршу, я вспомнил максимум одного парижского нищего: «Il ne faut pas exagérer». Буквально *не нужно преувеличивать*, в значении *знай свое место*.

\*

Жизнь в Марбурге осенью 91-го.

Утром я поднимаюсь на холм от своей гостиницы св. Елизаветы, читая псалмы и молитвы. Этот набор неизменен: чтобы не отвлекаться на новизну выражений и смысла. Особенность словоупотребления в религии: нарочитая повторяемость, до полного стирания смысла. Литература этого не выносит, ее принцип — ежесекундная новизна фразы.

Но тогда-то — когда оригинальность (неожиданность) не грозит завладеть вниманием, — начинаются замечательные проблески через стертость и привычность: предвестники сообщения о чем-то настолько Новом, что...

То, что не содержится в известных понятиях.

На полпути есть настоящий ручей, источник, взятый в железную трубу. Я умываюсь чистой ледяной водой и набираю в бутылку дневной запас. День бывает светлым, случается, выглядывает и светит солнце. Желтые листья кленов и мелкие желтовато-охристые листики ясеней лежат на земле в изобилии. Березы стоят, словно огромные букеты. Осенний запас желтизны. Чем дальше на Север, тем ярче осенние краски.

О, тысячи судеб, — думал я, смотря вниз на долину, заполненную городом. — О, тысячи тысяч! И опять я коснулся некото-

рых. И нужно мне было дожить до этих лет, чтобы увидеть: среди них, этих тысяч, и моя жизнь, она — ни больше, ни меньше. И принять это открытие со спокойным сердцем. С радостным, мирным сердцем. Ныне мне удивительна паника меня тридцатилетнего: ах, я растворяюсь! Я исчезаю среди миллионов!

Иные ли судьбы — там, наверху, — если взглянуть, обернувшись, на замок. Там, конечно, обитателей меньше. Было. Кажется, св. Елизавета там не жила, в XIII веке его еще не было. Теперь в замке музей.

Если день дождливо-холодный, то славно побыть в теплых покойных залах, рассматривая сувениры навсегда ушедших столетий.

Тут состоялся «Марбургский разговор» (1529: представьте, какой стоял крик!), когда Реформа попыталась избавиться от обозначившихся трещин раскола.

В самом деле, приобретает ли верующий Христа в момент причащения? (Он находится в освященной облатке, по Лютеру и Меланхтону). Или верующий приносит Его в своем сердце на общую трапезу воспоминания? (Цвингли и Эколампад).

Или — или. Да или нет!

Категоричность определений XVI века.

Да и другие столетья не менее жестки.

Теперь, кажется, скажется: и то, и другое. И третье, и четвертое, и седьмое.

Семьдесят седьмое, вспомнив евангельское.

Пока туман не наполнит храма. В нем-то Бог и живет.

А в том веке еще думали, что о содержании веры можно — громко и яростно — спорить. Впрочем, и у меня был подобный период.

Вчетвером-впятером закинуть сеть разговора в Невидимое — и вытащить трепещущую рыбу Истины.

Для музея такая попытка — интереснейший экспонат. К сожалению, не всем видимый.

Вход в музей бесплатный. Это очень гуманно, думаю я, ведь как раз у меня нет...



Впрочем, уже есть: меня окликнули из трогавшегося «Фольксвагена». Сидевшая за рулем дама поздоровалась и спросила, можно ли предложить мне монетку.

Кстати, сегодня день Всех Святых (по католическому календарю). Мне приятно напомнить об этом водительнице и узнать ее имя: Мехтильда.

Она немного удивлена: потому, может быть, что ей говорит об этом человек улицы. Или для нее это новость: кажется, протестанты такого праздника не имеют.

Тем не менее, ей заметно приятно быть как бы помещенной среди святых. Да и кому не приятно?.. Я замечал, что и объявившим себя атеистами было приятно, если возникало подобное сближение. Почему-то нам хочется быть абсолютно добрыми, справедливыми, любящими...

Спасибо, святая Мехтильда. Пять марок. Пять кг хлеба в дешевом магазине. А яблоки и сливы бесплатно, с муниципальных деревьев.

Рука, протянутая во времени. Каждый раз — другого человека. Руки людей, протянутые в дружеском жесте одной и той же Руки.

Ее рисуют иногда на иконах, на старых картинах она благословляет из облака.

Она повсюду в Марбурге 91-го, городе моего обращения 82-го.

Впервые в Марбург я приехал в 80-м.

В ноябре. Оказалось много снега, пушистого, мягкого снега моего московского детства.

Висел иней на проводах, ветвях, окнах.

На шпилях св. Елизаветы.

Утро счастья.

Забвения прошлого ужаса.

Впрочем, что-то и в прошлом было драгоценно и хотело сохраниться.

И я отыскал дом на окраине города, на выезде в сторону Гиссена.

Мемориальная доска на жилом доме московского типа напоминает, что здесь жил в начале века Пастернак. Нобелевский лауреат, — сообщает доска. Автор «Доктора Живаго». Ну, и многого другого. Он сам где-то говорит, что эту фамилию увидел где-то написанной. Когда появление романа на Западе вызвало возмущение советских властей, то, может быть, отчасти из-за фамилии главного героя, доктора. Мстительные статьи в газетах об этом не говорили: их авторы, вероятно, об этом и не знали.

Вспомним, что фамилия Живаго — это прилагательное «живой» в родительном падеже, написанное по орфографии досоветского времени. Оно встречается в устойчивых словосочетаниях, например, «попасть в руки Бога Живаго». И название книги можно прочесть как «Доктор (Бога) Живаго». Если вспомнить, что Врачевателем — Доктором — в православии обычно называется Святой Дух, то... ярость властей делается совершенно понятной.

Со страниц книги веяло духом освобождения: в 1958-м! И ревнивая власть — атеистическая и теократическая вместе, этот странный египетский бог коммунизма, — ощерилась и оцетинилась.

Дом стоит недалеко от Ланы, от въезда на новый мост. Старик в потертой одежде окликнул меня: он просил сигарету. Увы, я давно не курю. Что ему подарить? Хотя бы поговорить с ним.

Он оказался «судетским немцем», доживающим жизнь в старческом доме. И он стал жаловаться, как это делал, вероятно, все последние почти 40 лет после выселения из Чехии: в Судетах у него все было, дом и семья. А теперь ничего не осталось...

Я вспомнил, что у меня осталось в рюкзаке немного меда. Вот это кстати! Я немедленно достал баночку и ложечку и предложил новому знакомому «подсластить горечь жизни».

Подарок был настолько неожиданным, что старик не успел отказаться. А вкусив меда, он невольно улыбнулся, и нам обоим стало весело.

— Будем подражать пчелам, — сказал я. — Они собирают мед даже с крапивы!

Немного дальше дома, где жил Пастернак, по той же дороге на Гиссен, расположена городская ночлежка. В ней разрешено переночевать, — один, во всяком случае, раз. Кажется, возможно и два раза, может быть, три и несколько, но я уже не пытался.

Ночлежкой заведовала пожилая турчанка. Кроме меня, пришел еще один бездомный человек лет пятидесяти. Он сразу лег и заснул. И, увы, захрапел. Да так, что я чуть не собрался его разбудить. Только то остановило, что я забыл, как будет «храпеть» по-немецки. Разбужу — и что скажу ему?.. «Господин, Вы производите шум?» — «Какой шум?! Да я сплю!» — Нет, спросонок такая фраза может вызвать недоразумение, и рискованное.

Зато чистота — поразительная! Настоящая немецкая: пол, кровати, одеяла, окна, — все чисто.

После зимы 90-го, когда при неясных обстоятельствах я получил вшей, я стал ценить чистоту. Еще бы! Оказаться жертвой ожившей геометрической прогрессии! Я и не знал, что меня настигает настоящее бедствие, достойное главы воспоминаний, и, почесываясь, думал о весенней нехватке витаминов...

Личинка вши хочет ответвиться в отдельную трагическую тему. Между прочим, у греческих авторов эта тема не редкость. Плутарх, например, говорит об этих насекомых с трепетом.

Храп сончлежника достиг апогея. И после мощного аккорда, от которого зазвенели стекла и заскрипели пружины в кроватях, спящий вдруг затих и сделался неслышим. Так иногда бывает.

Кончились житейские хлопоты.

Дядя Виктор...

(бабочка вдруг села на страницу рядом с его именем: о, бабочка-душа, о, утешение мне в печали...

и кукушка села над головой на ветвь акации, произнесла: ку-ку! и осеклась, заметив меня...) 15.4.96

... брат мамы, был знаком с Пастернаком.

С опозданием в несколько лет до меня дошли семейные слухи, что в 58-м, когда началась травля, и знакомые стали держаться на расстоянии, опасаясь, что сеть захватит и их, — Пастернак дяде позвонил. О чем-то поговорить, но, вероятно, этот звонок был произнесенной просьбой о помощи. Чем может помочь преследуемому столь же беспомощный и уязвимый? Более того, не написавший знаменитых книг... Да просто поехать в гости, побыть рядом, разорвать кольцо страха и уныния, — и подарить другой душе немного отдыха.

Я жалел, что мне было мало лет и вообще я ничего не знал: я бы поехал! Как можно бояться каких-то глупых фельетонов в газетах!.. Ужаса взрослых я не понимал.

Не Провидению ли было угодно сделать так, что однажды я не поехал? Весной 75-го я звонил Андрею Т., уже обысканному и под следствием. И в его голосе я почувствовал нечто: нотки жертвенности, приготовления к закланию, то почти несомненное пророчествование о себе самом, когда душа человека уже все знает и сообщает другим о неминуемом, а он сам — еще нет, не сознает.

Первое движение сердца было правильным: поехать, повидать, поговорить.

Так я стряхнул бы и с себя самого усталость. Страхнул бы страх — перед *ними*. «Они все могут» (понятно, что). Но... я далеко за городом, и я так устал. Да и тревог неоправдавшихся было много за последнее время. Поеду — на другой день.

На другой день Андрей Т. был арестован.

До сих пор мне странно, неловко... Больно.

Как непоправимо легко отречься от Братства.

Пастернак умер в 60-м.

«Доктора Живаго» я держал в руках и читал в 64-м. Книгу, изданную за границей, в Милане, по-русски! Тайно перевезенную француженкой! (хочет отделиться особая тема, принадлежащая не мне, а Арсению Чанышеву).

Прочитать и вернуть книгу?

А друзья? А многие-многие — мне не известные другие?

Да очень просто: перепечатаем на машинке!

Маленький опыт уже был: перепечатали же стенограмму суда над поэтом Иосифом Бродским, сосланным за тунеядство (он умрет в 96-м нобелевским лауреатом). И еще письмо двух священников Патриарху.

Правда, в книге 500 страниц. Но если печатать вдвоем и одновременно — один левую, а другой правую страницу, — то получается 250! И на папиросной бумаге: 14 экземпляров. Последние, правда, читать трудно, но если подкладывать лист белой бумаги, то ничего.

В проекте согласился участвовать Валентин Ш., также студент философского. Кодовое название предприятия — «медицина».

И мы печатали! Всего интереснее нам были разговоры, идеи, картины революции. Совсем иные, чем в официальной истории. Нападений на режим в книге не было (а мне хотелось!) Просто рассказывалась трагедия быть человеком, этим сорванным бурей листочком.

Количество описаний погоды в романе начинало раздражать.

— Ну, опять гром гремит и дождь идет! — ворчал Валентин сквозь стрекот машинописи. — Пора бы к делу.

И однажды вечером в дверь позвонили. Должен был придти наш друг, и я открыл дверь, даже ничего не спросив. На пороге стояли милиционеры, — нет, не стояли, они уже входили, тесня меня к стене прихожей, заглядывая в открытую дверь комнаты, где виднелись машинки с заложёнными листами бумаги, и на диване лежала раскрытая книга... изданная за границей, по-русски.

Валентин же отлучился по нужде и находился в туалете.

— Ну, что ж, чем мы тут занимаемся? Мы тут прописаны? У нас есть документы?

Странная лексика московской милиции тех лет.

— Готовимся к экзаменам! — весело отвечал я. В то время страх перед властями легко не возникал, меня скорее воодушевляли рискованные ситуации.

— Так, так, — листал капитан мой паспорт. — Больше никого нет в квартире?

— А вы поищите! — насмешливо сказал я. — Может быть, в уборной кто-то спрятался?

— Ну, зачем вы так! — обиделись милиционеры. — Нам позвонили и информировали, что какие-то люди посещают квартиру, что у них есть оружие. А окна квартиры выходят на Ленинский проспект: это правительственная трасса! Мало ли что может быть! Мы обязаны проверить.

Они ушли.

Валентин вышел из туалета. Его лицо — такое бледное, что он имел прозвище Бледнолицего Капитана — было бледнее обычного.

— Слава Богу, я на твою шутку насчет туалета едва не отозвался!

Уместно было покачать головой: протяни милиционер руку к книге, просто полюбопытствовать, и...

К счастью, такое любопытство к печатному слову еще не входило в профессиональную подготовку простой милиции. Это спустя несколько лет появился «музей Самиздата», где будущим стражам порядка — и тем более тайным стражам — показывали книги, машинописные, фотографические и прочие неофициальные издания, найденные при обысках и арестах.

Но и мы становились опытнее и осторожнее.

Снова позвонили в дверь: я открывать не спешил...

Уф, это Боря, с запасом бумаги.

— Ну, что ж, говорят, у нас есть оружие! — придя в себя, пошучивал Валентин. — К оружию, граждане!

Комнату наполнил стрекот пишущих машинок. Огонь по непробиваемой стене! Конечно, это безнадежное дело, — но мы молоды и веселы!

С той поры Доктор Живаго напоминал о себе.

Время сгущалось и темнело. Стало казаться, что силы растрачены, что все делалось напрасно. Не выдержал слезки Анатолий Скопа (†1966): выбросился из окна общежития. Появлялась мысль, что «права была мама: надо было учить физику и математику, и жить спокойно...»

И вдруг передали отзыв читателя — одного из неведомого числа — «есть еще люди, которые перепечатали такую вещь! Ну, тогда еще можно жить! И надеяться!»

Оказывается, сеять надежду вокруг себя можно! Она вырастет — и принесет плод в твою нищету отчаяния.

Живаго помогал материально: спустя десять лет, когда пришло разрешение эмигрировать, оплата визы (почти годовой заработок) составлялась из пожертвований и одолжений знакомых и знакомых. Вдруг на помощь пришел и Евгений, сын автора книги.

Ну, все кончено: весна 75-го, Вена. И словно встречающий нас кинофильм, по роману. Американский. «Сентиментальный и глупый», — предупреждал Евгений в Москве. Да и другие говорили подобное. И я, может быть, так подумал бы в других обстоятельствах. А в Вене... с этими впервые осознаваемыми режущими «навсегда» (на Западе) и «никогда» (Россия)...

Мы сидели в зале. И слезы текли по лицу. Потому что на экране шел поезд во главе с паровозом. Шел по бескрайней снежной равнине, с далеким синим лесом на горизонте, делаясь все меньше и меньше. И последний далекий гудок.

Поезд из моего детства.

Поезд моей жизни.

Спустя годы донеслась только музыка, словно ушедшее в бесконечность прошлое посылало сигналы дружбы: вда-

ли, в жилом квартале, примыкающем к моему пустырю, едет автомобиль-лавка, торгующая мороженым. И она всегда играет одну и ту же музыкальную фразу, и дети сбегаются со всех сторон. Конечно, уловка сообразительных коммерсантов. Условный рефлекс. Но ведь дело не в этом, для меня дело не в этом: музыкальная фраза — все из того же Доктора Живаго.

\*

А сначала была Марбургская школа.

В последний год учебы на философском полагалось прослушать пять «специальных курсов», по своему выбору, — не найдется ли тема для диссертации. «Марбургскую школу» я выбрал отчасти в воспоминание о чтении — точнее, изнурительной борьбе с «Критикой чистого разума». С большим трудом понимаемое — восхищает. Отчасти потому, что Пастернак слушал лекции Германна Когена (†1918) именно здесь. Он рассказал об этом немного в «Охранной грамоте».

Начало кончающегося XX века! Какое время порывов открытий! Время поисков чистых веществ, разложения земель на беспримесные составные.

Философии тоже захотелось чистых понятий. Разогнать туман приблизительности.

Между тем не слишком странна мысль, что кое-что в человеческом мире состоит из элементов расплывчатости принципиально. Для некоторых феноменов туман — естественная и необходимая среда.

Туманность и неопределенность, в которой действует интуиция. Прыжок ума совершается в таком тумане, — а иначе зачем и прыгать? Туманность веры — еще пример.

Немного неясно, почему Пастернак — так он рассказывает — скрыл от Когена, что он возвращается в Москву писать стихи, что он от философии начинает отдаляться. Точнее, от систематической философии. Коген бы, вероятно, не удивился. Он уже написал к тому времени свои три «чистоты». Нет,



нет, я не буду открывать толстый том. Да его и нет в ночлежке по Гиссенской дороге. Просто прочесть корешки, наклонив голову, произнести названия, — они звучат как стихотворение, не правда ли: Логика чистого знания — Этика чистой воли — Эстетика чистого чувства.

Три чистоты! Должны ли они смешаться в живом философе Когене? Наперекор намеченным и прокопанным канавкам мысли, создавая зону находок, прозрений и веры: Синтез чистой любви... Подготовка у такого мыслителя Пастернаку, похоже, пригодилась.

Те имена, или эти идеи, занимавшие мое внимание в прошлом (а иные — и ныне): их окружает целый пласт событий, веретеница дней.

Полутемные коридоры факультета, еще в старом здании, в центре Москвы, напротив Кремля. Звонок к началу лекции. Торопливо захлопнутая книга (и иногда вовсе не по специальности, иногда — запрещенная, и настолько, что ее чтение обернется исключением и тюрьмой, — ну, если дело откроется).

Помню спокойное умное лицо преподавателя. Увы, не могу вспомнить его имени. Может быть, он начинал так: «Сегодня мы поговорим об эволюции одной из идей Канта — а именно, времени — в представлении школы Марбурга...»

О, юность 60-х: как все свежо и ярко! Из марбуржцев меня особенно привлекал молодой современник Когена — Кассирер, уже откровенный искатель синтеза. Но он прошел школу Канта и мог обуздывать хаос множественности.

С помощью картотеки и классификации насаждая порядок.

Конечно, порядок человеческого представления о мире, — нам доступен ли иной?

Но есть вторая, параллельная жизнь. Вечером меня ждут другие знакомые: «Из лагеря освоботился Марченко. Нельзя ли приютить на несколько дней...»

За ним, конечно, наблюдают. Страшно...

А вот коробочка с микрофильмами: книги только что осужденных писателей. Вот адрес квартиры, где есть ванная и фотоувеличитель: этой ночью там можно работать.

Меня разрывает на части: там спокойная величавая глубина древних идей — и их новых комбинаций: открывается необъятный горизонт! В какой еле заметный квадратик превращается весь мировой коммунизм!

А здесь — обжигающие факты, бесконечные списки погибших и расстрелянных, тайные живые судьбы людей, о которых ни слова — нигде никогда...

И там, и тут надо мне быть: но ведь это немислимо, невозможно!

А однажды откроется еще одно измерение, когда запыхавшийся приятель издали почти прокричит: «Ты знаешь о предсмертном восклицании Гуссерля?!»

Эрнст Кассирер ставил себе задачу, с которой не справлялось человечество. Ему хотелось найти константы человеческого бытия! Ни больше, ни меньше. Удивительно ли, что московскому юноше такой подход был по душе? И жизненно важен: официальная идеология получила бы свое объяснение: почему, зачем, на какой срок. В вечность ее никто не верил, но слабого звена не находилось. Это был как камень, висящий в воздухе в насмешку над законами природы.

Так вот, константы Кассирера не изменяются вместе с новым опытом. Они скрыты под множественностью и разнообразием образов и фигур. Кассирер искал неизменное. Один из образов... одну из икон... Бога. Выразить невыразимое. Войти в зону соприкосновения философии и... и богословия. Знания и веры. Двух видов знания. Или, если хотите, двух видов веры.

О, о, начал сквозить, начал мерцать выход... Выход? Досуп? К вечности и моему месту в ней, бессмертию.

Зацепка и опора: *неизменность*.

О, наконец-то решето жизни остановилось!  
Мир и отдых.

Но потом тряска и просеивание возобновляются.  
Господи, помилуй!

\*

Наутро оказалось, что моим соседом в эту ночь был голландец.

Очень хорошо, что я его не разбудил.

Ничего не нужно менять, пытаться исправить.

Во всяком случае, мне этого не дано.

В юности такие намерения, вероятно, уместны, но после сорока... а после пятидесяти...

Иногда мне чуть-чуть не по себе, когда я замечаю, что мир со всем своим содержимым начинает иметь для меня меньше значения. Хуже того, иногда он вообще не имеет никакого значения. Так, затянувшийся рабочий день. О нем больше думать неинтересно.

Поезд жизни подходит к последней станции. Машинист не особенно торопится. Все уже ясно. Старый парк, желтые и красные листья, синее небо в разрывах облаков, настолько яркое, что больно смотреть...

Schnarchen! Храпеть по-немецки *schnarchen*.

\*

Порыв ветра и мокрая пыль. Ноябрьские сумерки. Перед входом в церковь Петра и Павла растет китайская яблоня, усыпанная мелкими декоративными плодами. Они, между прочим, не столь уж плохи на вкус: я наполняю ими карман. И, кроме того, утром я подобрал коробку со стружками, упаковку из-под чего-то, и могу усилить свой картонный матрас. И поставить большой лист со стороны задувания ветра. Ну, кажется последняя ночь перед последним этапом. Марбург отпускает меня. А впрочем, нет... что-то где-то ждет меня...

Согревшись в мешке и полиэтиленовом коконе, я засыпаю, почти с насмешкой думая о ветре и его порывах: воздух обте-

кает меня снаружи, я это чувствую, но он бессилён проникнуть внутрь, он бессилён мне навредить...

Обессилен, ветер прекращается к середине ночи.

Голоса последних расходящихся из дискотеки.

Что-то гулкие быстрые шаги по мостовой, почти бег: лежащему на земле они особенно хорошо слышны. Остановился. Звук извергаемой рвоты, и восклицание молодого голоса: «О'кей!»

Снова быстрые шаги, уже совсем близко. Остановился. Откинув пленку, я вижу голову, наклонившуюся надо мной: человек схватился двумя руками за переплеты готического окна моей гостиницы. Полный ужаса — не успевая составить немецкий крик о пощаде — я только застонал. И прохожий увидел меня. Восклицнув «О'кей!» (в значенье «понял, не бойся»), он отвернулся к мостовой, и опять послышался звук изверженья ненужного алкоголя и пищи.

— О'кей!

И удаляющиеся быстро шаги.

Вспоминаю об этом человеке с благодарностью: все-таки нам иногда не наплевать друг на друга.

Слава Богу.

И однако ночами становится все холоднее, настолько, что в моих мыслях начинает присутствовать общественный туалет, едва спрятанный среди деревьев. Он отапливается и — к моему удивлению — не запирается на ночь. После 10-11 вечера вряд ли там могут быть посетители... Не ночевать ли иногда там, чтобы отдохнуть от холода?

Привычка человека — гибкая все-таки вещь, не так ли. Ну, немного неприятные запахи — зато тепло. Тело расправляется (а от холода мускулы постоянно немного напряжены, от этого и усталость), — и утром бодро встает навстречу заботам дня.

Мне случалось находить приют в отхожем месте.

В январе 88-го, на отороте близ Лиона, под свист ветра и приятное постукивание снежинок о стекло маленького окна, — возле горячей батареи отопления. О, блаженство...

Неимущие находят и будут находить приют в современных туалетах, — гигиеничных, вымытых, с дезодорантами, если не изгоняющими совсем запахи, то ослабляющими их весьма. Впрочем, в этой теме есть что-то мстительное.

Мне хочется вернуться в церковь Иоанна Крестителя, бывшую монастырскую доминиканцев. Она небольшая, со множеством дерева, с балками потолка. Ныне университетская: словно память о времени, когда орден поставлял мэтров кафедр.

На этой двери я видел объявление о «кружке Тэээ».

Мне интересно. Мне интересны все разновидности литургической жизни, — от самых остановившихся (немыслимо само простое желание изменить жест или слово) до полной импровизации (как бы вы стали «говорить о Боге» ментальному инвалиду?..)

Сам этот интерес — уже примирение... Оно не чуждо Евангелию («блаженны Миротворцы, ибо сынами Божиими нарекутся...»)

Но что ему делать среди нарочитых разделений? Среди сложившихся страт, иерархий, распределений доходов? Уже ссоры состоялись, обозначились границы владений, уже убили и сожгли. И зачем оно во мне, желание примирения всех (всех? хотя бы христиан, хотя бы верующих христиан): это желание приносит неприятности, и слишком часто. Если разделений нельзя устранить... если заборы неприкосновенны, то поговорим о том, что Земля — и хотя бы Небо — общее.

Итак, разделения неизбежны и полезны! Во-первых, потому что они есть. Как неизбежно разделение ствола дерева на большие ветви, — так начал разделяться ствол христианства, едва вышедшего из-под земли катакомб: в 325, после Никеи, еще при императоре Константине. В конце того же века, когда новый Константинополь оторвался от вечного Рима. Растущий, он вырос в конце концов в самую неизменную форму: он стал скорее Новым Иерусалимом.

Это — якорь. Его значенье, вероятно, в том, чтобы тормозить остальных, то есть, католиков, увлекаемых протестантизмом «куда-то вперед» под предлогом возвращения к истокам.

Нельзя ли подумать, что три «синоптических» («смотрящих вместе») Евангелия — это про-знаменование тройственности направления? Матфей с его сказочностью, волхвами и снами (пять — в первых двух главах!): Матфей — это Восток, Иерусалим, православие Византии; краткий суховатый Марк — дисциплинированный и организованный католицизм, Павел и Рим; а «исследователь» Лука, да еще он же врач и хроникер Деяний апостолов — протестантизм. Впрочем, каждая ветвь имеет начало, середину и конец: склонных к переменам, молчаливое тело и твердых консерваторов. Правда, есть еще англикане... но для этого надо плыть на остров: так давно я там не был. А Евангелие от Иоанна — для всех. Для ищущих интимности веры... дружбы с Ним... для желающих возлежать у Него на груди и задавать Вопросы. И даже слышать Ответы, по крайней мере, однажды. И они бывают такие, что не всякий вместит. Апостол Павел их, например, вообще не обнаружил.

И другой подход обещает интересные результаты: если предположить, что Евангелие — это сценарий каждодневного спектакля мира, где нет навсегда закрепленных ролей. Тут, впрочем, тот риск, что —

Ну вот, пожалуйста: меня просят выйти. Церковь закрывается в семь, а Кружок Тэзз начинается в восемь, если не с половиной. Ее всегда закрывают в семь: это просто совпадение, что я так размышлял в тот момент.

А если нет, если — спектакль, и я в нем участник... что тогда значат огни предзимнего города, промозглый холод, водяная пыль, которой ветер сечет лицо?.. Здесь ходят пешком, потому что старый город невелик. И потому что пешеходы молоды.

Этот час пригодится: я не был еще на вокзале, куда приехал когда-то на поезде. Не подскажет ли чего-нибудь он?

Неплохо немного замерзнуть: мысль делается осторожнее. Смелые гипотезы хороши, если есть уверенность в сегодняшнем ужине, и тем более в завтрашнем. В противном случае они тускнеют и тяжелеют. Даже начинают казаться опасной дерзостью ума.

Человек около десяти усаживалось вокруг большого стола в ризнице. Не все были знакомы между собой, и заговаривать друг с другом не решались: мы смотрели.

Не так, как люди смотрят друг на друга в транспорте, например, — искоса, быстро отводя взгляд в сторону, опасаясь нарушить чужой суверенитет или выдать свою тайную мысль.

Вероятно, некоторых смущала моя неподходящность: не тот возраст, не тот костюм... Мне показалось, что другим подобная необычность скорее понравилась: не свидетельствует ли она об универсальности движения Тэээ, всколыхнувшего даже человека улицы? Причем настоящего человека, не в переносном, социологическом значении слова, а в прямом, административном и полицейском?

После приветствия студентки-председательницы мы поднялись по винтовой лестнице в капеллу св. Михаила. Тут горели парафиновые лампадки, было натоплено, стояли скамеечки для медитации.

Бывавшие в Тэээ — это село в Бургундии, недалеко от знаменитых Ключи и Турню, от все более известного Макона, — они вспомнят, быть может, что общая молитва собрания составляется из коротких молитв на разных языках. И это не мешает: их смысл схватывается тут же, и молитву легко поет большинство, почти все.

Богослужение принимает и новичков, и посвященных.

Как далекое сияние евангельской простоты... Конечно, есть степени причастности к действу: ядро монашеской общины, завсегдатаи, новички, любопытствующие.

В православном богослужении есть похожие элементы: срок и двенадцать раз поемое «Господи, помилуй», например.

После долгого предварительного молчания председательница запела *Da nobis pace* (дай нам мир). Мелодия была очень простая, я непременно ее найду... минутку... ну, хорошо, в другой раз.

*Dan nobis pace*

*Dan nobis pace*

*Da no — bis — pa — ce*

Потом кто-то запел испанские стихи св. Терезы (Авильской): энергичный — почти приказ — самому себе, их проговорить, даже не зная испанского, — доставит бодрости:

*Nada te turbe  
Nada t'espante  
Qui ha Dios nada le falte  
Solo Dios basta*

(пусть ничто тебя не тревожит, ничто не страшит: кто имеет Бога, у того нет недостатка: одного Бога — хватит).

Ну, и по-немецки, естественно. И по-славянски:

Гос-по-ди-по-ми-луй...

Собрание воодушевилось. Тут-то и были прочитаны отрывки из Евангелия. И произнесены комментарии. Нет, это слово отдает кладбищем. Точнее — личные отзывы на прочитанное в кругу друзей.

Действительно: мы сблизились. Паузы не тяготили, нет, — нам было приятно помолчать... Это ведь литургическое молчание: совместное размышление на высказанную вслух тему.

Одна девушка вдруг горячо заговорила о смирении. Она произнесла несколько фраз о нем, — как о чем-то недостижимом, ускользающем и тем не менее драгоценном...

Смягченные, добродушные, мы спустились в ризницу. Предполагался чай с печеньем, как завершающее встречу агапэ. «Горячий», — все-таки подумал я не без удовольствия. О, земное рабство плоти. Председательница встречи, довольная, уселась на самое высокое кресло, конечно, случайно и вовсе без мысли что-либо этим подчеркнуть. Теперь мы уже не дичились друг друга. Оказалось, что девушка, говорившая о смирении, пришла на встречу кружка со своим другом, а вообще они в Марбурге гостят, а живут между Штутгартом и Ульмом. Как им жаль, что пора уходить: знакомые, у которых они ночуют, ждут их к ужину.

Они простились. И девушка вдруг обратилась ко мне. Первое же слово было, как вспышка: я понял мгновенно, что гово-



рит не она, вернее, не только она: с несказанной нежностью в голосе, с лаской чистойшей, прозрачной.

Человеческой причины так говорить у нее не было, — со стареющим чужеземцем в нелепом костюме, с краснокожим лицом бомжа s.d.f., в присутствии молодого красивого спутника. Конечно, она видела во мне одного из *малых сих* — и почувствовала к нему нежность и любовь, вышедшие из Евангелия.

Евангелие говорило через нее. Это был долгожданный знак. Его ожидая, я не знал, как он будет выглядеть. Но узнал особенный *знак* моментально. Она желала мне счастливого пребывания в Марбурге. Сказала, что я найду здесь много доброты — и уже, может быть, нашел. Ее слушали все остальные, вдруг замолчав. Дело было не в сказанных словах, хотя и слова, разумеется, имеют свой смысл. Происходящее вдруг приобрело прошлое и будущее, всю глубину, время остановилось. Мне говорили о моем тайном, о котором ни эта девушка, ни остальные не могли знать. Знал только я и... Тот, Кто знает все.

И как выразить это яснее?..

Только спустя четверть часа я опомнился и спохватился, что даже не спросил их имен, и их имен не знал никто из оставшихся, даже дружелюбный завсегдаятай Кристьян, с которым я познакомился.

Особенное тепло вечера и ночи, — думал я, сооружая ложе из картона и стружек, под крышей источника св. Елизаветы.

«Плирома тис кардиас», — записал я в призрачном свете уличного фонаря.

Полнота сердца.

Это тоже Весть.

Кусочки истрепанной записной книжки:

«Мирское: холодеющий, застывающий мир. Его оживляет только Божественная Любовь. Мы можем стать Ее проводниками, Ее реками, Ее словом... лишь бы стать чистыми сосудами... наполненными Любовью до краев...»

1 ноября 91-го, праздник Всех Святых».

Теперь-то я мог выйти из города в окрестности, на место событий 82-го. Но я не спешил, как обычно. Мне не хотелось упустить никаких уголков и мелочей, я делал крюки. Чтобы пройти и через близлежащее село Кольбе: там я едва однажды не поселился, и там же была поймана большая форель; и затем я шел через лес в Госфельден («Заливные луга»), тоже село, — к нему близко подступал еловый лес. Оттуда открывается панорама холмистой равнины, уходящей вдаль. «Насколько *хватает глаз*», говорит русский язык. Село спускается к Лане, и его церковь стоит на высоком берегу.

И даже открыта.

Никого нет внутри.

В ней я впервые.

Есть престол: стало быть, католическая. Стопка каких-то тоненьких книжек... «Воспоминания местного старосты о жизни села до Второй мировой». Живая история: из чудесных маленьких историй. «Приезд инженера Георга на летние каникулы»... «Ремонт старого моста»... «Рассказ Марты о поездке в Берлин ее старшей сестры».

Какая же тут чистота: нигде ни пылиночки. Есть же люди, у которых именно так сложилась и жизнь: читать подобную книжечку, сидя у окна с беленькой занавесочкой (на ней кружевами — два журавля), в тишине конца XX века. В тишине конца.

Жаль, нет у меня десяти марок: объявление просит столько за книжку.

Выходя из церкви, я почти сталкиваюсь с озабоченным человеком. Он вонзает в меня пронизательный взгляд, раполагающий к неотложной проверке совести, и скрывается за дверью.

Я жду его возвращения и спрашиваю почти насмешливо:

— Alles in Ordnung? (Все в порядке?)

— Na ja! — отвечает он. Почти удивленно.

Я мог бы попросить у него книжку бесплатно. Мог бы попробовать попросить, но как-то сразу не пришло в голову, был занят: готовил насмешку в отместку за подозрение.

Все-таки лучше всего, если первая фраза при встрече — приветствие.

Oh, Штерцхаузен!

Село тянется вдоль шоссе, шоссе — вдоль Ланы. Село ширится и в сторону, поднимаясь по пологому склону к лесистому гребню. Поля, фермы, настоящий северный лес, лиственный и хвойный. Разумеется, западно-европейский: очень ухоженный, с плантациями посадок.

Село настолько большое, что есть несколько улиц с названиями. При входе на мою улицу Ин дер Холь, как и девять лет тому назад, пасутся две овцы за изгородью, на зеленой траве. Снова смотрю на них и чувствую снова, как их пугливость и беззащитность превращаются в моей душе в безмятежность и умиление. Живые — и не способные причинить зла. Столько раз появляющиеся на страницах Книги, чтобы стать, наконец, эмблемой самого Распятого.

Животное, удобное для принесения в жертву.

Мне страшно. Уже совсем близко... уже видно *то место*. А вдруг все повторится... готов ли я... опять не готов?

Ферма с коровниками и сеновалом. Старый крестьянский дом: странно, что не слышно собаки. Нет, не странно: собака уже тогда была старой. И не видно хозяев...

Новые дома. Дом № 13. Позади него — скошенное травяное поле. Окна первого этажа. Занавески!! Ну, естественно, там кто-то живет. Кто-то снял эту квартиру, только и всего.

Перед входом — очень выросшие ели.

Яблоневые деревья.

Девять лет.

Господи, помилуй меня.

Солнце вдруг усилилось и пробилось сквозь туман. Проступили синие прожилки неба между облаками. Сердце сжимается. Боже, помоги мне, посмотри на меня. На дело Своих рук, на человека: странная одежда на нем, ветхий рюкзак. Старейший человек, 46 лет, родившийся там дальше, на Севере. Растертый и потерявший все.

В обмен Ты подарил ему Себя.

Вместо мелочей Ты дал Бессмертие. И даже больше: знание о нем.

Даруй еще чуть-чуть, последнее: завершить эту жизнь. Благополучно. И поскорее.

Стоять и смотреть на *то самое место*. А ведь просто трава рядом с яблонями! Перейти через улицу и сесть на общественную скамейку. Сидеть и смотреть. Так долго, что из соседнего дома вышла хозяйка: позвать детей на полдник. И посмотреть, кто тут сидит и смотрит. Она смотрит на меня несколько мгновений («слезятся глаза: наверное, простужен») и говорит:

— Also, wie geht's? Vielleicht, willst Du... Willen Sie eine Tasse Kaffee? (Ну, как дела? Может, хочешь... хотите чашку кофе?..)

— Спасибо! Простите, как вас?.. Зигелинда, большое спасибо!

Она возвращается с чашкой, термосом, бутербродом (не с сэндвичем, тут все же Германия). С бумажной салфеткой.

— Оставьте потом чашку и термос на скамейке.

Полдник у последнего дома на улице In der Hohl («в пустоте», «в дыре»).

А дальше — поля. От асфальтированной дороги отходит поселок, колеса трактора промяли по нему две замечательные параллельные канавы. Столько раз я шел по этой дороге, поднимаясь на холм, вечером, заметив, что состарился день — и солнце начинает спускаться к горизонту. И ныне, девять лет спустя... (нет, уже и десять, и одиннадцать... Боже мой, пятнадцать!)

... ноябрьское солнце касается холма, густой красный цвет налил его диск, блеск прекратился, и можно смотреть на светило, не делая больно глазам.

Синие тени вытягиваются по полю, дороге; я иду вслед за солнцем, по опыту зная, что его путь по небу — и мой до вершины — по времени одинаковы. Тут перемены не произошло. Мимо заметно подросших лесных посадок, они слева, а справа — поля с остатками яркой соломы: увы, тощими, не пригодными для ночлега в ноябре. За полем высится большой старый лес.

Вот и вершина. Отсюда открывается новый грандиозный вид с синими далями и гребенчатыми кромками леса. Там, глабоко внизу, крыши какого-то маленького села.

Сидеть на поваленном дереве и смотреть. Слушать предзимнюю тишину этого места. Кроны полны желтых и красных листьев, темнеют среди них провалы хвои. Далекий детский смех доносится из села, звонкий и радостный лай собачки. Ласкающие звуки недостижимой устроенной жизни: от них щемит сердце. Но желающий узнать и понять должен быть одинок: вовлеченный в отношения, стремясь к целям своим и общим, он видеть перестает.

Синие тени все гуще. Тающий бугорок солнца: он все меньше над гребнем холмов с противоположной стороны долины. Все меньше, меньше — исчез: и в небо ударили лучи. И исчезли.

Тут столько сухой травы по краю лесных посадок. Не собрать ли ее. Или рискнуть отправиться в большой лес... туда, над обрывом?.. Развести в ямке небольшой костер, сделать постель из сухой хвои. Впрочем, вот, вероятно, гостиница на сегодня, над головой: охотничья будка среди ветвей. Сбитая из досок.

И если дверь не заперта на замок, — надеюсь я, поднимаясь по лестнице довольно-таки высоко, метров пять, — нет, не заперта. Домик так мал, что и по диагонали не вытянуться вполне. Зато он сделан добротнo, с окошком, и оно со стеклом (вынимающимся: тогда получается бойница для ружья). Дверца запирается изнутри щеколдоу.

Свернув кокон из полиэтилена, в него помещаю спальный мешок и, сняв ботинки, в него залезаю, застегиваюсь.

Через приоткрытую дверцу видны звезды: они мерцают все ярче на расчистившемся небе. К заморозкам. Ночь в ветвах, в небесной гостинице.

Прошедшая быстро.

И разбудил меня стук в дверцу!

Открыв, я вижу белку: она сидит совсем рядом, на стволе дерева. Рыжевато-серо-синий мех зверька выглядит ярким и

свежим: стоит белый туман, словно налитое молоко, покрыты инеем ветви и ствол. Белка не боится. Она делает круг, сильно цокая («вот кто умеет произносить эту «ц», такую трудную для франкоязычных!»)

И снова сидит и рассматривает меня.

Не нужно спешить никуда.

Ни выбираться из теплого мешка на холод, в белый туман.

Я на пороге прошлого.

Я могу перевернуть страницу и прочесть:

**1982**

## II

### НЕЗНАКОМЫЙ ГОЛОС

Медленно выплываю из забытья. Жажда. Палящая, огненная, мучительная. Никогда такая не испытанная. Ночь. Сопящие и похрапывающие — спящие люди на кроватях больничной палаты. В дверном проеме — свет коридора. Его заслоняет заглядывающий человек.

— Пожалуйста, пить! Прошу вас, воды!

Человек исчезает. И вскоре возвращается. Черная рука протягивает мне стакан. У меня нет сил его взять: я беру его руку, держащую стакан, и подношу — нет, подвожу его ко рту.

Медсестра африканка тронута моей беспомощностью.

— Пожалуйста, еще воды!

— Нет-нет, чуть позже, не нужно сразу много пить: нельзя.

Операция прошла удачно. Да она и несложная: грыжа. Позавчера я поступил в больницу Красного Креста около Итальянской площади, в Париже. Вчера утром меня торопливо переодели, делая одновременно укол общего наркоза, перекладывая на кровать с колесиками: скорее, скорее, доктор хирург уже вошел в здание... — и я провалился в небытие, так его и не увидев.

А теперь очнулся в палате.

Я немного ошеломлен быстротой происшедшего, чуть-чуть обижен невниманием ко мне, владельцу провинившегося жи-

вота. Со мной, видите ли, не о чем говорить, а вот живот, действительно, нечто почтенное: им-то и займемся, усыпив поскорее владельца.

Впрочем, я и доволен, что все уже кончилось. В неполные тридцать семь лет я еще не знаю о драгоценности мигов и дней болезни, — слабости, отчужденности тела. Болеть — да что вы, зачем! Скорей бы выздороветь — и вернуться к излюбленным повтореньям.

Грыжа привела меня в Париж из Марбурга в феврале 1982-го, под эгиду социального страхования, еще покрывавшую меня после увольнения с работы. Знаете ли, сколько стоит такая простая операция? Лучше не знать и забыть!

Узел внизу живота томил меня несколько месяцев. Терзали страхи, пока я не знал, что это: ах, опухоль! Ах, какой ужас! Все кончено, я умираю: так рано...

Немецкий врач меня успокоил:

— Also, mein Herr, haben Sie doch einen Bruch bekommen!

Смутно подозревая, что речь идет о каком-то «разрыве», я нервно искал в словаре: Bruch... Bruch... грыжа! Уф...

Большой страх разбился на множество мелких: как же теперь... если не будет заработка пером... а физически я не смогу... пропал... пропали все мы...

В древности этой болезни боялись ужасно, стыдились: кишки выпадали, ничего не попишешь! У Ирода «выпали внутренности». И у Иуды выпали: согласно параллельной версии в «Деяниях апостолов», когда традиционной веревки показалось мало.

Врачи Средних веков научились зашивать разрыв брюшины. Правда, тогдашняя медицина предписывала одновременно кастрацию. Ничего не поделаешь! Можно догадываться, почему. Но вот почему такой факт обошел молчанием психоанализ — это уже непонятно. Просто подозрительно.



Мне вставили (даже не известив!) пластмассовую пластинку и зашили. Спустя день-два я повидал и хирурга, пришедшего в палату с обходом.

— О'кей! — сказал он, взглянув на шов. И затем на мое лицо. — Вы должны теперь считаться с известной уязвимостью вашего организма. Выздоровливайте, — добавил он, смягчившись.

И все-таки смерть задела меня в эти дни. В Москве умер Дима Леонтьев. 14 февраля, в 10 часов вечера. Сейчас, конечно, я сказал бы иначе, выбрал бы глагол поточнее. Он исшел из мира, это уже лучше, освободился от него, воскрес для вечности. Но тогда я еще не знал. Я переживал смерть, как отрыв «ягоды от грозди», как окончательную утрату. Хотя всегда «что-то брезжило», заставляя думать, что это, может быть, не навсегда, что тут какое-то перемещение, а не исчезновение. Боль и печаль. И новое чувство одиночества: словно Дима должен был «после меня продолжить» — нет, не продолжит.

Звонок по телефону в Москву его отцу Анатолию. Удивительно, что это возможно! (в 82-м). И даже хорошо слышно.

Не знаю: поймете ли вы теперь: чересчур хорошо слышно...

— Астма — ты слышишь? — все та же астма! Уже и не знали, что с ней делать.

Последнее лечение было иглоукальиванием. То резко лучше, то резко хуже.

14-го в 5 часов дня начался приступ. Наконец вызвали скорую помощь. Бабушка поехала с ним. И в больнице он... через полчаса... умер.

27-ми лет.

Спустя время его мать Оксана дополнила: в больнице не оказалось кислорода. В отделении реанимации кончился кислород.

(Как когда-то при реанимации моего сына младенца Максима, в 74-м, тоже во время конфликта с режимом, ныне уже исчезнувшим: не оказалось кислорода! Но медсестра, открыв окно — в январе — держала задыхавшегося в струе свежего воздуха. И он живет.)

Дары, интересы, болезни Дмитрия. Энергия юности, — ну, это у многих, у всех. Излучение доброты — это реже.

Деликатность.

Он хотел быть музыкантом, пианистом и органистом. И стал. Мама-музыковед, Дима рос в музыкальной среде. Его главный интерес открывался в философии-литературе, хотя неизбежное фантазирование писателя ему претило. Его интересовали, если попробовать сказать точнее, «вещи событий собственной жизни». Совсем юный, он написал интересного «Отщепенца». А позднее — интереснейший «Один год Федора Степановича». И кто этот Федор, и отец его Степан, — и почему Дима выбрал эти имена в качестве маски?..

Он был полон юношеского бесстрашия. Отправился в лагерь политзаключенных, помогал семье осужденного Солдатова. Рискуя, фотографировал злые места. И пересылал на Запад: вышки часовых, двойной забор из заостренных досок с проходом посередине для собак. Колючая проволока.

Он участвовал в последних демонстрациях «за права человека» вместе с Сахаровым, еще до ссылки А. Д. в Горький. Раскол прошел через семью: его бабушка — старый член партии, опора нового режима, против которого внук уже восставал! Дима вырос в разорванное время... все мы выросли... вернее, проросли через битый кирпич, через пепел. Виноград на колючей проволоке: странный вкус у него.

Сын Димы родился осенью того же года. И, как это бывает и в России, носит фамилию матери. Национальность тоже ее, носит или имеет. Дмитрий Дмитриевич Романов, еврей, 1982 г. рождения. Сын задохнувшегося отца, отрок с именем зарезанного царевича, с фамилией последнего российского императора. С кровью царя Давида. Имя его матери — Августа! О, что будет — его жизнь?

Медленно идущее время в больнице.

И слишком быстро проходящее.

Дни без алкоголя, без табака.

Мысли об очищении. Как если бы с юности я пытался изменить себя, вырваться, выпрыгнуть из себя — алкоголем, неистовством, риском. И не преуспел. А теперь неожиданно ясно показалась желанной, достижимой, необходимой — чистота. Во-первых, тела. А вслед за нею придет перемена души: наступит покой.

Другими словами, моя жизнь — плавание в водовороте. Вместе с другими. Вместе с обломками, мусором, трупами.

А мне преподавали другое: «в одну и ту же Реку нельзя вступить дважды». Каким миром веет от этого изречения! Она пахнет конфитюром детства; песчаный берег, чистая вода...

Упасть, наконец, с коня гордости! Сорвать ржавчину желанья собственного успеха — и поражения всех остальных.

И еще я хотел бы найти книгу-друга. Меня окружали иные: чарующие, гипнотизирующие, подчиняющие, магического реализма: феодалы, ищущие крепостных себе в услуженье.

Нет, не находится книги-опоры: книги-дома. Придется ее написать. Книгу-помощника. Не слишком много говорить — и думать — о себе, чтобы не получилось зеркальной галереи. Чтобы не населить собою — другого. И не слишком мало, чтобы не потерять чувства доверия и доверчивости. Пусть будет ясно, что говорят о настоящем опыте человеческой жизни, оплаченном кровью или, по крайней мере, слезами. Часами, ночами отчаяния перед непонятностью жизни, вернее смерти. Опыте недавнем, описанном точно, почти как в протоколе, слегка сжато, как в резюме. Отмечая даты по календарю и время по будильнику.

И ныне, 3 января 96-го... 3 марта 97-го... столько лет спустя после гнева, прошедшего через меня, людей и страны...

(нет, этот слишком поэтический отрывок останется в бумагах).

И больница отпустила меня в парижскую весеннюю жизнь зашитым. В ее мозаичность. В ее эпидерму знакомств — и почти обязательств, впрочем, мимолетных. Как столь многое в легком мире искусств.

Под мягкостью первых встреч — кость. Если не камень и не бронза: да, да, готовимся к вечности. — К вечности на площади? — Ну, на скверике. — Ну, до новых застроек.

За словами, написанными и говоримыми с бодрым видом (условие успеха), прячется что-то другое. То, что всегда прячется как неприличное героям: страх перед неумолимой — а ныне даже и научно неизбежной.

Оказывается, мест в бессмертии не хватает! Уже премий гораздо меньше, чем претендентов!

Среди множества гибнущих творцов — я. «Я». Среди бегущих к незанятому цоколю талантливых людей, ковыляющих, ползущих, — и вдруг проваливающихся в яму. И кто только ее приготовил... и наш бег к ней направил...

Тут что-то не так. Я почти в растерянности перед бравадой умирающего от рака литератора: ему врачи запретили курить, так он закуривает две сигары сразу! По крайней мере, на глазах у публики.

А в одиночестве, сделав жгут из простыни, стягивает изо всех сил грудь, пытаясь остановить расплзающуюся по всему телу боль. Властную, последнюю, смертельную.

Что-то другое:

— Поедем к одному человеку? Он — йог.

Гм. Очередное издание все той же истории, индоевропейской? Но почему бы и нет.

Поеду-ка я к йогу. Что-то знакомое: эхо из юности, из утра свежести надежды вопреки всему, вопреки себе! Таинственное: Абхедананда, Вивекананда, полоскание носа водой. Сидение в позе лотоса в Москве 70-х годов. Тогда такого поворота власти не ожидали и поначалу хранили молчание: о лотосе Маркс-Энгельс не упоминал, о нем Ленин не говорил.

Трогательные нежные образы: ветка сакуры, философский сад, изящные рисунки вулканов. Если жизнь стала слишком непонятной на Западе, не отправиться ли нам на Восток?..

Поезд шел до Ле Мана, а дальше — поезд-челнок из двух вагончиков. Пустынная станция, платформа, засыпанная ро-

зовым щебнем. Доброжелательность приезжих и обитателей места, спокойные улыбающиеся лица, предупредительное ожиданье наставника.

Вышел и он: пожилой симпатичный индус. Он что-то знает (имею в виду — особенное)? Если бы знать, что именно. Немного неожиданен был для меня заметный живот: йог должен быть худеньким, правда? На фотографиях йоги — кожа да кости.

Он пел, аккомпанируя себе на фисгармонии. Некоторые его песни были по-английски. Если можно говорить о климате музыки, то она была темной, сумеречной, влажной. Среди множества слов вдруг проступила фраза, словно засветившийся в ночи огонек.

— Love will come, love will come! — пел низким голосом пожилой, одетый по-восточному человек.

«Любовь придет, любовь придет...»

— Какая же любовь? — думал я с тех пор. Мой брак, по видимому, прекратился. Идет ли речь о новом браке? Есть к тому предпосылки, но тут что-то такое... какая-то трещинка, начало отдаления.

Телефонный звонок в Марбург: нет, все в порядке, все чудесно. К. рада слышать мой голос, когда же ты приедешь, я не могу так долго быть одна. Какие-то голоса рядом с ней, разговор пирушки.

Возвращается чуть было не ушедшая любовь! Сердце оживает. Это-то и есть жизнь, божественная добавка к скучной экзистенции. Тут-то и скрывается Бог, если Он существует. А как же Он не существует, если сердце вновь пронизывают токи любви? Если легкость вернулась в мое тело, ноги и руки? И утром, едва проснувшегося, меня выбрасывает из постели, словно пружиной?

И еще засветилась надежда!

— На Филиппинах есть врач, который делает операции руками.

Он-то и сделает операцию нашей дочери Марии: она не ходит и не сидит.

Таинственную операцию неизвестной болезни. Впрочем, врачам все известно: «Видите ли, во время родов от недостатка кислорода погибли нейроны, — вернее, те клетки мозга, которые управляют движением мускулов конечностей».

Случается, что здоровые клетки перенимают функции клеток погибших. Но в данном случае этого не происходит, как видите.

Дитя мое, Мария, дочь моя — сестра!

Слезящаяся рана на сердце, уже привычная, по имени Мария.

Так вот, филиппинский врач раздвигает — именно раздвигает, а не разрывает и не разрезает — кожу и ткани, исправляет дефект, извлекает — если есть — тумор, сгусток крови. Затем он соединяет края ткани и кожи. И все моментально заживает. Бесследно. Ну, разве пятнышко крови, и все.

— Чтобы дать Вам идею: и физический мир знает нечто подобное. Алмаз, например, не режет стекло: он испускает микроволны, касаясь поверхности его, и молекулярные связи на некоторое время разрываются: получается невидимая щель между двумя кусками. А если их тотчас не разделить — они снова соединяются в одно целое. Вот так-то.

Дитя мое и не сидит, и не стоит, и не ходит в свои 6 лет. И не говорит.

Бедствие души моей, сострадание родителя, униженного в своем древнем инстинкте покровителя и старшего.

И вот, оказывается, бывали случаи. Неизвестно, правда, того же ли рода, — но, может быть, того же?

Между прочим, верующие: там все верующие и католики, так что в этом смысле все в порядке, это не колдуны и не шарлатаны.

Неприменно надо съездить!

Вот Маша и поедет на Филиппины. Как только будут деньги (буквально скоро), Маша и ее мать полетят на самолете. На

сердце легче. Обозначался выход: возможное улучшение, выздоровление. Конечно, полное!

Мне почти ясно, что инвалидность дочери нас удерживает от развода. Меня, во всяком случае: мне неудобно оставить ее, немощного человека-ребенка в бедствии. А если все исправится, то можно уйти со спокойной — более или менее — совестью.

Швы сняты. Ну, теперь я поеду в Марбург.

Никак не уеду: абсолютная нерешительность.

\*

Поезд пришел в Марбург 30 марта 1982 года. Холодный пар висел в воздухе. Льдинки хрустели под ногами. Пахло зимней гарью. Город моего убежища и счастья в тот день показался иным.

Он был иным. Странное пугающее чувство вошло в сердце: город пуст. Тебя никто в нем не ждет. Как так?.. Впору было вернуться в вагон медлившего почему-то поезда и ехать дальше, до лучших мест. До лучших времен.

Впрочем, вот что-то знакомое, близкое: на фоне вечеряющего неба виднелись шпили св. Елизаветы, и уже начинали зажигаться огни улицы, поднимающейся к черному ярусу парка. Пройдя под мостом автомобильной магистрали, по мосту через Лану я вышел к церкви. Перед нею была улица, становившаяся затем дорогой на Биденкопф.

Почти тут же затормозил «фольксваген»:

— Вы — в Штерцхаузен? Я вас сразу заметила! Вас подвезти?

Соседка.

Мы немногословны. Что нового? Во-первых, холодно, весна никак не начнется. Во-вторых, все без перемен.

— Спасибо, до свидания!

— Пока.

Зеленые елочки перед небольшим доходным домом в три или четыре квартиры, построенным соседом-фермером. С отдельными входами с разных сторон: очень удобно, полная независимость.

Машины К. нет на стоянке.

Вот это да: ключ не поворачивается! Вода натекла в замок и замерзла. Грею его рукой, пока она не начинает мерзнуть. Ну вот, наконец. Но я несколько озадачен символичностью происшедшего. Ключ не открывает замок...

Вероятно, К. уехала в город рано утром. И меня не было почти два месяца. Осматриваю квартиру. Все-таки это мой дом.

Письменный стол — обширный, старомодный — в моей комнате. На нем книги и пишущие машинки: латинская, русская.

А холодильник в кухне работает, и в нем маргарин и яйца.

Комната К., она же — салон. Что значат эти пылинки на листьях зеленых растений, всегда абсолютно чистых?.. Выдернутые вилки проигрывателя, телевизора, лампы?.. Эти знаки отъезда на некоторое время?.. И я медленно понимаю — догадка всплывает, как пузырек в воде, на поверхность, — что К. уехала с Рихардом во Франкфурт. Она как-то говорила о таком намерении. Едва намеченном, осторожно, как бы пробуя и самоутверждаясь. Что-то ее притягивало к нему. Хотелось, может быть, турнира вокруг себя? Даже настоящей битвы?

Как знать, что в подобных случаях находится в руках стон? «Нравится», «не нравится» — из чего они состоят?

Я сел на стуле посередине комнаты. Поразмыслить. Из опасения, что в голову придет что-нибудь головокружительное. Вероятно, самое разумное сейчас — согласиться со сложившимся положением. Принять его. И завтра утром отправиться восвояси с обеими машинками и пачкой исписанных листов.

Ах, еще книги... словари... архивы... А вдруг... все исправится?.. наладится?.. успокоится?..

Вдруг тут всего-навсего недоразумение?

За окном стал кто-то царапаться и мяукать. Приподняв ставни и приоткрыв створку, я впустил соседскую кошку, приходившую к нам в гости. Она выросла такой маленькой, что мы называли ее Икебаной или японской кошечкой.



Она мурлыкала и ластилась.

Ну вот, все-таки этому существу мой приезд по душе. И зеленые растения на подоконниках я тоже полил.

«Описание этих мгновений, этого времени разрывания — как отделение присохшей к ране марли».

Нет, уже нет такой остроты.

Но, в конце концов, могут ли — точнее, должны ли — отношения между мужчиной и женщиной доходить до подобной болезненности?

Да это просто стихия! Ураган! Меня отчаяние повлекло, точно щепку.

Эта утрата свободы не нашла полного объяснения, думаю я сейчас.

Но тогда свобода казалась мне понятием из области политики. Общественной жизни, философии. А свобода меня — или моя свобода... тут есть какой-то нюанс... — личная свобода — как раз полное удовлетворение моих желаний. Если и в самом деле моих, — они приходят и уходят, и кто может контролировать этот приход и — уход? Личная свобода — это в общем-то полная реализация моей зависимости. Стремясь и желая, я, тем не менее, наблюдал: за происходящим внутри меня, с другими, вокруг.

Листки тех дней. Той ночи.

Молитва! Настоящая молитва, записанная по-английски: вероятно, в память о пожилом йоге, молившемся на этом языке.

*My Lord: my Lord, send her to me.*

*Love is Your creation: save it, oh Lord.*

*My Lord, my Lord, I need this miracle: send her to me.*

Так думать и так писать принесло облегчение. Несмотря на иронию: ты думаешь, Богу интересны подобные молитвы?.. «Бог» — как я Его себе представлял. Понятие, идея, существо, пребывающее — будем надеяться — где-то, человечеством прямо не занимающееся.

Собственно, не знание Бога или о Нем, а надежда, что Он, может быть, существует.

А еще сильнее и действеннее — писать фломастером крупно, на белой стене комнаты! В отчаянии — и в знак протеста против отчаяния!

Стена была бы исписана обращениями: к К., к человечеству. И даже:

DIEU CE N'EST PAS JUSTE

(Бог это несправедливо)

(Подумав с усмешкой: о, ты даже знаешь, что справедливо, а что нет — перед Богом!)

Стена превращалась в произведение. Одно из искусств: их в наше время стало не меньше, чем наук и стиральных порошков.

Странный ночной протест одиночки.

А если еще восклицать:

— Бог! Почему все так?! Если Ты есть, Бог, объясни мне! Объясни хоть что-нибудь!

Открылся путь слезам, они полились неудержимо.

И смягчили сухую — и потому столь болезненную — тоску.

Я лежал на полу на спине. И нечто случилось, меня удивившее: миниатюрная «японская кошечка» вдруг подошла, мурлыкая, к моей голове и стала лизать мне лицо. Ну, уж если животное меня утешает...

Около четырех часов пришла заместительница покоя — усталость. В углу комнаты горела под абажуром маленькая лампочка, было полутемно. Тишина спящего дома. Только батареи легонько постукивали, когда где-то в его недрах включался котел отопления. И тогда произошло: тогда все началось.

Но тут мне нужно быть осторожным, чтобы попробовать передать абсолютную новизну этого опыта.

Вероятно, всякий человек знает о своем «внутреннем мире». Например, тонким волевым усилием мы вызываем в памяти образ знакомого человека или предмета. Человек, мною воображенный, может сказать что-нибудь, даже то, что я захочу; я

буду слышать его знакомый голос. Это всем известные образы памяти, или новые комбинации их, даже не имевшие места в действительности. Они могут возникать легко, быстро, потоком. И бывают неожиданно для нас самих оригинальными и впечатляющими. Это как раз то, что в искусстве называется вдохновением. Если подобным возбуждением памяти и воображения заниматься регулярно, то оно будет приходить все быстрее и легче, все могущественнее.

Бывает, что заметный акт воли присутствует только в начале фантазирования. А затем воля как бы отодвигается на задний план, хотя полностью не исчезает. Но уже можно сказать, что все продолжается «само собой». И тогда автор — первый зритель и слушатель «творящегося само собой». Он записывает «диктант вдохновения», освобождается от воли, утрачивает ее, освобождается от необходимости думать, комбинировать, выбирать сознательно. Тут-то наслаждение художника и наступает: наслаждение орудия, канала сообщения (Кого-то — и человечества), его радостное изумление перед возникающим «из ничего» произведением.

Ясно, конечно, что, несмотря на всю его новизну, это произведение ново по отношению к другим, уже существующим произведениям: в нем нет новизны принципиальной. Сонет Шекспира в этом смысле не отличается от сонета Петрарки. «Глубина», «гениальность» и все подобное имеют свой критерий — мерилу в степени воздействия на слушателя. И в силе социально организующей, объединяющей зрителей в группу (почитателей), — а внимание и интерес нескольких имеет свойство возрастать, безотносительно к качествам произведения.

То, что началось, было другим принципиально.

Не я вообразил или вспомнил, нет. Открылось — у меня обнаружилось — новое, особенное, никогда прежде не испытанное зрение. Я смотрел внутрь себя — так, как смотрят на окружающие предметы. Ни воли, ни желания что-либо вообразить у меня не было, но я видел пространство: темное, сероватоголубоватое, имевшее объем пространство. Едва освещенное пространство с теряющимися во мгле пределами. И его можно

было локализовать: оно находилось в моей груди, хотя его величина была явно несравненно больше размеров грудной клетки.

В пространстве находился предмет. Ничем не поддерживаемый, он висел в нем. И это было сердце, живое человеческое сердце: оно характерно сокращалось и расширялось, билось. Ни вен, ни артерий, ни окружающей ткани и других органов видно не было. Живое сердце, висящее в тусклом, лишенном видимых пределов пространстве.

Никогда не виденное прежде зрелище захватило меня полностью, так, что я больше не чувствовал своих несчастий. Изумление и жгучий интерес к происходящему владели мною. Я знал, хотя и не мог объяснить — почему, что это мое собственное сердце, которое я вижу. Изумление — и волнение, добавляю я, — волнение открывателя, видящего в первый раз такое, о чем он никогда не слышал от других, никогда не читал. В тот момент было несколько мыслей, произносимых вслух:

— Ах, вот что бывает! А я и не знал! Вот, оказывается, что бывает! А я-то и не знал!

Я был просто поглощен созерцанием собственного сердца, медленно бьющегося, висящего в мглистом пространстве.

И еще одна особенность: я видел его с закрытыми глазами. И видел с открытыми, но в этом случае я видел и окружающие предметы, комнату; однако сердце не исчезало, я продолжал видеть и его наподобие филиграны.

Событие продолжалось.

В мглистом пространстве с висящим сердцем прозвучал голос.

Каким слухом я его слышал? Нет, не физическими ушами. Голос прозвучал изнутри. Но он не был результатом воображения: он прозвучал сам, независимый и неожиданный.

Спокойный и дружелюбный.

Прежде я не слышал его ни у кого.

В то же мгновение я знал, что это — ответ на мои упреки и обвинения по адресу К. и всех, всех других людей. Ответ на вопрос, написанный полуметровыми буквами на стене:

DIEU POURQUOI ÇA?

(Бог, почему так все?)

Говорившего я не видел, и я не мог бы сказать, откуда Голос исходит.

Голос сказал:

*а ты никому не сделал зла?*

Убедительность этой простой фразы, в которой едва слышался вопрос, оказалась ошеломляющей.

Ни спорить, ни оправдываться в голову не приходило, наоборот, я почувствовал радость, как если бы наконец разрешались все мучительные загадки. Вот оно, злое, сделанное мной в этой жизни: оно проступало точками, полосками, пятнами в мгновенно вспомнившихся ситуациях.

Я стал говорить, скорее всего, вслух:

— И в самом деле! Непостижимо, сколько я наделал злого! И тому — вижу теперь! и этой! и К.! и всем, всем, кто только встречался в жизни!..

В тот же миг я почувствовал в своем природном, физическом сердце легкий толчок. Безболезненный. И то же событие я увидел внутри, в пространстве: что-то проткнуло бившееся сердце, и из него вытекла жидкость, подобная чернилам. Она повисла черным бесформенным облачком рядом с сердцем.

Что это за облачко — я знал. Хотя, опять-таки, как и почему? Знание пришло само, минуя операции интеллекта.

Черная вытекшая жидкость была злом моих действий в прожитой жизни. Накопившимся в сердце, словно оно служило, помимо прочего, еще и сосудом.

Завороженно и с наслаждением смотрел я внутрь себя, пока пространство и его содержимое не стали меркнуть.

И исчезли. Новое, ни на что не похожее зрение прекратилось.

Но последствия происшедшего сохранялись: поразительная легкость сердца, — такого у меня не было никогда. Полностью освободившаяся душа: ни обид, ни упреков.

Осталась, однако, боль, но теперь она не знала своей причины (а находила ее прежде в поступках других людей). Она не знала и

своего лекарства (прежде она думала, что лекарство — в удовлетворении желаний, приносящем — на краткое время — покой).

Странная чистая боль, утишаемая острым интересом к происходящему.

«Вот что бывает! — говорил я время от времени и вслух, чувствуя, что от волнения «сосет под ложечкой», словно у рыбака, который видит крупную рыбу, подплывшую к его снасти. — Никогда не читал и не слышал об этом! Это — абсолютно новое!»

Как преодолеть приблизительность человеческого языка, почему-то не приспособленного для описания этих явлений? Пока не приспособленного?

Как же его все-таки приспособить?

Или он сам приспособится, если этот опыт будет повторяться, и все чаще, у людей?..

Эта ночь принесла опору. Как странно! Я был тонущий и захлебывающийся. А теперь касался ногами твердого. Мог стоять. Прежде я искал защиты от страдания в людях, в карьере, в алкоболе. А теперь это мне казалось удивительно нелепым.

Новое, все абсолютно новое.

Отдых и надежда.

И однако тень старого протягивалась рядом: «почему бы не сохраниться и тому, что было приятно...»

Подняв ставни, я увидел утро: серое, морозное, со столбами дыма из печных труб, с инеем на ветках и проводах. Покрытое изморозью поле.

Пусть решение — какое-нибудь — сложится в душе само. В ожидании я готовил завтрак, искал что-нибудь для кошки.

Какая огромная страница дневника! — стена, исписанная ночью во время — чего? что это было?.. — во время агонии.

Ничто не удерживает меня. Ни один предмет. Ни проекты-наброски моих «визуальных композиций»: «Календарь ангела», «Законная самозащита». Ни фотографии прошлых мигнов: К., снова К., К. и Буби — ее сестра — на фоне неба, среди елей.

Уезжаю, и навсегда.

Облегчение и ясность.

И одновременно: все-таки кровоточит... оборванный край... плоти? души? невидимой плоти души.

Зачем я так странно устроен... Только ли я — или и другие точно так же не менее странно?.. И все-таки... я пишу записку К. О том, что я в городе, в кафе «Барфюс» (Босоногий). Буду там в полдень. И затем уезжаю. И потом напишу.

Попутная машина тут же нашлась. Через десять минут я был в Марбурге, у подножия св. Елизаветы. И поднимался по бульжной мостовой вверх, к «дому Дюрера», к рыночной площади с ратушей, мимо лавок и магазинчиков, еще закрытых, к церкви св. Николая, к общежитиям студентов, к парку и замку. Взглянуть, прощаясь, на огромную чашу долины, наполненную черепичными крышами и трубами, среди которых поблескивают темные извилины Ланы.

По крутым лестницам, связывающим террасы верхнего города, я спустился к «Барфюсу». Впервые я оказался здесь в столь ранний час, в полупустом помещении: все на лекциях, на каникулах, спят. Посижу немного у окна, что-нибудь читая, по привычке вода глазами по строчкам... нет, уже не нужно поэзии, хрупких леденцов мечтательности. Хочется свежести и крепости мысли, наблюдений над фактами, как когда-то, в юности, философии.

Если уж нельзя прямо туда...

Но после этой ночи можно прямо туда, хотя еще не ясно, как именно.

Мне дано освобождение живущего на земле.

Еще живущего, конечно.

Вероятно, это характерная черта современности: осознание значительности, важности, остроты, радикальности смерти.

Из нее возросла такая осторожность в отношении к жизни, такая неприкосновенность. Парадоксальность нашего века: после массовых уничтожений отменяется смертная казнь.

Освоение смерти как события жизни.

Все чаще восклицания встреч знакомых, поцелуи, пожимания рук: время к полудню. «Барфюс» наполняется студентами.

— А, Николаус! Что нового в Париже? Ты ждешь К.?

Это Гидо.

— Она уехала, — говорю я и чувствую, что жалею.

— Ah so? Komisch! — говорит он, а я, забыв, что *komisch* значит скорее «странно», быстро говорю:

— Das ist nicht komisch, aber vielleicht tragisch! (это не смешно, а, может быть, трагично).

И понимаю, что моя запальчивость ошиблась. Мы оба едва не прыскаем смехом. Все-таки, оказывается, *komisch ist ja auch noch ein bisschen lustig!* (комичное еще бывает немножко смешным).

Гидо исчез.

А моя жизнь тоже течет дальше. В ней столько противоречий. Быть в общении с одними — почему-то значит неизбежно расстаться с другими! Чтобы пойти к тем — нужно оставить этих, потому что те и эти общения между собой не выносят. А мне почему-то нужно быть вместе со всеми. Эта потребность — черта — делает меня непригодным к жизни, принцип которой — один из многих, к счастью, — клеточность, мозаичность, партийность.

Если эти меня приняли... смотрите, вон там еще люди! И вон там! и там!

Кажется, эта ночь вырвала меня из среды, к которой я привык: вот моя клеточка, думал я, вот моя клетка. Каждому своя клетка. Одна большая — части отдельных маленьких клеток.

Среда умеющих себя объяснить, предложить, объявить себе цену. И я ее покидаю: среду кентавров и чревоушителей, творцов культуры уходящего века. Этой ночью началось превращение кентавра во всадника. Если не на коне, то, может быть, на осле. На худой конец, на велосипеде.

Полдень. Звон колоколов. Пора уезжать, как намечено. Расплачиваюсь.



Конечно, я забыл о ночной молитве. Да и мало ли что мы говорим в миг отчаяния и боли. Неужели кто-то слышит и помнит?..

Открылась дверь, и стремительно вошла К. Она шла прямо ко мне, словно в кафе не было ни одного человека, никого другого не видя.

— Как я рада! Ты здесь! А я думала: всё! Я так спешила: я вдруг решила немедленно возвращаться! — Из Франкфурта. — Столько нового! Я должна тебе все рассказать! Дорогой! Ты хочешь еще оставаться? Едем домой?

Поток слов, поцелуев и жестов уносит принятое решение, словно щепку. Да и щепка — это уже сам я: ну, вот, все прошло. Все хорошо. Теперь-то будет все хорошо...

— Как твоя книга? Ах, моя работа: так трудно! Столько тем! Это будет все вместе: искусство, психология, опыты. Например, влияние театра на живопись... нет, наоборот, живописи на театр! Ты можешь повести машину? У меня болит спина после *аутобана*.

Дорога поднимается вверх к Госфельдену. И на бутре я останавливаюсь:

— Посмотрим немножко?

— Ах, да, я тоже люблю отсюда смотреть.

На поля, и на темный еловый лес, окаймленный снегом, на срез красноглиняного обрыва над дорогой. На безмятежную равнину, там и тут пересекаемую вереницей кустов, они отметили овраги. И Лана внизу, и за ней — уходящие дали с островками леса.

— Помнишь, в позапрошлом году вон там мы гуляли. Было много снега, и ты...

К. отворачивается к окну. Она тоже плачет.

— Так получилось, — говорит она, — понимаешь, ты долго не ехал, я здесь одна, и, понимаешь, так получилось!

— Это ничего, — говорю я. — Это неважно. Теперь настало время безусловной любви. Бескорыстной.

— Как это?! — восклицает, восхищенная, К.

— Помнишь, я тебе звонил, я говорил...

— Да-да, ты говорил! Что любовь только тогда любовь, когда она свободна! А если нет — начинается купля-продажа. Капитализм!

Вероятно, я говорил немного иначе. Но часто мы заставляем ближнего произносить наши собственные мысли.

Как хорошо: никуда не идти. Не исчерпалась необходимость быть здесь, быть рядом.словно разбившаяся на две половинки тарелка. Или чашка. Чаша.

Увидев исписанную стену, К. замерла. Долго ее читала. Странный звук вырвался из ее горла, словно отделившийся слог, начало вопроса, в тот же миг нашедшего ответ и не произнесенного.

И затем, в рассеянности, она взглядывала на стену, притягиваемая чем-то, пока ей не пришло в голову завесить стену простыней.

(Судьба стены ее занимала, и потом, уже время спустя, она специально известила меня, что «они с Буби ее закрасили».)

— Хочешь послушать: я привезла новые пластинки.

Насмешливая песня над полицейскими, еще одна. Ироническая по адресу богачей. И даже нечто жестокое, просто скверное: нет, это забыть.

— А помнишь мансарду в Париже?

— Еще бы: на площади Данфер! На площади Ада.

— Но ведь это не был ад, правда? Ты думаешь, это был ад?

— Аду мешала быть буква t: Denfer-t.

Из окна был виден купол Обсерватории (как хорошо бы пойти туда, посмотреть в телескоп на планеты и звезды!), а далеко, на холме Монмартра — Сакре-Кёр.

Ранним утром базилика казалась розовой в лучах солнца. Она сияла над серовато-голубой мглой, покрывавшей город внизу.

— Смотреть на Сакре-Кёр с площади Ада: символично.

— Почти — ада: с буквой t: такой ад не считается!

— Его прихожая, может быть?

— Ты писал там что-то такое... «Храм Священного Сердца на горизонте...» правда? И ты там болел! Страшно высокая температура, а комната маленькая: везде от тебя был жарко!..

— Да там кто-то и умирал: этажом ниже, под нами.

Действительно, странный шум раздавался почти каждый вечер. Приложив ухо к полу (матрас лежал прямо на нем), можно было отчетливо слышать звук льющейся воды, вероятно, в ванной, — и стоны, громкие стоны страдания, почти крики, по-видимому, мужчины и старика.

К. прижимала ухо к полу и слушала. И задумчиво однажды сказала:

— Может быть, нужно помочь? У него нет никого, и он умирает. Может быть, он умирает от этого?

— А помнишь, мы пошли в парк Монсури...

К. начала задремывать, улыбаясь, усиливаясь слушать, с трудом разводя слипавшиеся веки. И, как это обычно бывает в таких случаях, получалось, что она таращила глаза.

Выключив проигрыватель, радио, телевизор и свет, я ушел к себе в комнату.

Ночью я проснулся за письменным столом. Что-то происходило со мной. И вокруг меня.

Блестали каскады цвета со всех сторон... словно ярко освещенный тропический лес... словно северное сияние меня окружило — и должно было поглотить. Шевелились ожившие стены, потолок, предметы, точно они были составлены из массы разноцветных червей. Было б красиво — если б не было так мрачно... так страшно...

Боясь начинавшейся паники, я разбудил К.

— Что-то такое со мной... с моей головой... цветные водопады, леса... все сверкает, шевелится...

— Ах, у тебя тоже?! А у тебя — отчего? Я должна тебе рассказать. Ты знаешь, во Франкфурте, ну... с Рихардом. Он дал мне попробовать... мы приняли вместе...

— Что?

— Ну, элзде, — К. говорила смущаясь, однако в то же время и с гордостью: пришла ее очередь сделать открытие, и какое! И похвалиться так кстати, совсем того не желая.

— Ах, бедная! И зачем же? Да он — негодяй.

— Нет, нет, я сама захотела! Он только предложил, а я давно хотела попробовать: все пробовали, все говорят, а я нет!

Довольная моим потрясением, К. говорила, как это страшно и здорово, как это ужасно: совсем исчезает «я». То есть вместо «я» — дыра, неизвестно что. Все движется, шевелится, ярко, непереносимо.

— Я думала — погибаю! Нет, умираю! И не за что зацепиться: все — как труха. Только когда я вспомнила о тебе, то пришло облегчение. И потом уже думала о тебе специально: держалась за тебя! Дорогой.

Ну вот, и я попробовал этого наркотика. Не пробуя. Словно меня подключили к недавнему опыту К. Или, может быть, нас теперь — трое? И Рихард принял где-то там свои порошки?

Павел апостол говорит об «одной плоти» мужчины и женщины в близости. Доходит ли дело до обмена переживаниями? Столько раз я слышал и видел, и читал, например, что измена одного из супругов всегда «известна» другому: меняет весь климат интимной жизни, хотя другой может не знать ничего о фактах.

— Ты не обидишься, если я позвоню?.. Ну, ему?

Чистая боль: ни тени ревности. В то же время — непроницаемая перегородка тепла между мною — и происходящим вокруг. Я выключен из среды. Отделен.

Снег идет второй день: 27 января 96-го.

С натурального снега 96-го года я могу писать снег в Марбурге 82-го. Но он там уже тает.

Почти его нет: первые дни апреля.

Перемены накопились и в нас: сейчас они выйдут наружу, должны выйти. Очередная попытка уехать, как далекое эхо принятого однажды решения:

— Я должен уехать.

— Ну, что ж, уезжай, — говорит К., тряхнув головой.

— Отвези меня, пожалуйста, на вокзал.

Мы поехали на вокзал, и ехали долго, попав на какие-то объезды и ремонты, приезжая совсем не туда, потом заглох мотор и не заводился (что-то опять с зажиганием). Опаздывает почему-то и поезд: виданное ли дело, в Германии и в мирное время! Относительно мирное: опять бомбы и взрывы, розыскные листы с фотографиями террористов.

Поезд пришел, наконец-то, но мы — вернее, я опаздываю на него, заговорившись и прощаясь. Отъезд делается слишком мучительным: невозможным. К. говорит почти с нежностью:

— Знаешь что? Поезжай завтра: уже поздно.

С облегчением мы возвращаемся.

Уехать не получилось, потому что должно иметь место событие. Оно испепелит мое прошлое и будет источником для оставшейся части жизни. Но день и час события неизвестны, может быть, вот-вот.

— Давай, посмотрим?

Весенние фиолетовые дали в зеленой дымке треснувших почек. Сухость новостроек Госфельдена (фермеры строят доходные дома, сдавать их студентам) начинает смягчаться, терять скучную заметность.

— А помнишь, мы едва там не поселились? — говорит К., показывая рукой в эту даль, к горизонту, где стоит невидимое отсюда маленькое село, четыре дома. — Там еще был аквариум с красной рыбкой... Может быть, все сложилось бы по-другому?..

— А помнишь «Жизнь святой Елизаветы»?

— Еще бы! — говорит почти обидчиво К. — Я написала тридцать страниц реферата, а когда ты перепечатал на твоей машинке, получилось семнадцать! Профессор едва засчитал!

Весной прошлого года я помогал К.: она слишком медленно печатала на машинке, а мне хотелось упражнений в немецком.

— Но как я старался! — говорю я. — Оставлял на странице неприлично большие поля, просто чудовищные! Строк было в два раза меньше, чем принято!

— И в результате — семнадцать страниц! — насмешливо говорит К. — Да еще профессор сказал, что в реферате нет ничего нового!

— Вот и неправда: было что-то такое об атрибутах... о трех коронах святой: девства, супружества, вдовства.

— И было — неправильно! Три короны — королевской дочери, супруги ландграфа и святой!

— А наше предположение, что вообще корона в древности — это модель укрепленного города, и что ее не носили на голове, а хранили в святилище? Да это тема для диссертации!

— Не относившаяся к теме реферата! — К. была явно на стороне профессора. — А вот почему она жила с четырех лет в замке Вартбурга, у родителей будущего мужа?

— 1211 год... — примирительно говорю я. — Тут уж надо читать источники по-латыни, а я и по-немецки еле-еле...

— Елизавета в четыре года не говорила по-латыни! — парировала К. Впрочем, при упоминании о латыни К. притихла, да и я как-то сник.

— Давай лучше еще смотреть, — почти прошептала К. с печалью. — Наверное, мы больше никогда... этого не увидим.

Весенняя равнина с поблескивающей рекой, нежная свежая зелень леса.

По-видимому, первое воскресенье апреля 82-го. Четвертое апреля. (Отрывочность записей не позволяет быть точнее.)

Ветреное солнечное утро. Синее небо и быстро летящие белые облака. К. занимается у себя одеждой и пластинками и никуда не спешит. Я немного пишу и читаю. И думаю об обращении блаженного Августина, и о Фоме Кемпийском: какие-то остатки давно читанных — почти случайно — потому что читал все подряд — книг. «Исповедь» и «Подражание Христу».

Но нет, и там не было никаких удивительных явлений, это я хорошо помню.

К полудню наступает насыщенность внимания и мысли. Теперь кстати сменить занятие: на простую ручную работу, подмести, покрасить, или вот: закончить особенный подсвечник, «концептуальный»... Или вот: вытрясти коврик. Говорят, гении в такие моменты играли на скрипке. Разумеется, те, кто умели.

С ковриком в руках я вышел на улицу. Наш дом на улице — последний, начинаются дальше поля. Он построен на небольшом склоне, на пригорке. Рядом с ним осталось несколько старых яблонь, вероятно, тут был сад. Отсюда, из-под яблонь, видно дальше и лучше: лес и холмы.

Яркое синее небо: немного больно глазам смотреть на него. Чистейшая белизна стремительных облачков. Яблоневые почки покрыты бело-розовыми трещинками: еще день-два, и...

С ковриком в руках я стоял под яблоней.

И так и остался стоять: неожиданно, словно нахлынув, устраняя всякое страдание и боль, вошло — или открылось — как тогда, ночью — второе — другое — новое зрение

внутри себя я вижу пространство

оно нежно-голубое

бескрайнее

такой цвет бывает у солнечного луча, вдруг прорвавшегося из облаков

я слышу звук — шум, сравнимый с шумом поезда, приближающегося на огромной скорости

меня охватывает — нет, схватывает, и схватывает властно — не чувство, этого мало сказать, — меня властно схватывает состояние

я им наполнен, оно всюду, одно и то же, единое, во всем теле, в ногах и голове, в каждой клеточке этого тела, этой души, одно целое чувство-состояние

оно словно имеет вес: невыразимая тяжесть легла мне на плечи, она пригибает меня к земле:

я Люблю

Невыразимо я Люблю все, что вижу и слышу, что проносятся в мгновенных воспоминаниях.

Любовь ко Всему. Абсолютная Любовь ко всему: к небу с его синевой, к облакам, полю, комкам глины, к воробью на ветке, к одежде, сушащейся на веревке, к грязному асфальту, к обрывку газеты, застрявшему в ветках куста. Все драгоценно: травинка, черный истлевший лист, камушек, люди, крыши...

Состояние — чувство, не выбирающее, равномерное, не имеющее предпочтений, никаких больше-меньше.

Страшный вес у этой Любви: он раздавливает меня, уничтожает: сейчас я упаду, я не могу больше стоять на ногах, — но вот, еще стою и несу, непонятно, как.

В тот же миг происходит... но как объяснить, передать... вся моя жизнь — прожитая и настоящая, и больше — вся жизнь этого мира с его миллиардами и тоннами сплющивается... как же выразить невыразимое, этот несомненный опыт... утончается до пленки, утрачивает всякую толщину, всякую вещественность, и я оказываюсь за этой пленкой прошедшего мира —

я нахожусь вне вещества  
в абсолютной свободе  
в Любви  
и смерти тут нет

Смерти нет.  
Есть Свобода и Любовь.

Никогда не испытанный восторг — и вместе неопишуемая тяжесть.

Я не могу ни держать, ни нести.  
Мой позвоночник гнется, как пруттик.  
Я умираю.



Медленно образуется мысль, она составляется из букв и кусочков слов, мне странных, собирающихся подобно проникающей «оттуда» влаге, из пространства внутри меня, из изнемогающего тела (физического? души? изнемогающего меня):

я не могу  
нести этой огромной  
Любви  
я умираю  
но кто-то дал мне попробовать  
ее чувствовать  
испытывать  
держать на плечах  
быть напоенным ею  
кто-то  
кто несет Ее всегда и не изнемогает  
и этот кто-то  
и есть

Бог

Восторг и радость.

Рассказывать всем, всем, говорить не переставая: оказывается, нет смерти! Оказывается, есть Любовь и Бог! Любовь Бога! Бог Любви!

Бегу объявить, объяснить.

Всем, кого встречу.

Мы жили в тоске и печали, друзья мои, — но, оказывается, все по-другому! Все устроено иначе!

К. ошеломлена. Она слушает о происшедшем с недоверием.

А потом жадно и заворуженно.

Она ходит следом за мной из комнаты в комнату, на улицу и обратно в дом. Смысл моей нескончаемой речи один и тот же: вот как было в прошлом, мы ничего и не знали, и не подозревали! Оказывается, в действительности все по-другому! Действи-

тельность, оказывается, совсем другая! И она-то и есть — действительность! У нас не было о ней ни малейшего понятия!

Я не могу оставаться на месте.

И я должен побыть один.

Скорее в поле, на дорогу, ведущую к лесу.

Тепло благодарения окутывает сердце: свершилось.

Годы болезни и тьмы, годы тоски разрешились: бессмертием.

Отдалиться на время.

Потому что заметил: великое «я Люблю» начало оставлять меня в тот именно миг, когда я вспомнил о К., о том, что нужно и ей рассказать, позвать и ее в гости к Великой Открывшейся Тайне. Как если бы мне подарено абсолютное с ней единенье, и я его первый нарушил пожеланием поступка, встречи с другим: «я Люблю» начало меня оставлять при первой же полумысли о постороннем.

Но уже нельзя ничего изменить, нельзя вернуться в ту полноту?

Чтобы остаться в ней навсегда? Попробовать остаться?

Подозревая о чрезвычайной редкости события, я еще не знал о масштабе этой чрезвычайности.

Другим остались описания (вроде этого), осколки, тени, и эхо. А мне — все драгоценное целое, живое, не отторгаемое, прямо и сразу.

Если б знать в тот миг (*нрзб.*) если б вспомнить когда-то читанные (равнодушно-слепым взглядом) слова, я услышал бы и понял предостережение Павла: «я не стал тогда же советовать с плотью и кровью»...

Осталось сокрытым — немного пугающим, — почему мне, а не другим? Именно мне — этот дар, от других ревниво и полностью оберегаемый? Мне — не сделавшему ничего... делавшему все неправильно...

Вот место, куда раньше я приходил рассеивать страхи и безнадежность: с высоты открывается вид на заполненную лесом долину. Ели и сосны. Зеленая дымка лиственных деревьев.

Не двигаясь сидеть на обломке ствола над обрывом: почти что-то птичье, летящее, невесомое:

о, прими меня, Господи! о, прими мою душу!

возьми ее из этого скучного страстного тела, из этого тусклого мира!

В мгновение, только что мое прошлое превратилось в пепел: цепляние за других, стремление на них опереться, поднять голову, высунуть ее из человеческого моря, боясь утонуть в нем — и боясь от него отделиться, — солома сложнейших многолетних построек вспыхнула в миг дарования знания — о преходящести... *смерти.*

Самого страшного, оказывается, нет.

Оказывается, самое страшное — несуществование, гибель души — выдуманно тленным (и в самом деле) телом, костями и жиром.

Ветер шумит, словно морской прибой, в елях и соснах. Чистейшее небо этого дня, воздух провала у самых ног, так, что можно почти дотронуться рукой до верхушки старой ели, поднявшейся из глубины.

Огромная впадина тянется до горизонта.

О, прими меня, Господи!

Ты есть и Ты слышишь: о, прими меня, пока есть силы молить, умолять, пока текут слезы благодарности, прими меня в миг полной ясности, в миг прозрачности, в миг очищения:

в потоке свежего весеннего ветра, приносящего с Альп запах снега, тончайший аромат хвои и смолистых почек,

тумана, сияющего голубизной в лучах солнца, — оно уже показалось из-за леса, теряет блеск и снижается к горизонту:

о, Господи, прими меня ныне, пока драгоценность этого дня не имеет ни пятнышка, ни царапины, пока сомнение не посыпало его пылью и ржавчиной, пока сон не пришел вслед за усталостью, —

здесь, среди деревьев, при завершении дня: уже красный диск касается горизонта, темно-синие тени между гребнями леса стали чернеть:

о, Господи, Господи...

### III

## НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ

Ради нескольких предыдущих страниц исписаны все остальные. Было время, когда я хотел рассказать о событии кратко и прямо, без подготовки, и рассказывал. Но только один читатель моего длинного письма отозвался, другие остались в стороне, в кругу своих дел. Некоторые испугались.

Оказывается, нужно пригласить с начала проделать со мной хотя бы часть путешествия, чтобы приблизиться к эпицентру, чтобы стать участниками события хотя бы в воображении. Словно им нужно напрячь зрение и слух — и суметь воспользоваться моим новым зрением и слухом. И приблизиться к редчайшему.

Происшедшее имело место рядом с К., и потому коснулось ее прямо. Может быть, все произошло — если не только из-за нее, то и ради нее тоже? В момент потрясения ее своим новым опытом страшного препарата — на пороге опасного пленения — через меня ей был дан антидот? противовес?

Якорь?

— Ты не возражаешь, если я позвоню?

— Кому? (разумеется, зная).

— Ну, ему...

О, блаженство свободы:

— Конечно, звони!

К. начинает набирать номер, ошибается, снова начинает набирать, стараясь быть внимательной, и бросает трубку. Хватает и прижимает к себе подушку, сшитую в виде зеленой жабы. К. поступает так в моменты обиды или душевного затруднения. Подушка-лягушка, она путешествует с К., она при-скакала из ее детства.

— Так или иначе, мне нужно ехать, — говорю я. — Ты меня подвезешь?

— На вокзал? — беспокоится К.

— Даже дальше, во Фрайбург.

— О! А мои занятия?

— А потом в Цюрих.

— А потом?

— В Париж. А потом, я хочу показать тебе гору святого Михаила, Мон Сен-Мишель.

Мысль о таком длинном путешествии неотразима. С занятиями как-то все устраивается. И даже устраивается квартира в Париже на несколько дней: благодаря Виктору К. Он художник. Он знаток и любитель старых мастеров, и ищет секрет стиля, который немцы называют «благоговейным», *Andachtstil*. И в самом деле, что же такое в этой отрешенности от мира — и сосредоточенности в себе — живых персонажей, и не спящих?

От знакомства с Виктором К. в Вене осталась фотография. Его лицо — выражение его лица, схваченное аппаратом — оказалось впоследствии решением загадки — одной из загадок — моей жизни, звеном в цепочке лиц, которая в конце концов приводила к моему отцу<sup>\*</sup>.

Весна — и отъезд. Не без грусти. Не без облегчения.

— Ключ я оставляю Андреа: она приедет полить растения, правда?

---

\* И тогда я признался себе, что искал эту отгадку лет тридцать, о том не подозревая. Но об этом в другой раз, если еще будет у меня время. — *Прим. марта 96-го.*

И оно же — объяснение, может быть, странных слов св. Иоанна Креста в самом конце незаконченного «Живого пламени любви». — *Прим. марта 97-го.*

— Ну, едем.

— Взять шорты?

— Нет, учебники!

— Крем от загара? Или крем для загара?

— Оба!

От этой поездки уцелело несколько снимков: горы, вечерние кроны деревьев, треугольник летящей на север стаи больших птиц. И я сам с каким-то цветком в руке, кажется, безвременником. Несколько сладковатый образ, от него веет восточными пряностями. За моей спиной — здание со странными очертаниями, с окнами болезненных форм, — ах, ну да, это ведь Дорнах, Гетеанум.

Прежде я смотрел с любопытством — на все. Как если б во мне происходит отныне выбор: «мое — не мое», «мне — не мне». Точнее: «твое — не твое».

Мы теперь видели то, чего раньше не замечали: свежестроенную часовню рядом с *аутобаном* (если не *оторутом*, — и как быть, если русского слова не существует?).

Мне захотелось зайти и побыть. Посмотреть на горку мерцающих огоньков лампадок. И даже зажечь несколько: с мыслью о бедствующих, о К. и себе самом, о матери старице Вере (так далеко! — в Москве, и что с ней?), о сыне Максиме (там же, и что с ним?), о дочери Марии (неужели можно надеяться?..). Свечильников на десять марок. («Ach!» — чуть слышно шепчет К.)

Езда.

Она растит чувство уверенности в себе. Вероятно, поэтому люди так много теперь ездят. Сила и мощь, послушные малейшему движению руля и педалей. Однако нужно внимание, и правил лучше не нарушать. Есть такие, которые нарушить безусловно нельзя: оштрафует не полиция, а смерть.

Вести автомобиль — современное упражнение для души, терапия социальной незначительности, почти аскеза.

К. потихоньку заснула на сидении рядом: столько видели сегодня и вчера и говорили, и фотографировали! И проснулась как раз, чтобы испугаться и вскрикнуть: я обгонял грузовик,

весь увешанный разноцветными лампочками, рычущий мотором, сипящий сжатым воздухом, в облаке копоти, словно дракон из средневекового шествия.

Вскрикнула и закрыла лицо руками. Подождав, она осторожно раздвинула пальцы, не отнимая рук, и посмотрела по сторонам. Никого. Только посвист воздуха за окном. Ночь.

— Я так испугалась!

Побаливает спина. Все меньше интереса, почти откровенно скучно. Усталость приносит безмыслие. В нем есть своя польза, как и во всем. Необходимость. Однообразие дороги тормозит колесо образов и воспоминаний. Дорога все чаще имеет вид канала с высокими берегами и асфальтированным дном. Это защищает живущих поблизости от шума едущих. И этих последних — от порывов ветра. Если он дует, конечно. И от излишней живописности видов: исследования показали, что это рассеивает внимание. А другие исследования показали, что однообразная дорога опаснее: она притупляет внимание и усыпляет.

Световое пятно на горизонте делается все больше. Все ближе город Париж. Между прочим, дорога была у римлян символом девственности: дорога не зачинает. И не родившая — еще не женщина. Иной взгляд был у иудеев, не так ли, замороженных загадкой печати девственности. Два взгляда — два полюса — два этажа современной культуры.

И почему я так спешу, так боюсь приехать слишком поздно — и не найти места для ночлега, когда все уже спят и заперты все двери?..

Но сегодня нас ждут, нам рады:

— Здравствуйте, добрый день! Вернее, ночь! Мы так спешили! Мы так рады!

Миг встречи: драгоценный, прозрачный.

Милые друзья: Вадим, Каролина. Остаток ночи и утро прошли в разговорах о надеждах...

— Ну вот, я очень рад, что вы едете, — сказал я. — Так далеко — интересно.

Марию везут на Филиппины.

Нашу дочь Марию.

Говорят, там есть врач, делающий операцию руками. Без всяких инструментов: раздвигает ткани, удаляет, что нужно, — вернее, удаляет, если есть что ненужное. И опять соединяет ткани — и они соединяются, как если бы ничего и не было!

Дело верное: католики имеют к этому отношение. Да и сам знахарь, кажется, католик.

Ехать нужно. Во-первых — отдых: путешествие, и какое! На край света. А самое главное — чтобы усилие матери осуществилось. Чтобы не было горечи в будущем: «Надо было... эх, не сделали!»

Ребенок все никак не родится, хотя ему 6 лет: не ходит, не сидит, не говорит. Все так же связан с матерью пуповиной беспомощности. Врачи говорят, что из-за неудачных родов.

Я вспоминаю об одном моменте, я его отметил тогда, и он стал казаться мне причиной: дитя испугалось нашей ссоры, когда ему было два года. Не остановилось ли оно тогда в росте?

И так было все хрупко, это правда, а тут — злые кричащие голоса.

«Тут опасно расти, стать большим и заметным!»

Злое — почти всегда причина несчастья.

Деньги на поездку находятся, хотя билет и стоит, как говорится по-французски, «глаз из головы»: «les yeux de la tête» (de «La Tête de Lénine», — с улыбкой уточнила судьба Провидения названием вышедшей книги).

Дитя мое, Мария, слезящаяся рана на сердце... О, если б знать, о, если б...

Мария и ее мать живут в новом районе, образовавшемся вокруг «Эммауса» аббата Пьера, на месте бывшей свалки, в Нуазиле-Гран. Марию возят в экстернат для детей-инвалидов в Тье.

Дитя Мария: мое бедное дитя, ты в своей немоте не могло пожаловаться, когда было страшно, позвать плачем на помощь.



Как той ночью в сентябре 77-го, в Испании... Мы возвращались с пляжа, И. везла Машу в колясочке перед собой. Было так темно, что мы едва угадывали дорогу под ногами. И вдруг я почувствовал ужас Маши (полтора года ей было): он стал на мгновение моим, ужас крохотного человека, затерянного во тьме, перемещающегося неизвестно куда: тряска в бездне и в полном одиночестве.

Усилим всего своего существа Мария прорвала немоту, произвела еле слышимый писк, какую-то тень звука, ультразвук. Я сказал, что, может быть, лучше взять ребенка на руки, и И. взяла. От Марии донеслась ликующая радость. Счастье. Человеческое существо невидимо излучает свои состояния.

— Ну, вот, поезжайте на Филиппины, напишите мне от туда, — говорю я.

Не слишком я тороплюсь вернуться в Париж, даже стараюсь ехать по цепочке городков, почти сливающихся в одно застроенное пространство. И все-таки дорога выводит меня к Восточной магистрали А4, — здесь она кажется бескрайним асфальтированным склоном, по которому автомобильная масса скатывается в столицу.

Мне скоро 37 лет, я еду по этой дороге в полной неопределенности, думаю я. Я влеком событиями жизни, и это еще ничего. Хуже, когда события происходят во мне самом, когда приходят желания и хотят почему-то осуществиться! Дело, вероятно, в недосотворенности человека: модель гомо сапиенс ХХ обнаружила недостатки. Потом будут ХХІ, ХХІІ... С какой же началось бессмертие души?..

— Наконец-то! Я так боюсь! Я хотела выйти на улицу и ждать тебя там!

К. в смятении.

— Что-то случилось?

— Ты приходил! Ты здесь был, пока тебя не было!

— Ну, хорошо, не волнуйся, все образуется, расскажи по порядку. Во-первых, в котором часу?

— Около четырех. Я была здесь, в комнате, я писала письмо Буби, я хотела приготовить чашку чая. Я сидела вот тут, у столика, и писала. Открылась дверь на лестницу — и ты вошел. Я немного удивилась, что у тебя есть ключ, — ведь жена Виктора передала всего один, правда? Ты оставил его мне, и мы договорились, что я буду дома непременно после шести!

К. взволнована. Похоже, она рассказывает о действительно происшедшем.

— Ну, а дальше?

— Ты прошел по комнате мимо меня, не глядя, ничего не говоря, сел на кровать. Ты был одет точно так же, как сейчас! Ты посмотрел в окно и сказал: «Мне все это осточертело!» Поднялся и пошел к двери, и вышел, не сказав больше ни слова! Я пошла к двери, не стоишь ли ты на лестнице, хотела тебя окликнуть. И не могла: на меня напал сон, как от наркоза в больнице! Я пошла к постели — и не успела, только упала перед ней на колени, положила голову — и словно провалилась куда-то! Я проснулась только сейчас, за пять минут до твоего прихода! Надеюсь, что ты настоящий! Или и днем приходил — ты?!

Но и я был почти ошеломлен: если все это правда — то что за странный двойник? Невидимка, зримо вмешавшийся в события?

Впрочем, как всегда в подобных случаях, есть объяснение — из тех, которыми обильно снабжает нас наука. Точнее, наименование, а еще точнее — переименование: он помогает снять напряжение души перед непонятным ей. И успокаивает.

— Может быть, у тебя была галлюцинация?

— Галлюцинация?! Ах, верно, я об этом не подумала! Ах, как хорошо: галлюцинация! Конечно! Но я все равно не буду оставаться здесь одна! Еще лучше — уже поехать дальше! Ведь у тебя больше здесь нет никаких дел, правда?

Ехать дальше мы могли. В Нормандию и Бретань, на гору св. Михаила.

Ее я любил. Полюбил, впервые увидев таинственный силуэт острова-монастыря в 75-м, на старомодных довоенных фотографиях книжного развала в Вене. Пусть посмотрит и К.

Впрочем, в Париже мы повидаем Жака Д. И еще нескольких друзей.

И все-таки... мой призрак-двойник бесцеремонно высказал то, что я — если не думал, то чувствовал: усталость от громоздящихся осложнений: прежние дружбы К., я, Рихард, болезнь дочери, зыбкость положения эмигранта...

Приближалось завершение отношений. Мы еще плыли рядом на своих лодках, спохватившись и схватившись за руки, старались притянуть их друг к другу. Но внутренняя работа душ вела к разрыву. И легко говорить это, оглянувшись. А тогда...

В записях этого времени почти ничего нет о дальнейшем путешествии. Среди зарослей событий, замечаний и сетований все того же 1982 года едва нахожу названия мест и даты. Ни слова о возвращении в Париж и об уезде К. в Марбург.

Человек, Впрочем, пишет на бумаге. Пишется и на его памяти, но как-то иначе. Как бы — кем-то? События отстаиваются в памяти. Прошлое делается прозрачным. Отчетливее видны мощные корни, ствол, ветви, кроны. Дерево жизни. Мое дерево, моей жизни. Ах, вот оно какое! Господи, помилуй!

Не слишком ли крупно — дерево? Более подходящей эмблемой моей жизни будет, вероятно, лист папоротника, его главный стебель и замечательно симметричные веточки-листки. Или вот еще: норка короеда. Ее хорошо видно, когда отпадет кора засохшего дерева: главная канавка и симметричные отходы вправо и влево. Словно гравюра листа папоротника!

В отрочестве, в 13 и 14 лет, я досадовал на обыкновенность своей жизни. И завидовал «великим людям»: писателям, композиторам, философам, основателям религий... всем, всем! Они столько страдали! И умирали, то и дело умирали!

А я... Хожу в школу, учусь хорошо, езжу в деревню к бабушке и дедушке. Ну, иногда болею. И все.

Но потом началось такое! И поначалу было здорово интересно! Потом стал недоумевать: ужасы становились сильнее, а обратиться за советом было некуда! не к кому! Вот так история!..

Правда, я мог обратиться к Жаку Д. О нем я думал с надеждой. О его поразительных знаниях, о его несомненном проникновении в тайну людских отношений.

Во-первых, нельзя ли удержать как-нибудь К. После событий в апреле? После того, как разрыв начался, — а может быть, уже продолжался, и давно?

После важнейшего дня в моей жизни, когда открылось существование иного мира?

Жак был немногословен, как обычно. Он смотрел и слушал.

— Закрой глаза и вообрази гору, — сказал он. — Ну, что тебе хотелось бы сделать?

Кажется, ничего особенного. И зеленый холм, покрытый лесом, и большая гора, склоны которой усыпаны цветами. Я представил себе и величавые горы с ущельями и залежами снега. Пойти вверх совсем не хотелось. Устал.

— Ну, хорошо, представь себе меч. Что делаешь?

Воображаю меч. Вернее, все-таки шпагу. Она висит рукоятью вниз, в темном пространстве. Протягиваю руку к ней, беру. Тяжесть холодного металла. Мерцающее острие. Оружие. Какое-то возникает чувство: уверенности. Сжав рукоять, я делаю выпад и наношу укол.

Жак молчит.

Его лицо кажется печальным, но это не печаль, а внимание.

— Еще не все пропало, — говорит он, наконец, почти улыбаясь. — Ты еще борешься.

Странная борьба: с кем, почему? Да у меня и намерения не было бороться!

Жак размышляет, по-видимому. Погрузившись в себя.

(Посылал ли я ему письмо об апрельских событиях? Совсем неясно, хотя я и нахожу копию письма в своих бумагах. Ему я пишу, словно желаю поступить к нему в ученики: стараюсь говорить его понятиями. И еще: я пишу нарочито «интересное письмо» с особой значительностью, очаровывая.

Словно он — склад тайного знания, которым я хочу завладеть. Впрочем, он мне по-человечески симпатичен, мил. А кое-что в нем просто изумляет: например, упражнение на полное воздержание от пищи. До 24 дней.)

— Вот что: попробуйте поголодать вместе, — сказал Жак. — Если сможете, проведите без пищи четыре дня.

Вечером я позвонил в Германию и нашел К. в Дюссельдорфе. Она согласилась немедленно, почти с радостью. Начать голодать мы должны были вместе через несколько дней, я — еще в Париже, выезжая со знакомыми в Кельн.

\*

Маленькая комнатка на улице аббата Гру. Мое парижское пристанище, только что снятое. Она выходит на площадь перед церковью Иоанна Крестителя.

Ночь.

Тишина наконец-то успокоившегося города.

Закрыв глаза, я почувствовал радость: без всякого усилия воображения в пространстве висел и серебрился меч. Вернее, шпага. Посланное мне оружие? Подаренное кем-то?.. Руку наполняет тяжесть металла, она сама делается тверже и сильнее. Ее защищает крестовина рукояти. Я делаю выпад и укальываю тьму. И еще несколько раз. Никаких перемен. Нужно пробовать разную тактику. Тактику, очевидно, борьбы, сражения. И уже не колол, а взмахнул и ударил клинком, словно рассекая.

И вскрикнул.

Тьма разошлась, будто рассеченный пополам занавес! Свет хлынул оттуда, чуть голубоватый, невыразимо нежный. И затопил все. И он лился, этот поток сияния, купал меня в радости, нес мое сердце, как лодку: о, Боже мой, Ты вернулся!..

В этом пространстве едва угадывалась перспектива, удаление к предполагаемому горизонту, — пытаюсь я ныне найти слова, чтобы передать событие.

Справа обнаружилось темное образование, выступ, черный выступ. Стало заметно, что он растет и приближается. Странный шевелящийся холм. Живое существо? О да! Оно вдруг выбросило в мою сторону щупальца-лапки, быстрые, словно черные молнии. И, не достав, вобрало их в себя. И опять выбросило-протянуло их в мою сторону.

Существо напоминало гигантского спрута и паука вместе.

Я ударил шпагой по протянутым ко мне щупальцам-лапкам: отсеченные, они упали куда-то «вниз». Но увеличиваясь в размерах, приближаясь, существо нападало. В ответ я рубил и колл без всякого видимого успеха.

Так продолжалось, пока все пространство не стало блекнуть. Исчезло черное лапчатое существо, и сверкающее оружие.

Что это — это животное, и откуда оно, и где, в каком космосе? Надо повидать Жака Д. и поговорить. И узнать, откуда это упражнение со шпагой, давшее такие замечательные результаты, — думал я, еще не зная, что больше не увижу Жака никогда.

\*

Весело было отказываться от угощений знакомых попутчиков, эмигрантов-поляков.

— Хотите печенья?

— Нет, спасибо!

— Хотите пива?

— Спасибо: нет!

Первый день голодания.

Весело уклоняться от закусывания в дорожном кафе.

Мои знакомые ничего не знают.

Такая любовь! Такая великая! Ради нее не есть ничего — да сколько угодно. Пока не умру.

Тем более, еще не прошел и первый день.

Очень довольный, уверенный в успехе, — таким я вышел из автомобиля на тихой дюссельдорфской улице.

К. стояла в дверях сонная, едва проснувшись, в шортиках, розовая.

— Ну как, хочется есть? — поинтересовалась она, поцеловавшись. Осторожно, чтобы не выяснилось нечаянно, что у нее совсем по-другому, чем должно быть. А как должно быть? Как у всех.

— Да так, нет, не очень, — сказал я.

От этих дней остались короткие записи, обрывочные заметки, которые я ныне разобрать не могу. Не все.

*Голодание начато 4 июня 82.*

Чувство голода: оно вытеснило чувство скуки, какое иногда появлялось, когда я разговаривал с К. Никогда не думал, что еда может быть развлечением!

Голодовки 64-65 годов были испытанием, тяжелым трудом (в советской армии: пытаюсь уйти из нее).

*2-й день.* Рейн, где мы когда-то... всего лишь год тому назад! Великая река: таинственнейшая река Европы.

Тут мы бегали по зеленому склону, и сердце стучало, и кровь пульсировала в артериях. Лежал круглый отрезок ствола тополя, и мне захотелось иметь его в садике, я понес его на плече молодецки, К. смеялась и спрашивала, надолго ли хватит мне сил и желания, я бросил дерево и подхватил ее на руки, завизжавшую, и едва не упал от неожиданной тяжести тела. Она держалась руками за шею, насмешливая, но и опасаясь.

Великая любовь на берегах великой реки...

*3-й день.* Голод. Сонливость.

— А минеральную воду можно?

По-видимому, можно: все-таки всего лишь вода, хотя и минеральная... замечательно вкусная! Кажется, что вода становится пищей.

— Давай съедим по сендвичу! — говорит К. тихим голосом, почти умоляюще.

— А наш научный опыт?

— Ну, тогда я выкурю сигарету!

К. снится сон: черные гробы. Мы в них спим. И мы — вампиры.

Озеро. Гроза.

К. куда-то уезжает.

Я пишу записку, что ушел на прогулку. Вернувшись, застаю К. в смятении. Моя записка висит на двери, но прошедший дождь начисто смыл написанное.

На берегу Рейна. Этому течению тысячи лет. Моей жизни тут прошло два года. Всего-то.

Хочется есть: рука порывается самостоятельно что-нибудь взять и положить в рот. «Если поем — то потеряю ее», — эта мысль прогоняет голод.

«Если поем — то не видать мне свободы», — мысль голодовок 64-65 годов. Свободы моей дорогой. И тогда — победил.

— Ну, почему четыре дня, почему — не три?

— Или — почему не пять? — со смехом говорю я.

— Пять?!

Четыре дня полного воздержания от пищи: замечено, что это меняет обстоятельства. Или наше отношение к ним. Опыт человечества. А наука теперь объяснила по-своему: три дня (в среднем) тело борется за возобновление питания. Самосохранение тела возбуждает чувство голода. На четвертые сутки тело сдается, вернее, начинает спасаться своими средствами: перестраивает схему обмена веществ и отныне расходует свои запасы.

— Завтра утром голод притупится, ты увидишь. Тело замолчит. А голодом оно кричит об опасности!

Оно замолчит.

И тогда наша душа — наш ум — наш дух произнесут в тишине кое-что нам неизвестное.

Глаза К. теряют ясность. Меня мучает жалость: она очень страдает.

Но что это? Растущее чувство независимости от К.  
Независимости вообще.

Освобождение от всех желаний, кроме голода.

Ночь: скучно. Уныло. Чувство покинутости.



Чувство неизвестной опасности.

К. вдруг говорит, что новая поездка с Рихардом (в Ульм на сей раз, где он намеревается открыть кафе) «была необходимостью».

4-й день. Рассвет. Начинающие петь птицы: почти все сразу, хором.

Предчувствие окончания труда.

— Ну вот, голод прошел, правда? — говорю я. К. смотрит с недоверием и тихо, но с попыткой насмешливости говорит:

— Мой бедный гений.

Голод прошел. И еще что-то прошло, но не могу тотчас понять, что именно.

«Мудрая часть» во мне, всё наблюдающая с интересом и спокойно принимающая — всё, — она это уже, видимо, знала. Теперь нужно поехать домой... куда домой? Ну да, в Марбург, забрать все бумаги, и всё.

— Я уже всё решила, — говорит К. — Я хочу оставить завещание на случай моей неожиданной смерти, чтобы мои почки взяли для пересадки умирающему.

Доброта твоей души. Ты мне мила. Дорога.

И еще что-то происходит...

— Что касается Рихарда, то это совсем другое: я не люблю его тела, его лица...

Она отвернулась к окну. Поразительно красив изгиб ее шеи. И волос завитки над нею.

— И потом, пока тебя не было, — совсем не было денег. Я ходила продавать кровь: 45 марок.

— Вот как! И я ничего не знал, и ты ничего не писала!

И я ничего не спрашивал.

Четвертый день: тишина.

Спокойные воды Рейна, прибрежные заросли, серый песок.

Мы начинаем плакать одновременно.

Все-таки мы сделали этот трудный шаг еще вместе.

Шагнули вместе в стороны друг от друга.

Я плачу из-за унижения, небывалого, никогда такого не испытанного: великая любовь оказалась чуть выше желания пость. Чуть больше сэндвича.

Мы выдержали наши четыре дня, это правда, но с великой страстью любви, воспетой и пропетой поэтами, вспучившей до небес искусство, — с нею сравнялось другое — оказалось не меньше — желание наполнить желудок.

Грандиозное здание рушилось.

Оно возводилось десятилетиями: от первых робких взглядов на девочку-соседку в детском саду и торопливых ласок до великих романов, конкурсов, театров...

Оно возводилось веками! Пирамида культурного достояния уже закрыла мне солнце и небо!

И вот оседала пыль рухнувшей постройки и высохших лавровых венков.

Любовь мужчины и женщины — великая вещь. Грандиозная. Но и сэндвич, оказывается, тоже! Если он и не перетянул чашку весов, то встал тем не менее ровень.

Оказалось — и это-то самое унижительное — и песнь любви, и вкусный сэндвич — арии из одной и той же оперы, явления одного порядка, и это ясно теперь, когда мудрость положила их на одни и те же весы.

На песке, вцепившись в выступившие корни деревьев: этот комок в горле... культ всей моей жизни! Восторги! Всего-то и оказалось...

Какое странное новое чувство: горечь выходящего из меня несчастья.

К. плачет, сидя на обрывчике, на траве, качая головой.

— Мы перешли на другой берег, — говорю я. — Перешли через что-то такое.

Заплаканные и присмиревшие, мы медленно возвращаемся в дом.

Словно оттягивая приход вечера, словно нас не ждет долгожданный ужин.

Медленно мы доходим до улицы, ведущей от переправы в город. Вдоль зеленых склонов со скошенной и пряно пахнущей травой. Останавливаясь. Вздыхая. Мы уже знаем, что...

(Не удивительно ли: и сейчас, тринадцать лет спустя, я не спешу писать, я не тороплюсь, даже напротив, нет, не тороплюсь... хотя, казалось бы... Тенниска, пронизанная заходящим солнцем, очертанья плеча, и задумчивый наклон головы).

Мы пьем чай с бутербродами. И плачем.

К. вдруг говорит:

— Давай заключим договор, что мы не оставим друг друга!

Вечером, как и предполагалось, я уезжал в Париж. К. возвращалась наутро в Марбург. Вечером мы садились в автомобиль:

— Хочешь повести?

— Нет, ты, наверное, хочешь?

— Поведи ты — если ты хочешь...

Медленно мы выходили из машины, вошли в здание вокзала, не торопясь, под грохот идущего над головой поезда, поднялись из подземного перехода на платформу.

Простившись, я поднялся в вагон. Обернулся: К. стояла, подняв лицо.

— Не забывай меня, — кротко сказала она.

Дверь захлопнулась, и поезд пошел, быстро набирая скорость.

Больше мы не виделись никогда.

\*

Бог существует.

Апрельское открытие продолжало укладываться в моей голове. И в моей жизни: постепенно, находя и занимая свое место во всех возможных ситуациях. И это самое странное.

Если б Он просто существовал! Нет, Он словно устанавливал личные со мной отношения! Да так, что многие привычки и обычаи не только ослабевают, — они делаются невозможны:

к алкоголю, например. Смотреть телевизор: я не могу отныне смотреть телевизор!

Возможности и средства к тому не исчезли, нет. Но только складывающиеся ситуации — легко — и необъяснимо — расстраиваются.

Бог существует.

От постоянного присутствия этой мысли — вернее, этого Присутствия — у меня болит голова. Громоздится усталость от всего великого, странного, страшного идущего года. Начинается ностальгия по простоте жизни: регулярные занятия, спокойная работа, привычный отдых.

А может быть, я просто болею? Душевно, психически. Может быть, нужно, чтобы мне указали мои пределы, так как я слишком расширился? Не запутался ли я в нюансах и тонкостях — в неизвестности психики? Я пойду в больницу св. Анны — официальную, городскую, для всех. С предвкушаемым облегчением от того, что мною займутся.

Немного усталая женщина-врач... вот и протокол моего посещения среди пожелтевших бумаг. Мадам С... меня выслушала с 12.15 до 13.10. Такой-то, родился... учился... женился... эмигрировал... боится сойти с ума... Впоследствии я вспомнил ее недовольное замечание, что я легкомысленно отношусь к семейной жизни! Чтобы врач такое сказал во Франции! Оно мне показалось зацепкой, кончиком нитки, высунувшимся из безнадежного клубка. Но меня уже отправляли дальше, в районный диспансер. О Боге я не успел заговорить.

Милая и ласковая женщина врач Д. меня выслушала. Очень дружелюбно она сказала мне, что нужно меньше волноваться, что, в конце концов, всё устроится. Кажется, она обновила рецепт на успокоительные таблетки, я их уже принимал после приезда во Францию.

И там и тут была польза от посещения. «Моральное суждение» я услышал впервые, точнее, может быть, впервые обратил на него внимание, — оно показалось спасительным решением жизненной ситуации. Врачи обычно не судят, это не их дело, так сказать.

И врач диспансера помог. Казалось бы, он сказал обычные вещи, — кто их не слышал и сам не говорил хотя бы раз в жизни? Однако ценность и лекарственность этих слов — оттого что они произнесены в пустыне города — дружелюбно.

Телефон Жака не отвечал. Лето он проводил не в столице.

\*

И снова я один на один с Присутствием:

Бог существует.

Конечно, пока это только, так сказать, мысль, то ничего.

Но попробуйте ее на себе:

Бог с Вами сию минуту.

Он знает Ваши мысли.

Ваше прошлое.

Ваши намерения на сегодня — и вообще ВСЁ.

Ваши страдания, печали и скорби.

Он может изменить ВСЁ мгновенно.

А Вы о Боге не знаете ничего.

Есть иной план — иной этаж жизни, где наши человеческие умолчания, секреты и маски сняты.

Многоэтажность нашего времени.

Многослойность нашего бытия.

Мучительность моего принятия Существования Бога — оттого ли, что исчезал привычный пейзаж прожитых лет: длина — ширина... длина — ширина... Ах, еще и Высота? Высоты?

Догадки о них в прошлом мелькали. Теперь они стали еще и складываться в гипотезу, и небезосновательную: моя жизнь протекает в нескольких мирах одновременно,

голова — в «небе», в невидимом; сердце и руки — «посередине»; секс — «внизу»; ноги — «на земле» и «в земле».

Гипотеза ли, аллегория ли, — я просто не знаю, как сказать.

\*

Больше мы не виделись никогда... Впрочем, несколько раз слышали друг друга, и весьма необычно. И просто по телефону.

Спустя время, когда я погрузился в необъятное море старых книг и авторов, мне попался рассказ об обычае древних христиан поститься три дня перед вступлением в брак. И молиться.

В XX веке я нечаянно проверил на себе то, что знали в IV-м.

Чтобы избежать «ужасов Давидова дома» и всех производных, в частности, страсти его первенца Амнона к сестре полукровке Фамари, единокровной Авессалома, — из-за чего оба сына в конце концов погибли (вторая кн. Царств, 13).

Удостовериться, вплетена ли во влечение друг к другу серебряная нить Провидения, не ржавеющая, не разрываемая. Просто природное непрочно: каждую весну птицы и звери составляют новые пары.

Впрочем, и современная психология предлагала мне объяснение — следовательно, и утешение. А именно, подходили ли мы друг другу? Во-первых, разница в возрасте: она, разумеется, увеличивалась бы с течением времени. Ясно, что я не могу перестать быть иностранцем, не так ли, и опасность будет всегда с нами, потому что «за границей — интересно, а на родине — мило». И катастрофы уже начинались.

Наша встреча была ключом к уяснению в другом этаже; для объяснения прошлого — и настоящего, его продолженья. И будущего... моей дочери!

Образ К. был ключом к загадке души. А тело хотело сделать ее «женой»: «Засеять, занять это дикое поле», — думал я, глядя на ее живот, ощущая не изведенное до сих пор — удивлявшее и радовавшее — желание иметь детей. Именно с К.

\*

Прошлое — как кусок янтаря, прекрасный, теплый обломок, в котором застыли события. Их можно рассматривать, поворачивая и так, и этак, и на свет.

Этим я занимаюсь в необычные дни, они становятся памятными на глазах: железная дорога, проходящая поблизости (на Страсбург), молчит много дней, покрылась инеем и снегом. Притихла вся местность.

Забастовка.

Зато гул Восточной автомагистрали А4 — она в 10 километрах, на гребне противоположного склона Марны, — заметно сильнее, это уже почти рокот. Декабрь 95-го.

\*

И все-таки почему я снова ехал в Дюссельдорф спустя месяц после прощания? Встречи с К. не предвиделось: она была в Марбурге. В дневнике нет объяснений.

Не впервые ли я стал думать о судьбе людей, приближавшихся ко мне в этой жизни? Рискнувших приблизиться. Не то, что раньше я не обращал на это внимания. Иногда очень пристальное, пытаюсь помочь, даже поправить, делая несчастье другого своим.

Не понимаю ли я людей слишком через себя, слишком ставя себя на их место? Словно и им интересно рассматривать событие со всех сторон. Но оказывается, такой подход вовсе не правило: многие вообще не думают ничего.

И сам я попадался в ловушку: подлинные стремления души от меня были часто скрыты. Как и от всех, впрочем: как скрыто, например, от юноши, что он подвешен на нитке самолюбия, что насмешкой и похвалой его можно заставить делать все, что угодно.

А эта самоуверенность жителя широких пространств, где зрение не встречает преграды от горизонта до горизонта! Странный славянский эгоизм, — или, может быть, дело просто в том, что христианство пришло в Россию на пять-семь веков позже, чем в Европу?

Ох, какая духота! Жар переполненного летнего вагона. Люди стоят в тамбуре, в проходе, в купе между сидящими. Начало июльского всеевропейского разъезда в отпуск.

Меня тяготит ненужность поездки. В пограничном Ахене (Экс-ля-Шапель) предстоит пересадка. Не остаться ли в городе Карла Великого, императора и предмета спора между галлами-франками и тевтонами-бургундами: чей он, собственно, император? То есть какого происхождения? Если б знать, то всем стало бы легче.

Остаться и побродить, пожить два-три дня — тут, где ходили Алквин и Рабан Мавр... Но уже отправляется поезд, амстердамский, переполненный, словно метро в часы пик, и надо все-таки втиснуться. Трудность втискивания решает за меня: если уж так невозможно, то, видимо, нужно.

Открыты все окна и вентиляторы. Жарко и потно. Мы откровенно задыхаемся! Как, и в Европе тоже? Я ловлю на себе умоляющий взгляд. Это молоденькая девушка: ей, очевидно, не по себе, она часто дышит, капельки пота выступили над верхней губой:

— Hast Du Wasser? Gib mir ein bisschen Wasser! Bitte, bitte! (У тебя есть вода? Дай мне немного воды, пожалуйста!)

Но у меня нет. Ничего нет у меня. И где взять воды в этом поезде? Есть кран с зеленоватой водой в туалете, с надписью «не питьевая». Вагон-ресторан недосыгаем.

— Потерпи, пожалуйста, сейчас найдется, у меня нет ничего, но где-нибудь, у кого-нибудь есть здесь вода.

Мне так хочется помочь ей. Вероятно, я еще не понимаю, почему она ищет помощи у меня. Я не умею взглянуть в зеркало времени и увидеть, что в ее 18 лет естественно просить помощи у 37-летнего: если еще не отец, то уже намного старший ее брат.

И нашлась-таки фляга с водой: поверх множества голов она приплыла из соседнего купе.

Девушка жадно пьет маленькими глоточками, держа флягу двумя руками, как пьет младенец из своей бутылочки.

Мне щиплет глаза: эта беззащитность. Эта нежность и хрупкость человеческого существа.

«Пойми же, запомни, наконец: некоторые люди — и их миллионы — начинают умирать там, где ты проходишь, ничего не заметив...»



— Спасибо, спасибо! — благодарит она, отпуская сосуд в обратный путь. И меня:

— Большое спасибо!

Радость и умиротворение на детском лице.

Как хорошо, что я все-таки поехал, думаю я, выходя на пыльную привокзальную площадь. Спасибо за драгоценный миг, выплывший из памяти сейчас так отчетливо, спустя столько лет.

Маленький синий грузовичок — такой знакомый и, между прочим, «Рено», — стремительно въехал на площадь, прогудел и ловко затормозил передо мной, шаркнув по асфальту. За рулем сидела веселая Буби, младшая сестра К.

— Bonjour, Nicolas! — кричала она с очаровательным акцентом. — Je suis très contente que tu es venu! Monte dans la voiture, s'il te plaît! (Я очень рада, что ты приехал! Пожалуйста, садись в автомобиль!)

Ей нравилось — а кому нет? — говорить на иностранном языке, да еще по-французски («по-английски теперь все говорят»). Она делала это старательно, пока не исчерпался запас бесспорно правильных фраз. Затем начали мелькать немецкие слова, вырубалочка *comment dire* («как это сказать»), наконец, Буби уже говорила по-немецки, и очень красиво, с итальянской певучестью. И все быстрее: теперь мне надо бежать за ней.

— К. нет — ты знаешь — и я уезжаю: мы с родителями, то есть родители и я! К. в Марбурге: там экзамены! И вообще! А потом я приеду, а родители еще там останутся.

И еще раз, с подробностями, я узнал о намерении Буби — только что кончившей школу, получившей водительские права, — изучать методы воспитания умственно отсталых детей с помощью живописи! И вообще психологию! И кстати, она живет теперь самостоятельно: она снимает квартиру с двумя подругами.

Какой сложный проект жизни в 17 лет!

Вечером я ехал на велосипеде вдоль берега Рейна, этой странной спокойной реки. И вовсе не столь уж широкой, — подумает видевший северные реки. Но старинной реки: героини стольких картин, тысяч стихотворений.

Мог ли я прочитать знаки — и предвидеть, что спустя четыре года буду подниматься к ее истоку, по склону длины, под падающим еще гуще снегом, к альпийскому перевалу Шплюген?..

Но тут я еще был, и никак не мог сдвинуться с места: песок, камыши, мелкая поросль деревьев, корни, там и тут выступившие из земли в сложных переплетениях. Столько раз мы были тут вместе...

Велосипед положен на землю. Переднее колесо его крутится, сверкая спицами. Он тоже теперь одинок. Рыбки, выплывшие стайкой на мелководье. Испуганные моей тенью.

«Больно. Где же ты, что с тобой, милая, бедная...»

«Что такое этот разрыв? Что такое болит во мне? И самое главное, зачем?»

Легче, если встать коленями на землю и наклониться.

«Душевная боль. Понятно. Но что она значит?»

Еще легче, если упереться в землю лбом.

«Верни мне ее, Господи».

Запах земли.

Легкое пошлепывание набежавших маленьких волн от прошедшего судна. Почти журчание. Безмолвие внутри меня. И медленно приходящие слова ответа:

нет невозможно

Умиротворяющие слова, оберегающие рубец раны от новых порывов надежды.

Мне хотелось повидать друзей К., если невозможно ее саму. Словно они принесут ее отражения.

— Guten Tag, Klaus.

— Ah! Guten Tag, Nikolaus.

— Гутен так, Пиа унд Гидо!

— А, Николаус, ты все еще здесь!

— Гутен так, Моника!

Не отвечает.

Пужинаем вместе в опустевшем доме.

Мы разводим небольшой огонь в камине, — таком вычищенном, декоративном, его зажигают однажды в году, на Рождество.

Ночь. Свежестью веет от Рейна.

— Мы совершенно в другом измерении, — почему-то сказал я «мы».

— В каком же? — заинтересовался Гидо.

— Чем кто, чем кто? — откликнулась Пиа, словно уже зная, в каком.

Мы поговорили о времени. О том, что его изображают в виде прямой линии, но применительно к жизни его следовало бы изображать как стрелку, проходящую через цепочку пустых объемов, — что-то вроде пчелиных сот: в каждой новой ячейке время останавливается и ждет наполнения ее — продуктами жизнедеятельности. И затем проникает в соседний объем.

Закипевший чайник отвлек нас от философии.

Клаус остался ночевать. Он поместился в комнате К., а мне захотелось улечься внизу, у камина. С радостью и удивлением — я не находил в себе ревности к памяти К., к ее вещам. Впрочем, у Клауса были какие-то права, не так ли? Однако одеяло К. я у Клауса отобрал, тут почувствовав зависть.

Может быть, впервые — этой ночью, один, перед потухающим огнем в немецком доме — я стал... как бы это выразиться... постигать... принимать *равенство человеческих положений на земле*. И своих собственных, в разные периоды жизни. И в сравнении людей между собою.

Несмотря на наши предпочтения и пожелания перемен, положения людей в общем-то равны, — в смысле значительности, весомости.

Между ребенком, у которого энцефалограмма показывает «недействующие» участки мозга, который не может протянуть

руки и сесть,— и блестящим математиком и его родным братом, чемпионом мира по гимнастике, — между ними, тремя братьями, нет Разницы. Перед кем-то. В обществе есть, между людьми и с точки зрения людей и государства, но там, где... после того, как... перед Ним — нет. Ему, Которому открыты (нрзб.)... сложная совместность вечных душ (нрзб.)...

Вероятно, св. Фома и Декарт не согласились бы с этим. А Мария и Иоанн, стоящие у креста, наверное, да.

Все дело ведь в том, в какой точке амплитуды, спирали, круга жизни застали душу.

Утром Клаус жаловался на кошмары.

— Ну, чем тебя утешить? — сказал я шутливо. — Разве только классическим немецким яйцом всмятку на завтрак и отличным кофе!

Мы завтракали на веранде, ступеньки которой спускались в садик с газоном и маленьким бассейном. Красные рыбки подплывали к цементному борту и, высываясь из воды, раскрывали ротки. Всем, всем полагаются свои кусочки и крошки.

Почему я так медлю уехать из Дюссельдорфа? И тогда, в июле 82-го. И сейчас, в декабре 95-го. Сейчас, может быть, оттого, что поезда во Франции не ходят уже три недели.

А тогда — ходили. И обратный билет был в кармане. И обстоятельства требовали: вышедшая книга, участие в телепередаче.

Словно источник еще не был пуст. И не накормлены красные рыбки. И Клаус не договорил: мягко и рассудительно, как он умел, — как любило его природное доброжелательство.

Такая привязанность к месту! И положению? Место, захотевшее стать домом для чужеземца, и даже бывшее им на мгновение.

А трамвай, как давно их не видел, трамваи моего московского детства! По московской дюссельдорфской улице — широкой, с трамвайными рельсами посередине и пыльными домиками по сторонам, — я еду на велосипеде Буби. Улица

поднимается на мост через речку Дюссель, окрестившую и самый город.

Жалость отнимает последние силы. К самому себе, — это известно, вероятно, многим. Жалость вообще к человеку, у которого, в конце концов, ничего нет, потому что — или если — нет главного: он — черточка, бедный дефис в пространстве, повисший между еще и уже. Место встречи (не дай Бог, и схватки) страстей и желаний, затем расходящихся по сторонам, исчезающих, оставив пустоту, горечь, страх.

О, побудем еще вместе! Сделаем вид, что мы заняты чем-то важным. Позволим себя убедить. Так время проходит скорее, с наименьшим числом страданий, — как всегда неожиданных, словно взрыв, так, что летят во все стороны осколки дружбы, отношений, привычек.

Бог неожиданен.

Не спеши говорить, что Он — то-то и то-то.

Только подумать о Его свободе... уж если есть что-нибудь абсолютное в применении к человеку, так это — эта свобода, Его.

Впрочем, есть исключение: никого в этом мире Он не лишает смерти.

То есть встречи с Собой. Эта мысль лежит в основании аскезы: умерщвляя плоть, она строит модель умирания, чтобы заглянуть «туда». И остаться живым.

Помедли, не уезжай.

В окрестностях находится Кемпис, кажется, тут родился (или монашествовал) Фома, еще один Фома, который, как думают некоторые, и есть автор знаменитого «Подражания Христу».

Помедли: воспользуйся таким важным предлогом, чтобы не уехать слишком скоро и навсегда.

\*

...Весной 1966-го я держал эту книгу впервые в руках. Ее мне предложил почитать Юра Лопаков, человек многих занятий и интересов. И состояний. И ныне уже умерший.

После армии он наслаждался статусом инвалида (кажется, шизофрения), получал пенсию, слушал музыку и собирал библиотеку из книг прошлого века. Мелькали и заграничные издания, хранившиеся особо в местах дома, известных ему одному... он жил в Томиано, километрах в 30 от Третьего Рима.

«Подражание» я начал читать в электричке и продолжил в метро. И в метро-то попал на место, где говорилось о прощении Богом. Странно-древние обороты речи, темы, не имевшие никакой, казалось бы, связи с советской действительностью: в 1966-м она выглядела незыблемою скалой, хуже того — вечным удавливающим механизмом.

Поезд метро шел по кольцевой линии. И во второй раз по ней же.

Слезы лились по лицу пассажира.

Слезы освобождения: прощения. Дарованного в тот миг — на миг, навсегда.

\*

Езжу на велосипеде Буби.

\*

Ныне — в 95-м — я начинаю изнемогать от мифов. От бесконечно разнообразных, несчетных образов человека, накладываемых на то, что обозначено Именем Бог.

От истолкований, комментариев, перетолкований и постановлений, явных и волевых натяжек, тонких subtilностей.

Останемся с Именем.

Но нельзя ли уже отпустить меня, Господи?.. Были силы работать Тебе, был Дух, дававший напряжение и стремительность. Ты отобрал и то, и другое и оставил меня искушениям... они обступили в ноябре 93-го и дядяся и поныне, в декабре 95-го. И в 97-м они здесь. Ты отошел в своем великолепии, словно наскучило Тебе мое делание. Тогда — отпусти меня с Земли. Отпусти.

Веселая Буби отвезла меня на вокзал. Долго не приходил поезд. «Опаздывает на двенадцать минут», — взволнованно объявил диктор. Такое в Германии!

И Буби притихла.

— Ты будешь писать нам, — сказала она. — К. тебе напишет. И я тебе напишу из Берлина! Я еду в Берлин! (В Западный: их еще два в 82-м.)

Я-то уже написал К., прося написать мне — и описать ее отношения с Рихардом. Просьба была последней — еще одной — проверкой состояния наших отношений. Если б она такое письмо написала, то тем самым сделала бы выбор в пользу прежней интимности, нашей, хотя бы отчасти, давая ей место в будущем, плацдарм для борьбы.

Высунувшись из окна, я махал Буби рукой, и она мне махала, идя по платформе. Поезд шел через город до главного вокзала, а потом через бесконечные пригороды,

— Дюссельдорф и Кёльн срастаются в один город.

Второй Рим: так называл себя Кёльн во времена воинственных императоров, лелея надежду стать в конце концов Первым. Несложная арифметика гордости: первый, второй, третий.

Показался собор.

— А помнишь...

А помнишь раннее утро и пустынную площадь перед собором, и медленно открывающуюся тяжелую дверь... Ни одного человека. Тут мощи волхвов. Картина Лохнера: Мария, Младенец, старики с подарками их окружили. Взявшись за руки, мы смотрим на них, и я чувствую, как ты вплетаешь свои пальцы в мои.

Отчего все проходит неповторимо и навсегда... и зачем это страдание непрекращающейся перемены...

— Вы, вероятно, чем-то опечалены, — вдруг заговорила со мной соседка по купе, женщина средних лет. — Вы знаете, иногда лучше оставить проблему, если она не поддается реше-

нию, и вернуться к ней позже. И тогда бывает, что проблема уже решена!

В тоне ее голоса слышалось что-то бескорыстное и доброе, словно ей было что подарить от избытка.

— Проблемы, вероятно, уже нет, остался разрез, рана отрыва, она кровоточит, и нужно только ждать, чтобы она зарубцевалась, — сказал я. — Но я должен засвидетельствовать уважение Вашей проницательности.

— Она не моя! — живо отозвалась попутчица. — Я научилась ей из этой книги, которую хочу Вам подарить!

Снова «эта книга» входила в мою жизнь. Совсем маленького формата, изданная Американским Библейским Обществом в 1966 году. Сохранилось имя владелицы и попутчицы на обороте обложки: В.В. Oxendine. Может быть, Барбара.

Опять Дюссельдорф и Новый Завет по-английски!

\*

Однажды Новый Завет мне был уже подарен: в Москве, в 1962-м, тоже по-английски. Симпатичное издание в темно-синей ледериновой обложке, кажется, «Гедеона». С синим срезом, на старинном английском, где есть еще местоимения Ты, Тебе, Твой.

В том году я окончил школу и устремился в университет. Мне нужен был непременно философский факультет: там все разъяснится! все откроется! там, конечно, готовится революция!..

И вдруг оказалось, что сдать экзамены и набрать «проходную сумму баллов» мало. Нужно еще справку о двухгодичном «производственном стаже»: о том, что получил, так сказать, классовую проверку, прежде чем философствовать.

Мама отнеслась к моим усилиям сочувственно, хотя, на ее взгляд, мне следовало бы изучать математику или физику, во всяком случае, что-нибудь естественное. Тем более, что для этих наук классовой проверки и закалки почему-то не требовалось. А уж философия... ну, разве для кандидатского минимума, для диссертации и карьеры, — так это потом...



И все-таки она стал хлопотать и пошла по инстанциям, и дошла до чиновника в министерстве образования по фамилии Готт, от которого получила окончательный отказ. Конечно, нам нужно было бы прочитать его фамилию по-немецки, мы, вероятно, пришли бы в себя, и моя жизнь сложилась бы иначе: Gott!

Уж если отказ от Gott'a...

Но я настаивал, мама тоже, и был найден компромисс: мама устроила меня «на производство» в свой Институт Прогнозов, учеником чертежника в конструкторский отдел, и меня приняли на вечернее отделение философского факультета.

Утром я переносил на кальку чертеж... ну, например, лопасти анемометра (им измеряют скорость ветра), невольно слушая разговоры коллег, в основном юных девушек и едва вышедших замуж. Разговоры бывали удивительно смелые и информативные, об отношениях между супругами, и вообще. После обеда бывали примерки:

— Девочки, такие чулки отхватила! Смотрите, как нога в нем сидит! Коля, отвернись!

А вечером профессор В. В. Соловьев поднимался на кафедру и, подперев щеку рукой или выбросив ее вперед ладонью вверх, словно на ней было положено нечто, начинал медленно, почти нехотя:

— Мы говорили с вами в последний раз о Пещере Платона. Сегодня мне хотелось бы уточнить некоторые детали...

Тяжело дышал, преподавая логику, Асмус. «Друг Пастернака!» — шептали москвичи приезжим из Сибири. «А кто такой Пастернак?» — смущались провинциалы. Асмуса они уже знали.

Нам преподавали все науки: психологию, биологию, математику. «Научный атеизм!» («Из Книги Бытия вы возьмете к семинару Творение мира, Потоп — непременно, Авраама и Лота...») Все должен знать советский философ! И уж тем более марксизм.

Что поделаешь, моя жизнь всегда оказывалась какой-то двойной. И даже тройной, и даже... — и это уже бывало невыносимо. Впрочем, и тут спасали всеядность и энергичность юности.

В ноябре 62-го я приехал, как обычно, на занятия после работы, в центр города, в старое здание Университета. И зашел на минутку в книжный магазин в самом начале улицы Горького (ныне снова Тверской, и там теперь гостиница). Ничего интересного обычно не находилось; да и продавец на вопрос: «Есть что-нибудь?» — обычно отвечал из-за прилавка, заваленного книгами: «Нет, ничего нет».

Но в тот вечер я замер, пораженный: под стеклом витрины лежала книга с открытой обложкой; на титульном листе крупными буквами было напечатано:

## НОВЫЙ ЗАВЕТ Господа Нашего Иисуса Христа

Вот это да! Просто лежит и ничего не боится!

И еще ощущение, что — ждет. Книга ждет кого-то! Разве так бывает?

Мне почудилось странное предложение, оно словно донеслось издалека, как дуновение, — приобрести эту книгу. Как будто она ожидала именно меня!

Вероятно, меня остановила цена: 17 рублей. Этих денег у меня не было, и если вспомнить, что моя зарплата ученика составляла 50 р. в месяц, и ее выплачивали в два приема...

Но, постаравшись и уперевшись, можно было попытаться собрать такую сумму. Продать другие книги, занять, а тем временем оставить паспорт в залог и задержать книгу.

На занятиях я размышлял о возможной покупке, и на следующий день поспешил в магазин, чтобы еще раз посмотреть на книгу — и начать действовать!

Но ее уже не было.

Может быть, она и полежала на прилавке по оплошности продавца, и считанные минуты.

Невидимая рука протянула мне Новый Завет, но я пожатничал и замешкался, и она передала книгу другому.

А такая покупка означала бы, несомненно, поворот моей жизни.

Одно дело — получить, другое дело — найти. Купить, не смотря на затруднения, усилием воли расставаясь с деньгами, — это жест большой мистической силы.

Ах, как сплеховал! До сих пор чувствую досаду, почти презрение к себе, не сумевшему сообразить, что мне было предложено сокровище. Буквально та самая «большая жемчужина».

Однако небо не утомилось от моего малодушия. Спустя месяц я познакомился с двумя туристами из Дюссельдорфа. Одного из них звали Альберт, по фамилии, кажется, Кванц. Было так интересно говорить с живым иностранцем, впервые пользоваться английским языком!

— Это фантастика! — восклицал Альберт, и я впервые взглянул на Красную площадь чужими глазами, восхищенными и восхитился сам: медленно падали огромные хлопья снега, в черном бархате зимнего ночного неба горели красные звезды на башнях Кремля, и купола Покровского собора виднелись разноцветной массивной гроздью. Странная чуть-чуть выпуклая поверхность площади, и мавзолей с неподвижными часовыми...

— It's incredible!

Прощаясь, Альберт подарил мне маленькую книжечку. Она легко скользнула в мой карман.

И уже дома, в безопасности открыл ее и прочитал:

THE NEW TESTAMENT  
Of our Lord and Saviour  
JESUS CHRIST

То, чего я взять не сумел, пришло теперь само прямо в руки. Книжечка с синим срезом, с нарочито закругленными — чтобы не трепались — уголками обложки. Она поселилась у меня на письменном столе, иногда открываемая, даже читаемая, наконец, перечитываемая в избранных местах. Словно мечта, пришедшая издалека, с берега Средиземного моря, через Грецию, сменив одежду греческого языка на английскую. Спустя столько лет она достигла и московского студента эпохи «зрелого социализма». Мне пришлось с ней расстаться так же неожидан-

но, в 75-м: знакомый Саша С., уезжавший в Америку, вдруг попросил ее ему подарить. И я подарил: в тот миг сердце не владело ничем. А потом печалился о книжечке. Ее к тому времени сопровождала маленькая иконка Николы Можайского: он с мечом в правой руке, и с церковкой — в левой.

Книга — как персонаж. Молчаливый. Иногда, впрочем, говорит, но редко, и не умеет настаивать на своем.

Она вернулась ко мне: между Дюссельдорфом и Кёльном. Словно восстанавливалась нить, тянувшаяся из прошлого. Путеводная нить, опущенная в лабиринт.

Конечно, когда-то я читал ее очень по-юношески: примеривая к себе роли. Уж не «Петр» ли я («если и все отрекутся, я никогда не отрекусь»)? Уж не Иоанн ли («которого любил Иисус»)? И — бестрепетно и бесстрашно, по молодости лет, — уж не сам ли Иисус?.. с Его печалью (так мне читалось): «Один из вас предаст Меня...»

Эта тема Последней Ночи с учениками, еще за столом, уже в Гефсимани, уже Иуда ушел — и идет обратно с солдатами, — как дорог мне был почему-то каждый миг этого вечера-дня: жадно пил я эту бесконечную грусть Иисуса предаваемого. Вот, очевидно, была моя роль в этой истории. Во всяком случае, ее я присваивал себе. И потом уже оставалось только подождать, в увлечении диссидентством и подпольем, пока не состоится предательство. Почти нетерпеливо, чуть ли не назначая на роль Иуды кого-нибудь «подозрительного». В подполье это обычная вещь.

Что-нибудь мешало Иуде оказаться женщиной? Это ведь собирательный образ-тип, спусковой крючок трагедии. Вернее, мистерии: человеческие мерки здесь уже пройдены, нет ни вздохов, ни сожалений, ни отдельного человека. Дело идет о человечестве вообще: как если бы иудейская история Иисуса превращается во всемирную эпоху Христа.

Впрочем, только ныне приходят слова для выражения тогдашних и тамошних чувств. Тогда что-то мешало. Наверное, нежелание прямоты, культ уклончивости в искусстве (и в жиз-

ни), игра в умолчания и намеки. 60-е годы прошли в странных упражнениях на темноту и косноязычие: это считалось модернизмом. И отчасти оправдывалось пристальным вниманием властей к самовыражению граждан.

От этой болезни мы не знали лекарства: повторяемости и простоты священных текстов, церковных богослужений, псалмов, молитв. Заученного катехизиса, наконец!

Мы и не знали, что мы больны.

\*

Шпага висит в пространстве рукоятью вниз.

Уже почти привычно я взял ее и взмахнул, чтобы рассечь черный занавес, и... нет, он не разлетелся в обе стороны, как прежде! Он медленно разошелся.

В голубоватом пространстве начала проступать темная масса, словно живая куча. И выбросила щупальца в мою сторону. Мои выпады, по-видимому, только раздражали чудовище.

Оно разбухало, росло. Оно приближалось. Уже я почувствовал страх, когда черная лапа-клешня едва не схватила мою руку, державшую клинок. Я ударил — и обрубил, но в тот же миг новое щупальце протянулось ко мне, угрожая.

И тут я обнаружил еще одно существо!

Слева от меня!

В голубоватом пространстве слева от меня появился Ягненок! Беленький, на тонких ножках, живой. Он перебирал копытцами. Но не двигался с места. А между тем его появление действие произвело! Паукообразный монстр съежился, сморщился, отодвинулся от меня.

Чистейшие завитки бело-золотистого руна, чуть выпуклые глаза. Я видел его в профиль, слева от линии взгляда.

Сияющее голубизной пространство.

Черный живой ком справа уменьшался, отодвигался вдаль.

Зачарованный, я смотрел, закрыв глаза.

Пока пространство не начало гаснуть, и все стало темно. Как обычно при закрытых глазах.

Что значит это видение?

Очевидно, это символы.

Обычно символы находятся в книгах, в религиях, они как видимые знаки невидимых частей.

А эти — живые.

Они пришли сами и откуда-то, сделались видимы моему второму необычному зрению. И само зрение не в моей власти. Хотя кое-что я делаю сам. Усилим воли, — ударяю клинком, например. Воспрепятствовать видению или продлить его — мне не дано.

Чудовище обозначает что-то злое. Страшное. Желаящее почему-то схватить меня (и что будет?) А ягненок совсем понятен, вернее, сразу вспоминается Агнец — Христос Апокалипсиса. Нужно ли думать, что все так и есть? Что Христос — в мире? Что это-то и есть — если не само Его пришествие, то знак и эмблема происходящего, тем не менее, события?

Я был сильно взволнован: Христос в мире! И это, кажется, никому не известно. Во всяком случае, никто нигде ничего не говорит.

Жаркое лето и взрывы бомб.

Надо, быть может, дать знать другим: людям, духовенству. Римскому Папе!

Однако эти мысли не выглядели убедительными. Даже напротив, я чувствовал, что подобное сообщение не может быть лапидарным, в двух словах: это ведь не политическая новость и не житейский афоризм. А у кого есть время, чтобы выслушать обстоятельное сообщение? Которое вместит событие?.. Кроме того, событие длится, и что будет дальше — я не знаю.

Одиночество несообщаемого знания. Которого нельзя ни передать, ни объяснить. Оно не мучает и не страшит. Оно радует и питает. Оно, впрочем, отделяет от остальных людей, и прерадикально.

И зачем это? Не в смысле — «мне этого не надо», а — что же мне делать? Или не делать — ничего?

Запись на обороте конверта: «Агнец и паук — в ней». Это о К. В тот момент — главные черты ее личности: как если бы я

видел «душу» К., ее «пространство души» и события в нем: нападение злого на жертвенное.

Или все-таки речь шла об общих понятиях-символах бытия мира? О его реальностях: Агнец и Паук. Точнее, Агнец против Паука. Не то, чтобы Паука уничтожить, а — указать тому его место, запретить в известных Агнцу границах.

А в конверте — очень важное письмо, пришедшее от К. в те дни.

Однажды я спросил К., подарив ей открытку с иконой Троицы, что она думает. Точнее, что она подумает, рассматривая ее. Этот эпизод имел место давно, и я о нем позабыл. Речь шла о знаменитой иконе Андрея Рублева, XV века. Она очень распространена в Европе, ее можно встретить в самой глухой французской деревне.

«Ты спросил меня, что я думаю об иконе с тремя ангелами за столом, — писала К. — Так вот, слева в верхнем углу есть домик. И я тоже принадлежу к этому дому».

Сильное волнение мной овладело. Если б еще знать, говорит ли К. просто так, по наитию, или что-нибудь об иконе прочитала.

Как почти все, связанное с христианством, и она пришла в Россию из Греции. Это *Филоксения*, или Гостеприимство: тот многозначительный эпизод, когда Авраама посещают Ангелы, идущие разрушать Содом и спасти Лота; заодно они предсказывают рождение Исаака. На греческой иконе дом и вечный дуб в Хевроне занимают порядочно места. Там есть и Сара и Авраам. А на русской иконе остались только три ангела огромной величины, и чаша стоит на столе перед ними. Дом Авраама переместился в угол и сделался маленьким, хозяева дома исчезли. Теперь икона изображает Троичность.

Однако дом гостеприимства уцелел. И К. принадлежала к нему. Итак, если она прочитала описание иконы и знает, о чем говорит, то она... называет предков сознательно! А если интуитивно, то... через нее мне отвечает Кто-то.

Ах, как интересно: тогда, стало быть, та фотография ее молодого отца в 45-м, в Берлине... тогда, значит... поразительно! И отцом он еще не был. На рукаве его была повязка со свастикой. И его таким увезли для проверки расовой чистоты, и он

ее благополучно прошел. А теперь дочь ее зачеркнула, не зная, не споря.

Письмо К. опоздало: мы разлучились. Бывает ли, что Провидение тоже опаздывает?..

На парижских улицах висят афиши советского кинофильма о Рублеве. На них — эта икона, Троицы. Опять совпадение, и это еще ничего. Но нижний край иконы охвачен пламенем, обугливается, и черное уже подползает к ногам Ангелов.

\*

В лазурном пространстве висит серебрящийся Меч. И снова я взмахнул им, ударил, и занавес... Нет, уже другое: плотная преграда, почти стена... Мое сердце вдруг сжалось от предчувствия и печали: удар разрезал стену посередине, пробил, и края ее медленно отогнулись.

Раздувшееся чудовище простиралось до горизонта.

Бестрепетно стоял Ягненок, сияя.

Черные щупальца простерлись к нему, и я, испугавшись, рубил их, и колол в черную массу.

Безрезультатно.

Но сам Ягненок пошевелился.

Он перебирал ножками.

Он стукнул копытцами.

Чудовищный спрут сморщился и сжался.

И отодвинулся вдале, к горизонту, превратился в черный шевелящийся бугорок.

По-видимому, не я защищал Ягненка, а он — меня.

Я смотрел на Ягненка.

На Агнца, сиявшего, чистейшего. Сама хрупкость, сама нежность.

Неописуемый отдых души наступил в этот миг.

Полный мир.

Гармония всех и всего: тишина Вселенной.

Нигде не было ни зла, ни вражды, ни страдания.

Если б меня больше не возвращали...

Если б можно остаться навсегда там, у подножия Агнца, легко постукивающего копытцами.



## IV ОГОНЬ

Теперь иногда я думаю: как же я не сумел воспользоваться таким даром лицезрения? Надо было бы...

Я вспоминаю — и понимаю — что от меня не зависело ничего. Ни предупредить, ни сохранить, ни продлить. Ничего.

Можно было только смотреть на происходившее впервые, неожиданно, понемногу. Казалось, что только так отныне и будет.

Нет, нет, какие-то знаки перемен обозначались.

Правда, я пытался организовать рутину своей парижской повседневности: снял комнатку на улице Аббата Гру, начались новые встречи, дружбы.

Множества дружб мне хотелось.

И своего рода семейственности тоже: пристроиться у какого-нибудь сложившегося очага, приносить какую-либо пользу. Усыновиться, так сказать, невзирая на возраст. Впрочем, кажется, такого усыновления — как тени миновавшего отрочества — люди могут искать до старости. Комбинации человеческих отношений неисчислимы.

Хотя вряд ли мы делаем это сознательно. Столько есть благовидных предлогов и прикрытий: вместе работать над книгой, бороться за или против чего-нибудь, и так далее.

Таким я стал бывать на улице Башни, в квартире Жана-Франсуа и Анны. Мне приятно было оставаться у них ночевать. Словно приближение «чего-то» меня страшило, и присутствие людей за стенкой, совсем рядом, было лекарством от тревоги.

Я засыпал на циновке в салоне, в каминной. Тут были разные редкие в наше время предметы; на стене висели антикварные папиры и шпага, словно материализация моих упражнений.

И разве не интересно просто пожить в чужой квартире? Она расскажет об интимнейшем человека: он, она, они выбрали эти стулья, книги, салфетки, подушки, и сочетание их отразило тайное «нравится, сам не знаю почему».

К чужой квартире не привыкаешь, зная, что ее придется покинуть. И сделаешь это легко и с удовольствием.

Шпага, висящая на стене.

Антикварное затупленное оружие.

Хотя бы такое.

Потому что мой клинок ведет себя странно: он видим, он блистает в пространстве, если закрыть глаза: вечером, в одиночестве.

Но взять его я не могу: он не дается! Хуже того: повернувшись ко мне острием, он меня колет! И делается все опаснее. Словно невидимая рука его держит и воюет со мной! Это так печалит. И умиряет.

Не настанет ли время компромисса, думал я, время бедной расчетливости? Семейная жизнь не сложилась. Несомненно, и К. отплывает на своем корабле. Быть может, есть где-нибудь женщина, присмирившая в обстоятельствах жизни, и мы подошли бы друг другу: как средство от одиночества, как взаимная помощь, как товарищи по бедствию жизни? Вот, например, думал я, набирая номер телефона... (чрзб).

Появлялись знакомые хозяев квартиры, и составлялись маленькие вечерние кружки разговоров. Что-то московское 60-х годов, прошедших в беседах. Забегала соседка Лора, жившая этажом ниже. А в окно кухни показывали окно в противоположной стене, покрытой грильезом: там жила знаменитая актриса. В своей молодости немного похожая на К. Вероятно, лицо, увиденное в кинофильме, приготовило К. дорожку к моему вниманию. А затем и к сердцу?

Так часто бывает: одна женщина привлекает внимание, а другая, похожая чем-то на первую, начинает нравиться. И в дружбе может быть так же.

Так воздействует Женственность на противоположный пол: так действует Ева, — образ, несомненно, собирательный, эпоним (как думал св. Григорий Нисский в IV веке, и многие). «Жизнь» в переводе, то есть продолжение рода, — и одно из древнейших имен самого Бога.

Если подумать, что мы не помним виденных в младенчестве и детстве лиц (но их помнит душа), то... вот готовая тема и отрасль психотерапии! Кстати, профессия Жана-Франсуа.

Пужинать вместе, поговорить о том и о сем, или даже отправиться в ресторан, какой-нибудь с пением, где ужин — почти спектакль; не совсем свежие креветки и подозрительно острые соусы принимаются как его часть: какой-то роман XIX века, вероятно, русский, гитара, купцы, художники в сапогах.

Вот так и будет идти жизнь: куда-то, постепенно и в благополучии, при растущем капитале известности.

Ночью раздался телефонный звонок. Он разбудил и меня. Послышался сонный ответ, затем восклицание, плач, разговор супругов между собой, хождение по квартире. Событие оказалось значительным. Опасный приступ болезни отца Ж.-Ф. Супруги немедленно выезжали к нему в провинцию.

Опять я оставался один. И это несмотря на множество дел и встреч, и знакомств, от которых не осталось следа ни в памяти, ни в дневнике. Ах, нет: вот вид на Сену с мостом метро и станцией «Пасси». Вид, открывавшийся весь и сразу, если спуститься по улице Башни.

В тот день не давалось ни чтение, ни писание. День странного беспокойства. Снова я размышлял об организации жизни вдвоем с какой-нибудь знакомой, товарищем по бедствиям жизни. Нас разве мало — ушибленных, раненых, — научившихся — после того — видеть раны других и относиться к ним

осторожно? Вот, например, подумал я, вдруг вспомнив и набирая номер телефона... Но не успел набрать его до конца.

Я снова «видел». Но я не видел ничего, кроме темноты. Поразительно, что темноту можно видеть! Может быть, *эту* темноту.

И я услышал далекий голос.

Такого еще никогда не было.

Голос, полный обжигающей ледяной ненависти.

Он обдал меня ужасом.

Он сжал меня в комочек своими свойствами, — прежде, чем смысл сказанного дошел до меня.

я убью тебя

Приговор и постановление.

Начало экзекуции.

Я попытался разорвать связавший меня страх какой-нибудь надеждой. Например, что это всего лишь угроза. Нужно что-то изменить и исправить — и тем самым и избежать. Остановиться на дороге и просто ждать: похоже, что дорога ведет к смерти. И неясно, какой.

Мысль о галлюцинации, о болезни выглядела вялой и небедительной.

Немедленно я написал и отменил встречу, показавшуюся теперь сомнительной. Позвонил — и сделал то же самое.

Смертельная опасность таилась — но где, но почему? Есть ли защита от нее? От начинающейся последовательности событий, таких, каких не переживал, вероятно, никто. То есть, начинал переживать, но пережить не смог.

Вот где мягче и легче: я почувствовал помощь, взяв в руки маленькую книжечку, подаренную в дюссельдорфском поезде. Прочие мысли казались проливаемой на песок водой.

Вот что еще сделать: я напишу сейчас Жаку Д. обстоятельное письмо о происходящем (телефон не отвечает). Это известный прием, в сущности, эпистолярный жанр тому и служит: я изнесу наружу мое внутреннее, объективирую его, как гово-

рится. Будет легче его рассматривать, угадать, разгадать. Найти причину тревоги — следовательно, саму опасность.

И начал писать.

На четвертой странице страх стал необорим. Начались странные боли в сердце, и вдруг я почувствовал, что умру, если продолжу, если закончу хотя бы слово: *et j'ai geco...* (и я узн...)

Звонок раздался вечером. В дверь. На пороге стояла плачущая соседка Лора. Наконец, я понял — рыдания мешали ей объясниться — что она просит пойти с ней. Мы спустились этажом ниже. Дверь квартиры была приоткрыта, и Лора предложила мне войти первому. Я вошел.

И остолбенел.

Открывшуюся картину можно выразить в двух словах: абсолютный хаос. Но, может быть, вы такого не видели никогда?

Все предметы были не на своих местах. Дверцы мебели, ящики, ящички шкафов, комодов и столов были выдвинуты и открыты, вытащены совсем, перевернуты, одежда, посуда, одеяла, подушки, коврики были перемешаны и лежали где попало, картины сорваны со стен, бумаги, письма, фотографии, вилки, ложки — рассыпаны повсюду.

В квартире не было уцелевшего уголка.

Сзади меня плакала Лора.

«Спокойно, — сказал я себе, — спокойно. Этот немножко странный визит не должен вызвать паники».

Квартиру, надо думать, грабили, только и всего. Впрочем, ценности и даже деньги валялись на полу. Лора просила позвонить в полицию: ей было трудно говорить. Я позвонил. Меня выслушали. Поколебавшись, мне сказали, что приехать не могут! И посоветовали звонить в агентство, застраховавшее квартиру!

Тем временем Лора убеждалась, что предметов в квартире не убавилось. Наоборот, прибавилось две новых! Во-первых, коробка с чаем из фирменной лавки, что на улице Благовещенья, недалеко отсюда. Второй предмет — какой-то согнутый кусок металла. Я его разогнул: это было небольшое распятие,

из тех, что кладут на кладбищенские плиты, около тридцати сантиметров длиной.

Фигурка Христа была сорвана, блестили свежие разломы пайки. Крест согнули пополам и раздавили: его топтали, может быть, ногами, чтобы так сплющить. И затем он был принесен кем-то в квартиру.

Странное событие. Похоже на послание, адресованное, может быть, мне, — хотя было бы точнее доставить его этажом выше.

Моя тревога росла. словно невидимый мир начинал вторгаться в мою повседневность, и способами мало симпатичными. Дикий разгром квартиры был, очевидно, предупреждением.

Нельзя ли получить консультацию у духовного лица, так сказать, у специалиста? Может быть, у священника доминиканца Франсуа Дельтомба? С этим добрейшим и спокойным человеком я познакомился в Вене. (Deltombe умрет в 86 или 87-м: письмо, посланное ему из Иерусалима, вернется с пометкой *décédé*).

Но в августе 82-го он просто отсутствовал. Отсутствовал и знакомый православный священник. И знакомый, писавший по религиозным вопросам, тоже уехал на взморье. Оставались не казавшиеся компетентными художники и журналисты.

Всхлипывающая Лора.

Наступающая ночь.

Я вернулся с тревогой в сердце, почти с ужасом.

У меня был крест, доставленный кем-то в квартиру Лоры, и маленькая книжечка, подаренная в поезде.

Конечно, новизна обстоятельств обнадеживала: страшное и неизбежное нечто в первый раз переносится легче именно благодаря неизвестности. Я лежал в салоне на полу, на спине, словно покойник, положив крест и Евангелие на грудь. Впервые я просил защиты от темных сил. Они, по-видимому, существовали в каком-то виде и отдельно от меня. Обычно мы просим защиты самим страхом, всем своим существом. Теперь я это делал сознательно словами.

Меня вдруг ужаснули вспомнившиеся высказывания о религии, о Боге, о вере других людей, — я их когда-то произносил

и произнес, самоуверенно или со смехом, или слушал других, говоривших не менее дерзкое, — ничего еще не зная и не понимая. Сколько мне лет тогда было? 16, 20, 25, 27... Теперь-то я начинал понимать, в эту августовскую парижскую ночь 82-го, что юношеская игра словами переходила незаметно во что-то другое.

Ныне шла речь о моей жизни.

О, дело не в свободе выбора, — да кто же выбирает между ужасом — и избавлением от него? О каком выборе спасающегося может идти речь? Тут уже не до школьного богословия. Тут остается только (*нрзб.*)

Проступила светлая полоска на небе. Можно вздохнуть. Спадает напряжение взглядывания в себя. И уходит начинавшееся «что-то», чего нельзя ни назвать, ни описать.

Рассвет.

13 августа 82-го, пятница.

После долгой прогулки-ходьбы я вышел к церкви Нотр-Дам Благодати. Шла зауспокойная месса; на двери было приковано объявление: Клер Ру, 99 лет. Священник, гроб, четверка служителей похоронного бюро.

Выходя, я натолкнулся на Н. Давний знакомый, не очень, может быть, близкий. Оказывается, он неподалеку живет. Возвращается к себе с покупками. Если у меня есть время зайти, поболтать... Он будет рад.

Квартира Н. состояла из одной очень большой комнаты, почти залы, казавшейся пустынной привыкшему к тесноте. Глубокая и высокая ниша в стене была занята постелью под балдахин, словно альков в каком-нибудь замке. На стене висела коллекция икон, и значительная; вероятно, около пятнадцати икон довольно большого размера. А на противоположной стене располагалась другая коллекция — оружия, причем, современного: винтовки, карабины, автоматы, пистолеты и револьверы, и даже ручной пулемет, не говоря уже о гранатах и пехотных минах.

Коллекции ошутимо разного цвета: золотистые, яркие алые и синие и зеленые краски, и серовато-зеленое пятно тяжелой оружейной массы.

Заметив мое изумление — а оно было недалеко от ошеломленности, — Н. не скрыл своего удовлетворения. Да, да, это, — говорил он, показывая на иконы, — для молитвы. Ну, а это, — показывая на оружие, — для защиты от сил зла.

Все более воодушевляясь, он переводил взгляд с пулемета на меня и обратно, и уже собирался показать мне «кое-что особенное» и, наверное, показал бы, если бы я не взглянул, спасаясь, на часы и не спохватился, что совсем забыл о неотложном свидании! И почти выбежал на улицу.

Н. прокричал мне вдогонку, что он поет в церковном хоре.

Темное обрюзгшее лицо: не лицо, а гнездо страха.

«Поляризованная душа», противостояние двух частей, — что может быть тяжелее? Такую материализацию страха и надежды не часто и встретишь.

Ночь.

Странное растущее чувство: времени все меньше. И я должен успеть. Успеть — но что?.. Ничего нет в этой неясности, никакого намерения, самого вялого предположения!..

О, Боже!..

Мысль вдруг родилась и мгновенно стала моей, отвердела, словно кристалл: я должен успеть креститься! И успеть — раньше смерти. Моей. Совсем конкретной, реальной.

Словно умереть некрещеным — что-то непоправимое! Крестной матерью будет Надежда Щ., крестным отцом — Никита К. Не вызывающая никаких сомнений определенность, — еще до того, как я их разыскал и спросил о согласии. Ясная определенность, данная в готовом виде, как немедленный ответ на вопрос: а кто будут крестные?..

Надежда и Никита.

Может быть, обо мне молились мои дети? Обо мне просили, желали меня видеть? Они уже крещены: Максим — 6-летним, в 1979-м (о. Александром Менем, которого убьют под Москвой). Мария — через час после рождения 7-месячной, из опасения,



что не выживет: 18 мая 76-го, в Мэзон-Альфор под Парижем; крестил о. Поль Пуарье.

Среди бумаг 81-го есть листики, озаглавленные (теперь)

### *Фантазия*

Предгорья Альп, зима, начинающийся снегопад. Я еду в машине. Снег падает хлопьями, он все гуще, снегоочистители уже не справляются: все уже треугольники на ветровом стекле. Радиоприемник передает музыку, какой-то концерт с дирижером, может быть, Моцарта, «Волшебную флейту». Колеса едва достают до шоссе. Снег все глубже. Наконец, машина встает. Тепло, музыка, неподвижность.

Рука в рукавице сметает снег с ветрового стекла. Это моя мать старица Вера: седовласая, в нелепой и трогательной — о, старательная бедность — одежде. Ей помогают: сын Максим и дочь Маша, Мария. Она родилась инвалидом, а теперь, оказывается, ходит! И руки ее расправились, стали ловкими.

Как, вы тоже умерли? — говорю я им.

Нет, говорит Маша-Мария, ты еще не умер, ты еще мой папа.

Мы хотим умыть твое лицо горячим виноградным соком, говорит Максим.

Красное горячее течет по моему лицу и телу.

Моя плоть отваливается кусками.

Я медленно падаю вниз, словно в колодец, лицом вверх. Надо мной, в круге синего неба, лица старицы Веры, Максима, Маши...

Насколько уместна фантазия — и столь многозначительная — на этих страничках, которые хотят быть протоколом событий, резюме года жизни? Впрочем, с ней связано нечто фантастическое: этот загадочный образ, почти сновидение, полный нежности и заботы, — помогал мне реально, рассеивая, например, уныние минуты, печаль несбывшейся надежды.

В этом ведь польза поэзии: дать отдохнуть душе, отвлечь ее от затруднительных обстоятельств, пока не пройдет немного времени — и они станут другими. (Впрочем, в этом ее вред и опасность: как же нашей душе приобрести мужества и терпения, если всегда убежать?)

\*

Нужно креститься безотлагательно! Проще всего мне пойти в русскую церковь: я бесподанный апатрид, и церковь — из эмигрантов. Нужно спешить. Что-то начинается со мной и во мне. Меч, так меня утешавший, мой друг, ведет себя странно: я закрываю глаза, и вот он предо мною. Я хочу его взять, но он поворачивается ко мне острием и делает выпад, словно его держит невидимая рука.

И метит мне в сердце.

Что-то начинается во мне...

Новое неизведанное страдание.

Оно посещает мое тело все чаще, все дольше задерживаясь, с каждым разом все сильнее.

Его можно сравнить — приблизительно — с жжением, с горением.

С огнем, зажигаемым в моем теле.

Нет точного места: страдание — мука — повсюду.

Наступает день, когда она больше не уходит.

Я погружен в эту боль: огонь горит во мне повсеместно!

Монотонный, без приступов, без всплесков.

Невыносимый.

Без всяких проявлений вовне.

И как может кто-нибудь — если не помочь, то хотя бы обсудить, почувствовать, — если я не могу объяснить? Если большого места я не могу показать?

Я и не пытаюсь: ясно, что люди ничего не могут.

Ужасы обрушились на меня одного.

И страхов нет, вернее, нет больше разнообразия страхов жизни: единственный страх поглотил все прочие, вплоть до страха физической смерти, — Страх умереть некрещеным.

Потому что после смерти следует продолжение.

Вот туда-то и нужно прийти подготовленным.

Потому что... какая странная мысль! Ну, на каком основании — с какой стати она кажется мне очевидной?.. — Потому что мучительный страшный огонь — *оттуда*.

Надежда согласна быть моей крестной матерью. Завтра мы поедem в русский храм на rue Daqu. Я могу переночевать у них на квартире. Кажется, легче переносить нестерпимый неизменный огонь, лежа на полу. В том-то и дело, что кажется! Нет, лучше сидеть! Нет, стоять! На балконе!

Хоть что-нибудь — врача, таблетку, напитка, совета!

Надежда читает Псалтырь. Как над умирающим. Может быть, я умираю? Это ведь тоже обязательно ново, ни на что не похоже, впервые, без репетиций!

Наступает ночь на 15 августа. Воскресенье. Я лежу на полу: так, кажется, все-таки легче. Монотонный огонь во всем теле, в каждой клеточке. В ногах, животе, спине, пальцах. Странный огонь: без температуры. Если б немного заснуть, отдохнуть от изнеможения, ну, чуть-чуть. От этого нескончаемого ужаса.

Я ведь не знаю, что Ужас еще впереди. Кажется, я засыпаю. Нет, это не то слово. Я вижу сон — нет, кошмар, — нет, это тоже неточно, — разве я не видел прежде снов и кошмаров? Точнее всего — и туманнее — было бы сказать: я проваливаюсь в иную действительность, вывалившись из этой:

---

я бегу по городской улице  
по улице южного города вдоль невысоких белых домов без  
окон, с плоскими крышами  
под ногами мягкая пыль песок  
за мною бегут люди их около десятка  
люди в темной одежде

мы ищем выход из города  
я знаю где он и поэтому люди бегут за мною  
дома и улицы освещены дрожащим светом он то ярче то слабее  
этот свет не солнца  
по всему небу над городом непрерывно  
вспыхивают гигантские ветви молний  
их неровный свет покрывает все  
небо стоит над городом черное с лиловым отливом  
край его делается багровым  
в несказанном ужасе мы бежим по переулку  
сворачиваем в другой  
мы бежим молча  
мы должны успеть добежать до пролома в стене  
я знаю дорогу  
бегущие за мной надеются спастись  
молнии разрывают небо на куски

---

Я пришел в себя здесь, лежа на полу, на спине.

Вернулся сюда.

Ужас стоит в моем сердце.

От виденного.

От мысли, что, вероятно, рядом течет-бытует иная действительность. Параллельная «нашей». Может статься, их несколько. Много. Они разделены тончайшей границей, невидимой пленкой, неосязаемой.

Побывал ли я в прошлом?

То, что я видел, похоже на гибнущий Содом или Гоморру.

Тогда — во время какой-то страшной катастрофы — не спаслось ли еще несколько человек? Кроме Лота, племянника Авраама?

Может быть, один из них — мой предок? Не приходится сказать — «был»: точнее, вероятно, сказать «есть».

Может быть, мой предок — сам Лот?

Событие дошло до меня по цепочке предков, обнаружилось и узналось?..

Огонь.

Невыносимый огонь во всем теле, круглые сутки.

Да это — огонь ада! Это и есть огонь ада, — настоящего, не в переносном смысле!

У кого бы узнать поточнее? Спросить совета, прочесть где-нибудь!

— С вами рядом находиться очень трудно, — говорит Надежда. — От вас исходит страшное напряжение и охватывает всех вблизи. Это почти невыносимо.

Совершенно невыносимо! И если я переношу, то неизвестно, почему.

Очень мало времени!

Действительно ли его мало — или просто кажется?

Церковная служба почти кончилась.

Много людей. Свечей.

Из центральной двери иконостаса выходит священник невысокого роста, преклонного возраста. Седая борода, спокойное лицо. Он сказал, что намеревался проповедовать на тему прочитанного Евангелия. Но вот ему пришло вдохновение говорить о другом. О падшем ангеле.

Эти слова меня испугали: словно острие коснулось моего внимания. Проповеди я не запомнил и не записал. Остались только заключительные слова: «Может ли падший ангел получить прощение? Да, если будет молиться. Если обретет смирение».

Я встал в очередь: поцеловать крест, который держал священник.

Невзирая на ужас.

Спасаясь от него.

И затем я ждал священника во дворе, чтобы поговорить. О крещении и обо всем. Кажется, именно у него я должен креститься: он знает вдохновение! И следует ему! А тема пропо-

веди! Ясно, что я упал, и прямо в ад! Знак, данный через этого человека... (нрзб.)

Но он все не шел. Я уже знал, что его зовут Всеволод Дунаев. У меня уже был его телефон. А потом мне сказали, что он давно ушел. Что, не возвращаясь домой, он сразу уехал в паломничество, в Иерусалим.

Нить оборвалась.

Есть ли другие спасительные зацепки?

Память выносила на поверхность осколки когда-то читанного. Ансельм Кентерберийский. Бернар из Клерво. Были еще бенедиктинцы! Орден хранителей знания. Где-нибудь они еще есть в Европе, живые бенедиктинцы?

Надо действовать! Я шел торопливо в магазин религиозной литературы рядом с площадью Сен-Сюльписа. Я ведь ничего не знаю. Значит, нужно пробовать наугад: рано или поздно попадутся нужные цитаты, отсылки, имена.

В магазине нашлась карта монастырей Франции: вот их, оказывается, сколько! Какой же кружочек или треугольничек обозначает спасительный ответ? Наудачу я ткнул пальцем и попал в Saint-Wandrille.

Уже кое-что: монастырь очень старый, и имя его звучит чуть-чуть по-немецки, — слышится Wanderer: странник, бродяга.

Он за Руаном, недалеко от дороги на Гавр, идущей по берегу Сены.

Скорее, я погибаю! — говорил я поезду на Северном вокзале. — Я умираю!

Он тронулся.

Уже облегчение: я уезжал.

И уходил: от станции Ивто нужно было идти дальше пешком. 18 километров.

Их я почти пробежал, и не почувствовал усталости. Поздно вечером я стоял перед дверью монастыря, конечно, уже запертой.

Там-то все и разъяснится!

Там все всё знают.

Я позвонил. Второй раз. Послышались шаги по гравию, голос:

— Qui est-ce?

— Ouvrez-moi, s'il vous plait, je suis en détresse spirituelle!

(Пожалуйста, откройте, я в духовной катастрофе).

После короткого молчания дверь отворилась.

Монах в черном, среднего роста, с приветливым лицом, почти улыбаясь, стоял на пороге.

Он пригласил войти. Почти ни о чем не спросив, он повел меня на ночлег, сожалея, что кухня уже убрана и закрыта; впрочем, он сможет предложить мне бисквиты. Монаха звали Жан-Поль. Он пожелал мне спокойной ночи.

Из окна монастырской гостиницы был виден обширный двор, корпус келий и стена, спускавшаяся к ручью; затем, поднимаясь по склону, она терялась среди деревьев. Горизонт был закрыт лесистым гребнем.

Вблизи гостиницы скромный фонтан выбрасывал струйку воды, ее негромкое журчание усиливало ощущение безмятежности. И впечатление того, что здесь уже во всем разобрались, окончательно решили и успокоились.

Монастырская дверь отсекала ужас горящих Содома и Гоморры.

Но огонь и мученье... и эта невыносимость...

Тем не менее, отдых я чувствовал: в прикосновении к размеренной жизни людей, знающих путь и совершающих его в неизменности круга богослужения: день, неделя, год. День, неделя, год. День как год, год как день. Они уже все нашли.

Оказалось, Жан-Поль — священник. Иеромонах. Мои рассказы, вероятно, его озадачили. Впрочем, я был озадачен своей жизнью не меньше: ни одной последовательности событий я выделить не мог. Хотя и старался: я еще думал тогда, что в жизни существует «причинно-следственная связь»!

Перемешивались события и мысли по их поводу. Впрочем, и это — обычное человеческое состояние.

Совсем по-юношески я искал однозначного ответа: как быть, что делать, кто виноват, да или нет. До сих пор ответ всегда находился в моей голове, а теперь... а теперь я ждал его. Но ведь какие могут быть ответы и советы во время катастрофы? Если что и помогает тогда, так это автоматизм, выработанный на тренировках.

Ответа нет. Но есть *зона ответа*: в нее нужно войти и подождать. Ответ сложится в душе сам, и не всегда он выразится в словах. Иногда он останется никак не сформулированным, хотя действительности не потеряет.

Монастырская церковь помещалась в старой риге, от готического храма остались руины. В полутьме рассвета начиналась каждый день совсем новая для меня жизнь. На мессу приходили и местные жители, несколько человек. Для причащения они присоединялись к братии: проход в хоры на это время открывался. Облатка и глоток из чаши. Облатка и глоток. Простота жеста. И его особенность: вместе со всеми, с другими, — вместе есть. Что это значит? Как это попробовать?

Внутри меня раздалось восклицание: «Я тоже! я тоже хочу!»

Но этого мало. Нужно иметь право: приблизиться, взять в рот, проглотить. Права — нет, не имею. Да меня и не удерживают в монастыре. Даже напротив. Даже отправляют дальше по прошествии трех дней. И далеко: в Бретань. Может быть, что-то найдется там? В Кергонане, например, в аббатстве св. Анны.

На прощание я попросил Жана-Поля постричь меня наголо: молодежно-средневековая грива волос казалась мне все более обременительной. Да и другие причины были.

Бороду я срезал сам. Теперь в зеркале появлялся человек, в глазах которого стояли ошеломление и паника.

— Ну, до свиданья, счастливо, будьте здоровы!

За воротами меня ждал мой ужас.

Разнообразие почерка в моей записной книжке того времени: поразительное. Словно то та, то эта часть моего существа стремилась высказаться.



Попробую вытянуть ниточку моего путешествия в Бретань. Если сумею: если не утону в деталях. (Всю жизнь я барахтался в деталях: нужно, наконец, замолчать и дать им пройти.)

*20 августа 82.* Боже, я думал все эти годы, по приезде в 75-м: как формальна и пуста Европа, как нет любви. Но вот — Жан-Поль, открывший мне дверь и уложивший спать.

В пепельнице среди валиков серого пепла от сигареты лежал *белый камень*, напомнивший об Апокалипсисе. Камешек. Словно предложенный мне, но на нем ничего не написано.

Нарывы по всему телу, особенно на щиколотках.

Фрески в Chateau d'Etelan по дороге на Гавр. Сцены Страшного Суда. Слышу разговор посетителей: «Фрески стали проступать в 1976 году».

Христос одолел смерть: в том смысле, что избавил нас от неправильного восприятия ее, — как окончательного исчезновения. Его Воскресение означает Переход.

*21 августа.* Ночлег в странном доме. Хозяину 45 лет. «Никогда не болел, никогда и ничем!» Его дочь: больная и бледная. Вечером ее куда-то увезли. Поздно ночью приехал автомобиль, кто-то вошел в дом, послышались голоса. Вероятно, ее привезли.

Утром, прощаясь, хозяин сказал с неожиданной злостью: «А мы видели, вы долго не ложились!»

22.8. Ночлег в поле, на скошенной ржи.

Автостоп до Пютанжа. Меня подвез Патрик, как оказалось, племянник Жоржа Марше! Заезжали к приятелям Патрика к маленькому озерку, наполненному купальщиками.

Сегодня чуть-чуть легче. С Божьей помощью.

Тишина.

Евангелие.

Петр говорит об «огненном искушении». (1 посл. Петра 4, 12).

Мучительный огонь во мне: это не страдание тела и не страдание души. Страдает «нечто третье».

Между «телом» и «душой» обнаружилась еще одна оболочка, «прокладка», и она-то и мучается «огнем».

«Оболочка» меня, погруженная в «огонь», «пропитанная» им.

Паскаль говорит об огне. В той короткой записке, которую он носил на себе зашитой в одежду, после своей Ночи.

Он говорит просто: *Feu* (Огонь).

И никаких пояснений.

23.8. Ночь в поле. Звездное небо смотрело мне в лицо, пугающе яркие и близкие звезды. Прося пощады, заснул.

Сон: на разбитой глинистой осенней дороге, вдоль ограды-прясла, и кто-то легонько тронул меня за плечо, словно будил. Ужаснувшись от этого прикосновения, я хотел кричать, но лишь застонал и среди стонов проснулся, — с мыслью о «Записках» Андрея Болотова о Восточной Пруссии.

Церковка св. Михаила д'Анден, при дороге, где кто-то поставил 12 свечей, но не зажег (не оказалось, может быть, спичек). Добавил свою — и зажег все. Молился о мире.

И затем обнаружил, что я не один: в проходе стояли женщина и ребенок. Облегчение: вот и люди.

В полумраке белевший алтарь.

Яркий круг горящих свечей.

Оглянувшись, хотел уходить: в церкви никого не было.

Баньоль. Гостиница. Огромный паук ходит по потолку (пришел сразу из двух французских поговорок! — вечерний паук — надежда; паук на потолке — сумасшествие...), шуршит лапками о бумажные обои и не дает спать. Шуршит час, второй. Пришлось вставать, ловить, выбрасывать в окно.

24.8. Господь ведет меня крепко, в слезах и муке: проплакал до Кутурна. Там подобрал меня грузовичок и довез до Лас-си. Водитель Рене ехал и дальше, до Пелеланта, с остановкой у

дорожного кафе Chez Marie (у Марии). Владелицу действительно зовут Мария. Она приготовила мне горячий шоколад. Год тому назад, сказал Рене, у нее начало болеть сердце.

Заехали и к дочери Рене, замужней, купившей недавно дом.

Плелант, где Рене родился. Там же он показал мне церковь, где крестили год тому назад знакомого ребенка, маленького Николая.

Мы простились.

До Беньона иду пешком. Церковь св. Петра. Присутствие. Статуи, и «чересчур живые», мне не по себе. «Духовное» хочет наполнить «каменное».

Кафе и ужин. За соседним столиком — двое мужчин, приехавшие в черном автомобиле. Их странный разговор о чем-то им известном, полуфразами, вполголоса, поглядывая на часы.

Начало какого-нибудь жизненного происшествия.

До Плёрмеля 18 километров, а я так устал. Но все-таки пошел.

Машин множество: не останавливался никто. Автостопа не бывает, когда или совсем нет машин, или их чересчур много! Крайности, как известно, дают похожий результат, в данном случае — никакого.

И вдруг затормозил старенький «Ситроэн». Водительница — средних лет женщина, ирландка, расспросила меня и повезла в Плёрмель, прямо к дому священника: «У него вы узнаете о Кергонане и монастыре!»

Священник внешне похож на Сахарова (как и сам А. Д. чем-то похож на священника!) С нами ужинал Ив; часть пути он проделает со мной; сам он едет в коммуну христиан харизматиков.

О, Господи, как все складывается само собой!

Меня устроили ночевать в бывшей семинарии. Она закрыта за отсутствием учащихся.

25.8, среда. Покинул семинарию около 7 часов утра. Переходя улицу к дому священника, оглянулся невольно на страш-

ный шум: через перекресток ехал грузовик, полный визжащих свиней. «В них вошли мои бесы!» — пошутил я мысленно. И почувствовал реальное облегчение!

Жерар, о. Жан, Ив. С Ивом мы ехали до небольшого Ванна, где, несмотря на предосторожности, пропустили нужный автобус.

Город и грусть. Прогулка по рыночной площади, перед церковью. Множество соломенных шляп и ивовых корзинок.

Я и охотник, и дичь: ищу Бога, а Он целится в меня. Наши возможности так несравнимы.

Сент-Анн д'Оре, Трините-сюр-Мер, Карнак, Плюармел. Монастыри: бенедиктинок — Сен-Мишель, бенедиктинцев — Сент-Анн. Женщины молятся святому, архангелу, мужчины — святой, матери Марии. И тот, и другой — покровители и целители скорбных душ. Архангел занимается женщинами, а св. Анна — мужчинами. (Не это ли навело Юнга на мысль о мужской и женской долях психики).

Символизм событий и вещей — захватывающий внимание, одолевающий, порабошающий.

О, Господи, дай постигнуть смысл: происходящего. Дай пройти через какую-то смертельную схватку к христианству, к вере-очевидности, к очевидному знанию веры.

Вот тогда-то и наступит истина.

Евангелия истинны: в том смысле, что в этой ткани нет пустот, дыр. В евангельской ткани много слоев: непонятность или сомнительность эпизода означает переход в иной слой, на другой этаж, только и всего: чтобы не обнажилась душа и не коснулся ее страшный холод *пустынного* космоса. (Есть еще обитаемый.)

Другими словами, божественная, сверхприродная реальность свободно проходит через все «жанры», включая науку и философию, подобно тому, как воскресший Христос проходит через все стены. Евангельская реальность не зависит от покрова «факта».

«Мастер» Булгаков не угадал. Он и не угадывал, он хотел сшить новое покрывало из свежей фантазии.

## 26.8. Аббатство Сен-Мишель.

Трудно во время мессы. «Перенасыщенность души».

Ночные бабочки... мысли об умерших: с грустью о (нрзб).

(О Вадиме и Каролине. О болезни Каролины: не умирает ли она, приславшая мне в том году ликующее письмо-радугу из Лаванду?.. С щепоткой пляжного песка под кусочком скотча. Желание чуда для нее. 5.5.96)

А в церкви нашлась мертвая жаба! О. Ив Буше, взяв ее двумя пальцами, вынес поспешно вон...

— Вряд ли мы можем вам помочь, — сказал о. Буше.

Начинаю привыкать к этой фразе, произносимой неожиданно, без всякой просьбы с моей стороны.

Вероятно, меня принимают за сумасшедшего. Да и сам я как-то ни в чем не уверен, взглянув в зеркало: остриженная и не успевшая загореть голова, загорелое лицо, вытаращенные глаза, полные ужаса. И складка горечи у рта.

Терпение, молитва, молчание.

Меня отправили за два километра к Сестрам, где устроен приемный дом для мирян, ищущих духовности совета. Сестра Доминика. Сестра мадемуазель Мутон (81 год).

## 27.8 пятница. Ночь в маленькой комнате под крышей.

Стопа книг из местных переполненных шкафов, — они заняли целую стену внизу, в гостиной с креслами и камином.

Среди мистиков — у них я ищу разъяснений — почему-то оказался процесс Жанны д'Арк. Она-то узнала, что такое огонь! Впрочем, физический, смертельный, какого не знаю я.

Может быть, потому, что поэму о ней, написанную в Москве моим другом, я увез за границу и здесь напечатал («Дева Орлеана» Соковнина, †1977).

Там есть пророческая глава: действие с руанской площади, из огня и дыма костра переносится... перетекает... в Москву! И начинается ее освобождение!

Мотылек кружится у лампы и садится затем на страницу, рядом с пишущим пером. Он весеннего зеленого цвета, у него длин-

ные прозрачные крылышки с золотыми прожилками. Его имя начинается на «хризо»... (в просторечии «муравьиный лев»)...

Неожиданно, налетая, повергнув меня в испуганное изумление: в моем левом ухе оказался палец! Невидимый палец! И прочищает его тем вращательным движением, какое я делаю множество раз, после купания, избавляясь от попавшей в ухо воды.

И внутри меня — далеко-далеко — прозвучал полный страдания голос К.:

nicolasjesuisperduerappellemoijesuischezboubi\*

Если это крик о помощи, преодолевший сотни километров... как отказать?

Если это что-то другое — как поступить?

Колеблясь, я все-таки спустился и позади дома, в дровянике нашел велосипед сестры Доминики. И помчался к ближайшему телефону в полной августовской темноте.

Будка ярко светилась во мраке.

Мой звонок в Германию К. разбудил.

Она едва говорила через рыдания:

— Je suis traquée, moquée, toute cassée! Ça me brûle: je suis toute brûlée je n'y comprends rien!"

— Не плачь и слушай внимательно: к нашим жизням приложены страшные силы! Их понять невозможно: нужна защита от них!

В ответ К. плакала и восклицала.

Аппарат дал сигнал, что оплаченное время истекает. Ни одной монеты нет больше. И ночь вокруг. Ни души.

Нигде ни души.

— Не старайся понять. Повторяй — насколько ты можешь — повторяй имя... повторяй, не останавливаясь, имя Хрис...

Разговор прервался.

---

\* николяяпропалапозвонимнеяубуби

\*\* Я вся избита, изломана, надо мной кто-то издевается! Меня что-то жжет: я вся горю! Я ничего не понимаю! (франц.)

30.8. Сон: борьба с кем-то жирным, отвратительным, мягким, как вата, не вырывающимся, обволакивающим.

Сильные боли в груди, в плоской кости над солнечным сплетением. Ищу позу, в которой боль легче переносить: на коленях в постели, упираясь лбом в подушку. Боль, однако, делается все сильнее. Пот льется с меня градом.

Длится и длится.

Часа два спустя отпускает: в изнеможении засыпаю.

Из бумажника вылезли — и зачем они там? — три фотографии меня, снятые К. На двух — совершенно мертвое лицо (а ведь я не позировал): Марбург, декабрь 80-го, и Дюссельдорф, 81-го, в парке. На третьей — странный, в лесу, весь в паутине: Марбург, 81-го. Снова думаю о глазе и взгляде фотографирующего, вносящего «что-то» в изображение, вопреки «научной объективности» (объектива).

Впрочем, кажется, наука ныне говорит об участии наблюдателя в картине мира.

31.8. В гостиной. Сестра Доминика читала вслух толкование досточтимого ирландца Беды на притчу о Добром Самаритянине. Человек, который шел из Иерусалима, шел из города небесного постоянства, «города солнца», — в Иерихон, город луны, изменчивости мира. На этом пути неизбежны разбойники и раны (человеческие страсти и их последствия).

Вероятно, это понимание отразилось в том, что на иконах солнце и луна помещены возле прибитых рук Распятого: Он распят — растянут — между неизменным божественным и изменчивым мирским. Как я, как все мы. Мир сделан таким. Бог, может быть, хочет, чтобы мы осваивали мир таким, каким он сделан. Такими, какими мы сделаны.

Среди сосен, мимозы и вереска вокруг дома: сестра мадемуазель Мутон поручила мне очистить тропинку и посыпать ее гравием.

Небольшая приятная работа. Чтобы не думать о себе и своем.

Остановившись на миг, я смотрел на улитку, осторожно выбиравшую себе путь среди иголок хвои. Накальваясь — сжимаюсь — и снова пытаюсь продвинуться, взяв чуть влево и вправо.

Наша жизнь в этом мире.

Наша душа среди сомнений.

Открылось внутреннее пространство: пустое, с неясными пределами.

Спокойный незнакомый голос произнес:

рождается раб Божий Николай

Что это, — думал я, вернувшись к тачке с гравием, — что за голос и голоса, имеющие право говорить во мне, словно в комнате? Не сказать, что это неприятно, но... озадачивает.

Вечером я помогал сестре Доминике приготовить тесто для хлеба («мы все всё делаем сами»). Рассказывал ей о некоторых поразивших меня эпизодах, надеясь, что внимательный глаз (тем более «почти бенедиктинки») увидит со стороны смысла и последовательность. «Логику судьбы».

— Вы обожествляете женщин, — сказала она вдруг. — И себя тоже... немножко... не так ли?

Это была какая-то зацепка, почти ответ. Рассказываю о Жаке Д., об упражнениях со шпагой.

— Но это же *Упражнения святого Михаила!* — испуганно сказала она, почти воскликнула. На мои торопливые вопросы — откуда они, кто их изобрел, — сестра ничего не ответила и быстро ушла.

*4 сентября.* Три дня голодания, посвященного дочери.

Лихорадка мыслей прошла. Пришло раздражение, ищущее повода вылиться. Смешно и забавно видеть, как угнетенная плоть ищет виноватого в остановке кормления: ищет слепо, не понимая, в чем дело, но ищет! Тело хочет — и, стало быть, оно право!



Мне кажется все очевиднее определенная автономность тела; его участие в генерации мыслей и образов, которые интеллект делает иногда своими: считает своими — и начинает отстаивать. Часто тут нет «логики» (кроме сведения тех или иных идей к потребностям тела, как скрытой мотивации).

6.9. Ночь. Сильные боли в грудной кости (sternum). Между тем, в этой кости «нечему болеть».

Стоял на коленях и потел.

Копание в шкафу с книгами. Гюисманс. Написал роман о силах зла, да так хорошо, что они им основательно занялись! Оказывается, мифы иногда становятся действительностью. Овеществляются, так сказать.

В юности я дружил с Димой С., сокурсником по философскому, в 65-м в Москве. Дима набрел на книги Гюисманса (их успели перевести до революции; да тогда в том же духе многое писали и русские); прочитал; толковал мне о теургии. Впечатлительный начитанный Дима, из интеллигентной — несмотря на всю советскую власть — семьи.

Дима ходил в куртке американского солдата. Это казалось шиком, и им, вероятно, и было среди темных демисезонных (носимых круглый год) пальто московских улиц.

От чтения Гюисманса я почему-то в то время уклонился, хотя мы читали всё, что попадалось, абсолютно всё. И Дима им прямо-таки увлекся. Спустя время с ним стало твориться что-то странное. Он оставил факультет и начал странствовать по больницам.

Может быть, путешествие по святым местам принесло бы ему больше пользы, но такое в голову не приходило; на дворе стоял официальный атеизм и ирония оппозиции.

А теперь, в Бретани почитать Гюисманса (присмирившего) оказывается кстати: он открывает мне круг новых авторов: испанец св. Иоанн Креста, фламандец Рюисбрёк. Я получаю явную помощь от этого чтения, чего живые люди дать не могут. Впрочем, они собрали книги в шкафы.

7.9. Месса в Сен-Мишель де Кергонан, у сестер монахинь. Проповедь о Фатиме, о знаках конца мира, об откровении Девы Марии трем пастушкам в 1917 году, о России.

Знакомство с проповедником: каноник Алео, о. Альфонс. Удивительны его глаза: карие с зелеными точками и голубыми ободками. Оказалось, он знает и любит св. Иоанна Креста ( в русских текстах его иногда именуют Иоанн Испанец).

(Каноник Альфонс Алео умрет в конце 96-го; его последнее письмо будет наполнено вырезками материалов о конце мира.)

Сестре Доминике нужно было повидать знакомую семью фермера Франсуа, в Ля Форест. Здесь берег очень изрезан, множество заливчиков и островков. Обитаемых: то тут, то там белеет бретонский домик.

Ах, как мне нужно бы пожить на берегу, даже вон на том островке, в тишине одиночества!

— Вам нужно вернуться к семье, — твердо сказала сестра. Колени у меня ослабли, я испугался и почувствовал недоумение: как, после всего ужаса — всего-то навсегда?..

(Разрыв произошел за три года до того. И три года спустя после возвращения он повторится.)

Недоумеваю, я видел, однако, что сейчас у меня нет своего взгляда ни на что: остается принять совет, как спасательный круг.

(Нужно было вернуться, чтобы 30 сентября 84-го быть рядом с дочерью Марией: может быть, поэтому останется жива, когда захлебнется в ванне из-за начавшегося внезапно приступа эпилепсии).

Сестра привезла меня на конечную станцию, куда парижский поезд доходит только летом. И сегодняшний поезд — последний. И единственный пассажир садится в вагон, это я.

Грусть перед очередной переменой. Перемены не прекращаются с апреля. Если не с ноября.

Если не со дня появления на свет.

Сестры будут молиться за нас, и каноник Алео, и все.

*26 сентября 1982.* Крещен сегодня отцом Всеволодом Дунаевым. Церковка маленькая, построенная в 30-х годах беженцами, поселившимися и здесь, в Малом Кламаре, не так далеко от Парижа. Называется ц. Рождества Пресвятой Богородицы. Были со мной в этот день моя дочь Мария и ее мать, крестная мать Надежда и крестный отец Никита, совсем юный, так что о. Всеволод даже спросил: «А где же отец?..» Но он и должен был быть моим крестным: сама кротость. А Надежда — смирение.

Два новых родителя новой души.

И муж Надежды, Владимир. Он нас привез на машине.

И ризничий Николай Петрович.

Мой огонь отдаляется. Уходит ужас «умереть некрещеным».

Легче, легче: злое потеряло свою остроту. Оно бродит вокруг сердца.

*3 октября.* Престольный праздник. Приехал архиепископ Георгий (Вагнер), ученый, немец, глава русских эмигрантских церквей.

Мое первое причастие.

Проповедь о. Всеволода. О том, как важны в церкви епископы. «Без епископа нет церкви», — сказал он. И все как-то несколько сжались: опять попали на чужой праздник, могли бы и не приходиться...

В ответном слове архиепископ говорил о том, что епископ — это еще не все, что церковь — это тело. «Верующие тоже нужны», — тихо сказал он.

И всем стало как-то легче, все-таки еще зачем-то нужны! И началось шумное приходское застолье парижского пригорода. Уютная трапеза русской эмиграции, уже весьма поредевшей.

(И с тех пор неумолимо редющей: в 1990-м умрет о. Всеволод. Его найдут за столом, дома, уронившим голову на страницы очередного толкования Апокалипсиса. Архиепископ закры-

ет церковь за неимением прихожан и тоже умрет в 1994-м. И многие умрут и разъедутся, и перестанут отвечать на письма.)

*9 октября.* Нуази-ле-Гран. Целый квартал сборных домов «Эммауса», выросший постепенно на месте свалки. Квартиры по сниженной цене, ряды одноэтажных блоков «срочного поселения». Кажется, это одно из первых строителей аббата Пьера.

Наш дом стоит на Алее Высоких Берегов. И действительно, из окна моей комнаты на пятом этаже видно далеко: долина Марны, противоположный ее склон, застроенный в Шелле и Ганьи. Зеленеющие пустоты: там заросли оставленные карьеры, а рядом с ними — лес Монфермея.

Почему немного печально на сердце, если смотреть на эти зеленые дали, на лесистый неровный горизонт?

— Маша, дитя мое, там лес! Пойдем туда гулять?

Маша смотрит и кивает головой.

(Еще я не знаю, что смотрю в свое будущее: в зарослях акации и шиповника прятался грот, La Caverne, благословенное место, где сию минуту я пишу — и пере-пере-писываю — эти строки...)

*10 октября.* Прогулка с Машей по берегу Марны. По опавшей листве, в осеннем воздухе.

Нас догнала группа подростков на велосипедах, остановилась. Они на мгновение озадачены: их колеса едут одно следом за другим, а колеса велосипеда этой девочки — параллельны? А, ну да, это же кресло! Умчались.

Маша играет прутиком в воде.

Она не может говорить, но зато улыбается. И смеется, издав восклицание: из воды вдруг выскочила рыба и шлепнулась о воду, упав. Вот это да!

Островки синего неба над головой.

Вдоль спокойной воды, мимо пешеходного моста через реку, мимо плавучей станции контроля пригодности воды,

мимо барж: их семьи-экипажи уже просто живут в плавучих домах. А эту баржу превратили в ресторан. Мимо.

По крутой дороге мы поднимаемся к кладбищу и церкви при нем, св. Сульпиция. Перед нею выгорожена стеной круглая площадка, она засыпана гравием и обсажена кустами.

Церковь открыта. В полутьме, в конце северной боковой галереи мерцают свечи.

— Идем, мы тоже зажжем!

Маша кивает головой. Ей это интересно.

Мы выбираем самую длинную свечу, даже удивительно, что еще делают такие «чем больше, тем надежней».

Что-то веселое есть в огоньках, приветливое, они словно висят в темноте, если посмотреть на них, оглянувшись от выхода.

Маша темноты побаивается.

И еще есть игра: у старинного источника, какой часто находится рядом с кладбищем и старой церковью. Струя прозрачной воды течет из трубы, никогда не ослабевая, даже в засуху, годами. Веками, наверное.

Маша бьет прутиком по струе и рассекает ее! А струя отбрасывает прутик! Брызги летят!

Но вот новость: появилась табличка над трубой: *Non potable*. Не питьевая! Как это возможно, ведь еще вчера... ну-ка, попробуем... вкусная, чистая, как и прежде. Неужели приборы химиков чувствительнее моего языка? Может быть, пришло время возмущаться: уже всю природу хотят провести через фильтр и завернуть в целлофан! Эта болезнь предусмотрительности.

Ну, ничего, пойдем, поедем-ка дальше.

Через заброшенные сады и разваливающиеся деревенские домики. Очевидно, земля продана под новостройки. И действительно, там дальше высится масса зеркальных параллелепипедов и кубов. И прочие, реже встречающиеся в строительстве формы: два огромных дома-колеса. С пустынной площадью, где стоят несколько запыленных деревьев и группы скучающих подростков. Столь необычные здания интересно, наверное, проектировать. А жить — дело другое. Не архитектору же. Есть еще

дом, называемый «театр»: в России его звали бы «сталинским». Пустой квадратный двор внутри залит асфальтом и сумраком.

Автобусы, скоростное метро, коммерческий — простите, торговый центр. Музыка, профессиональное веселье затейников («оживителей», по-французски). Более или менее сложные шутки, чтобы расслабить, очаровать и посеять желание купить. «Пьер, вы еще не пробовали... — А вы уже попробовали?.. — Разве не видно?.. — Попробуйте и вы новый стиральный порошок «Космос»...

Но есть тут уголок тишины и неторопливости, *Мастерская мира*. Здесь любители занимаются ремеслами. И продают свои изделия. За гончарным кругом сидит о. Роже. Весьма по-библейски, как в книге пророка Исайи. Впрочем, печь для обжига менее древняя, даже совсем современная, с программой.

И нам есть чем заняться: Марии нужен стульчик с высокими поручнями, чтобы не было риска упасть. Отец Роже великодушно предложил воспользоваться инструментами.

А тем временем дочь рисует разноцветными карандашами. То есть чертит на листе бумаги линии, обычно круги, так, что получается разноцветный клубок. Иногда я пытаюсь его расшифровать: это ведь высказывания, нельзя ли ими воспользоваться, как мостиком, чтобы пройти над рвом немoty и бессвязности. Кажется, безрезультатно. Только спустя время стало заметно, что «клубок» менее сжат: стало больше пространства между линиями, больше воздуха.

Скоро вечер: мама вернется с работы. Для Маши это событие дня. Мы едем-идем прямо в квартал Эммауса, по дороге, впрочем, остановившись, чтобы поздороваться с Мадленой, уже старенькой, живущей в блоке срочного поселения. Она работала уборщицей в больнице, или, как теперь говорят, *уборочным агентом*. Теперь все названия низких занятий, напивавшиеся презрением, заменили на новые, и больше никому не обидно. Дети ее, говорит она, выросли и разошлись. В жилище Мадлены телевизор и матрас, покрытый одеялом. И гулкий голос диктора. Пол кажется земляным.

Маше хочется маму встречать. Это значит, что мы будем стоять перед выходом станции Нуази-Шан, и ждать.

Дочь смотрит на выходящих людей не отрываясь, вытягивая шею. Вот-вот... еще чуть-чуть...

Сейчас придет жизнь и избавление!

От такого напряженного ожидания мы устаем оба!

Нет, не идет. Вероятно, какие-то изменения.

Мария вдруг издает радостное восклицание и протягивает руку вперед, оглянувшись на меня, и указывает на знакомое лицо в толпе.

Благополучный день.

Он складывается иначе, когда нападает «это». Обычно его можно предчувствовать. Почти предсказать, видя беспокойство и тревогу ребенка.

А иногда неожиданно, как удар грома среди ясного неба, среди благодушия и мира.

Маша издает пронзительный крик. Жестокая сила схватывает ее челюсти, они жуют, зубы скрежещут. Руки отвердевают в судороге.

И это длится — кажется — нескончаемо долго. А на самом деле — 15-20 секунд, редко дольше. Припадок кончается. Пот на лице у ребенка. Глаза теряют ясность, наступает сонливость. Она отброшена в непонятливость, перестает многое узнавать.

Приступ — говорят, эпилепсии. Мое слабое место. Смысл этой немощи непонятен. Зачем он — ребенку? Родителю?

Однажды он показался мне «управляемым». Он почти начинался, дочь несколько раз вскрикивала, но припадок не разражался. Я его *не хотел* всей душой, больше двух часов я молился, не переставая. И в конце концов, припадок не состоялся. Отошло.

Иногда модель припадка мне казалась... простая школьная термопара! Два электрода с разной температурой. В результате происходит электрический разряд. И если части тела играют роль электродов, вызывающих разряд «биотока» в нервной системе?

Из древности юности всплывали воспоминания: 1965, Хабаровск, армейский психиатр Серафим Николаевич Фролов. Его исследование сходства эпилептического припадка и родовых схваток. Можно ли предложить в качестве *мысли*, что эпилепсия — это «роды» чего-то в психике человека? Ее самой?

Евангелие несколько раз говорит о «бесновании», как русский текст переводит греческое *лунатизондос*, отсылающее нас к Луне и лунатизму (Мат. 17, 15). И к какой-то связи — если не с родами, то все-таки с ритмом месячных.

Беснование. То есть овладение человеком нематериальным существом, демоном (по крайней мере, невещественным, или невидимым)? Или — болезнь? Этот вопрос я задавал священникам, профессионалам, так сказать, священного текста, людям церкви, имеющим — по определению — особое ведение. «А мы имеем ум Христов», — говорил Павел.

И все опускали глаза. Впрочем, некоторые добавляли слова.

И оставляли меня один на один с проблемой: если — демон, то поможет ли от него тегретол, депакин, урбанил? А если помогает — ну, хотя бы чуточку — то демон ли? Можно ли демона лекарством изгнать?

Если в стене овчарни выпал камень и образовалась дыра, то не начинает ли она расплзаться и разваливаться?.. Как все в этом мире, рано или поздно.

Молчание Книги. Бога. Священники прячут глаза. Всех конфессий, впрочем.

Ночь. Свеча. Усилия одинокой души. Соединить, пробиться через немоту, духоту.

Ну, ничего, придет сон и решит все проблемы.

Во всяком случае, их отодвинет. Потерпим еще, если не знаем. Если не знает никто. Примиримся.

Пока пронзительный крик не вонзится в незащитные уши. И сердце.

Пока не останется от всех размышлений, сомнений, перебирания увиденного в жизни и прочитанного — единственное, что я узнал о Боге: Его Имя.



Бог. И Он есть.

Бог есть Любовь, это я знаю с апреля 82-го.

И вот крик и ужас маленького ребенка.

Как же быть...

Уже не хочется слышать. Если нельзя помочь, то зачем и говорить, и смотреть в ту сторону? Уже хочется зачerkнуть.

Церковка св. Мартина втиснута между новыми домами, и тоже совсем новая. Она незаметна снаружи: скорее зал для собраний. Стекла поверх деревянных дверей.

Половину его можно отгородить подвижной стенкой, и получится помещение для концертов и житейских надобностей.

— Bonjour, Marie!

Это улыбается навстречу отец Жан, один из нескольких священников Нуази, живущих коммуной. Они — монахи из Премонтре.

Очень интересный орден: мостик между уединением и миром. Братья живут в монастыре, но однажды группа из трех-четырех монахов-священников переселяется в обычный приход на несколько лет. Конечно, такой коллектив духовенства влиятельнее одинокого кюре. И друг друга они поддержат во время упадка и слабости.

И остается еще резерв: когда затертость и истощение души от повторяемости будней начинает грозить, священники возвращаются в монастырь. На отдых.

Для освежающего погружения в братство.

Гениальное изобретение св. Норберта в XII веке.

Отец Жан — молодой, улыбающийся священник. У него будут, впрочем, свои испытания, и так сложится — к моему изумлению — что часть их доставлю ему я...

(В прошлом году — 96-м — я узнал об открытии новой церкви в Нуази, Сен-Поль-де-Насьон: однажды о. Жан говорил об этом проекте с энтузиазмом! Я поехал туда. Но братьев уже не было: их отозвал монастырь.

Кончилось время изобилия: монашеское окормление — это, конечно, роскошь, лучшего пока не бывает. Как и всегда, когда люди делятся тем, что они любят.

Теперь было по-иному. Говорят англичане: *blessings brighten as they take their flight*. Благословение узнают, когда оно отлетает.)

Впрочем, не все тут непонятно и тяжеловесно, в этих кварталах с «такой архитектурой». Иногда мелькнет мысль и чувство доброго человека, — так и в газете попадетсЯ интересная цитата из книги.

Вот огромный жилой дом между Нейи-Плезанс и Ганьи. Блочный, многоэтажный, вытянутый, на склоне: все признаки, чтобы отвернуться и не смотреть.

И однако! Фасад дома выкрашен... подождите морщиться, дайте договорить! Выкрашен так, что самый темный цвет — сложный фиолетово-бурый — через переходные коричневые и охристые — становится желтовато-белым в нижних этажах. И цветковые полосы повторяют волнистые очертания холма. Огромный дом совершенно спрятан в пейзаже. Во всяком случае, к нему дружелюбен. Сколько такта в этом гениальном решении!

— Здравствуй, Машенька!

Дочь восклицает и указывает на маленькую старушку: к нам приближается Маргарита, воспоминание русской эмиграции в Нуази. Трудно сказать, из чего складываются ее средства к жизни. Трудно и спросить об этом. Помогают знакомые, иногда.

— Маргарита, позвольте Вас подвезти на машине?

Она смотрит с опаской и качает отрицательно головой: нет, спасибо, мне и так хорошо!

(Зима 86-го окажется очень холодной и снежной. Маргариту найдут мертвой в ее фанерном домике на берегу Марны. Под кучей тряпья, с примерзшими к стене волосами.)

Мои нынешние знакомства складываются, так сказать, из Машиных. Сначала замечают ее, хотят сказать ей что-нибудь

приятное. Она привлекает жалость и сочувствие человечества. А затем знакомство продолжается со мной, ее водителем и ногами.

Для знакомств светских, обычных, строящихся вокруг социального продвижения, мы слишком обременительны: коляски, кресло, лекарство.

До рождения дочери и еще долгое время спустя, я сам уклонялся от общения с инвалидами. «Как-то не по себе рядом с ними». Что же именно? «Не хотел бы быть на его месте». Во-первых, потому, что со мной не особенно желали бы общаться, — как я сам не стремлюсь к тому, не так ли. Я остался бы без людей, — а я на них опираюсь! На кого же еще опираться?

В опирании друг на друга состоит важнейшая часть жизни, ее смысл: пища тела, пища самолюбия, секс, — и все круги вокруг них, ближние и дальние. Инвалид — неподходящий партнер.

Его мир грозит увлечь в себя и за собой — в непонятность. В колючие заросли «почему» и «за что».

Вообще это напоминание о страшной возможности-случайности судьбы: несчастный случай, болезнь. Все это — как видите сами — рядом с нами. Нежеланный выигрыш в лотерею несчастья.

В юности, желая изучать философию, я думал, что все уже написано в книгах. Еще я не знал, что в книги переписывают то, что сумели прочесть и понять в книге жизни.

И не со всякого места книгу жизни можно читать! Не при всяком свете события начинают проступать числа и слова!

Оказывается, смысл и свет — самые яркие — при униженном и беспомощном состоянии читателя. Родитель, везущий в кресле ребенка-инвалида, например. Нищий с протянутой рукой. Уволенный на пенсию генерал. Знаменитость, фамилию которой все чаще переспрашивают.

Все то, что хоть отдаленно напоминает Голгофу.

Несчастье встало стеной, и ничего нельзя сделать.

Эти состояния моего ближнего не очаровывают, и мой ближний останется самим собой. Ему не нужно распускать павлиньего хвоста талантов и возможностей. А жалостливые могут жалеть, — не опасаясь, что их сочувствие будет отвергнуто.

Вот когда началась философия, думаю я, садясь с дочерью в вагон метро. Она тут же попадает в центр внимания: «Что-то не так с этим ребенком...»

На лицах начинают проступать родившиеся мысли и сердечное отношение к случаю. И даже обобщения.

Вот какие мы, вот какой я, — думаю я, глядя в зеркало человеческих лиц.

Да это подарок неба, — такая возможность взглянуть и увидеть.

И если немощь и старость существуют, значит, они обществу необходимы, не так ли. С инвалидом и стариком не приходится соревноваться. При взгляде на инвалида в моем сердце нет соперничества. Он мне дарит немножко своей беспомощности: она обращается в моем сердце в осторожность и предусмотрительность. Не только в отношении к себе, но и к людям. Ведь все мы уязвимы и хрупки. Все мы несем невидимый шрам.

Инвалид — как эмблема случайности, старик — как знак неизбежности: эти понятия, оказывается, воплощены, они зримо материальны, они строгают и шлифуют полную бравады душу.

Римляне, случалось, убивали тех и других. Средние века горели энергией и гордыней здоровой молодости. Жизнь человека стояла в зависимости от социального положения. Иногда — ничего.

Теперь дело нюансированнее. И интереснее.

Социальная жизнь превращается в огромный живой учебник философии! Доступный множеству! Где нет провалов на экзамене, а есть то, что философия охотно дает, — наслаждение постижением смысла.

О, что-то новое приближается к нам...

Смотрите, смотрите: тесто, в которое брошена закваска, поднимается в очередной раз. Что за хлеб предстоит попробовать будущим поколениям?..

## SOLILOQUIUM

(Тетрадь отшельника)

В качестве отдыха. И чтобы собраться с мыслями.

После долгих стараний достичь — отступить.

Осмотреться: нет ли поблизости возвышенности, откуда можно окинуть взглядом все это пространство, заваленное буреломом?

Буреломом воззрений и гипотез.

Руинами развалившихся сооружений: они назывались «я знаю, как».

Как что?

«Как собраться и быть вместе».

Потому что, когда мы вместе, люди, нам не страшно. Не так страшно, как по отдельности.

Да еще и ночью.

И в старении: старость уже не приобретает близких, она их теряет. Как если бы душа утратила свойство открываться навстречу другому. Даже если и нет, встречному она не интересна. И понятно,

почему: свойство открываться имеет свою цель,

и свое назначение, — соединиться с другим, зачать и родить. Во всех смыслах, от брачного до политического.

А есть еще и болезнь, и за нею маячит нечто.

Есть существеннейшее, о котором не хочется говорить. Смерть.

Уход?

Радикальный переход... куда-то.

Даже философия избегает этой темы. По крайней мере, современная, желающая быть ответственной и точной. Привязанной к вещи, к чему-то определенному, для всех очевидному.

Не так, как некоторые философии прошлого, переходившие незаметно в религию. Если они касались все той же темы: что есть за смертью.

В конце концов, человек живет каждый день так, как если бы он был вечен. Как если бы он всегда будет таким.

Может быть, это уже и есть вера? Та самая, которая создает себе формулы, повторяемые связи слов; неизменные связи, называемые иначе догматы.

Они предлагают человеческому духу покой.

Не это ли состояние называется «истиной»?

Евангелие дает существенный синоним: Христос.

«Я есть истина», — говорит Он.

«И Я упокою вас».

Он предлагает подражать Ему: в Гефсимани, когда «уже ничего нельзя сделать». И не делает.

Он предоставляет делать другим. Они-то и сделают, и тогда все станет ясно. Дух, вошедший в мир, охвативший многих, ищет действовать, ищет вылиться в ярости и насилии, убить. Убив, он успокаивается. Христос дает Себя убить, чтобы успокоить.

Дай себя убить: подари мир людям.

Это и есть смирение.

Таинственное богатство души.

Тоже отдых и ее, и других.

Прозрачность души другого человека, напоенный водой сад. Где не гуляет суховой страсти. Где не громоздится гордость.

Смирение дает неуязвимость: «я мал настолько, что не могу быть мишенью».

Нескольких людей, имевших этот особенный дар, я знал. Константин Глимьянов, например, соученик по философскому факультету, попавший в лагерь за Самиздат и ставший по освобождению священником.

Память о нем помогала в самые болезненные годы эмиграции, 1975-80; я вспоминал его — и успокаивался. Отдыхал.

Коснувшись церковной жизни и тысячелетних размышлений людей на эти темы, я тоже захотел приобрести смирения: так его все хвалят, так хотят иметь.

Начать с послушания.

Всем и каждому.

Всякому встречному.

Впрочем, послушание контролируется: десятью заповедями и дополнительными евангельскими.

Нарочитое самоунижение, чтобы достичь предела «себя», своего «я», своего самолюбия. Тут обнаружилась та тонкость, что достигнутое самоунижение начало питать... самолюбие: вот что я могу! Никто не может встать, например, с протянутой рукой и просить милостыню, а я могу. Я смог! И даже более сильные, с трудом совершаемые упражнения на «растирание» себя под ногами людей.

Опять я ищу, с чего начать новую линию «свободных ассоциаций», стараясь не контролировать их, не устанавливая непреложной логической связи.

Ведь логика не есть непременно условие рационального. Она его крайность.

Одна из крайностей.

Вероятно, на противоположном полюсе — инстинктивность. Импульсивность в чистом виде, почти в чистом. Насколько это возможно для человека.

Рациональное, желающее освободиться от всякого чувства, стремится к логической связи.

Рациональное, желающее непосредственности, «откровения», «прямого чувства», стремится к инстинктивности.

Инстинктивность дает отдых от размышления.

Усталость такого рода бывает.

До обращения 1982 года я боялся «остановок мысли»: я думал «всегда», «всю свою жизнь», не останавливаясь ни на мгновение! И именно в том году стали происходить «останов-

ки». Моменты «пустой головы». После нескольких мучительных случаев, — «навязанных», вызывавших панику и сопротивление, — я обнаружил, что это не «сумасшествие», как я опасался, а новое, неизвестное мне прежде состояние ума, психеи. Я назвал бы его состоянием «безусловного принятия».

Однажды оно было пережито как позитивное. В январе 1982-го, утром, в немецкой деревне в окрестностях Марбурга; я был опечален трудностями жизни и размышлял о действиях, какие нужно предпринять. Множество вариантов проходило через голову, и все казались слабыми и частичными. Дул сильный холодный ветер. И вдруг его порыв с мокрым снегом ударил мне в лицо, и «изгнал» абсолютно все мысли из моей головы! Она стала совершенно пустая! Необъяснимый мир меня охватил, наслаждение, незнакомое прежде.

Его нужно сравнить — отдаленно — с облегчением, когда можно, наконец, поставить на землю громоздкий чемодан. Сбросить с плеча бремя.

Мне случалось прежде жаловаться врачам на свой страх «пустой головы». Они что-то проверяли и делали анализы.

Они не понимали, о чем идет речь.

И я не понимал.

А спустя время я понял, что страшившее меня для многих было желанной целью, а именно, в монашестве. Целью недосягаемой.

Я страшился дара, молчаливо предлагавшегося годы. Неотвратимо навязываемого.

Дар метанойи, обращения.

Вот предварительные соображения, чтобы иметь некоторый порядок в моем прошлом. Классификацию, как способ познания. То есть, другими словами, способ обуздания хаоса прошлого. Способ вытягивания нити смысла из клубка событий и стремлений, моих и оказавшихся рядом людей.

Смысл... как причинная последовательность событий... смысл как однородность вещей, собранных вместе... как тождественность признака членов.



Иногда с трудом удерживаемая последовательность — еще «чуть-чуть» — и «разум» не примет законности ее.

Иссякание смысла.

Впрочем, все не «строго научные» области допускают «вероятность / возможность» как полноправный элемент описания. Он и вводится с помощью слов «конечно», «скорее всего», «несомненно».

«Нет никакого сомнения в том, что...» Столь трогательная формула, говорящая — предупреждающая о сомнении — и побеждающая его. Во всяком случае, предлагающая скрытое извинение.

Реконструированное прошлое заведомо фантастично: хотя бы потому, что нам нечем проверить точность реконструкции. Как сопоставить ее с подлинным — протекшим — отрезком и участком истории? Если бы это было возможно, пришлось бы, отставив в сторону «текущую жизнь», пережить кусок прошлого.

«Истинность исторической науки»... Чем или на чем проверенная?..

События прошлого как пища для интеллекта.

Как материал для выстраивания «меня» в настоящем.

Материал, если его в настоящем не хватает.

Неисчерпаемость темы: есть еще что-то, еще столько всего, еще так много.

А хочется исчерпать, завершить. Перейти к волнующему «новому».

И это в мои 50 лет.

А где-то 12-летний мальчик впервые читает в учебнике о войне Спарты и Афин. И на чью сторону он склонится?

В 1957-м, в московской школе, с пионерским галстуком на шее (мне нравилось, что он был из шелка и не мялся, а тек свободно между пальцами), — я был за Афины. И грустил об их поражении.

Разреженность мысли.

Но было интересно записывать то, что вы прочитали.

И вот интереса стало меньше. Он вернется завтра утром, на рассвете, может быть, ночью.

Впрочем, бывают дни, когда обстоятельства не позволяют подумать и записать. Похоже, что это не имеет особенного значения ни для моей жизни, ни для других.

Тем не менее, сама запись дает ощущение «чего-то сделанного», «ценного», «приобретенного».

Иногда пережитого «чего-то очень интересного», «густого», «насыщающего».

Человек, отданный во власть сил.

О ничтожестве человека.

Как он пытается освоить мир своего тела и космоса! Временного и уязвимого тела. Актер поневоле всех социальный ролей. «Он сыграл большую роль...» (из некрологов в «Таймс») И где он теперь? Дает ли ему что-нибудь наша память о его сыгранной роли? О его изобретении и работе?

О ничтожестве человека.

Вневолевые образы, усиливающие эротизм, половое желание. Ведущие, в конце концов, к извержению семени; и опустошению образности и мыслительности. Живая вода взята из родника. Спустя время соберется новая.

Изменение направленности мыслей: не-половой интерес, подpiraемый где-то во тьме плоти накопившимся семенем и находящим, наконец, свое культурное выражение. Сублимация: творчество, открытия, религия. Платоновская идея ступеней эроса. Все та же таинственная и неукротимая энергия в разных облициях. Древняя мысль: «запереть половое, сжать, — и оно подбросит к Богу». О, катапульта! Но нет никакой правильности: иногда — да, чаще — нет.

Теперь теология избегает говорить о брачном союзе души с Богом. Потому что было произнесено слово и объяснение: сублимация. То есть из-под божественного опять выглянуло человеческое: особое состояние души, настолько всеобъемлющее,

захватывающее, грандиозное, настолько ни на что не похожее, что оно получило высшее имя Бога и откровения.

Никто ничего не знает, вот в чем беда.

Ничего, кроме слов.

Частности, впрочем, могут удаваться. И даже выстраиваться в систему.

Частный опыт тоже весьма интересен.

Если, например, вернуться к теме смирения.

Был момент, когда я искал смирения через послушание всем и каждому. И в то время работал в «летучей бригаде» местной мэрии. В ней были официальные начальники. Но иногда дело поручалось двум, трем, пяти человекам, и никто не был назначен руководителем. Власть не была «делегирована».

Возникала ситуация выдвижения лидера. По каким-то не всегда ясным причинам кто-то начинал вести себя начальственно, а другие это признавали. Упражняясь в послушании, мне ничего не стоило подчиняться. А между тем распоряжения могли принимать личный характер, не связанные с поручением.

Иногда такой выдвинувшийся руководитель пытался продолжить отношения соподчинения и после, уже в других ситуациях рабочего дня.

Тема набора себе служителей не исчезала практически никогда. Вероятно, она универсальна. Новый Завет ее касается («Цари и князья господствуют, а у вас путь будет не так... Но кто хочет быть первым, пусть будет последним...»)

Пробуя это на себе, мне было легко подчиняться. Но не менее легко было и не подчиниться. И всякий раз это вызывало кризис, приступ ярости, негодования. Как если бы я уже был признанным рабом, и вдруг вышел из повиновения. Ярость хотела удержать в повиновении. Словно имеющий рабов стоит выше по социальной лестнице. А лишаящийся их обнаруживает свою незначительность, и падает.

Этот механизм отношений описан давно как «авторитарная личность». Но одно дело прочитать и знать, а другое — как это выглядит на уровне живой психики и что ты переживаешь сам.

Самое же удивительное заключение для меня было то, что отношение «владею — мной владеют» выглядело не менее важным — если не столь же эффективным — как отношение «люблю — любим». Я отдавал предпочтение всегда последнему. Иные типы отталкивали: армейская служба была непереносима; радостно отдаваемый и исполняемый с восторгом приказ предстал монстрами душевной жизни. И вот, оказывается, очень (чересчур) часто — власть вполне заменяет любовь.

Власть участвует и там, где, казалось бы, основатель нарочито ее устраняет; я имею в виду христианскую церковь. Целование туфли, целование руки. Есть текст НЗ, который в богословии не рассматривался — рискну сказать — никогда: о сотнике Корнилии, пришедшем к Петру в Иоппию и бросившемся перед апостолом на колени. Петр поднимает его, говоря: «Встань, я тоже человек».

Кажется, только живописец Обэн Вуэ написал на этот сюжет картину, и очень удачную. (В соборе Нотр-Дам в Париже, 1639).

Впрочем, Западная церковь весьма уменьшила дозу целования рук духовенству, не без помощи примера протестантов. Весь стиль нынешней жизни гораздо менее феодальный; можно ли предположить, что Евангелие неустанно работает в сторону братства?

Но Восточная церковь сохраняет византийскую архаику. Богослужение взято в оправу феодальной почтительности, нарочитого унижения, «пентоса». Прислужник подал кадило священнику — поцеловал руку, принял от него кадило — поцеловал, дал свечу — поцеловал, взял — поцеловал... ну, а уж если службу совершает прелат! Два прислужника одновременно целуют обе руки!

Целование достигло виртуозности, пронизало практику и соперничает с литургическим целованием: верующий целует крест — и тут же руку священника, человека. Так удобнее руководить.

«Более обученные» руководят «менее обученными»  
Только-то и всего.

---

\* Деяния, 10, 26. Aubin Vouet.

Богопознание — высший дар. Он очень индивидуален, — в том смысле, что он не сообщаем другому человеку. Даже Павел говорит о словах, слышанных на третьем небе, которые «нельзя пересказать». (2 Кор. 12,4). Он даже и не пытается. И по-видимому, нет в этом и особой необходимости: веруют и так, по слову апостола. Веруют начальствующему, ведущему, лидеру, более других знающему. В обществе социальной пирамиды легко возникают новые пирамиды меньших размеров.

XX век это знает, в виде тоталитарных движений. Все они этот век не пережили. Они, вероятно, отвечали на запрос новизны и первоначальной интимности возникающего движения.

Осталась очень глубокая потребность души в непосредственной встрече с Богом. Предлагают ли ее существующие церкви? Почему все меньше участников литургического спектакля?

Социальное тело стареет и сохнет.

Очевидно, это происходит не без «ведома Бога».

Не без Его «позволения», по крайней мере, — если употребить термин теплой веры и изнемогающего сознания.

Ослабление старого означает приготовление обновления. Быть может, столь радикального, что старое тело должно быть уменьшено до полной неспособности вести борьбу. Как были уменьшены многие сильные ветви христианства, — в Малой Азии, например.

Закваска христианства принята социумом: если общество стало вести себя по-христиански — по крайней мере, его ценности сделались доминирующими, — то нужна ли обособленная «церковь»?.. Я думал это почти всегда, благодаря кого-нибудь за помощь и милостыню и слыша в ответ: «Это нормально». Призыв и пожелание Нового Завета стал — по крайней мере, для некоторых — нормой, уже не связанной с исповеданием «идейной части» христианства, собственно, его идеологии. Дело любви совершается «само собой», хотя в истоке социально-этической нормы мы найдем воспитателей и учителей, для которых дело и вера были нераздельны.

Легко, конечно, указать в НЗ места, где говорится о необходимости исповедания Христа Иисуса. Между тем, немало и мест,

где НЗ приглашает к анонимности добродетеля, незаметности, вплоть до запрещения самим Иисусом разглашать его чудеса.

А короткие фразы НЗ могут соответствовать в нашей истории целым столетиям.

И еще: неоднородность текста НЗ все более очевидна. В нем есть слова Самого Иисуса, и пересказ их учениками, и присоединение параллельных традиций и воспоминаний.

Впрочем, это не мешало соединенному тексту быть парадигмой — и идеалом одновременно! — человеческой практики в течение уже двух тысячелетий. И один из результатов этой практики — возможность увидеть объемность текста НЗ, его пространство, возникшее благодаря и вокруг жизни Иисуса Назорея, давшей начало и жизни Иисуса из Назарета. И самому Назарету, может быть.

Если не пытаться понять — то есть выявить живые элементы и нити современного мне христианства, его отличия от нашего же представления о христианстве прошлых веков, — если просто созерцать христианство сегодняшнего дня, то душа начинает склоняться к хаосу катастрофы Апокалипсиса и к полярности манихейства; иными словами, к апокалиптике завершающегося иудаизма, этого этнического мессианизма (прехристианства).

Вероятно, тут есть и своя прямая мистика событий, которая дает себя заметить и почувствовать, но никогда — разглядеть.

Конец мира переживается, конечно, через неизбежность «конца жизни» отдельного человека. «Близится конец меня» переживается как «конец вообще», это эсхатологический солипсизм, если пожелать термина. Интересно, что некоторые физики ощущают настоящую тоску, когда размышляют о тепловой смерти Вселенной, этой необъятной — и, тем не менее, жертвы — второго закона термодинамики. Она должна наступить через несколько миллиардов лет. Быть может, эта тоска — предчувствие собственной смерти через несколько лет. Интереснее, впрочем, предположить, что это печаль бессмертной души, которой придется присутствовать на столь невообразимом спектакле...

То, что «апокалипсис» — это состояние души прежде всего (во всяком случае, им бывает), — мне подумалось за чтением интервью с католическим богословом, проводившим параллели между апокалипсисом и современностью.

Одним из признаков «конца мира» был коммунизм. Хотя к моменту интервью его детище и мотор — Советский Союз — больше не существовал и, казалось бы, угроза насаждения коммунизма очень ослабла, богослов об этом даже не упомянул! Вероятно, такое упоминание уменьшило бы ужас рисуемой картины, — а вместе с ним и своеобразный восторг души перед чем-то грандиозным, — даже разрушением.

«Отметка», «конец», «новое огромное число», — этим переживаниям апокалипсис дает смысл, тем более, в конце второго тысячелетия. Вероятно, «тысяча» теперь «меньше» — после обнаруженных миллионов лет Земли и человека, миллиардов и триллионов световых лет! Мысль и психика трудятся над освоением новых данных. Часто чисто интеллектуальных, непредставимых, невообразимых.

Необходимость же вообразить, представить себе (и другим) зрительно не исчезла. Наука подчинилась ей, приняв визуальное моделирование идеи как часть своего метода. Оказывается, вычисляющий интеллект еще не вполне «знает»; он должен увидеть новое в комбинации элементов известного. Таковы «модели» Биг Банга, Кошка Шредингера, Червь Уилера.

Эйнштейн: «камень».

Не новый ли камень положил Бог. «На камне сем...»

После веков окончательности всего на свете наступил век относительности.

После огненной уверенности 1982-го в том, что мне открылся Бог... а если не Он, то кто же... не то, чтобы я возвращался к мыслям юности: нет ли во всех... во многих высказываниях о Боге — всего лишь констатации о крайнем, небывалом, ни с чем не сравнимым состоянием души?

«Это и есть Бог»: переживается нечто абсолютно и радикально новое и позитивное, избавляющее от всех страхов и

приносящее такое богатство Любви, что им можно делиться до смерти... почти до смерти... до той усталости возраста, в которой Павел пишет Тимофею: «вот и мне пора отходить... течение совершил... веру сохранил...»

Налетело, нашло, подхватило и подбросило меня до звезд! Я привязал это событие к Евангелию и захотел стать «учеником Иисуса Христа». Пошел к «своим», явным, назвавшим себя христианами. Начались годы ожидания, адаптации, отталкивания и изгнания меня. Церковные христиане не признавали меня за «своего»; кроме, может быть, монашествующих и отшельничающих.

Везде я остаюсь сидеть между двух стульев. Висеть. И вот, наконец, между жизнью и смертью.

Впрочем, иногда я начинал беспокоиться в своем душевном комфорте: не слишком ли я крепко и удобно «сизжу»? Все ли в порядке? Не на дурном ли я пути? Уф, наконец-то меня опять сталкивают и выбрасывают: все хорошо.

Религия как освоение мира.

Религиозное освоение мира.

Чтобы получить цельный образ мира.

Как если бы насытившись точностью математического описания деталей, построив «замок» Теории, ум хочет безотлагательно вернуться к необязательности и недоказанности гипотезы, предположения: в гипотезе есть легкость, свобода вздоха, радость новизны... И ум пользуется гипотезой, будто доказанной: наука касается верования и переходит в него.

Опять ужасы педофилии в газетах.

О, дайте человеку таблетки от ненужного полового влечения! От деятельности гормонов, — если «сублимирование» (превращение природной сексуальной энергии в творческую) почему-то не происходит. Скольких страданий и душевных ран мы избежим, сколько глупых романов не будет написано!



Церковным руководителям не придется мучаться из-за презервативов, — разрешать ли их своей пастве, или нет.

Область пола ждет своего Галилея.

Психоанализ оказался временным решением, вроде флогистона в физике, объяснив пол через мифологию. Несомненный регресс по отношению к христианству. Возможно ли объяснение, опираясь на идеи Евангелия от Иоанна? Некоторые пассажи в нем показывают отношения Сына и Отца. «Сын делает то же, что и Отец». Он должен воспроизвести все отношения, свойственные Отцу, в том числе и с матерью. Проблема (вплоть до неразрешимой, невроза) может возникать тогда, когда сыну не хватает материала для подражания, — для постройки пары «он — жена» (нет других детей в семье), когда ему не удается создать «заместителя жены» из кого- или чего-либо. Почему он должен подсознательно стремиться убить отца? Почему частный случай Эдипа Софокла сделался общим? Объяснения Фрейда не окончательны.

В семьях, где детей несколько, интересно наблюдать эти отражения родительской пары. «Женой» может стать и приятель, и подруга по школе. Завершив строительство «детского домика» и «детской семьи», ребенок уже оказывается в этот момент повзрослевшим. Он «тренировался», он «запоминал», как должна выглядеть семья. Пришло время отложить материал подражания, пора строить реально, имея в виду воспроизводство потомства.

«Фиксация либидо» звучит слишком «технично», слишком... патриархально-ветхозаветно, напоминая о фаллическом культе, точнее, о фаллосе отца, увиденном одним из сыновей Ноя. Не отразился ли этот эпизод и в христианской мистике, например, у св. Иоанна Испанца: его последняя работа «Пламя любви» обрывается на словах: «открыть ноги отца...»

Впрочем, кажется, современная психология освобождается от мифологических посылок фрейдизма, удержав, собственно, одну идею, — о многоэтажном ти психической жизни, о некотором уровне, объединяющем все живое человечество (Юнг,

Тейяр де Шарден) и даже всю совокупность живших людей (архетипы Юнга).

Психология перерастает психоанализ, как единобожие переросло политеизм. На что похожа борьба Фрейда с Моисеем в предсмертном сочинении? На борьбу священников фараона с пророком! Фрейд стремится перетолковать — и тем самым завладеть, поработить, устранить опасность для своей системы, в некотором смысле, «египетской», «языческой». Истоковать — значит переименовать и присвоить.

Иисус предлагает человеку первообраз, живой архетип, небесную парадигму. Он в некотором смысле и воспитатель, и воспитуемый. Модель дополнена Иосифом через рост влияния катехизиса, который медленно создает основу для особенной роли женщины-жены и нового, нетрадиционного призвания сына, сложившегося к концу средневековья. Новое призвание сына влечет упразднение сословий.

Высказывание мучающей мысли, чувства или представления (самоосуждения лица) и спокойное выслушивание этого высказывания («ничего особенного тут нет», «у всех так, например, у меня, — ведь я не меняюсь ни в лице, ни в отношении к говорящему»), — вот главный прием психотерапии. Этот конструктивный элемент существовал и раньше, не только в церковной исповеди и отпущении грехов, но и в обычной дружеской беседе. Главное, чтобы слушатель был за пределами ситуации, в которой возникло неразрешимое затруднение души.

Отчасти и литература, начиная с прошлого века особенно, — с освоения повседневной жизни, — играет ту же роль набора конкретных ситуаций, обсуждаемых открыто — но не отнимая у заинтересованного и тем более затронутого читателя маски анонимности, «просто интереса».

Впрочем, литература не рискнула обсуждать некоторые проблемы.

Быть ли мне смелее других?

Попробовать пройти благополучно между Сциллой и Харибдой, между «хорошо» и «плохо». Медицина едва вошла в эту область, — в нашем сознании, конечно; настолько, насколько наше сознание согласно её допустить. Многое в нас хочет оставаться принадлежащим «только морали». В противном случае надо соглашаться на смену авторитета, а он — «как дерево, которое выросло», «оно не может уйти», — чтобы дать место другому. Оно должно или засохнуть и долго еще и гнить. Или уж быть спиленным, даже радикально вырванным вместе с корнями.

Вообще растительный мир предлагает немало удобных параллелей с социальной жизнью. Даже удобнее, чем животное, потому что менее похож на человека.

Именно ли Эйнштейн имел перед собой образ нового оружия, почти чертеж... и сознавал, что уже им владеет, но пока только он один? Или ему нужны были размышления других и опыты, — и в тот момент от него уже не зависела ситуация «изобретения» нового оружия?

Переживал ли он миг «всемогущества».

Затем многие ученые стали искать тормозов морали своим же выкладкам.

Прежде чем взорваться в небе и на земле, открытие взрывается в сознании: оно мгновенно складывается в новую картину, абсолютно ясную, из элементов, поначалу смутно мыслимых как необходимых. Но связь между ними не очевидна. Что их выстраивает в стройное целое? Которое может испугать самого исследователя!

Последовательность свободных ассоциаций.

Надеясь таким образом настроиться на волну Духа: избегая всякой предопределенности идеи, привычки, плана.

Войти в настоящее — и оказаться в будущем.

А прошлому еще надо стать настоящим в «истории».

Впрочем, в прошлом мы выбираем «себя в настоящем». Поэтому «история ничему не научает».

И, однако, чему-то научила. Что-то перестали делать. Исчезли яркие костюмы властителей, горделивые позы парадных портретов, ляжки в обтяжку (между прочим, весьма символически заметность гениталий при такой одежде, — «начальник и лидер» должен быть «сильным»; та же тенденция коллективной души ныне выражается в сильно редуцированном виде: например,obelisks на местах военных побед). Явные признаки гордости и тщеславия остались в прошлом; может быть, не без помощи присутствия протестантизма с его пуританизмом. Даже домогающийся ныне почестей и власти выглядит скромно. Вернее, менее броско: опытный глаз подчиненного чиновника увидит, откуда этот пиджак, эти туфли...

(Рядом на дереве уселся и стучит дятел! Услышал мою пишущую машинку и прилетел посмотреть, что за соперник на его территории...)

В прошлом и настоящем мы ищем пищу своему вниманию.

В жизни людей прошлого мы выбираем буквально несколько дней, несколько — одну-две — мысли. «До» и «после» мы не знаем. Традиция доносит еще слова, сказанные перед смертью, как заключительный аккорд пьесы существования. Часто они звучат благочестивой прописью. Почему бы и нет... нам нужны прописи перед глазами, чтобы опереться и уцепиться в момент перемены.

Биография неотделима от легенды.

Прослеживание и вытаскивание идей из истории, мне близких... почему «близких»? как сложилась эта близость? даже собственную свою историю я не знаю.

Приписывание своих идей другим...

В конце концов, история и география... почти одно и то же: как там, у соседей? Говорят, они нашли что-то такое... Бога!

Как там, у предков? говорят... Ведь и Адам жил в раю, может быть, и после него кто-нибудь там все-таки побывал?..

(Легенда раннего монашества о местности, где бьют источники сладкой воды, растут плоды удивительной, огромной величины... О, мечта вечно втянутого пустого желудка!)

В прошлом, и у соседей мы ничего не найдем, кроме поиска. И наша поездка — часть нашего поиска.

Поиск места, где «всегда хорошо». Где «блаженство неизменно». Ради этого стоит ждать, терпеть страдания (ради будущего: заглядывая в него через страдания и объясняя их так или иначе; «правдоподобность» доктрины, она же «истинность»; у нее нет критерия и не может быть; критерий, то есть мерка, масштаб, контроль, — этим терминам нет места в мечте. Они ее разрушают).

«Найти людей, которые знали то же, что и я».

Их оказалось немало в материалах Джеймса к «Разнообразие религиозного опыта» (1902).

Поистине разнообразие.

Удачно, что я написал «Обращение» («Огонь агнца») до прочтения этой книги: она меня бы расхолодила, отняла бы чувство необходимости сообщить нечто уникальное пережитое 1982-го. Может быть, подобное где-нибудь и с кем-нибудь происходит?

В Тезе, например. Но там уже нельзя приблизиться: слишком много стало людей, основатель оброс слоем работников. Структурой, начинающей отвердевать.

*Ватиканизация*, по слову аббата Пьера.

Свежесть откровения, события, полнота сока — а потом всё та же кора института.

Младенец — подросток — муж. Наконец, старик, кончающий свои дни в безвестности, усталости, равнодушии (к нему и своей собственной к миру).

В конце концов, жизнь коротка (и уже так трудна, уже повторяется), и если нас ждет вечность — что же нам так спешить и напрягаться? Придет час — встретим и Бога. А здесь... все эти человеческие представления о Нем.

Оставить социальное во всех проявлениях.

В том числе и религиозном: и тут то же, что повсюду: рождаются, женятся, умирают, хотят хорошего положения в обществе, имущества, богатства, власти. Впрочем, это делается с соблюдением известных правил, тут, может быть, меньше конвульсивности, жадности, потливости. И это хорошо.

Сонливость и отсутствие интереса: во время поста. В конце концов, ни писать, ни читать не получается. Потерянное ли это время? Ничего не произведено. Дрова поколоть не под силу.

Или это тоже не имеет Значения? Как и недописанный шедевр (иначе он был бы дописан), как великий ученый (иначе не было бы инвалида), как... Вероятно, всякий хорош на своем месте: монах в келье, новобрачные в постели, преступник на эшафоте.

Или за совершением преступления? Иначе ведь преступления не было бы?..

Мучительность мысли: не пора ли оставить и ее.

Впрочем, мой возраст уже имеет привилегию... (гм... предположим!) выбирать. Уже он не прикипает к идее, не овладевает мной идея к действию, уже я не хочу этого овладения. Тем не менее, это случается.

Господи, благослови. 31 августа 96.

Забыть обо всем начатом, о мыслях, показавшихся интересными.

Вот, ничего нет.

И ждать появления, прояснения.

Социальная жизнь... «вот, нас несколько». «Вот, нас много». Эти «многие» образуют единство, чувствуют свою принадлежность к «чему-то общему». Как если бы одна и та же мысль вошла во многие головы.

«Мысль» стоит над нами, словно невидимое облако, в котором погружены многие головы.

Отдельный человек наполняется силой ассамблеи. В другой среде он — посол множества.

Очевидно, это «позитивно», и ему нравится. Иначе как терпеть связанные с этим положением испытания? даже лишения, смерть?

Я зажат между Евангелием и реальностью.

Между двумя реальностями.

Даже оставленный Богом, я не могу Его оставить: мне некуда и не к кому идти.

Или нужно вырываться из этого «антропоморфизма», — из этих отражений меня самого, других, прошедших веков?

Из этих «хорошо» и «плохо», едва отделившихся от «приятно — неприятно», «вкусно — невкусно».

Как если бы мои попытки «подняться», «взлететь» наталкиваются на низкое медное небо. И я снова отброшен вниз, в горечь ничтожности «нелюбимого Богом».

Конечно, и в смирение тоже, в снисходительность ко всем другим, в милость к поверженным и немощным, в принятие всех и каждого.

И малюсенькой птичке, севшей поблизости, я говорю со слезами: «Птичка, птичка, пожалей меня».

А взлетев, я думаю о «судьбах» мира, о «судьбах» России и Франции, словно наклоняясь над снимком из космоса: вот и земной шар поместился в мою записную книжку.

Все та же гордость? Спипенная гордость дала новый побег? Возвышаясь «неправильно», я сам себя унижаю и причиняю тем самым себе страдание? Снова взять курс на самоунижение всегда и перед всеми?

Усталость 50-ти лет.

Повторяемость ситуаций, уже бывших и не приведших ни к чему «окончательному», ни к какому существенному «приобретению».

Человек приговорен к смерти. Но он этого не знает.

До определенного возраста.

Затем он начинает это подозревать.

Это и есть «изгнание из рая», которое нужно объяснить. Самим изгнанием объясняется труд жизни и груз ответственности.

О, Господи, склонись к печали моей: о Тебе, отошедшему, о моих детях, о печали дочери Марии, о печали сына Максима, о бедных в переходе метро, о роющемся в мусорном бачке, о боящихся ночи, о не могущих принять смерть.

Помедлим еще на этой земле.

Есть на ней спокойные уголки.

Спокойные дни.

Побудем немного времени в тишине.

Покой одиночества и взрывы встреч: принять и это течение так называемой жизни; это знание, подаренное старением: не я управляю ею, но она несет меня к смерти. Там, где я оставляю изношенное тело навсегда, как рваную обувь, как ветхую одежду.

Зачем убивать царей, когда можно просто переизбирать президентов.

Желание перемены: до середины жизни. У меня — до 45-ти лет. Теперь все меньше. Мотор общества — сорокалетние, тридцатилетние. Самые бурные эпохи — эпохи молодых руководителей. Им и жизнь не дорога, и все нипочем.

Из всякой жизни потомки выбирают какую-нибудь одну изюминку и говорят: вот это и был он. Его главное дело. Для этого он и жил. Но ведь столько разных дней и лет, полных и пустых! И как знать, что значит — пустой? Плод, висящий на ветке без заметных перемен, «теряет время», зрея?

Пришло время просто «висеть», принимая всякое стечение обстоятельств.

Приближаясь к тому дню, когда «посылается серп»,

Да что ж это такое, в конце концов, смерть?! Ну, почему нам ничего не дано знать о ней? Или мы знаем о ней все, что только можно, но надеемся еще на что-то?

Мы знаем собственную надежду о ней.

И это молчание. Только ветер в листве. Облачка. Голубое небо. Густая созревшая зелень деревьев. Уже нет веселых свет-



лых побегов. Свежесть сентябрьского утра. Привычная боль в сердце при мысли о дочери Марии: душа моя родная где-то там, в сиротском приюте, пленница своей инвалидности, социального страхования, родительского несогласия.

И когда молитвы о ней не достигали Никого, я еще ждал и надеялся. И ожидание истощено.

Я истощен. Моё истощено. Божественное Посещение в апреле 82-го истощено. Покрытый пеплом, инеем, сединой, я смотрю в себя, перед собой, «вперед» и «назад». «Бог есть Дух»: и Он не пришел на встречу Пятидесятницы 92-го года. Хуже того, даже «отошедший». Я почувствовал это, взобравшись утром на березу, чтобы нарезать ветвей для украшения церкви: «что-то отошло». Я не знал, что. Как обычно, я принес ветви; в церкви был священник, и он вдруг обрушился на меня с бранью: «Что ты натаскиваешь все эти ветки! Потом столько мороки, чтобы все это убрать!» Никогда так раньше он не говорил. Но в тот день «ушло». И вскоре я уже не ходил в эту церковь...

Я скользю по наклонной плоскости к горечи.

Не попробовать ли взойти к бодрости?

Разве я не знал мгновений гораздо более сильного страдания и печали, такого, что казалось, будто оно никогда не кончится. Что впереди — ещё более страшное, с чем уже никак не справиться... Но как поразительно молниеносно менялось все! Обстоятельства. Или мое отношение к ним. Бодрость и сила вливались в душу, — откуда, почему, кто? Или просто наступала усталость: больное теряло свою остроту.

Не приходила ли помощь в ответ на мое «не могу больше, Господи! ты видишь мое ничтожество».

«Устрой Сам, я не могу, я изнемог».

Проходило злое.

Порывы к небу получали поддержку.

Повергнув собственное тело на землю — в немощи и истощении — я делал из него ступеньку для души. Ну, чуть-чуть приподняться из пепла и праха! Из этого навоза детерминизма!

Упираясь ногами и руками! До боли в суставах!

Вот, теперь хорошо: вот так стой и неси.

Ты вызвался делать этот труд одиночества: что же оглядываться на помощников и помощниц? Везде и всюду — тоже труд, те же горести и муки. Ты и их знаешь. Там ужасы непостоянства, измены, предательства, коварства. Ты это испытал достаточно.

Останься там, где ты есть. В терпении. Помощь придет и продлит твой последний вздох на годы. Скоро конец и отдых: возвращение в дом. На родину по имени Вечность.

Возвращаясь к обыденному.

Пожив в одиночестве и приехав в город: поначалу вся та же безмятежность.

Намеки рекламных плакатов... женские лица... нарочито открытые или подчеркнутые детали одежды части женских тел (показать «ценное»...)

Женственность начинает пробивать себе дорогу. Новое впечатление сильнее предыдущего. Начинает усиливаться сексуальный (эротический, если предпочитаете) аспект впечатления. Внимание делается избирательным и склонно само искать свою пищу для просыпающегося желания плоти.

Вот и вся Ева (Хева), без всякой мифологии. «Жизнь» в переводе; продление рода, сопряженное с наслаждением. И что тут может человек? Забыть о сексе (делать вид, что он не существует): это тактика церкви и отчасти монашества; или «сублимировать»: перенаправить, канализировать энергию, обмануть половой инстинкт; наконец, изучать механизм желания, находить железы и гормоны, эти таинственные наркотики, впрыскиваемые в мозг и тело; иные смельчаки-сексологи идут на встречу проблеме во всех ее проявлениях, подобно тому, как Франклин изучал природу грозы, рискуя жизнью.

Могущественная «часть человека». Заблудившееся влечение ужасает разумное в нас, наслаждение ради наслаждения пугает. Множество резких поступков индивида вызвано тем, что в нужный момент облегчение не состоялось; причем таких

поступков, которые оборачиваются преступлениями, несчастьем и даже гибелью других людей.

Женственность (во многих женщинах и разлитая в социальной жизни и культуре) готовит дорогу одной-единственной, жене ли, любовнице, сожительнице. После ста женщин, обративших на себя внимание, встречается сто первая, присваивающая интимность. Случайно?..

Монашество пристально всматривалось в возникновение желания, чтобы его пресечь. Оно установило этапы: 1 помысел; 2 собеседование (с помыслом); 3 «приражение» (принятие); 4 согласие; действие («грех»).

Ныне говорят о гормоне, действующем через мозг, образ памяти.

Он несомненно навязанный (следовательно, враждебный в некоторых обстоятельствах, «дьявольский» в некоторых культурах). Бог отходит в этот момент и уступает место дьяволу: Матфей 18,7, ибо надобно придти соблазнам; Матфей 12,43, «когда нечистый дух выйдет из человека...» (последний пассаж выглядит вставкой, совсем не словами Иисуса).

Духовное насилие над человеком несомненно; я имею в виду слабо мотивированные или слишком импульсивные поступки, затем вызывающие у самого человека негативное отношение («раскаяние»).

Не замечательно ли, кстати, что «фиктивные», нереальные сны производят тем не менее реальное действие в половой сфере (извержение семени во сне)?

Оплодотворение открыто сравнительно недавно: 1853, Тюре; у животных: 1877, Фол. Гипофиз и его гормоны:

- острадиол, гормон женщины (греч. острус, течка);
- прогестерон, гормон матери (воздействующий на матку);
- андрестерон, мужской I, 1931 Бутенандт; 1937 Райхштайн;
- тестостерон, мужской II, 1935 Лакер.

Все гормоны на базе холестерина, которого очень много в организме.

Пилюли для предупреждения беременности: 1956 Пинкус.

Витамин Е (де Эванс) — его много в пшенице — усиливает выделение мужского гормона.

(забытое символическое и, м.б., культовое значение форм хлеба: батон, багет (франц. палка); круглые хлебы с отверстием: курон (франц. корона), баранка, бублик. Хлебные запасы в древнем Иерусалиме: хлебы с отверстиями, надевавшиеся на палки).

Маленькая попытка классификации в этой темной области успокаивает.

Как всякое «приведение в порядок».

Горделивость мысли: мы, философы, они — толпа, чернь; я — Сократ, а он — глупый.

Дельфийский оракул назвал его мудрейшим из людей.

Сократ, скромный, просто одетый, бедный («у него были интендантами знаменитые афиняне», — говорит Аристипп). Образ мудрейшего спокойного старца. Да еще и принявший смерть от сограждан...

Черты начинают прибавляться с возрастом, по мере чтения и рассеивания юношеского воспоминания-идола. Сократ любил танцевать... была и еще жена... да и сам он, бывало... и так далее. Уникальность его смерти под грозой: его учитель Анаксагор также умер по приговору суда.

За неправильное мнение о солнце. Ах, роковая планета, извините, звезда: вплоть до Галилея люди рисковали из-за нее жизнью. Теперь солнце классифицировано как «желтая карликовая звезда», и на этот раз обошлось без преследований.

Самоуверенность богословов вплоть до XX века. Смело организовывали крестовые походы, жгли на кострах (увы, были случаи). «Того хочет Бог!» Еще ныне возможно войти в это воодушевление, в этот поднимающий над землей восторг множества: «Dieu le veut!» В теле человечества возникают стремительные токи, льющиеся на землю кровью попавшихся на пути.

Что все это значит?

Какое я имею ко всему этому отношение?

## МОЛИТВА

Столько беспорядка из-за этой страшной, могущественной, дикой силы, выходящей из-под контроля! Убитые дети, половые болезни, наглая реклама, сеющая безумие и злую похоть... Приди на помощь Евангелию Своему... вспомни о Евангелии Твоем... Вспомни о людях, Господи.

Пусть желающие мирной жизни воспользуются открытиями науки: пусть она сделает здесь шаг, подобный открытию атомной энергии. Она освободит нас — тех, кто желает — от гнета Тобой созданного тела. Сколько уйдет преступного, злого, надоевшего! Не все ли зло уйдет с земли? Из нас, Твоего храма? Есть время совокупления и рождения детей; но дай свободу и одиночкам, и перешедшим возраст, и еще не достигшим его.

Зачем им болезнь похоти? Дай нам Галилея плоти. Дай нам знать, как направлять эту неистовую энергию. Ибо уже никто не может сказать ничего дельного: ни престарелые кардиналы, ни молодые священники, ни монахи, ни отцы церкви. Остались глупые споры о презервативах, о морали, обо всем том, что — потом, когда желание уже возникло и осуществилось в действиях.

Пошли пророка Нафанаила еще не согрешившему Давиду.

Пусть придет пророк... а не еще один окончивший семинарию, услышавший от соседей неприятную новость и пошедший обличать...

Вспомни, что мы названы Твоими детьми... еще надеющимися, что это так и есть...

Все-таки наука XX века очень отрезвила человеческую мысль. По крайней мере, от старого вина. Другое дело, что она же предложила и новый хмельной напиток, и уже обозначился вопрос, лучше ли он прежнего, — то есть, безопаснее ли для человека.

Уже наука касается области религии: она предлагает фундаментальные гипотезы, — о возникновении мира, о бытии (чаще — о небытии) души и духовного мира. Она нуждается в образах, чтобы интегрально схватить, обозреть, «увидеть» математическую идею (кошка Шредингера, червь и черная дыра Уилера, поезда Эйнштейна). Интегральный образ есть икона.

Физика, трудящаяся в рамках христианской культуры, должна была пройти по внутренней кривой замкнутой сферы и придти к истокам христианской религии, дав свое имя тому же событию: биг бэнг. Чем он лучше «тоху вебоху»... Детское слово: бэнг! из комиксов 30-х годов. Затем прибавился «биг»: бывшие дети стали взрослыми и учеными.

А первобытный человек в шкурах? Это же Иоанн Креститель средневековой иконографии.

Павел Апостол говорит о «невыразимости» слов, которые он слышал на «третьем небе».

Не достигла ли предела выразимости своего языка и математика? Он ведь тоже человеческий, и у него есть свои пределы. О, как вырваться из этой понятийной немоты? преодолеть? Подтянуться еще чуточку, ну, чуть-чуть, и уж там-то, тогда-то!..

Восторг и восхищение перед стройностью вывода. Совершенство. Полная непротиворечивость (внутри системы): наконец-то душа может отдохнуть от камушков в сапоге, от повязки на глазах, от терний венка...

Ах, нет, не получается... опять болит голова, лицо, ладони. Опять все болит.

Иисус — в первом веке, а Христос — это мы.

Все-таки в дарвиновской эволюции чего-то не хватает, в ней есть что-то приземленное, унылое, скучное. «Борьба за существование». «Сохранение вида».

«Борьба за выживание»: само стремление к этой борьбе мыслится как присущее природе. На каком основании? Если

же оно привнесено извне, то это — еще один вариант Творения (и так понятый Шарденом). Опять где-то скрывающийся Бог.

Только-то Бога и хватило, чтобы сообщить материи «борьбу за выживание». Маловато для Бога. Но вполне достаточно для построения теории.

Если приблизить эту теорию к такой странности, как *гимен* (девственная плева) человека. У животных ее нет (о чем не знают богословы, но знали еврейские пастухи-патриархи). Она была освоена христианством. По-видимому, иудаизм и греческое язычество не находили ей объяснения: «зачем она? печать на теле? чтобы гарантировать от покушений? от банального зачатия?»

Если, тем не менее, зачатие произошло, то божественным способом. Он есть Дух, Он проникает повсюду, ничего не повреждал (как воскресший Иисус оказывается посреди учеников в запертой комнате). Между прочим, апокриф (поздний) предостерегает от всяких проверок *плевы* после родов: одна из двух повивальных бабок, Саломия, протянула руку проверить — и рука ее одеревенела!

Страсть зачатия, мука рождения и скорбь смерти, — вот три тайны, освоенные (не сказать — объясненные, это другое) христианством. Исключительность Христа как Божьего Сына: идея человека во всей полноте (и абстрактности).

Приближаясь к религиозному зданию: подойти ли к нему с «критикой»? Столько несообразного, нелогичного! Так хочется начать исправлять, разрушать, подметать! Этим много занимался XIX век.

Разрушая это здание — разрушаешь его прежде всего в себе. Затем — в близких, поверивших тебе, опирающихся на твою уверенность (самоуверенность), держащихся за нее. Ты стал для них «зданием».

Но само здание останется таким, каким ты его застал. Твой век. Оно — «объективно», дано.

И, прежде чем разрушать, осторожно проверить, есть ли тебе что возвести на месте разрушенного. Во-первых, что оста-

нется, если бы не стало христианства?.. Наука... это кое-что, но... она не осваивает важнейшего — твоей личной смерти. Она обходит смерть молчанием; а перед этой проблемой ты однажды окажешься один на один. Врачи будут отводить глаза и произносить общие фразы. Родственники будут жалеть и плакать. Друзья — вздыхать и утешать, говоря, что и они не минуют того же...

Это массивное древнее здание, местами в руинах, кое-где починенное, где-то совсем новенькое, — в отдельной жизни человека оказывается крайне хрупкой и деликатной постройкой.

Думая о занятиях Даниила. О том, что сравнительное изучение религий знает свои радости открытий и довольство освоения материала.

Сравнение дает увидеть общее и параллели, зовет конструировать некую общую религию, религию-тип, «эсперанто веры». У нее будут свои приверженцы: всякая постройка — храм, и во всякий храм Дух посылает поклоняющихся. Тут, однако, та трудность (и, м.б., опасность), что исследователь смотрит на предметы сравнения снаружи, снаружи всех вер, никакую не делая своей. Радости исследования придут, но радость пребывания в доме веры может миновать.

Изучение подобно сравнению разных сосудов для питья, сопоставлению многих замечательных домов; но не дано ни напиться в час мучительной жажды, ни спрятаться от непогоды несчастья и страха смерти. А это дается входящему в дом веры как в свой собственный, как в единственный, превосходный, уже не допускающий сравнений (или делающий их ненужными). Ибо «блаженны нищие духом».

Это наблюдение личного свойства. Чем глубже и подробнее я изучал веры (даже в рамках одного христианства и сопряженных с ним иудаизма и мусульманства, а также — отчасти — греческой философии и отпочкований от схоластики), тем меньше я жил интенсивность веры, чувство предстояния перед Богом и Его присутствия. Тут парадокс, о котором лучше знать, чтобы, исследуя и надеясь приблизиться к Нему (и не это ли мотив и надежда наших усилий), не наскочить на риф и на мель.



Однажды я иначе прочитал притчу о Десяти девах (Мат.25,1-13). Я подумал, что здесь спрятано иносказание, и примирительное, о смерти человека (хотя мне и попадался рассказ путешественника в Индию, опознавшего в евангельской притче индийский брачный обычай).

В начале моей догадки была мысль Диадокха Фотийского о «духовных чувствах».

Не странно ли присутствие на браке 10 дев. Быть может, деление по пяти указывает на органы чувств человека? И этих людей два: один приготовившийся к встрече с Богом, а другой нет. Очевидно, к реальной встрече, то есть к смерти. Духовный человек — иногда религиозный — умирает и не «гаснет» по дороге, переходит эту «холодную темную зону»; а плотский остается перед запертыми дверьми. И ясно, что духовный не может поделиться своим «маслом» для светильника: это дело всей жизни.

Дух отвечает неразумным (плотским) чувствам: «не знаю вас» (как они не знают Его).

Можно — и нужно — понять эту притчу как рассказ о смерти одного человека, имеющего чувства для жизни в материальном мире и вторые, параллельные им духовные, не обнаруживающие себя (кроме крайне редких случаев, как и носимое нами и не обнаруживаемое духовное тело, известное ап. Павлу). В день смерти наступает разделение: плоть и ее пять чувств остаются за «дверью» (это образ смерти и встречи с Богом), остаются «здесь», это покойник для оплакивания. А пять разумных (духовных) дев — это пять чувств духовного тела, приходящие на пир вечной жизни.

Незыблемость повторяемости.

Совершить те же известные заранее жесты — и нисходит мир.

Литургичность человека: все вместе делают одно и то же. Или хотя бы группами. Группками. Даже вдвоем. А если один, одиночка... круг его действий нам покажется странным, иногда неудобным, для окружающих, даже задевающим их, морально или физически; он получает имя болезни, невроза, комплекса. «Комплекс Зигмунда», например, или, что то же, комплекс Эдипа.

И в самом деле, «нечто» вставлено в человека. Как батарейка в игрушку. «Жизненная энергия», говорят; вставлена «точка излучения» энергии жизни. Энергия проливается из нее во всех направлениях. И иногда вдруг сильнейшим пучком бьет в одну сторону, вниз или вверх, в сторону по горизонтали. Как если бы все каналы закрылись, кроме одного, — и он-то и произведет самый значительный, самый заметный результат. Вместо семьи, детей, огорода, — теория, прозрение, труд. Или что-нибудь страшное: неуловимый преступник, неукротимый лидер тоталитарной партии, легендарный вор. (Президент, мстящий войнами за позор разоблачения своей интимной жизни).

Сознательное перераспределение этой энергии не удается. Следование монашеской практике, например, приводит к ослаблению движений плоти, это правда (но не всегда). Однако одновременно — и всяких других движений, будь то физический труд или умственные занятия. Интересное делается не интересным; исчезают не только греховные побуждения, но и вообще всякие. Вся гамма.

«Ничего не нужно».

Состояние нейтрального покоя.

Задача в том, чтобы управлять этой энергией.

Говорят, что атомной уже немного управляют.

Само открытие ее осуществилось благодаря крайней целенаправленности жизненной энергии открывателей. То есть энергии моей собственной жизни, энергии моей души. Всего моего существа, если согласимся, что двигатель писания картины, размышления и детопроизводства — один и тот же, но в разном виде...

Впрочем, животные вносят неясность в эту схему: они тоже воспроизводят, но...

Цикличное воспроизводство, подобно листовному покрову и цветению растений.

Человек, хотя и поддается влиянию времен года, однако его «жизненность» почти неизменна.

И возраст: загадочно ослабление/исчезновение животного-производительной деятельности.

Господи, пошли нам Галилея тайны энергии жизни.

Исследователь любит красоту сосудов, но может стать-ся, что ему не будет даровано воспользоваться ни одним из них по назначению: вкусить амброзии веры. Это нечто большее, чем мнения древности; вера содержит знание особого рода, знание о бессмертии, достойное по своей недоступности тайны жизни.

Есть позитивное в том, чтобы ограничиться единственной религией.

Это камень, в отличие от песка множественности, на котором в притче строят «дом».

И тут будут новые трудности, ибо нет всецело удобного положения, чтобы наблюдать преходящий мир. Религия всегда институт, ее обслуживает группа профессионалов, образующих неизбежно и закономерно социальную структуру, они несут материально совокупность известных взглядов и привычек ремесла. Прежде всего литургических: «как полагается извещать людей о Боге и о Его пожеланиях».

Есть «корпус Кристи» (тело Христово) и «корпус арс» (тело ремесла, корпорация). Ясно, что это не одно и то же; они пересекаются, впрочем, то есть, бывают моменты и точки, где они «одно и то же». Наша человеческая потребность предстояния перед Высшим (например, мысль о посмертии), иногда достигающая интенсивности настоятельности, наша надежда на получение небесной пищи («ответа на экзистенциальный вопрос») могут наткнуться на социально-профессиональный аспект. Моя трепещущая о небесном душа привела к священнику, — а он пьет чай с вареньем перед телевизором. Легко упасть в иллюзию горечи.

Вероятно, более безопасным (следовательно, полезным и даже врачующим в духовном отношении) является время литургии, понятой, как всеобщая молитва, причем литургии праздничной, чтобы избежать еженедельной привычки хождения в церковь и встречи знакомых за чаем, избежать человеческого «клуба». Праздники духа редки.

Есть проблема «самости» члена церкви и верующего вообще, даже просто «мыслящего» и «философствующего»: пройти — пробиться — «через себя» — свои представления и тай-

ные пожелания — к настоящему знанию о Духе, очищенному от сиюминутности и от потребности в «материнской любви» (родительской).

Как быть... не наложить ли мозаику своего Я на главный текст-парадигму нашей (западной) культуры, Новый Завет. Библию вообще, коль скоро жизнь нашей души восходит в своих основных линиях к иудео-христианству и просто иудаизму (и его позднейшему ответвлению, исламу). Дать своей душе выбрать «самое близкое» в священном тексте, и так попробовать определить свой «архетип». Даже не в понятиях и словах, а «экзистенциально», ожидал, на какой эпизод отзовется «мое существо». «Все мое существо».

В русском языке «Я» среднего рода; оно лишено характеристик пола; различие между полами здесь определено языком как несущественное.

Литургия: «общая работа», если перевести. Бывавший в Греции вздрогнет перед обмирщением этого торжественного слова; на дверях грязной лавки или булочной он прочтет: *орас литургиас* (часы работы).

Неплохо немножко простоты, чтобы спастись от опустевшей торжественности ритуала.

Впрочем, в этом свой смысл. Церковная литургия дает отдых от «самости»: прекращает на время ее активность.

Церковное собрание (идеальное) приглашает входящего оставить всякую мысль о соревновании с другими; все общественные слои смещены здесь со своих мест и смешаны в зале, в нефе храма, в общем «корабле» собора. Входящий не будет соревноваться с капитаном — с духовенством — хотя бы потому, что священник одет специально и выделен, значит, и отделен: его главенство в начинающемся действе-спектакле литургии несомненно.

Соревноваться с духовенством не приходится и потому, что у него есть свой начальник, — самый ход спектакля-литургии, известный заранее и неизменный, вплоть до мелочей. Верую-

щий скажет еще, что настоящий глава события — Бог. И будет прав, как будет прав и тот, кто подумает о невидимом руководителе и дирижере этого спектакля, все время одного и того же, нашедшего свои формы, стремящийся сохранить абсолютную неизменность (даже, как ни парадоксально, у крайне подвижных частей христианства, например, пятидесятников: и у них сложилась «литургическая последовательность», где перемены в конце концов снова образуют контуры повторяемости; повторяемость и есть слово, обозначающее глубинную потребность религиозного человека, поклоняющегося человека. Ритуал — это остановка отдыха, а не невроз, как хотел того фрейдизм в начале века, соревнуясь с христианством и предлагая себя в качестве новой религии).

Вошедший в собрание видит незнакомых людей, хотя бы нескольких; но и знакомых, по крайней мере, священника. Эта анонимность позволяет легко войти и быть «у себя», находясь вместе: условия формирования группы соблюдены. Если собрание происходит в помещении недостаточно больших размеров и людей мало, то есть риск противопоставления «группы» и «новичка».

«Самость» сразу не исчезает. Она пытается «присвоить» ситуацию, сохранить «высокое» положение, какое у нее только что было на улице («толпа и все эти») и в обычной мирской повседневности «стадиона жизни» с его бесконечными чемпионатами на «заметность» и «выдвижение».

Самость пытается критиковать: облик соседей, неумелое пение, формальность священников. Впрочем, критика, не имеющая слушателей — потенциальных сторонников — ослабевает и стирается течением событий литургии, содержанием действий участников, поскольку центральное место в ней занимает рассказ о самопожертвовании Христа Иисуса, достаточно знаменитого и известного (по крайней мере, нам) — и вместе с тем, казненного: умершего так, как наша самость совсем не желает. Самости приходится замолчать.

Начинается отдых психеи: она слагает с себя всякую ответственность за происходящее, от нее совершенно независимое.

Можно только в него «включиться», присоединить свое ожидание к ожиданиям других, соединиться в ожидании всех. И воспользоваться общим подъемом! Оставив все попытки «приподняться на цыпочках» над всеми, душа пересаживается на общую подъемную машину: к Богу, к небу. «К чему-то такому», ради чего люди и встречаются в литургической ассамблее. Это — социальное веры, религии, церкви: прикосновение и сопереживание «силы множества», составившейся из движений многих душ.

Некоторое время после литургии память об отдыхе сохраняется и еще излучает свой мир, питая ностальгию по происшедшему. Обычно спустя неделю человек возвращается в тот же литургический климат богослужения.

Послелитургическая «мягкость психеи» легко констатируется человеком; расправленность складок души, заполнение ее выемок и ран.

В условиях советского атеизма ассамблея сузилась до кружка посвященных, готовых на все; до ядра, в которое войти было просто невозможно. Эпоха самосохранения, консервирования. Эпоха крайней плотности и изоляции.

Как и сейчас, и всегда, душа нуждается в отдыхе от само-сти и ответственности. В моменте самозабвения (вот нужное слово). Такой опыт предлагают ныне футбольный матч и популярная телепередача; время ассоциирования себя с победителем и президентом. Такой отдых иллюзорен (недолговечен), он откачивает накопившуюся энергию к борьбе, совершенно не претендуя на реформирование души, на метанойю, на умную реконструкцию психеи, — на её, в конечном счете, освобождение от силовых линий мира.

Лет через сто накопится множество поразительных и интересных открытий, о которых я сегодня ничего не знаю. Мое невежество рядом со школьниками 2026 года несомненно (мне было б 81...) И что же? Почему-то меня это не беспокоит.

Отчего же меня беспокоило мое невежество в годы юности? Было, конечно, просто мое собственное любопытство: а

как, а что... Стремление подняться и повиснуть «над», чтобы охватить одним взглядом панораму всего знания человечества! И все станет ясно!

Было в этом запыхивающемся изучении всего на свете что-то от соревнования со сверстниками.

И еще — заполнить пустоты, доставшиеся от родственников и родителей; больше того: заполнить пустоту исчезнувшего отца.

После десятилетий усилий столь многое осталось неизвестным. И есть еще проблески и вспышки интереса к предметам и странам, но пришла тем временем беззубость, и вкус при- тупился.

Взгляд все чаще поворачивается куда-то «внутри»,

Все чаще сонливость и равнодушие: «это я уже видел...» «это знаю...» «этого не знаю, но похоже, что и тут ничего радикально принципиально нового нет».

Экклезиаст пришел на смену завоеваниям Давида.

Медленно. Медленно.

Глядя перед собой. Закрыв глаза. Глядя внутрь черепной коробки».

В сердце.

Моя предстоящая смерть: какое чудо! какое радикальное, необратимое событие!

Открывается многоэтажность мира.

С программы «видимый плотский мир» меня переключают на «мир иной».

Один из «иных»?

Проколы, прорывы, вестники из иных миров: как мало! Почти ничего, одни призывы морального свойства.

Мы все еще живем на плоской земле, стоящей на трех китах. В духовном отношении — это эмблема нашего знания о потустороннем.

О, небо, откройся, пожалуйста!

О, Боже, объясни Свое Молчание.

Мало звезд, галактик и их умершего света.

Нужен Ты и Твое.

Провести оставшиеся дни жизни: сидя и глядя прямо перед собой.

В Лионе, в 88-89 годах, после возвращения из Святой Земли: вот-вот, буквально завтра, а может быть, и сегодня вечером: Бог откроется, выйдет навстречу, и все станет ясно. Поэтому холод и голод не страшны, ни опасливые взгляды современников на мою одежду, ни высокомерие их, ни торопливость. «Вы понимаете, что вам говорят? Вы умеете читать? Писать?» — эти вопросы меня радовали: о, вот я достиг ничтожности, малости, отверженности! Быть может, я достоин теперь Посещения? Повторения бывшего в 82-м?..

Никогда не достигавшая подобной степени интенсивность и напряженность ожидания, граничившего с уверенностью.

Но, кажется, это было завершение цикла, этапа, Главы жизненной книги.

В Шалоне-на-Соне я вдруг увидел толстый том «Средневековой энциклопедии» Виоле-ле-Дюка, переиздание его «Продуманного словаря». Все во мне всколыхнулось. И я попросил продавщицу мне его показать. Поколебавшись — ну, что за прихоть у этого бомжа с.д.ф.? И книга не из дешевых! — она все-таки мне ее принесла. Ах, эти сладчайшие четверть часа свиданья с Европой — ушедшей, умершей, похищенной, моей! Из картонки и сырости моей каждодневности я попал в сухой и теплый дворец с улыбающимися друзьями! Но вскоре стал чувствовать, что пора уходить: я жил в другом измерении, и ласка Бога была сильнее.

Все-таки жалко было расстаться с книгой. Медленно я ее отдавал, двумя руками. И еще не спешил уходить.

— Что, не подошла? — насмешливо спросила продавщица.

Это было в тот год, когда я едва не замерз между Додем и Безансоном.

В Лионе сложились аскетические «сгущения»: упражнения-прыжки насилия над своей природой. Я от них многого ждал.



«Мертвый фараон» (медитация с «фараоном» самости, тщеславия, гордости).

«Осажденный Иерусалим» (оборона от сильных искушений; цикл лишения пищи и питья).

«Трон Соломона» (т.е. «восхождение к миру», шесть ступеней между шестью львами по обе стороны; «число зверя» и одоление его; зверь понят как импульсивность секса).

«Огрызок яблока» (самое трудное, удавшееся только однажды в Коринфе, в ноябре 87-го: поднять надкушенное яблоко на виду у молодой женщины и есть его; яблоко полагалось заранее на мостовой).

Упражнения на обнаружение в себе мозаики социальных ролей. Как иначе познать самого себя?

Даже и доставить вопрос: кто я?

Начало самосознания.

Некоторые тоскуют об утерянном рае, переживаемом как время и место безответственности (свободы). Кажется справедливым мнение, что это ностальгия по животному прошлому, во всяком случае, по безответственности детства.

Но вот, оказывается, безответственность сохраняется в форме «социальных ролей». Жизнь человека расписана обществом на каждый день, на всю жизнь и освящена; роль инстинкта играют обычая: быть как все. Они не мешают и не осознаются, если человек не пытается выйти из их замкнутого пространства. (А если пытается, то, как правило, бессознательно, повинуясь какому-то индивидуальному императиву, классифицируемому обычно как «асоциальное поведение» или «болезнь»). Тогда обычаи начинают сдерживать человека, и он обнаруживает, что эта первая «мягкая» стена окружена второй, твердой, — стеной закона.

А зачем мне спешить «познать самого себя»?

Можно жить просто, почти бездумно, не имея внутри столновений мыслей и впечатлений: все так или иначе пройдет,

все пути ведут к смерти, великой таинственной, такой индивидуальной — и всеобщей Двери.

Спор об универсалиях и ноуменах! Вот его практическое, всех примиряющее разрешение: Смерть, Исход.

«Быть как все».

Эта печаль монаха Жана-Поля, вдруг увидевшего свою обособленность (несмотря на братии вокруг) и захотевшего опять «ко всем» (1992? в год паломничества в Лизье и развода). Сорока человек монастыря мало. Нужны братья по всей стране, по всей земле...

Его рассказ о дочери де Голля Анне: инвалид от рождения, она умерла молодой. После похорон генерал сказал супруге на кладбище: «Теперь она как все». «Comme tout le monde».

Кажется, Богу (?) не понравилось мое сочувствие этому стремлению, и спустя несколько дней, в Кергонане послышалось эхо.

Знакомая монахиня в миру, *religieuse*, не пустила меня дальше порога:

— Ну почему, почему вы не как все люди!

Эти слова меня так удивили, что я забыл попросить у нее свежей воды («если дадите воды во имя Мое...»)

Впрочем, я прекрасно выпался на пустынной и чистенькой стоянке при местном супермаркете. Асфальт еще хранил тепло солнечного дня.

Забвение о себе самом: на время, на длительное время, навсегда. Последнее, по-видимому, называется святостью.

Отказаться на время от привычного круга мыслей.

Войти в совместное созерцание последовательности действий отделенных от зрителей лиц, другими словами, богослужебного действия.

Коллективная созерцательная сосредоточенность: это состояние плодоносит чувством принадлежности к «сильному», «неодолимому».

Собирание многих вокруг одного: усилие народа, знающего положительность единобожия,

В начальный период церкви эта литургия («общая работа») осуществляется в малых собраниях, где все знакомы между собой: начальный теплый период. Интимный. Павел имеет ремесло «делателя палаток», он «скинипитон», — мы слышим знакомое слово «скиния», сборный храм, который носили за собой евреи исхода. Она разделилась теперь на множество маленьких скиний (по образцу синагог).

Интимность общения веры воскресает в монастыре и в общинах, где встречаются и женятся молодые; дети растут в вере родителей. Начало традиции.

«Вера отцов». По мере прохождения лет «вера отцов» все меньше напоминает «веру письменного источника», это естественно: множество точек отсчета тому причиной, календарей и авторитетов. Возникает «роль единства», ее играет видимый персонаж, папа; церковь — будничная, отягощенная привычками местностей, стареет и исчезает (если не у нас, то у соседей).

Приступы глухоты: плохо слышу правым ухом.

«Начались болезни, в конце концов сведшие его в гроб». Как если бы человек умирал от болезней: если бы не болезнь, то... Что — то? Гм.

Признать, наконец, свою полную незначительность.

Пребывать в благодущии при полной незначительности.

Останавливается течение жизни. Замедляется.

Мои болезни — мои, я их никому не отдам, тем более не отдам врачам с их скучным лечением.

Столько людей, которых я могу пригласить, позвать, говорить с ними, — и нам будет интересно,

Как глупо хотеть приглашений, мнений, похвал, скрываемых зевков, усталости...

«Блаженнее давать, нежели принимать», — говорит Павел, ссылаясь на Иисуса.

«Зовите тех, кто не может вам ответить тем же».

Впрочем, иногда бывало — и расхолаживало — что мое желание быть по-евангельски полезным понималось как желание войти в «орбиту», — как намерение поступить в личные слуги и вообще в рабы. И как тут быть... ну, просто отойти, дать времени и жизни смирить вообразивших себя господами и солнцами.

Кое-что в обычаях православной церкви себя изжило. И зачем ей парафиновые свечи, окрашенные «под воск» (у греков этого нет, они самостоятельнее русских); и разноцветные стеклышки на митрах и ризах, полированные под «драгоценные камни». Тарифы... мама пишет из Москвы, что помянула умерших родственников «на 6 тысяч рублей». Спаси нас, Господи, от Твоих служителей... Твоих ли... Как-то все неясно.

Все-таки странно, что земной жизни — краткой, хаотической, темной, измученной страстями тела, — придается такое значение.

Вероятно, потому, что смерти — не придается никакого, или очень малое. Смерть — словно несчастный случай, который, может быть, со мной и не произойдет.

Между тем, памятосмертие — один из столпов раннего монашества.

Все строится вокруг нее и на ней.

Ныне все строится вокруг профессиональной деятельности. В том ч. церковной. Все как-то устраиваются: надо как-то жить.

Впрочем, из моих сетований ничего нельзя извлечь. Даже и говорить об этом не стоит: вдруг горькие речи отнимут у кого-нибудь последнюю надежду. Кроме того, есть случаи жертвенной священнической жизни, оправдывающие весь институт социальный. Если же неизвестно, как быть с бушующей сексуальностью, иногда толкающей и клириков на поступки (поговорите с ними о «свободе выбора» вы, женатые профессора)... если столь многое в Библии приходится обходить молчанием (непонятное), то ничего не поделаешь.

Например, Лука, 11, 24-26: что это значит? Почему?

Господи, я устал от хаоса жизни и плотскости.  
Выведи меня отсюда, даруй мне смерть.  
Уже пора: уже нельзя ли отпустить меня отсюда.  
Уже все более или менее ясно, уже скучно, уже ни к чему  
все это.

И все-таки вглядываюсь в такую сложную кривую моей жизни: жизни индивида атома, к которому были приложены мощные страшные непонятные силы...

Холодное свежее небо осени. Воздух. Желтая листва. Ожидание.

Непрестанное ожидание.

Приблизительно в одно время люди занялись расщеплением и того, и другого: и а-тома, и ин-дивида. И отчасти преуспели.

Книга Франка об Эйнштейне. Всякая теория в любой области знания и деятельности, — это поиск и нахождение неизменной, константы; и конструирование вокруг нее, стремящееся охватить все.

Псевдоконстанты (частичные, временные, гипотезы) тоже полезны: календарь, например, более или менее «точный» сегодня, уходящий тем не менее в туманное прошлое, где счет на дни и годы (и споры вокруг способов счета) постепенно сменяется счетом на эры и миллионы лет.

Чрезмерно определенные границы делают коммуникацию затруднительной (вчера Гзавье Римо, из лекции о. Ковальского в Школе Нотр-Дам).

Божественная нежнейшая синева за тонкой облачной вуалью: пребывать там.

Социальное иногда очень утомляет.

Столь многое и многие замолкли во мне: ничто не отзывается на имена. Умерло старое, а подобное новое не пришло на смену. Следует ли ждать радикально нового? И что это, если не смерть?

Выравнивание провалов социальной ткани: прогнилов.

Да, лопата в руках дьявола: вот жизнь вверх и вниз, в криках радости и удовольствий, в плаче и слезах. И столько тысяч лет борьбы с хаосом жизни мира и человека; и верно, хаос до неба не достаёт. (До высокого неба-неба; у греков небо было твердым зеркальным).

Если бы возможен был ныне цельный — а не просто энциклопедический — взгляд на мир, то, может быть, обнаружили бы константные перемен человеческого знания: может быть, они *одни и те же* во всех областях.

Иерархия: лестница душевных состояний, более или менее длительных (ступени к трону Соломона). Поиск жизни за слоем «природы», «физических явлений»: эта жизнь там и есть Бог. Возможен прямой контакт с ним. И, кроме того и прежде всего, опыт Бога превосходит всякий другой человеческий опыт: он чудесен, великолепен, восхитителен. *Радикален.*

Если Бог всего-навсего «настрой души» (как я думал в «Никто», в 65-66 годах), то не уместно ли опасаться изменений настроения. И как тогда быть? Где взять Настройщика?

Чувственность — молодости.

Размышление — зрелости.

Созерцание — старости.

Юность смешивает все три в порывах освоения и приобретения мира и экспансии Я. Зрелость начинает замечать пределы своих возможностей и потребностей. Старость уже ничего не может, а только смотрит, видит и кивает головой.

Предсмертная фраза героя в «Никто» (65-66): «говорить не смейте прежде веры».

Впоследствии я часто над ней размышлял: почему — не сметь? прежде веры — во что?

Её я написал в безверии: почему написал, с какой стати?

И вычеркнуть её было нельзя: не позволяла интуиция, утверждавшая, что эта фраза — точная и на своем месте.

«Говорить не смейте прежде веры...»

А я говорил, говорил, писал, публиковал...

В 82-м — в год поразительных событий «Обращения» — меня охватил ужас перед написанным и сказанным.

Даже самые продуманные в литературном отношении вещи предстали жесткими металлическими конструкциями без признаков жизни.

«Бряцающей медью».

И спустя время после ужасания медленно начала складываться догадка о произведении как о растущем живом организме.

Вот неизменное: круг природы, круг года, круг жизни. Круг.

А сегодня еще и тихий осенний дождь (17 октября 96). Еще слышен огонь в печи. Тяжелая оранжевая муха, вероятно, цикада, ищет себе норку на зиму.

Нигде никого.

Безмолвие внутри.

Ни образов, ни воспоминаний, ни увлекательных мыслей.

Можно ли построить из этого что-нибудь.

Нужно ли?

Обычно строят из мыслей прошлых поколений, подхватывая, увлекаясь ими, радуясь родственности: и добавляя к ним повороты своей тропинки рассуждений.

Никуда, в общем-то, не приводящей.

Но всегда кажется, что вот-вот... вот еще за этим поворотом... откроется: понимание всего. ВСЕГО. Бог ждет нас там — не Бог мечты, не зеркало лучшей (и улучшенной) части моего «я», а настоящий Бог — Ты.

Редкие восклицания такой встречи, доносящиеся то из одного столетия, то из другого, и из разных стран, и из разных цивилизаций.

И сам я восклицал с 1982 по 92-й: десять лет памяти о мгновении апрельской Встречи 82-го. Великое «я Люблю Его Любовью!»

Если б это повторилось, то я замер бы на месте и не шевелился бы остаток жизни.

А тогда я ходил, рассказывал, убеждал. Впрочем, может быть, кому-нибудь это пригодилось. Немного удивительно, что все слушатели об этом событии разошлись. Возрастное сильнее Откровения? Или через посредство моих слов оно ни в кого не проникло? Или?..

Неторопливый осенний дождь.

Легкая сонливость.

Изменившиеся планы: я собирался пойти в прачечную, в центр ближайшего городка Ганьи. Под дождем не очень удобно, а теперь не очень и нужно: в бочке водосборника накопилось уже достаточно воды, чтобы постирать рубашку на месте.

Столь многое можно помыслить. Столь мало можно увидеть.

Удивительно, что для Платона и многих «помыслить» было не слабее, чем «увидеть». Вероятно, интенсивность и наслаждение «мыслью» были больше «зрения». Мне ближе Иов: о Тебе я слышал, а теперь вижу лицом к лицу. И Павел говорит, вероятно, в том же смысле.

Всплеск пифагорейства новой физики: значит ли, что «число в основании вещей»? На сегодняшний день, по крайней мере. В конце концов, нынешнее число — это всегда слово.

Но уже не хочется особенно систематичности, последовательности. Систем уже столько! От которых для моего сознания уцелело несколько идей, и не всегда самых «главных». Бесчисленные параграфы и подразделы исчезли в забвении лет.

Впрочем, расхолаживает и постоянная обновляемость постулатов и правил построения. История философии немного похожа на топтание на месте, причем в сторону смерти правила игры смотреть не разрешают. И это называется «с точки зрения вечности».

Без минимума знания о посмертии всякая система философии и теологии не будет полна. И вообще всякая «наука».



Данные традиционной теологии не могут быть освоены современным познающим и систематизирующим сознанием, воспитанным наукой и ее методами за последние два столетия. Многие не выдержало сопоставлений критики, больше того, уже просто не принимается во внимание, словно сказочное и мифическое: инородный материал.

Мы живем внутри «начала и конца», внутри какого-то календаря. Радикальная новизна мыслится вне этих границ.

17 октября 96, между 14 и 15 часами: поджог пещеры. Сгорели фотоархивы 80 годов, часть переписки, латинская пишущая машинка. Рубашка, в которой я был крещен в 82-м (и в которой должен был быть похоронен).

Шок.

Идя за грибами (много белых навозников), я встретил подростков, мальчиков с девочками, они шли в направлении Большого входа в подземные галереи, давно заброшенные, еще с остатками шпал и подъездных путей. Девочки, увидев меня, застеснялись. Я оглянулся: они стояли на дороге.

Вероятно, они передумали и вернулись в город. Мальчики, досадуя на неожиданную помеху, зашли ко мне и бросили горящие факелы. А заодно подожгли и поленицу при входе. В пещере загорелся мой «кабинет», устроенный на узкой террасе вблизи занавеса из полиэтилена: тут светлее, чем внизу. И теплее: рядом проходит десятиметровая вытяжная труба, и тепло еще поднимается от печи.

Стол и бумаги загорелись, дым наполнил пещеру и задушил огонь.

Зрелость возраста: иная композиция мыслимого, «материала»: торение тропинки к интуитивно постигаемому, уже «данному» как внутренняя уверенность.

Прокладывание дорожки к этой интуитивной гипотезе — чтобы пригласить и других проделать этот же путь — и «прийти ко мне». Ко мне — хозяину этого дома: желание иметь домочадцев и слуг, творение «социального» вокруг себя? Чтобы

получить внимание и любовь — и что может быть лучше этой пищи? Только сам Бог.

Придти к такому хозяину, конечно, отдых. Но и конец пути. Тупик: опять человеческое и вокруг человека.

Пройти мимо, насквозь, не задержаться на средствах, — вот, вероятно, смысл отсутствия всякой «оригинальности» у церковного, — от писания икон через трафареты до окаменевшего текста и ритуала. При условии, конечно, что тяготение к Богу не прекращается. При напряженном ожидании Его. Тут риск очевиден: разделение деятельности на «сакральную» и «житейскую»; удовлетворение «выполненным долгом» сакрального — и живая жизнь, полная сока, вне или рядом с церковным. Но быть довольным «выполненным долгом» можно тогда, когда установилась привычка; ее нет у приходящей молодежи, ищущей живого Бога. Действительно ищущей — необыкновенного, потрясающего, захватывающего Откровения. И если «долг привычки» — кое-что, то все-таки это немного. И молодежь уходит в другие места.

Постоянно брачующиеся души, атомы-индивиды, стремящиеся объединиться в молекулы.

В основном — чувственность. Немножко размышления, служащего его же целям.

Накопление имущества и управление им: главные занятия людей и критерий объединения в различные ассоциации.

Если я это говорю, то чтобы контролировать себя в своих стремлениях: чтобы избежать корысти самости и плоти, ее основы.

[Как удивительна твердость и уверенность этой мысли в дни встревоженности, убитой надежды, раздавленной влюбленности! Самоуверенность не замечающего, что Судьба Провидения уже подвела его к основанию очередной маленькой голгофы, и через минуту предстоит кричать и плакать... 25998]

Подслушанное слово: *relativiser*.

«Сделать относительным», найти сравнение, сопоставление; родственное «дедраматизации».

Исключительное и единственное приобретает размеры «абсолютные».

Релятивизация XX века, начиная с таинственностей физики; может б., даже со сравнительного изучения религий. Вера сохраняется у остающихся «внутри» христианства или другой религии. Всякий выход ведет к сопоставлению. «Второй подобный» наносит необратимый удар абсолюту. Но избежать сравнений в условиях XX века невозможно.

Les anglais «dramatize», les français «dédramatisent».

Столько гипотез, которые я не могу проверить! И к некоторым я привык, и они уже мыслятся как «факты». И так повсюду и со всеми.

Поджог пещеры 17 октября меня сильно ранил.

Боль шока снова напомнила мне о моей крайней чувствительности, о уязвимости, о том, что все висит на невидимой ниточке. Не только образ жизни, но и вообще все. Сердце смягчилось: уже не приходится ему судить свысока. Судить! Даже просто смотреть свысока на кого бы то ни было.

А я уже снова вошел в гордость, — неприметно, постепенно, отвергая «плохое» (накануне: стараясь отделаться от скучного пьяного у метро Сен-Поль), возносясь в «хорошести» себя.

И вот рана, боль, страх.

«Гнев Божий», «наказание»: низведение с трона самостийности. Разгром мира привычности.

Если жизнь в одиночестве способствует самовозвеличиванию, то не то же ли делает и жизнь в обществе, где страх «утонуть в море голов» порождает борьбу с имеющими тот же статус, чтобы сделать из них, попавших в зависимость, ступеньку собственному самолюбию. Или очаровывать ближних с той же целью: заставить их поднять меня над ними. Или еще уцепиться за приподнявшихся, высунув голову из толпы благодаря знакомству со знаменитостью или высокопоставленным лицом.

Везде одно и то же: желание «сделать себе имя». Библия его не осуждает: поразивший боевого слона сделал себе имя, даже «вечное» (1 Мак. 6,43). Но сам умер, раздавленный слонем.

Впрочем, есть положительное в поджоге 17 октября: сгорела латинская машинка, а другая, с русским шрифтом, стоявшая в полуметре от огня, не пострадала. Тем самым разрешен мучительный вопрос: писать ли по-русски или усиливаться писать по-французски, надеясь, что со временем исчезнут следы затруднений и *труда*?

Конечно, собеседование с другом и друзьями, обмен открытиями и восторгами очень способствует работе ума и души. У меня это бывало редко. И я не особенно понимаю, почему (если бы понимал, то устроил бы иначе!), — ведь было время большой любви и интереса к людям. И сейчас еще есть. Но товарищества и сотрудничества не получается. Или меня привлекали в основном «солнца», самодостаточные личности, искавшие свои «планеты»?

И сейчас эта грусть еще проступает: если Ты, Господи, не даешь Себя, если Твоя Любовь сделалась необнаруживаемой, то нельзя ли и мне иметь немного Твоей Любви через посредничество близких людей? Спокойной дружественности, которую не пугали бы мои бедствия, моя нищета. Как я сам, случилось, помогал своим присутствием терпящим бедствие.

Нельзя ли, Господи?..

Молчание.

Усталость плоти, души.

Словно я «человек промежутка»: смазка между сухими костями сословий, человек-хрящ.

Нежнейшая голубизна неба.

Холодная чистота.

Я просто смотрю. Ни мыслей, ни интереса помыслить.

Смотрю и жду. Потому что надеюсь на «что-то такое»: вдруг откроется небо, вдруг объяснится. Вдруг все станет ясно само собой: могущественно, полно, как нарастающий до яркого свет.

В ожидании великого последнего брака души и Духа.

Солнце на сером небе, словно ослепительный алюминиевый диск.

«Солнце апокалипсиса», — всегда думаю я, вспоминая граюры Дюрера.

Не с кем и незачем спорить ни о чем.

Всякому была дана своя жизнь, прожить ее в колесе бедствий и утешений.

Во избежание скуки головы дана деятельность рук и ног. Дано общение: поддерживание друг друга над водой забвения.

Человеку предложен круг повторений. О, если бы! Он *предопределен* нарочито и властно: чувственность и экспансия юности; размышление и медлительность зрелости; созерцание и равнодушие старости.

Конечно, возможны варианты. Бог книги Сираха «не любит трех вещей: глупого богача, надменного нищего и похотливого старика». Как если бы они возникли «сами по себе», «вне творения». Монашество говорит о бесе блуда, тем самым обозначая насильственность феномена. И предлагает упражнения по умерщвлению плоти, иногда сетуя, что они не дают результата. В «Лествице» есть глава о наказаниях согрешивших монахов: настоящая тюрьма и ад!

Впрочем, многие культуры вообще не видят тут никакой проблемы.

Одним из аргументов против «гор на Луне», открытых Галилеем благодаря телескопу, было «совершенство небесных тел». Небесное должно быть и есть совершенно. Пятен на солнце нет, — это «вращающиеся вокруг него планеты», думал сам Галилей.

Всегда жалко совершенного.

Галилей о Библии, продиктованной Богом, и о Книге природы, Им же написанной. Два языка, а источник один. Смена регистров восприятия человека; их смешение в нашем сознании.

«Тотчас» Иоанна. (Иоанн 6, 21) На Восточном вокзале я не стал спешить на поезд, явно на него не успевая. И пошел не торопясь. Пришел, наконец; поезд стоял по-прежнему. Удивительное было не это, а то, что и часы показывали прежнее время. Между тем, физическое событие — я прошел метров двести — совершилось.

1 ноября 96 День поминовения (католический Всех Святых).  
Беспокойство одних. Удовлетворение других. А многие не замечают ничего.

Идет великая проверка Божественного происхождения христианства: старость духовенства, все меньше людей на богослужении. Все меньше и старее.

В самом деле, Откровение веры дано Богом — или это пожелания человечества самому себе? Предположение об устройстве мира?

Простое объяснение религией всего на свете заменяют постепенно наука и право; последнее — как регулятор отношений людей, не «хорошо и плохо», а «иметь или не иметь права». Сколько раз я слышал восклицание матерей, что-нибудь не разрешающих своим детям: «Ты не имеешь права!» И дети говорят друг другу: «У тебя есть право?»

«Избегать морального суждения», чтобы не оттолкнуть и не отвернуться от поверженного человека, — при взгляде на больного, на бомжа, на...

В таком подходе есть элемент научности, это социологический взгляд, почти Спиноза («не плакать, не радоваться, а понимать»).

Вглядываться в явление жизни, в судьбу встречного ближнего: еще вариант, и какой странный, ужасный, нелепый... Впрочем, если приглядеться, ничего нового. И что из того, что судьба сделала тебя почтенным каноником, а вот этого бедным

спящим на улице, больным и пьяным, дотягивающим последние дни на земле?..

Неужели ты сам себя сделал благополучным? У тебя были и есть способности научиться и запомнить и произвести продукт, о котором твой булочник и твой подметальщик даже и не подозревали и не мечтали... Шарик твоей жизни катится по канавке, таинственно приготовленной. Только и всего.

Судьба превратилась в Провидение, как языческий храм превратился в христианскую церковь.

Сведение ритуала христианства до размеров частных, локальных, почти незаметных. Его влияние, конечно, не исчезнет; его форма станет другой. Известия в прессе о церковных событиях и мнениях выполняют всю ту же роль закваски, брошенной в тесто.

В 1987-м, сидя на склоне «горы скандала» в Иерусалиме и глядя на великий город, на блестящую позолотой мечеть Скалы, я подумал: не ждет ли нас радикальное обновление христианства, новая экспансия его, новыми путями или в иных социальных телах. Не идет ли навстречу Христианство 2, базой которого станет не иудаизм, а его родной полубрат ислам? Ибо Аврааму было дано пророчество об Измаиле, что от него произойдет «великий народ». Измаил Ислам осуществился 2400 лет спустя «после» иудаизма и образования «народа».

В этой образности есть смысл, но как знать, насколько она «истинна», «реализуема».

«Ну, это совсем из другой области...» (я неожиданно заговорил со знакомым о смерти).

Другой области знания, профессии.

Человек мыслит и действует, абстрагируясь от собственной смерти. Стараясь не придавать ей значения. Стараясь не смотреть в ту сторону.

Утроба матери и подобная ей утроба земли, могила. «Мать-земля».

Витиеватость и запутанность мифологического образа. Но как иначе высказаться о тайне?

Забота о таинственном «человечестве», к которому я принадлежу, которое как целое мне не знакомо, невидимо и неохватываемо. О котором в решающий момент предстояния перед смертью я не думаю. Смерть — встреча с собой.

Аскеза старается моделировать смерть, надеясь за нее заглянуть — и увидеть Бога. Или Вечность. Или просто — «а там что.»

И результаты бывают поразительные, «опыт совсем иного регистра». Иное «состояние души». Оно-то и есть Бог? Или всего-навсего контакт с «духовным миром»? Миром духов, спиритуальных тел, духовных тел, который мы носим в себе, невидимый, в этой жизни. Мы принадлежим к нему своим нематериальным и отделены от него своим телом.

Утрачивание точки отсчета.

Богооставленность.

Страстная плотскость, налетающая: сама по себе? Подстрекаемая? Подогреваемая демоном? Функция плоти, тела, ищущая себе законного — природного — применения?

Молчание в ответ на столь важные вопросы.

Все те же вопли Иова в новой редакции.

В полемике с Галилеем замечательны старания защитить «совершенство небесных тел»: Луна покрыта прозрачным кристаллическим слоем, поэтому, несмотря на горы, видимые в проклятом телескопе, она остается совершенным сферическим телом. Равно и пятна на солнце — это малые планеты, находящиеся между солнечной поверхностью и земным наблюдателем, который и принимает их за пятна.

Небесное должно быть совершенным.

Вслед за Аристотелем и древними; вслед за язычеством; вслед за архаическим противопоставлением полюсов видимого мира.

Язычество и его привязанность к материальному, вещественному носителю идеи, иконе; несмотря на критику «мате-



риалистичности» нашего века, он очень удален от вещественности средневековья в духовных вопросах.

Считается, что св. Фома решил проблему дополнения рациональным аристотелизмом пробелов в освоении мира с помощью христианства. И когда Галилей почерпнул новое прямо из «книги мира», то страх властных современников был небеспочвенен: всякая угроза полноте окончательного есть авантюра, на которую надо решиться вслед за кем-то первым, руководимым Святым Духом.

Кажется, Галилей был реабилитирован 4 года тому назад (в 1992-м!)

И что значат эти «ошибки церкви»?

Конечно, мне интересно «перебирание материала», почерпнутого там и тут, часто неожиданно («любящим Бога все служит на благо»), чтобы подхватить и продолжить остановившиеся мысли других.

Но возможно ли придти к «радикальной новизне» веры и мистического знания, оперируя с известными данными размышлений других?

И все-таки бывают времена и миги веселья души. Непоколебимой надежды.

Несмотря на богооставленность, усиливающуюся с осени 93-го.

Несмотря на горечь покинутости.

На усталость несения самого себя и своей слишком оригинальной жизни: с 85-го я все делаю «сам и в первый раз».

Несмотря на уникальность моей жизни, причину и гарантию моего одиночества: мне, в сущности, нечего предложить другим; социально я бесполезен, я торю тропинку, которая никогда не станет дорогой. Даже если бы кто-то захотел пойти по ней, я не мог бы сказать, куда она приводит. К Богу? Но где же Он? Все так же недоступен и неуловим и невидим, как в 85-м. А я надеялся найти Его близость и очевидность 1982-го.

Несмотря на мою бесполезность и поверженность.

Множество реформаторов около 1500 года.

Может быть, и Христосов было несколько; несостоявшийся Христос Павел (носящий Его в себе): Двенадцать учеников Павла и другие «не проросшие семена», тем не менее, оставшиеся в НЗ.

Параллели с наукой: несколько Галилеев; ирония критиков по поводу «мужей Галилейских»;

несколько Эйнштейнов и его Двенадцать в мире, которые «только и могут понять теорию относительности».

Замок самости, замок известности, замок старости. Защита своей независимости. Она же и плен. И тюрьма.

Замки — они же и тюрьмы.

Немного странно, что «духовное» человека не усиливается и не увеличивается с возрастом, к старости, ко времени, когда душе предстоит покинуть тело. Если она — плод земной жизни, переходящий в вечную, то почему же это иногда совсем незаметно? Наоборот, равнодушие к жизни, к вечным вопросам, старческая сенильность.

Все разговоры человечества, в сущности, имеют место между 30 и 50 годами. До 30 копится материал, затем происходят варианты синтеза, после 50-и — повторение их.

Вероятно, старение церкви и религии означает смену перспективы, основных линий самопроекции в будущее. Колесо веры доехало до предназначенной точки и крутится на месте.

Настает Великая Сонливость.

Среди стволов Институций, Учреждений, Норм: навстречу идет Смерть, чтобы вывести из этого скучного леса. Будем надеяться, что Бог имеет ко всему этому отношение.

Как тихо догорали великие: апостол Павел (пишущий Тимофею), св. Сергей, св. Серафим, св. Франсуа Сальский, Галилей. Эйнштейн...

Может быть, мне уже ничего не надо: ни дров на следующий год, ни навоза подземных заброшенных грибных плантаций для моего огорода, ни картошки, ни смены одежды. В преддверии Великой Перемены.

И иногда — там и тут находимое утешение. Например, во встрече с прошлыми мудрецами, взявшими на себя презрение мира; с Диогеном Синопским.

[Два года спустя: я по-прежнему здесь, со своим навозом. Подземные коридоры заставлены рядами мешков, полных высушенного конского навоза. Сверху насыпано немного земли, и высохшие шампиньоны. Плантация основана после Второй Мировой и заброшена в 70-х. В колеблющемся пламени свечи вдруг выдвигается навстречу чудовище: покрытый ржавчиной и пылью американский джип, переделанный в грузовичок: в кузове истлевшие корзинки с грибами. Нашелся и водопроводный кран с текущей водой.]

Дружественность ко мне немногих людей.

Драгоценная дочь Мария.

Еще нужно жить, чтобы ее не опечалить моей смертью. Прочь, болезни! Моя жизнь для меня — обуза, а для нее мой приезд — ликование весеннего утра.

Relativiser, banaliser, dédramatiser, — вот приемы современной мудрости. Всё относительно, всё проходит, во всем есть положительное.

Как странно, вероятно, дожить до старости своих детей: 94-летняя Мадам С. в Геронтологическом корпусе, куда я хожу навещать одиноких больных. Она обижается на Бога за смерть своей 76-летней дочери.

Опять всего-навсего день недели.

Но было все-таки желание (побежденное усталостью) быть вместе с людьми вместе, в церкви, на богослужении. Что еще есть у человека, начиная с известного возраста, когда задача продолжения рода уже снята?

Впрочем, социальное продолжается. Его существенное — выгодное вложение внимания, симпатии, уважения. «Инвестиция сердца».

К счастью, эти проблемы не имеют ко мне отношения, хотя их колючие ветки и крапивные листья касаются иногда.

Цивилизация боящихся смерти: эпоха не помнящих о смерти: момент забвения о ней переживается со всем самодовольством и самоуверенностью.

Это страничка брюзжания.

И Ты, Иисус Христос, знаешь, в чем причина моей горечи. Твое молчание и отсутствие мне непонятны, больше того, они несправедливы, они меня возмущают. Я словно Иов, еще не смирившийся, еще причитающий на своем дерьме. Но упрек в адрес Бога оборачивается против человека, и что можно сделать против Его Молчания? Это ужас Саула накануне сражения с Давидом и гибели, когда Бог не отвечает ему ни в храме, ни во сне, ни через урим и туммим, так, что остается только волшебница в Аэндоре, чтобы спросить умершего Самуила в преисподней. И странно, что слова Самуила — «завтра ты и твои сыновья будете со мной» — не утешают Саула, наоборот, пугают чрезвычайно, он даже падает на землю. Не добавил ли летописец явление Самуила, страхась смерти? Или он еще не знает спасительности пребывания в ином состоянии — ином, но тем не менее пребывании, жизни в новом виде? Тут свойство психеи древних, которого мы уже не знаем — и потому не можем понять и разделить.

Вот возрастное: молодое восхищение побеждающим Давидом сменяется жалостью к попираемым им побежденным. И какое отношение ко всему этому имеет Христос Иисус, распятый на древе.

Жизнь, как медленное распинание; и затем все расходятся. Кроме распятых, конечно, может быть, еще живых.

Вероятно, вчера я почувствовал это среди 20-30-летних; их могло бы заинтересовать и примирить со мной мое «социальное положение», как осуществленное евангельское стремление...

мы были вместе на мессе по случаю Пятидесятницы... но ксенофобия, пауперофобия, геронтофобия... ну, вы понимаете...

Нет ли мстительности в моей диагностике.

«Вы не нужны. Вам даже нечем заплатить за ваше присутствие среди нас».

Это не харизматики. Обычные молодые люди из обеспеченных семей, родившиеся и живущие в этой стране, изучающие великие соборы и церкви средневековья, клуб встреч молодых вокруг достойного предмета.

По-человечески надо было уйти в первый же день, когда мне на это намекали. Но я остался, чтобы «исчерпать тему», следуя старинному совету отцов-пустынников пить чашу до дна, а не бежать. И вот изранен, болею.

Харизматиков я видел спустя время перед Бобуром: они играли на гитаре, били в бубны и плясали. Вероятно, пятидесятники.

О, пределы! О, полюса!

Уже пора отойти, отходить, умирать: уступить место имеющим вкус во рту и слух в ушах.

«Неточность» языка Евангелия: насколько она велика рядом с неточностью и неполнотой нашего знания о мире? Быть может, о Божественном можно говорить только на «неточном языке».

Но вот уже столетие наш ум привыкает и приучается к «точности научного описания». Он уже не может воспринимать стиль Евангелия как «заслуживающий доверия». Катехизис занят согласованием обоих стилей мышления, чтобы дать промежуточный вариант, построить мостик между «сказочностью» НЗ и «наукой».

Между тем псевдонаучность, например, «исторической науки» легко показать (непроверяемость вывода и непредсказуемость будущих событий), несмотря на адаптированность «исторического описания» и «концепций» к «современному научному стилю».

Этот опыт я переживал после обращения 82-го года: в богословие я принес как раз «точный, научный стиль», усвоенный мною в университете, и в моей религиозности он обернулся жесткостью и жестокостью высказываний, суждений и поступков.

«Логичность» в области веры — такой широкой и туманной — в прошлом породила инквизицию. Тогда сумма знаний тоже показалась на время установленной и окончательной.

Мысли о лицемерии: церкви, иерархии, человека вообще. То есть о прикрывании сиюминутных конкретных целей (пища, одежда, уверенность в безопасности всякого рода) общими далекими недостижимыми (служение Богу, Истине, Добру).

Раньше этого не было: хотя я и видел «странные вещи», но не придавал им значения, ожидая, что Бог «вот-вот явится и все объяснит». Быть может, теперь чужое лицемерие мне видно через мое собственное? Отцы-пустынники говорят, что мы видим только те пороки в других, какие имеем сами.

И снова: НЗ как доктрина — и сложившаяся вокруг нее группа, церковь.

Её самодостаточность на первых порах; тем не менее, дополнения ее современными идеями и обычаями всегда были; у Павла есть ссылки на поэта Арата («критяне лживы, обжоры»), цитаты из Овидия и стоиков.

Систематическое дополнение аристотелизмом в XIII веке, философия томизма [не от глагола томить].

Но вот столкновение с Галилеем и экспериментальной наукой. Она отвергнута, но затем проникает и утверждается. Чьей силой? Не того же ли Духа, давшего НЗ? И затем Он же подправляет НЗ, отодвигает его на иное, меньшее место? А как же «вера в Евангелие», им же требуемая? И призывы к вере вообще?

Официальная реабилитация Галилея 4 года тому назад (в 92-м). 350 лет он был неправ в глазах верующих! *Что это значит?*

Современная физика, предложившая гипотезы начала и конца мира. Что такое гипотезы, если не предмет веры — «веры как предварительного знания»? Это знание, которое еще не знает, но обозначает проблему, неразрешенное или не разрешаемое затруднение мысли (т.е. вывода, который не может состояться из-за нехватки элементов построения).

Без точки отсчета и точки отсылки, без масштаба не получается строительство мировоззрения. Картина мира в моей голове нужна рамка, иначе ни я, ни другие не могут ее увидеть.

Надо помыслить мир: чтобы придти к упорядоченности его; к неподвижности; к прекращению всяких перемен: вот образ вечности.

Великолепная замкнутость религий: все объяснено окончательно и навсегда. Но ведь это человеческое представление о божественном.

И вот оно выветрилось, ослабело, стареет и не получает молодежи. Паника слуг социального института. В самом деле, все отдали и поклялись — и вот не нужны и могут уходить. И им ничего не объяснено. Как и всем остальным.

Или претензии богословия — чисто логические? Богословская часть, которая в столь конкретном виде в НЗ не содержится, как позднейшее санкционированное развитие загадочных выражений НЗ. «Я сказал вам все, что слышал от Отца Моего», — говорит Иисус ученикам. И вот выясняется, что многое ученикам не сказано ни тогда, ни сейчас. Значит ли, что Иисус многого от Отца не слышал?

Или мы не понимаем, что значит «сказать» и «слышать»?

Или от причудливости толкований нужно вернуться к простоте: сказать — значит сказать? Слышать — значит слышать?

Христос — ответ или наше отражение в зеркале неба? Отражение человека с его вопросами, тайными и произнесенными?

Но откуда в человеке его вопросы? Почему проблема Бога вообще стоит? Как прием, инструмент освоения мира?

И представления о Боге меняются.

Неизменно само обозначение загадки: Бог.

Сказать, что это Имя, — уже очень много.

Что еще? Движения человеческой души; ее тенденции; события мышления? Но и тут тень перемен: многослойность души, духовность-душевность, социальность — совесть.

Нет ничего прочного: ни под ногами, ни над головой, ни внутри, ни снаружи. Мое ли это состояние — или состояние времени? Мое ли это — или духов, ангелов, бытующих неизвестно где и имеющих над нами власть?

Быть может, обнаружение и высказывание всех сомнений прояснит горизонт? Освободит от всех узлов и непроходимостей мысли? Высказанное забывается, делается неважным, разрешенным, «пройденным».

Быть может, эти сомнения — собственно мое — и мне надо действовать «по-моему», коль скоро известные примеры разрешения не приносят?

Если существенная черта времени — одиночество и опосредованность социальной связи (газета, телевизор, телефон, инструменты общения), то в этом одиночестве и нужно пребывать, а если оно принесло плод, то предложить его другим не прямо, а в упаковке *медии*?

Иными словами, если Дух, Бог вершит мою жизнь, то, во избежание внутреннего конфликта, «разрыва души», нужно не стремиться «исправить эту жизнь» согласно древним схемам (обросшим вдобавок толкованиями последующих веков), а созерцать ее и «понимать»: извлекать из нее нечто «новое», очередной бесчисленный диагноз-вариант.

«Я знал»: то есть нашел элементы, казавшиеся мне первичными, незыблемыми, неизменными; они возникли, сложились в то время, когда пришли первыми на незанятое место (в моей голове), у них не было соперников, и они были приняты как «аксиомы бытия».



«Я понимал»: то есть в новых ситуациях узнавал и находил эти аксиомы, и они, служа звеньями и мостиками, позволяли присоединить «новый опыт» (жизни, чтения, всего попадавшего в поле восприятия; так знакомое лицо в многочисленной группе людей меняет наше самочувствие и отношение).

Теперь во мне атакованы именно «аксиоматические элементы веры», возникшие в 82-м году и узнавшие свое выражение (прошлого опыта поколений) в Новом Завете. Но они остаются мне бесконечно дорогими: Любовь, Свобода, Бессмертие, Агнец, Огонь.

Стоящее, как облако, продолжение сомнений: вопросов, которые не умещаются в сложившейся картине мира, или меня в мире. Как если бы они были чуждыми ей элементами. Тогда почему они остановились в сознании, в уме — и хотят попасть в эту картину, остаться в ней? Не все ли равно? Ведь «раньше» я жил и обходился без них; даже если некоторые явления попадали в поле зрения, они не превращались в вопросы. Царил гарантированный мир, обтекаемый, сферический, и даже кризисные ситуации соскальзывали, как стрелы, не оставляя следа.

Возникла новая ситуация сознания, которой я не искал; я хотел бы от нее избавиться. И избавлялся, *не принимая* вопросов.

А теперь — желание избавиться от них, *разрешиw*, найдя ответ: если эти стрелы-вопросы не хотят (будто они наделены волей?..) выйти, пройдя через сознание насквозь и навывлет, то нужно дать им «цель», стенку, о которую они сломаются. Исчезнут и успокоятся.

Авторитет — это стена (одна из стен), о которую ломаются и тупятся стрелы сомнений. И они исчезают. Как и те, на которые ответы были даны.

Опять эта необходимость упорядочить мысли. Потребность и необходимость.

Так рождаются философские системы: философ наводит в своей бедной голове если не «порядок», то все-таки класси-

фикацию мыслей. Их количество может производить сильное впечатление. Принципами классификации могут воспользоваться и некоторые другие люди.

Иным порядок дан сразу в виде авторитета.

Есть синтетическая система религии; быть м., она сродни искусству.

Порядок природных порывов и поползновений человека.

С прошлого века слышно, что Бог — это отражение Человека. Отражение в зеркале Социального («там, где вы двое или трое, там Я посреди вас»). Забывается, что двое или трое «во Имя Мое»: нужно «целенаправленное социальное», богослужение; собрание смотрящих вверх («мужей галилейских»: но им является уже не Христос, а ангел: ангел-Христос св. Франциска Ассизского).

Усталость, переходящая в сон.

И когда все это кончится?

Впрочем, «ничтожество» и «величие» человека — только ли плод сравнения, плод фантазии о самом себе...

— нет, не интересно... тяжелая голова, усталость. Смерть прорастает во мне — во мне — в моем теле — отделяет меня от использованного, утомленного тела-носителя.

Казалось бы, духовная жизнь должна усиливаться.

Несколько странно, что этого незаметно.

Вероятно, тут лучше остановиться мысли: она стремится к ясности там, где ее пока никогда не было. Ее ясность будет сопряжена с исчезновением надежды.

Тем более, что о посмертии ничего не известно. А ведь только оно и дает смысл усилиям на земле. Мне, по крайней мере. Человеческие предположения и теории — куклы философии. Философские куклы детства человечества.

Ну, хорошо, даже если все труднее подниматься утром (но и оставаться в постели — не легче: жизнь человека начинается криком и заканчивается трудом влачения тела), — даже

если и это нужно принять, уже не имея примера и образца, — Христос окончил свою жизнь между 33-49 годами, старость осталась ему неизвестной, человечеству пришлось осваивать ее самостоятельно, не придавая, впрочем, ей большой важности: жизнь общества течет между 30-50 годами, а до того — приготовление к участию в ней, а после — отнесение к берегу, к краю смерти.

Собственно, всю мою жизнь я наблюдал. Мои попытки стать актером пьесы мира были неудачны и кратки, они прерывались, иногда против моей воли.

Конечно, наблюдатель понимает больше, чем участник, видит отчетливее. У него меньше, конечно, самозабвения. Это иногда отдых, как всякая смена деятельности, но после самозабвенной игры на сцене и аплодисментов неизбежно приходит и переживается опустошение; после взглядов многих, даже подчас восхищенных, приходит тишина одиночества: только-то и всего?.. кончилось?..

И опять сонливость, как сейчас.

Пережевывание.

Рутина утомляет, но она же — и пружина человеческой куклы.

24 ноября 96

Вчера обед в семье: Анри, Франсуаза, Лоран. Сын Марк, инвалид, умерший несколько лет тому назад, Франсуаза возвращается к этой теме, она почти прикована к ней. Первенец-сын-инвалид. После смерти он еще «жил» в ней несколько лет. Чувство виновности.

Затем мы отправились на распродажу в пользу детей Мадагаскара и Сенегала. Игрушка для Марии: Франсуаза купила для нее пингвина, вспомнив, вероятно, мой рассказ о том, как кукольный пингвин стал моим заместителем для Маши, «отцом», «папой», когда я отсутствовал. Быть может, она нечаянно открыла мне, как функционирует религия: пока нет Бога, будет Его символ / протез.

Месса в церкви св. Сатурнина в Ножан-сюр-Марн.

Здесь висит копия картины «Мадонна со скалами» (в Лувре), приписываемая Винчи. Рассматриваю её и замечаю, что на ней... два Иоанна Крестителя! Во-первых, справа от Марии, юноша, показывающий пальцем (известный стереотип); обычно он показывает на Иисуса, в данном же случае — на младенца Иоанна Крестителя, ибо этот младенец сложил молитвенно руки и смотрит на другого младенца — Иисуса, благословляющего, находящегося у ног Крестителя-юноши-I, — а Мадонна положила руку на голову Крестителя-младенца!

Эта несообразность никого не беспокоит; ее никто и не замечает. Самое главное для людей — быть вместе вокруг чего-нибудь. Например, вокруг куска дерева «от Ноева ковчега», «ксоаны»\*. «Быть вместе» — само по себе благо и потребность; особенно в состоянии восхищения и обожания, заражая друг друга настроением.

Чувственность Винчи и Ренессанса.

Крайность чувственности привела к взрыву протестантизма.

Быть может, крайность чувственности должна была быть достигнута, как повторение ветхозаветной парадигмы, чтобы произошел взрыв.

Чтобы отдать себе отчет: христианство заняло языческие алтари и приспособило их для своего ритуала; греко-римское многобожие заменилось специализированностью святых, «покровителей мест, ремесел и состояний», удовлетворило потребность в «близком Боге», когда Христос отдалился до единосущности с Отцом. Ветвистость и подробности человеческих верований.

Люди, увлекающие друг друга.

Феномен «лидера», «родоначальника группы»: лидер — группа — движение.

Насколько возможно пользоваться догматом, то есть переживать его как ассоциативную реальность? «Я страдаю, но ведь и Христос страдал. И умер, и воскрес. И я умру. И воскресну».

---

\* Хоана

Отдалившийся в «единосущее» Христос аннулирует «человеческую природу», хотя можно и повторять формулу о «двух природах», не наполняя ее психологическим («моим») содержанием; собственно, не имея возможности воспользоваться догматом. Остается формула как возглас объединения и опознания членов группы вокруг авторитета (лидера, палы, патриарха).

«Верую во единого Бога...»

Что значит «верую»?

Это иное, чем «вера»?

И сильная вера, которая уже — знание?

Вера, как степень знания.

Говорили, что знают, оказалось — веруют.

А эти говорили, что веруют, а оказалось — надеются.

Разговор с А., живущим в Петербурге, и Б., парижанином, только что вернувшимся отсюда. Первый крутится в этой странной центрифуге перемен, а Б. — благоустроенный наблюдатель со стороны. Оба отмечают почти истерическое стремление «действовать», чтобы все-таки «прорваться» и «вырваться» (на простор обеспеченности и успокоения). Б. живо описывал хаос и развал, иначе говоря — полную — или почти полную — дезорганизацию жизни (советской: он не был в городе 16 лет). И описывал страх; может быть, не столько свой, сколько принятый от встреченных знакомых. Много страха: вечером не выходят, развели собак, железные двери в квартирах.

Повторить некоторые их мысли, развивая.

Руководство и народ захотели устроить жизнь «по-западному», исходя из рассказов туристов и рекламы. Подражая западной демократии, так сказать; подражая внешне, поскольку как «подражать внутреннему»? Нынешняя Западная Европа — результат и этап развития государственности и церкви/религии. Несмотря на «обмирщение», она очень привязана к христианской морали и не отвергает ее; состояние дел хорошо выражено в том, что главные церковные праздники — нерабочие дни для всех, хотя в церковь в этот день идут не знаю сколько процентов.

«Жизненный порыв» римской государственности и католицизма. Ими освоены тысячи вопросов, т.е. приняты ответы, удовлетворительные для большинства.

В том числе освоены тысячелетние проблемы:

1° гимен у человека и отсутствие его у животных (загадка, перешедшая из иудаизма и «решенная» в христианстве); 2° страсть зачатия и власть этой страсти; 3° мука рождения; 4° смерть и ее тайна жизни после смерти.

Порыв новой религии — нового Откровения — был настолько мощен, что он длится уже две тысячи лет. Обновится ли он? Произойдет ли новое Откровение? Дополнение старого? Или повторится взрыв внутри «соседней» религии — в исламе, идущем по стопам иудаизма: не готовит ли он еще одну «базу» для Христа? И, конечно, если это произойдет, то наше старое «Христианство I» не признает новое «Христианство II».

И у коммунизма был жизненный порыв, вера в свое откровение (марксизм и варианты); удовлетворивший запросы плоти и некоторые запросы разума; предложивший «социальную справедливость» равенства, растущую на базе науки и техники XX века. Проблемы появления и исчезновения индивида вообще не ставились (впрочем, философия никогда этим особенно не занималась). Материализм уже нес аксиому реальности и значимости только «видимого». Но разве не законно требование простоты и наглядности? Не менее законны глубинные пожелания человека (его духа — и плоти) продлить себя в «до» и «после» земной жизни. Они не только «законны» — как присущие человеку, — редкий мистический опыт дает свою гарантию, правда, к сожалению (или к счастью), слишком небольшому числу; они небезосновательны, как имеющие «объективный» характер, т.е. не самостный только, а еще и Божественный...

Заявление коммунизма: нет ни «до», ни «после», а только «сейчас», — вызвало надежду на расцвет этого «сейчас»; но затем «сейчас» стало отодвигаться в «будущее»; уверенность еще плодоносила надеждой на «вот-вот». Эрозия наступила раньше; как того

хотел Достоевский, «русского человека» очень сузили, и он — как коммунистический человек — оказался нежизнеспособен.

Очевидно, перестройка и падение коммунизма не принесли немедленного благополучия западного типа (как и на Западе: и здесь путь к нему был долог). Западный образец стал казаться обманом и призраком для большинства; сильные захватили, а слабые потеряли и то, что имели, у них не оказалось никакой социальной защиты; общество деградировало в стаю, «морали не стало». Но и возвращение к коммунизму невозможно: его «жизненный порыв» израсходован, остались люди сложившихся советских привычек, они сделаны по образцу, но сами новым образцом стать не могут, у них нет «твердости верующего» («эрозия парадигмы»). На практике это выразилось в меньшинстве голосов.

Итак, коммунизм оказался недостижим, а тем самым и изжил себя, как всякая слишком близкая конкретная цель, которой никак не достичь.

Западным образцом «воспользовалась» небольшая часть населения, теперь слой нуворишей, еще не привыкших и хвлящихся.

Кстати, что, собственно, может мешать желанию перераспределить богатства? Какие основания у имеющих иметь то, что они имеют?

У огромной части населения нет ни пропитания, ни уверенности в нем на завтра. Нет и житейской безопасности. В такой обстановке воспитывается тип бойца: нет имущества, привык к опасности. Есть ли уже желание иметь лидера, который даст чувство единства многих — и, стало быть, силы, стало быть, забвение о смерти; он предложит ясность лозунга; освободит от ответственности принятия личного морального решения (и тем самым даст «свободу и отдых» душе одиночки).

Если, как говорят, у власти находятся грабители и мафия, то в обществе растет контрсила союза неимущих; их столкновение называется, по-видимому, гражданской войной.

Неимущий боец сильнее грабителя под защитой наемника. Боец армии, разумеется.

(в ноябре 96-го)

Господи, благослови. Твори мгновенье доброты, / Оно осветится улыбкой.

...если потянулся кусок рогожи, то как надеяться, что на другом конце окажется шелк?

Люсьен Дисс («Месса и ее объяснение») говорит, что, пока верующие рассеяны среди народа и общества, церковь невидима; а когда они сходятся на богослужение, то становится видимой... Вот и все решение. Раньше добавляли ангелов и умерших.

Значит ли это (среди многого другого), что культура и цивилизация — и «видимая религия», как часть ее, — призваны обслуживать земную жизнь человека. Культура и вообще все, что не ставит вопроса о смерти и о «потом».

Но и в этой части есть активное ядро: люди 30-50 лет, — это максимальность социального импульса «жить вечно на земле».

Детство — а особенно юность и начало социализации инстинкта — заняты собой и миром плотских отношений брачующихся до приблизительно 30 лет.

После 50 лет жизненный порыв ослабевает (индустрия считает, что после 45-и — и перестает брать на работу); осознается факт, что до «разумного упорядоченного общества» все так же далеко. Освоение-присвоение мира, размышление и конструирование уступают место созерцанию: оно бесстрастно, незаинтересованно, равнодушно.

Все-таки христианский культ принес  
— почитание ребенка и детства, как следствие культа Младенца Иисуса;  
— женщины, как последствие культа Марии;  
— старости, — как мирское выражение культа Иосифа.

Мать-одиночка в христианской цивилизации не только уместна, но и неизбежна (вследствие «парадигмы» Марии



с Младенцем). Может быть, впрочем, распространение сожителства, «временных браков», гражданского брака связано с индивидуализацией общества, с усилением тяготения к интимности (непосредственности, «искренности») отношений, дающей противовес и отдых от общепринятого официального. Ныне настоящий формальный брак слишком громоздок, это целое дело, почти «профессия», «роль». Такой брак — союз семей, а не прежде всего индивидов; он подчинен проблеме юридического владения имуществом. Романтический «цветок любви» боится суховея бухгалтерии.

Взгляд Дисса не лишен остроумия (о «видимой и невидимой церкви»). Он не говорит об «ангелах» и «святых»; он скажет о них в другом месте, где конвенционализм доктрины требует этого прямо.

Тайная вера в то, что вечная жизнь состоится на земле и что «мистических сложностей» можно избежать, составляет, может быть, доминанту культуры и *ее религии*.

Вера в «нематериальное» всегда была и есть, и она тоже очищается и утончается. Еще Парменид думал, что есть земля как элемент, как косная материя, а огонь — творческая сила, что-то другое, «не материя». Символизм.

Благодаря открытиям XX века наше знание о мире увеличилось.

И уменьшилось колоссально. И каждое новое открытие его еще уменьшает.

Мир показался освоенным, уже после открытия Америки всё стало ясно, — кроме каких-то частных.

И вот открыли дверь космоса, думая, что это дверь дома. Оказалось — дверь города и континента. Дверь другого мира!

«Неужели мы в нем одиноки», — пишет мне знакомый в письме.

Это «мы» — человечество.

Первые ласточки ощущения себя как части целого человечества.

Вырвавшиеся из плена национализма, партийности.

А тем временем говорят о «страхе во Франции».

Говорить о нем — уже пытаться освоить проблему, приручить иррациональное.

Классифицировать, по-декартовски ища в задаче прежде всего слабое звено, простейшее, «вход в задачу».

Но не называется основной *страх смерти*.

А между тем этот фундаментальный страх питает все остальные малые страхи (даже иногда не связанные с непосредственной опасностью для жизни: страх перед безработицей, неуспехом; перед дружеским отношением к ближнему: страх открыться перед ним, «снять панцирь»).

Малые страхи мгновенно актуализируют основной страх, но он ими всегда замаскирован.

Психология о нем не говорит; она его не может изучать, п.ч. у этого страха нет «потом», у него только «половина процесса»: боюсь смерти до смерти. До точки смерти.

Интересно, что смерть от несчастного случая на дорогах (8 тысяч в год) не рождает страха перед ездой (по крайней мере, общего). Такая смерть мыслится как случайность, которая никогда не станет «моей» (И статистически это правда!) Несмотря на падения самолетов, летать продолжают.

А вот страх перед агрессией жив и усиливается, хотя «вероятность» умереть (или просто пострадать) здесь, по-видимому, меньше, и намного, по крайней мере, в Европе.

Агрессия: дерзкая опасность, «наглая смерть», «странная между людьми»; это черточки иной цивилизации — иного этапа — «его не должно быть в будущем», «его нет в будущем». Расовая инакость усиливает страх: это нападение «неизвестного». Если я не знаю, как с ним общаться в обычных условиях — и не общаюсь, то как вести себя в ситуации провокации и конфликта?

Бояться смерти можно перестать, не веря в неё, не зная её (как ребенок); не веря — как христианин; или принимая ее: пытаюсь изжить конфликтную ситуацию, я должен быть готовым умереть; нужен чрезвычайный запас психологической прочности; максимальная ширина «принятия ситуации», что-

бы сохранить спокойствие и самоконтроль, не поддаваться на слишком маленький выбор, предлагаемый агрессором: он глумится, а присутствующие боятся, потому что разрешение ситуации видится в неизбежном применении силы. Но это ведь уже часть профессии полицейского.

Стараться приобрести опыт контакта с другой расой. При провокации искать возможности разговора, «контакта», имея в виду, что в основе такой провокации может быть стремление «разрушить гетто», «выйти», «установить отношения». [часто отношения гегемонии, власти и подавления, от чего можно защититься лишь силой]

*Не бояться смерти* в условиях христианской цивилизации (точнее: греко-римско-иудео-христианской), если знать, каким образом эта цивилизация осваивает смерть. На первый взгляд ясно, что это освоение — смерть Иисуса Христа, данная как объяснение, — больше того, как образец для подражания: боясь, плача, молясь об избавлении, принимая смерть как проявление воли Бога.

Если я готов умереть «сейчас», то «потом» уж точно буду жить.

С точки зрения «мистики тела нации» и вообще «тела европейской цивилизации» нынешний страх предложен как проблема, следовательно, как один из факторов роста и прогресса: затруднение ведет вперед.

Страх сильно уменьшает дух самодостаточности и самоуверенности: это *позитивное* страха.

Ослабляет сексуальные импульсы человека. И здесь нужно говорить о том, насколько подстрекательство к сексуальной неразборчивости ведет, в конце концов, к возрастанию страха.

Реклама и телевидение участвуют в создании общего климата «агрессивности мира» по отношению к индивидуальному сознанию. Мало того, что они атакуют само представление об интимном и дозволенном в сексуальных отношениях, об уместности и *необходимости* «тайного» в открытой всем ветрам повседневности.

Стереотип дозволенности складывался тысячелетиями, в условиях европейской цивилизации он отработывался в течение последних двух тысяч лет особенно активно, стремясь — удивительное дело — к «сублимации», к перераспределению сексуальной энергии, делая из нее мотор творческой деятельности.

Эротика образа, привлекающая внимание, вызывающая удовольствие (или нет), ставит зрителя в ситуацию «нарушителя» стереотипа, делая его «участником» ситуации, которой он вовсе не искал в данный момент. Ненамеренное нарушение, однако, ведет к чувству вины и связанному с ним страху наказания. Этот автоматизм не осознается, даже напротив, человек извлекает приятное на уровне ощущений. Тем не менее, страх-вина начинают накапливаться, суммироваться с общим природным страхом смерти индивида.

Остроту ситуации наблюдали в случае эпидемических (панических) болезней, например, СПИДа.

Реклама, стремящаяся вызвать желание купить товар, прививая его к эротическому образу, способствует расширению эпидемии.

Тем более та реклама, которая начинает пренебрегать коммерческими целями и превращается в настоящее подстрекательство к половым акциям. На станциях метро такая реклама обычно вызывает комментарии и дополнения в стихийных надписях; ее цель — «искусство для искусства», средство самовыражения извращенного автора.

Контроль и санкции со стороны гражданской власти делаются необходимы. Это часть ее работы: поддержание мира и порядка на улицах города.

Такая извращенная реклама стоит в том же ряду, что и пропаганда войны, расовой ненависти или опасного продукта.

Около 1500 года: стремление сохранить разваливающийся дом мировоззрения: назад к патриархально-библейскому! Назад к утерянному раю. Герой дня — протестантизм. Это, конечно, не один Лютер, их десятки — реформаторов до него и после. Морализм протестантизма, обновление «религии книги».

1600: Галилей и целый ряд основателей нового мировоззрения. И вот ему 400 лет. Оно «хочет полноты» и касается проблем, не поддающихся логико-экспериментальному подходу; и, тем не менее, включает эти проблемы как «предварительно решенные», в виде «гипотез». Наука, стало быть, пользуется элементами веры. И что такое «гипотеза», как не этот элемент, поданный в конвенциональной упаковке, приемлемой для современного духа?

Но на гипотезу о смерти наука не отваживается, она оставляет в стороне и смерть, и посмертие. Тут еще полная старомодность. [Впрочем, некоторые ученые уже собирают рассказы клинически умирающих] Человек, всю жизнь «живший в человечестве», вместе со всеми, обнаруживает свое одиночество... свою индивидуальность. При всех паллиативных и солидарных жестах в роковой миг человечество говорит своему отрывающемуся члену: ну, а теперь иди один. Теперь все связи видимого мира недействительны.

И лишь религия произносит несколько невнятных слов по поводу великого «потом» и «с той стороны».

Извлекает ли она эти крохи представлений о потустороннем из повторяющихся древних надежд и пожеланий человека?

Дано ли ей оно от Бога — дано ли от Бога само желание освоить потустороннее?

Просочившийся ли это «опыт оттуда», состоявшийся (и даже не раз) контакт нашего опыта с «тем»?

Или действительно речь идет об «искусстве веры» — особом жанре — хотя бы и высшем — о магии образов и слов?

Кто владеет нами? Кто владеет человеком?

Человеком овладевает желание, — что это значит?

Иногда деструктивное, смертоносное для других людей, очевидно, представляющееся его носителю как обоснованное, необходимое, нужное... или просто «инстинкт», не размышляющее, автоматическое?

Случай: взломанная копилка в церкви Сен-Жермен в Ганьи; священник в парижской ц. Сен-Поль — Сен-Луи (описан в «На

улице Парижа»). Священник Фишер из Сент-Огюстена: я искал туалет в приходском доме, а он вообразил, что я собираюсь что-то украсть; убедившись в своей ошибке, говорил в возбуждении: «Ходят одетые получше вас! И то вещи пропадают!»

В тишине грота.

Склоняясь над маленькой человеческой историей.

«Национализация» церкви в Англии в XVII веке: выход из-под владычества Рима. Новая власть все того же Рима с помощью иных средств: власть идей, продолжаемая и подкрепляемая властью оружия. Контролировать короля — значит владеть народом.

И если Москва — «Третий Рим», то и попытка России приобщить весь мир (и повредить своей душе, как видим) повторяла римскую схему: контроль и владение новой религией (идеологией) — насаждение ее в других странах — контроль над местными органами власти, партиями.

Раздробление мира... нет, разветвление мира на страны и народы... подчинение мира одной стране — одному «институту»... объединение мира.

Франция пыталась иметь «свой католицизм» — церковь, приведенную к присяге; не получилось; новую религию создать не удалось (культ разума, филантропы, храмы добродетелей и гражданских состояний); пришлось отказаться от церкви вообще (отделиться).

И другие мысли, показавшиеся мне интересными настолько, что я их записал. А вот теперь — нет. Странно...

Национализм.

Нация, как особый самостоятельный организм (Гоббс, но, между прочим, и Дюркгейм, неявно).

Человек, мыслящий как «часть целого»: «мой народ — самый сильный» = «я самый сильный»; «мой город самый...» и так д.

Психологический дополнительный протез: «мой старший брат — сильный, поэтому и я сильный»... отыскание недо-

стающего элемента устойчивости: «по мнению специалистов...» «Ученые знают...»

«По мнению специалистов, загробная жизнь существует (не существует)».

Протестантизм, выделив предопределение ап. Павла (судьбу и провидение греков и римлян) в отдельную доктрину, удовлетворил, по-видимому, очень старую мысль — и потребность — о присущей миру гармонии, несмотря на очевидную хаотичность мира.

Эта доктрина вполне определилась с Кальвиным.

Нет ли в ней все того же настроения духа времени, ищущего этой же упорядоченности и в природе, еще надеясь ограничиться «законами природы»?

Традиционное учение о спасении слишком «акцидентно» (как «акцидентно» и падение); спасение «случайно» в виду множества грешников, даже не воспользовавшихся своей свободой; расплывчатость самого понятия свободы, совершенно исчезающей перед лицом или в присутствии радикальных событий рождения и смерти.

«Дух науки» и «дух предопределения» несомненно родственны.

В этом смысле наука наследница религии. Современной науки без христианской религии *не было бы*.

Над религией насмехается чернь.

Субъективность человека.

Субъективность человечества, хотя бы части его.

Образы прошлого, являющиеся в новом облики:

Солнце, оказывается, все-таки тоже крутится, но не вокруг Земли, а вместе с нею — вокруг галактического «центра».

Не избежать сознанию аналогии в области религии: христианство и другие мировые религии, как проявления одного и того же «Общего Бога», «Общей Веры».

Числовые значения букв имеют смысл в алгебре; пифагорейское число воскресло в физике XX века, где и музыке нашлось место... в виде скрипки Эйнштейна.

Червь и Черная Дыра Уилера, Кошка Шредингера: ростки старой мифологии на новой почве?

Неподвижность ума и воображения.

Плотность ума: помыслы не проникают.

Движения радости в душе.

Неподвижное сидение.

Покой.

(ничего не доказывая)

Бесполезно богословствовать перед публикой.

Или имея ее в виду.

Или спора с кем-либо, хотя бы мысленно.

Обязательно примешается социальное: роли, «как должно», «чего ждут», «отработать зарплату».

Одни и те же выученные когда-то канавки мысли, рельсы, которые, увы, действительно сходятся.

Эпилептические припадки дочери Маши Марии — а у меня мучительные состояния в 77-80, 81 гг., особенно в толпе и в транспорте. Какое-то внутреннее напряжение, «безвыходность», ни во что не могущая вылиться; непереносимая. Однажды случившаяся в 1965-м — в момент крайнего подъема и энергичности; та дурнота, которую я принял за отравление фотохимикатами (день и ночь печатал Самиздат в квартире Ступаковой).

И эта суетливость мысли, чрезмерная их быстрота, мелочность деталей, после чего бывает «нехорошо». «Никак не ухватить мысль» (во время писания «Страд Омозолелова» в 71-72 годах под Москвой, в Малаховке).



Если попробовать найти положительное в сожительстве (конкубинате): ведь это *существует*, значит, для чего-то обществу *нужно*?

Такой союз мужчины и женщины очень подвижен, удобен при нынешней атомизации социальной ткани, при возросшей независимости / свободе индивида. При желании «искренности» и «верности личностей друг другу».

Ибо «классический» брак несет элементы государственности и рода; это «союз представителей семей». Семья же имеет свою цель — стать родом, усилиться в числе и имуществе. И не всякая личность может преодолеть это давление семьи, это вмешательство и контроль за сферой интимного. А личность иногда хочет оставаться свободной.

Дело в «независимости чувства», которое личность не может получить/отстоять при браке «представителей семей» или «родов», имеющих тенденцию стать «племенем».

Есть любопытные примеры многочисленных семей, где с каждым новым ребенком «значительность» отдельного члена семьи уменьшается, и сама она тяготеет к «основателю»; архаические тенденции в рамках новой цивилизации и мотивации; «союз семьи Трубецких», «союз семьи Оболенских».

Много разводов именно в браках «представителей кланов», «дипломатических»: их однажды совершив для удовлетворения экспектации (увеличение числа членов рода и помещение имущества), индивиды расходятся, чтобы удовлетворить потребность в личной интимной встрече.

Общество нуждается в референтивных личностях, по отношению к которым прекращается (или значительно ослабевает) борьба мнений.

Место и время единства: король, например.

Аббат Пьер.

Президент. Кинозвезда, футболист, национальный герой.

«Референтивные» персонажи, обеспечивающие более или менее устойчивые группы единства, более или менее обширные.

Это «банк любви», которым пользуется член группы почитания данного персонажа.

«Надо кого-то любить»; и вот, целый набор возможностей. Взретаемая любовь к кому-то греет самого поклоняющегося / почитающего. Дает чувство единства с другими участниками встречи сердца: это пароль контакта и взаимопомощи.

В начале XIII века Иисуса стал дублировать и заменять Франциск (имея «печать стигматов»); теперь его заменяет и дублирует Папа.

Собирательное значение личности / роли.

«Простая и нелюбопытная вера», — вот идеал древних. Предел и наилучшая польза.

Не слишком удаляться от привычных рассуждений о вере и от св. Писания, чтобы не оторваться от круга идей о Вечности и посмертии.

Не слишком и приближаться, не слишком пристально вглядываться («не слишком вглядываться в море веры», по совету древних же): ибо начнут проступать несообразности, алогичности, бессвязности, починки и добавки людей на протяжении всех столетий.

Остаться на уровне веры как мечты и надежды, не слишком желая сделать из них инструмент житейского. «Когда-нибудь это окажется правдой», «в другом месте», «после».

Впрочем, состояние нашего духа настолько таинственно и неопределенно, что ничего предвидеть нельзя. Момент «отнятия чего-то», «лишения», «когда что-то произошло» я пережил в день Пятидесятницы 92-го года. Спустя время я обозначил это событие как то, что «в этот день св. Дух не сошел на церковь». Однако это суждение настолько общее и неопределенное, что имеет содержание лишь для меня. В тот же самый день начались искушения, продолжающиеся и поныне, далеко превосходящие мои силы. Впрочем, приятно думать, что есть искушения, от которых я охранен.

Необъяснимо, непроверяемо, неопишимо: вот религиозное, по крайней мере, традиционно христианское.

В течение же последних двух веков ум человека научился хотеть и искать объяснения, проверяемости, полноты взгляда на мир. Меняется наше зрение: ясно, что мы перестаем видеть «по-древнему», «веруя просто».

1 ФЕВРАЛЯ 1997

Как умножились атаки на эту крепость тела: изнеможение, боли, сонливость — изнутри, сырость и холод — снаружи! И ничто его не берет! Тюрьма стоит положенное ей время.

Иногда это не разрешающееся ни во что положение наскучивает. Не пойти ли ко врачу, не подлечиться ли, если дело всего лишь маленькой какой-то поломке?

Опять погрузиться в хлопоты людей и их мелкие усилия, где нет мысли о великом Уходе Души и о том, что в посмертии.

Ну, нет, мои болезни — мои, это тоже богатство опыта и переживаний.

И самое место моей жизни — Пещера — должно, кажется, исчезнуть: сегодня доносятся голоса людей, обсуждающих его судьбу: приехав на автомобиле, они стоят недалеко, на холме, скрытые от меня — а я от них — верхушками акаций.

Один доказывает, что нужно сохранить «место» со всеми его обитателями (очевидно, и со мной, но главным образом, из-за редкого насекомого богомол). Другие стоят за радикальное приведение в порядок всей местности.

В конце концов, все уже более или менее ясно. Жизнь исчерпала себя: я не жду ничего принципиально нового (хотя я и не посетил разные удивительные островки знания в мире, — я не был в Японии или в Скандинавии; однако бывал в Германии и Америке и, в общем, «знаю не видел»...)

Своим умом, ну, своим умком, умочком еще какую-нибудь комбинацию воли и представления, последовательность представлений, которая и окажется последней, окончательно верной...

Хоровод мнений вокруг рождения и смерти человека.

Вокруг его порабощённости инстинктам, привычкам, усвоенным ролям.

Чтобы иметь энергию к убеждению людей, нужно верить в собственное мнение, что оно-то и есть открытие. И в самом деле, действительно, что-то такое: «Кант, видите ли...» «Наполеон, сами знаете...»

Впрочем, все это недалеко от иронии, которая недалеко от ненависти. Туда лучше не заходить и не смотреть. Там весь кортеж ужасов.

Сделать вид, что злого мира не существует. Ведь говорится, что зло не имеет субстанции. Так или иначе, можно стараться прожить, не участвуя в нем, не настраиваясь на злое, не делаясь его потребителем и тем более производителем — всего того, что начинается с хлесткого, с «остроумного».

Индивидуальное проходит; фильтруется социальным: «такая-то книга очень интересная»; одного услышанного высказывания мало, чтобы этому поверить и захотеть ее увидеть. Мало второго и даже третьего, хотя уже взято на заметку: «при случае взглянуть». После какого-то количества мнений нужно, действительно, пойти почитать.

Множественность заявлений индивидов о себе социум организует в набор типологий; иногда что-то остается за их пределами: нечто из другого времени, будущего или уже прошедшего (до следующего возвращения круга).

Кортеж чревоносцев под песни чревовещателей.

Выражение неудовольствия, как правило, предполагает, что место для правильного утверждения занято, и его нужно расчистить / освободить критикой.

Место в сознании другого человека.

Оно, видите ли, занято неверным / устаревшим мнением / представлением.

Предлагая новое, правильное, современное мнение, хочу (бессознательно) пройти в сознание другого и я сам, как автор этого мнения.

Хочу, чтобы помнили и обо мне и чтобы приносили мне плату/дары в виде денег, житейских удобств и любви.

Везде человек и его потребности.

Он «мера вещей» в том смысле, что он начало всех своих предприятий / и представлений.

Неодолимые трудности «первородного греха». Из-за его случайности, акцидентности, из-за его мифической (в обоих смыслах) свободы: Ева поверила Змию, Адам поверил Еве. А могли бы и не поверить...

Не сквозит ли тут первоначальный миф: брак Жизни — Евы и Земли — Адама; Ева — богиня, идущая от Яхве: Ева — Яхве — Жизнь и брак этого комплекса с Землей-Адамом (и все последующие браки — производные, не правда ли: Яхве-Израиль, Суламифь-Соломон, Бог-душа); тема плодоносящего объединения, совокупления.

Запрещение произносить имя Яхве связано, может быть, с запрещением возвращаться к мифу, первоначальному, использованному: на месте старого святилища утверждён новый культ. Из Евы (*Хевы*) родился *Яхве*. Спустя тысячи лет это выразилось в «открывающейся Деве» средневековья. У Девы открывается створка-живот, и внутри становится виден Бог-Отец с Распятым Сыном (в парижском музее Клюни). [ныне удаленный из экспозиции... 2005]

Принять окончательную форму — и больше не шевелиться. Жизнь, отвердевшая в моральное предписание.

Почему бы и нет.

Но преимущества перед другими формами бытия тут нет, по-видимому, никакого.

Болезнь, старость, угасание: как, только и всего?

А говорили, а обещали... от имени Бога... вечность, бессмертие...

Даже и сам Павел: грядет Христос, буквально на днях! (фессалоникийцам) А потом: путь совершил, веру сохранил, отхожу путем всей земли (Тимофею).

Великая неизвестность?

Чего стоит вся эта жизнь и наука, не имеющие отношения и связи с посмертием...

Сонливость, как ответ на призывы книг, практик и ситуаций.

Все произошло вовремя: перечитывая «Обращение», начинаю скользить по рельсам повествования, проложенным в прошлом году. В изнеможении последних месяцев я не сумел бы этого сделать.

Более или менее приготовить /очистить / развить черновик: и книга будет закончена.

Может статься, в новом году я уже ничего не смогу.

И снова приближаясь к теме:

освоение мира в процессе устроения жизни;

проживая жизнь в освоении мира, опыт собирался сам по себе, и потому был драгоценен и неприкосновенен; ныне фиксируемый — и гарантируемый (!) этим от исчезновения — он потерял в «сакральности», он стал предметом / инструментом / сырьем...

Ведь и прошлое должно быть освоено, не правда ли, должно быть дано приемлемое его изображение. Также и будущее. «Первородный грех» ведет, конечно, к «страшному суду».

(И он понимался в течение веков как самостоятельный несанкционированный половой акт; ныне это — ослушание-де Адама: съел от плода, хотя было сказано «не ешьте»).

Насколько религия — часть традиции, настолько она смертна.

М. быть, от нее уцелеет только слово-имя *Бог*.

Мистический опыт несомненен, но индивидуален и противоречив. Имеющему его дана Полнота, непередаваемая другому; рассказ о ней будет частичен.

Божественное в том, что моральные законы и образцы избраны и в основных чертах *неизменны и повторяются во всех религиях*.

И это общее — анонимно, интеллектуально, «научно» (абстрагируемо).

Более или менее «правильно» прожить жизнь. Потому что от «правильности» зависит комфорт тела и души, — их отношения с вещественностью мира и людьми.

И посмертие, как набор идей, объединяющий в общество живущих.

Акцидентность (случайность) «первородного греха», позднее объясненная — заимствуя у греческой философии — «свободой выбора».

Христос пришел освободить нас от него.

Очевидно, это значит — может значить — что Он выводит наш ум из этого круга идей. На уровне познания «первородный грех» исчезает как отработавшее предположение, как «протез» в концепции, как заменитель недостающего элемента.

Если убрать его — то рухнет и все остальное, и разрешаются многие проблемы. Например, та, которой «не решается касаться» (по его словам) Григорий Назианзин: Христос, Сын Всевышнего, «искупает, выкупает» человека — у кого? Должен ли «платить» что-либо Всевышний, если желает взять?

«Выкуп» — как остаток и тень какого-то исчезнувшего мифа (во всяком случае, отделившегося), м.б., военного рода, когда одна из сторон — Бог — платит за взятого в плен человека страданиями Сына.

Акцидентность. И локальность, не-всеобщность постулатов религии на уровне идеограмм-догматов.

Всеобщность этики, «общих понятий» добра и зла и всей вереницы добродетелей и пороков.

И общность природного: народ, язык, семья, воспроизведение.

Строить дом всю жизнь: из идей, образов, привычек. Из бесчисленных «нравится — не нравится», имея в качестве осно-

вания несколько камней, положенные родителями, воспитателями, инстинктами возрастов.

Построив дом, предлагать его своим детям.

Зрелый человек знает, что дети покидают этот дом в свое время.

Так называемая истина, с которой удобно существовать.  
Войны и споры из-за концептов!

Хоть что-нибудь неизменное, ну, хоть чуточку, на чем можно стать, за что можно цепляться.

После всех перипетий, ужасов и Богоявлений — ничего не осталось, кроме усталости.

В конце концов, значимость человеческих усилий и труда совершенно неизмерима и неизвестна.

Что могло бы сейчас помочь человеку? Реабилитация веры в Бога через несомненное для всех / для многих Богоявление.

То-то была бы радость, что мы не одни! Что смерть проходит, как все в этом мире! Что смерть принадлежит этому миру вещества.

Наука, впрочем, здесь помогла. С одной стороны, надежда на нее была чрезмерной — и породила высокомерие «владеющих знанием». С другой стороны, она обнаружила малость знаний человека прежнего — и малость частички знаний, уделенной ему в 19-20 веках. По мере открывания нового знание будет постоянно уменьшаться: этот парадокс отмечен Паскалем (кажется, до него это сделал Николай Кузанский).

Серый туман изнеможения и безразличия затягивает небо.

Он так устроен, что это меня даже не беспокоит: ну, исыкаю, ну, умираю, ну, что с этим поделать? Таков всяк человек. А мечты его о себе связаны, конечно, с юношеским подъемом и уверенностью в себе «здоровой социальной клетки» сорокалетнего.



После многих читанных и перелистанных книг, уже чувствуя, что этот поиск никуда не ведет,» что Бог по-прежнему неизвестно Где, что...

Всё чаще оглядываться на собственную прожитую жизнь, открывая, что она — книга, написанная кем-то мною самим, мною-пером, которым водит кто-то: Провидение, судьба, люди (а за ними прячутся все те же Провидение, судьба, духи)... гигантский компьютер вселенной...

И эту книгу интересно переписать на бумаге.

Единственную книгу своей жизни.

Теперь я стал ценить только рассказы о пережитом, мемуары, виденное: эти книги писал людьми-перьями Кто-то. Это интересно.

Подзаголовок «роман» вызывает отвращение.

Поэзия — отдаленный, гаснущий интерес.

Детство легковерно, и принимает все.

Юность предпочитает крайнее, экстравагантное, но непременно сплывающее, объединяющее в «кисть винограда».

Тогда фантазирование кстати: при этом напоре жизненно-половой энергии все кажется легко и мгновенно достижимым.

И вот насыщенный повторениями, знающий усталость, кратковременность, обрывочность порывов (ветра юности), иллюзию фантазий и всех бесплодных «остраннений смысла» и «теорий карнавала», мотыльковую жизнь известностей...

А где же то, что, собственно, мы ищем: вечное неизменное бессмертное блаженство Бога...

Задать кому-либо вопрос о посмертии. Священнику, например. И он что-нибудь скажет на этот счет, из прочитанного с добавкой своих соображений.

Знание об этом важнейшем равно в общем-то нулю.

Но есть понимание, соображения. Высказываемые, они выглядят сообщаемым знанием, принимаются надеждой умирающего (или — благодаря надежде, цепляющейся за все).

Сообщаемое псевдознание позволяет пройти времени — безболезненно, в иной области, с иными образами, утешающи-

ми душу. Это — отдых. И если затем сказанное и усвоенное не тревожит, то благодушие сохраняется некоторое время.

Но при новом подступе реальности смерти «мнения знания» рушатся. И опять нужен заговаривающий страх. И как тут быть без религии и её функционеров; и это кое-что, это не ноль при нашей фундаментальной нищете, хотя, конечно, несравнимо с настоящей верой получивших Божью благодать.

Ищущие забвения в аморализме, в обновлении привязанности внимания и чувства. Редукция в животность тоже вариант спасения/бегства.

А вон тот стремится сделать из ближнего палку, чтобы достать слишком далеко упавший банан.

«Анархичность» пророков, неопределенность «воли Бога».

Институт или призвание: пророчество в Ветхом Завете; «ученики пророков» на службе власти, — и противопоставленные им «пророки», независимые, иногда преследуемые (Илья, Иеремия).

«Стадо и пастырь» — архаическая модель, возможная на первом этапе, этапе «новой ереси»: Иисус и ученики, Павел и ученики, пока пастырь «знает своих овец». Потом уже знает только приближенных (на примере недавних возникновений — движение Тэзе во Франции). В стремлении сохранить эту евангельскую первоначальность личных отношений, евангельской церковности, протестантизм и должен был бесконечно дробиться на течения и местные общины: это заложено основателями, как «имманентное» движения. Католики, видящие тут «недостаток» и «порок», не понимают евангельской церковности.

Как и протестанты не знают «старого вина» религиозных текстов богослужения католиков.

Воспользоваться преимуществами друг друга мешает — несмотря на церковный порыв друг к другу — формализм партийности. Социальное видимое непреодолимо.

Вчера в воскресенье 2 марта 97 упал порядочный камень как раз на то место, где я сижу за пишущей машинкой и печатаю в настоящее время беловик «Обращения». Тогда я вынул и другие уже еле держащиеся камни. Однако вообще весь свод — особенно нижняя рыхлая часть его простукивается как пустая, отошедшая от монолита и висящая. Конечно, она может висеть так бесконечно долго. А может — и перестать висеть.

Впрочем, камни уже дважды выпадали из свода без всякого для меня вреда.

Купив за многие тонны икры секрет атомной бомбы, россиане соглядатаи зашивали его в онучи и возвращались лесами в далекую Московию.

Евангельская мотивация поступков настолько редка, что неизбежен риск постоянного недоразумения. Внимательное отношение к женщине ею воспринималось как ухаживание; помощь старику — как намерение поступить к нему в рабы; терпение и всепрощение — как удобная бесхарактерность. Вообще тема «владения другим человеком» гораздо чаще встречается, чем я думал: «любить, значит подчиняться или подчинять».

Талант редко «справа».

«Исполнительский талант», быть может, который обслуживает установленный порядок. Но «творческий» предпочитает — и даже должен — остаться в «неопределенном», без четких пределов, в полной свободе желания. Вплоть до разрушения и саморазрушения.

Политически «правый» доволен собой, высоко оценивает владение любого рода и стремится сохранить это положение вещей. Это часто люди долга.

Вероятно, им не хватает сердечности, их жесткость сродни жестокости. Но, как и все в жизни, их присутствие необходимо в социальной жизни, как тормоз и противовес.

Истинное и священное — «одно и то же» в религии.

Вчера я думал об этом, слушал епископа, который призывал к священству в своей проповеди. «Придите следовать за Христом», — говорил он. Как если бы он мог Его показать. «Следовать за Христом», — но в действительности «служить социальному институту» с его законами; служить структуре, претендующей на имя «семьи», — с тем, чтобы, послужив, отправиться в старческий дом в конце жизни, став бесполезным. Как всюду, как у всех, мы все люди, не правда ли. Ну, чего вы хотите?

— Если вы призываете нас придти к Богу, то мы хотим видеть божественное. Только и всего.

Господин говорил по радио, что он никогда не переживал ни «кризиса веры», ни сомнений «ночи веры». «У меня маленькая спокойная вера». И вдруг неожиданно мелькнула фраза среди длинных и интересных рассуждений: «Как показал Фрейд, инстинкт смерти...» и т.д. Есть аспект, стало быть, и он не единственный, где выбор сделан в пользу *иной веры*, не евангельской, и конфликт верований не состоялся.

В нашей душе есть уголки, где нет веры, и их легко занимают иные верования.

Сакральное всегда под угрозой: и вот радио «Куртуази» обрывает Магнификат не слишком куртуазным способом, потому что пора передавать метеосводку.

Любопытно, что однажды провозглашенная программа почти неизбежно приходит к своему отрицанию. Но нынешняя «правая» сыграла положительную роль: по «Франс-культюр» говорят о религии, полицейские появляются иногда на пригородных станциях, хулиганы стали чуточку менее наглы.

При всем «фрейдизме» нынешней социологии значение коммерческой рекламы как бы выпадает из поля ее зрения (случайно?) Реклама часто кажется «искусством для искусства», — стремясь вызвать сексуальное желание и «наклеить» на него желание купить товар, она подчас заботится только о первой части.

Вероятно, часть телезрителей и прохожих следует внушению: возбудившись, они покупают стиральный порошок или зеленый горошек. Другие, получив импульс, удовлетворяют желание законным способом (женатые и замужние).

Есть еще значительное число одиноких людей, у которых нет денег на покупку. Им предстоит нести влечение в себе, ищущее выход и реализацию, все время подстегиваемое. Вот возникает момент преобразования (сублимации) неиспользованной жизненной / сексуальной энергии. Ее лицо-носитель делается все больше ее марионеткой; вероятно, всякий человек знает этот «диктат гипофиза», который слепо и тупо стремится к удовлетворению.

Молодые немедленно становятся жертвой этого процесса. У них подогретое *медией* желание — усиленное образованием и этнофизиологией — преобразуется в агрессивность. Вероятно, выросшие в мусульманстве еще более чувствительны к приемам рекламы, поскольку эта религия не имеет вековых призывов и навыков воздержания, как в христианстве.

Рекламные щиты, стремящиеся вызвать сексуальный импульс, первые и подвергаются агрессии: вырванные куски, надписи и комментарии в сильных выражениях: это последняя линия обороны стыдливости. Но затем похотение прокладывает себе путь в душе и в социальной жизни. Юноша стремится объявить о своей мужескости и силе, он начинает провоцировать свое окружение в транспорте и на улице; он действует точно так же, как сама реклама.

Иногда эта агрессивность еще яснее говорит о своем происхождении. Вот сообщение о разгроме магазина спортивных товаров: его произвела банда в 30-40 человек, вооруженных битами для игры в бейсбол. Другой случай неподалеку, в Севроне, где тем же фасоном ограбили ювелирную лавку. Украсить себя спортивными принадлежностями соответствует образу победителя в современном обществе, в т.ч. победителя сердец. А также добыть украшения для своей дамы, которой наскучили подношения в виде кока-колы и жевательной резинки.

Вероятно, в будущем государство будет вынуждено контролировать воздействие рекламы на общество, что уже частично осуществляется (табак, алкоголь). Ибо если хотят забыть о саморегулировании жизни в обществе, то она напомнит о себе способом мало приятным, но сильным и действенным. Если реклама приведет однажды к массовым сексуальным насилиям, так это потому, что насилие создает атмосферу страха и разрушает тем самым пафос сладострастия; сексуальное желание в обществе ослабевает, а оно и было, как мы видели, причиной агрессивности. Точно также мужескость, коварно раздутая, натолкнется на мужеский отпор государства.

Социология молчит об этой проблеме, поскольку социологи принадлежат к тому же обществу, которое боится лишь преждевременной смерти. Я не удивился бы, если бы однажды обнаружилось взяточничество в их агентствах или попытки исследований, остановленных чьей-то властью.

О, мощь энергии жизни, творящей народы из ничего!

Познать-то я себя познал, но вот — не понимаю себя!

О принесении жертвы: почему агнец, а не тигр, например? Казалось бы, почетнее принести Богу жертву с риском для жизни.

Жертва связана с едой, как указывает этимология (жертвовать = жрать): агнец предлагается Богу, Бог принимает жертву, Он и человек «едят вместе», делаются застольниками и друзьями, человек приобретает «от божественного», находит Его покровительство.

Дать своей еды другому — и приобрести его, приручить; дать ее Богу — приобрести и Его.

Приручить свое дикое.

Анна и Анатолий, ее сын, сибиряки-эмигранты. Сначала неверующие бедняки, насмехающиеся надо мною, глумящиеся: над бедняком. После смерти матери он в депрессии, стра-

дает, становится истовым верующим. Теперь в церкви он делает мне строгие замечания, если ему кажется, что я «делаю неправильно»!

Есть время привязанности к обряду как к «неизменному».

Ах, как сладко: вспомнить это невинное «вместе» на берегу, в декабре, под снегом Балтики, в пустынном ресторане: прощанье с возлюбленной.

И что значит это желание — побыть в «советской отчаянной обстановке» конца, неминуемости и неизбежности — сейчас, в изнеможении 97-го, в парижском пригороде?

Носит сандалии на босу ногу: очевидно, упражнение, умерщвление к плоти, презрение к ней.

И курит трубку: очевидно, раб привычки и плоти, нравится себе в этом образе.

И не видит тут никакого противоречия.

Отлично знает Библию и преподает экзегезу.

Любит повторять слегка антисемитскую шутку Мориака по поводу шубы жены Даниэля-Ропса, успешного писателя об истории церкви (и ныне уже забытого).

Рабочие, похожие на цыган, прорезающие просеки в зарослях на холме: «Тут будет парк, а там наверху — сто домов».

Агония места. Агония меня. Агония прошлого (моего). Агония ли? Все мы сдаемся без сопротивления.

Воспоминания о Дирке (кузене Кирстен Блох), которого я не знал. Он умер очень молодым, 17-19 лет, в 79-80-м. К. часто вспоминала о нем. Родившийся у престарелых родителей, он вдруг начал умирать от рака. Они были уже на пенсии в Леверкузене.

И престарелый отец, сморщенными пальцами поправляющий молодежные кудри вокруг мертвого лица желанного сына.

Неверие спасает от бунта. «Бога нет» — и некого обвинить, не к кому звать, не на что надеяться. Оцепенение одиноко-

го человека, не знающего ничего ни о чем, перед страданием своего сердца — души — близких.

Впрочем, верующие имеют для обвинения дьявола, который устраивает человеку пакости, пока Бог занят чем-то другим.

Старик перед смертью юного сына.

Однажды К., её отец и я молча стояли перед могилой Дирка.

Меня можно и нужно было привезти в место страдания семьи.

Темы, почему-то не разрабатываемые в экзегезе:

— параллели для обращения Павла: Иисус — Савл (Саул, Павел); Давид — Саул, царь.

— двенадцать учеников Павла в Антиохии.

— сотник Корнилий у ног Петра, и слова Петра: «встань, я тоже человек!» — никогда не цитируемый кусочек из Деяний, прямо запрещающий... практику приема у наместников Петра, пап.

— запрещение Ангела в Откровении ему кланяться: «не делай этого, Богу поклонись». (Впрочем, в 4-5 веках в Европе возбранялось поклонение ангелам).

Закон талиона.

Насмешки и глумление в советской армии над другими нациями, говорившими по-русски неправильно. Причем, литовцам, например, запрещалось говорить по-литовски *между собой!* А когда они говорили — вынужденно — по-русски между собой же, то русские над ними насмеялись из-за их ошибок и акцента! И вот В., слегка глумившийся — и глумящийся еще — над не умеющими говорить по-русски, бьется над освоением французского языка...

Быть может, тут есть и психология: столько раз смеялся над ошибавшимися, что теперь сам боится ошибиться. Своя собственная насмешка стоит в ушах. А как заговорить на другом языке, не ошибаясь? Остается сидеть за забором немоты, в уверенности и защищенности освоенного.



Судьба успеха в обществе в руках парикмахера (насколько умело он сделает «парик» из живых волос). Вероятно, наилучшим парикмахером для мужчины будет женщина, если она найдет его привлекательным: она постарается его ещё озабочать.

Господи, благослови.

Вот еще страшная тема: Господи, пошли нам пилюли от педофилии!

Всё-таки Ты задолжал человечеству: пропорционально его неверию.

Недосотворённый человек. И что же нам делать?

25697: 800 обысков в поисках кассет педофилии, пять самоубийств заподозренных.

А ведь новелле Томаса Манна «Смерть в Венеции» — аплодисменты и экранизации... тюрьма и смерть его слишком буквальным последователям...

Пошли нам пилюли от Твоего страшного секса, который ты вмонтировал в нас! Оставь его младым супругам, рождающим детей; а прочим даруй лекарство — тем, кто уже не рождает, кто избрал другой образ жизни, тем, кого Ты призвал к иным проектам жизни...

Или наше будущее — клонированный человек? И каким он будет, рожденный без страстности (порочности, говорит катехизис) зачатия, без всего того, с чем иудаизм и христианство борются уже 4 тысячи лет?

И разом выбросится этот клубок мифов, противоречий, ужасов и насилия. Гиппопотам выйдет из человека навсегда. Аминь.

В том далеком возрасте, когда я еще не умел различать между дружественным предложением, формулой вежливости и коварным заманиванием.

А после обращения я не хотел различать, полагая, что мое обязательное отношение ко всем и вся — это безусловная любовь, охраняемая, впрочем, заповедями и евангельскими образцами. И Дух давал иметь это отношение, давал также ви-

деть враждебность и даже злые поступки, однако, не придавая им никакого значения! Очень часто это обескураживало злых.

Теперь наступила мудрость Экклезиаста, покачивание головой, безразличие почти ко всему в этом хаосе жизни: слава Богу, она проходит! Последнее достоинство жизни в ее бренности.

Что может защитить человека от стремления рассказать что-нибудь хлесткое, страшное, — и тем привлечь к себе внимание и ужасающееся восхищение слушателей? Тем накормлено его самолюбие. И все сильнее, все ужаснее должны быть рассказы, чтобы воздействие длилось. Литература добавляет к этому «мастерство» и «владение словом».

Эксбиционизм рекламы (Женщина) вызывает острую реакцию у части населения другой культуры (арабов, например); эксбиционизм женщины в рекламе вызывает демонстрацию мужскости в виде агрессивности созревающих подростков и молодежи. Сексуальный импульс конвертируется в агрессивность.

Нужно ждать взрыва молодежной преступности, и тогда, в страхе перед нашествием иррационального, отдать себе отчет в том, что пропаганда полового влечения не менее чревата и не менее должна быть контролируема, чем пропаганда войны и расовой ненависти.

Общество молчаливо утрачивает скрытый механизм регулирования полового влечения через мораль и приличия; промышленники выступают против проекта закона Вейль о запрещении использования женского тела в рекламе. Нигде ни слова об этом заблокированном проекте (почему, что, как?), даже у церковных и правых авторов, хотя церковные часто напоминают о законе об аборте.

Нужно ли связать эксбиционизм рекламы и феминизацию власти? Если да, то реклама сеет «вирильность» в обществе, не имеющую естественного применения; вирильность конвертируется в молодежную агрессивность.

Арабской молодежи предложено слишком сильное искушение. Сексуальное в исламе не подавляется идеалами и нарочи-

той аскезой, как в христианстве; сексуальное удовлетворение — часть мусульманского рая, который обещает исполнившим закон «много девственниц с чёрными глазами» (Коран). Сам облик арабской женщины — нарочито не привлекательный, вплоть до ношения вуали. И вдруг воспитанный в такой культуре подвергнут продуманной и часто извращённой рекламе европейских столиц. Ну, и будет хулиганство в Европе и фундаментализм в мусульманских странах.

Пилюли от полового влечения: на всех станциях метро рядом с распределителями презервативов, немедленных тестов на «феномен Т». Обязательная деталь городского пейзажа к 2037 году.

Ева Куролесова, Зоя Леденцова, Вита Стронгова: три грации, три сестры, три странные подруги.

...возвращение в изнеможении и непроходимой усталости и сонливости.

Никак не умру.

И в самом деле, еще несколько страниц «Обращения».

Оглядываясь и видя знаменитые прозрения и произведения, смотря в настоящее вокруг меня... собственно, ничего радикально не изменилось: по-прежнему не найден путь к Богу, который только и мог бы назваться путём, — когда есть карты и проводники и известное число дней. Всё же настолько случайно и непредсказуемо, что...

Господи, помилуй нас.

(На пути из Гранд Трапп в Мортань)

Такие бедные места,

Где ароматы трав цветущих.

Стоят недвижно облака

Над головами здесь живущих.

И крик играющих детей

Так далеко едва ли слышен.

Печаль стареющих людей

Ложится тенью на крыши.

Светило дня уходит прочь.  
Мир освещается луною.  
И принесла прохладу ночь,  
Мое лицо умыв рососою.

Эту песню я пел целый день в странной и доброй влажной печали, сердце смягчалось и плакало. Не нужно было улучшать стихотворение, оно годилось и так.

Стареющие люди: это монахи в Гран Трапп, в аббатстве, где Рансе в 18 веке начал реформу цистерцианцев, что привело к появлению траппистов. Образ старого коллектива, уже начинающего уменьшаться непоправимо и невозполнимо.

Христос нас освободил от свободного выбора.

Смерть больше не принадлежит всем поколениям. Если кто-то погибает молодым, например, от рака или в несчастном случае, то это «случайность», «не считается», «мне не выпадет». Смерть принадлежит старости, и старость делается эмблемой смерти. Страх и ненависть к ней, и к смерти, и к эмблеме. Эвтаназия связана с ней: сначала избавить от излишнего страдания (точнее — нас от сострадания), ну, а потом... новизна геронтофобии, как варианта пауперофобии (страх «телесной нищеты» — страх «нищеты плоти»), как варианта ксенофобии: старик — «чужой» в широком смысле слова: отчуждаемый природою навсегда.

Человеческая любовь связана со страстностью, она выби-  
рает и предпочитает.

В некотором недоумении перед защитой эмбриона: еще ничего не видно, еще ничего не определилось, — отчего же он важнее готового сложившегося человека, лежащего, правда, на тротуаре, в алкоголе и дерьме. И общество ничего не может, оно даже им уже не интересуется, и никто не пишет о нем: о, вот человек, какой это неповторимый микрокосм, он один стоит галактики... ну, так выйди из лимузина посмотреть на предмет твоей проповеди...

Неравномерность человеческой доброты меня смущает.

Тут не сквозит ли... в этой заботливости об эмбрионе... еще что-то... самоутверждение... желание чего-то... править миром... получить свой рычаг влияния...

Движение толп в этом году: Папа в Париже, похороны Дианы. Похороны Сестры Терезы в Калькутте, как эхо похорон в столице бывшей империи, Лондоне.

В старину считали от одного до тысячи, а потом говорили — много, «тьма». И ныне тоже трудно сосчитать: 300 тысяч, 600 тысяч, Миллион, и еще полмиллиона вокруг стадиона во время мессы. Ну, если Миллион, то хорошо.

На улицах Лондона — «один, два, три Миллиона» (по радио). В самом деле, как отличить Один Миллион от Двух и Трех?

Старушки, ночующие с пятницы перед Вестминстером, чтобы все-таки попасть хотя бы на площадь.

Телеграмма от Папы.

Чтение знаменитой 13 главы Павла о любви.

Она была сама любовь... и мы тоже ее любили...

Если бы не эти фотографии. И нетрезвый водитель.

Замечательный рассказ слепого (BBC) о посещении приюта Данной, о том, что он попросил у нее разрешения потрогать ее лицо пальцами («увидеть»!) И она разрешила. «Теплое, мягкое... я навсегда запомнил этот миг».

Жемчужинка этих дней.

Денег на благотворительные цели собрано 1,5 Миллиарда.

2 Миллиарда смотрело похороны по телевизору.

Тело, которое охранял телохранитель Даяны, погибло; а сам он уцелел. Что бы это значило?

Год соревнования мировых спектаклей.

10.9.97 Утром в тонком сне, на грани бодрствования: красивое женское лицо, незнакомое, может быть, никогда не виденное прежде: как знак дружбы и помощи.

Собор Нотр-Дам: поколения-волны... идущие то в одном направлении, то в другом... чтобы заполнить область деятельности...

чтобы затем изменить направление... оставив выплеснутых на берег определенности и окончательности... сохнуть и стареть... еще оставляя после себя детей... которые все меньше задерживаются на месте отцов... увлекаемые куда-то в новое место...

Неделю прожил в Лизьё в палатке позади базилики. Очень хотелось читать на месте том Терезы, где собраны отрывки и слова последнего года ее жизни: вдруг что-нибудь откроется!..

Черные безлунные ночи. Вдруг далеко во тьме удары по железу: та-та-та! И с другого края долины ответ ударом по железу. Зловещий обмен сигналами, делается не по себе, хорошо, что в темноте ничего не видно.

Возвращение к латыни в католичестве (отдельные слова и фразы). Удержание славянского — малопонятного ныне народу — в православии.

«Странность» языка богослужения, его «новизна» по отношению к повседневности/одинаковости текста. «Если приходится повторять одно и то же, то будем хотя бы иначе произносить».

Неизменность богослужения первых веков. В то время — на понятной латыни. Зафиксированная понятность превращается, в конце концов, в непонятное.

«До революции 17 года наши церкви были золотые, а попы деревянные. Теперь наши церкви деревянные, а попы — золотые» (Краснов-Левитин цитирует монаха 30-х годов).

Теперь процесс идет в обратную сторону: золотят купола, стелют мраморный пол...

«В прежнее время у нас были деревянные чаши и золотые священники, а теперь у нас деревянные священники и золотые чаши» (епископ Джон Джуэл, 1609, Англия).

Соединить несоединимое.

Соединять.

Разнородность материала событий детства, юности, зрелости. Его единство в слове и личности говорящего.

201097 Снова прошли геологи из мэрии — мужчина и две женщины — с планом карьеров и сказали, что скоро начнутся работы по засыпанию. И очень скоро, месяца через четыре.

И мне на мгновение стало страшно: опять выгонят.

А потом прошло, и осталось обычное чувство сожаления, что придется покинуть место, где столько всего пережито, пережито, выплакано и намолено...

Кроме того, наверняка четыре месяца растянутся на четыре года.

111197 день св. Мартина.

Изнеможение. Молитвы к Смерти. Как когда-то в Советском Союзе, в 70-х.

Попалась фраза из Исайи: «Рука Бога не укоротилась на то, чтобы спасти». Стало легче.

Звонок около 3 ч. в Вернэй-сюр-Авр: Маша после припадка, в кровати. Санитарка Жослин: «Уже в 2 часа ей было неплохо».

Никто ничего не знает.

Вино жизни разбавляют водой фантазии.

Не все могут попробовать этого вина: вкусного и... отрезвляющего.

Смотрите, смотрите! Рушатся старые понятия! Оседают в пыль древние постройки! Какое неудобное и увлекательное зрелище радикальной перемен!

Социальная структура дает участнику ощущение нужности и значительности своего существования, истинности / справедливости провозглашенной доктрины. Назвать это ощущение «иллюзией» неточно, оно — часть социального действия, составная функция: поэтому и хотят быть генералом, президентом.

Поспешность человеческих суждений всегда опаздывает за медлительностью веков. История гораздо менее упорядочена, чем исследование проблемы, и мы плохо знаем борьбу тра-

диций и школ в гуманитарных науках, где любая точка зрения имеет под собой какое-нибудь основание.

Миф детей о взрослых.

Ребенок устал, его нужно было нести.

Его абсолютная смиренность. Она защищает его от всего грубого: он абсолютно послушен.

Мы играли в какую-то игру. «Кто первый проведет свои фишки в дом». Он очень увлекся, а я опасался, что мне повезет. Слава Богу, он выиграл.

Я подарил ему камень-минерал (оставшийся от Рождества) и сказал, что он приносит счастье. Сказал, что если ему будет грустно, то нужно смотреть на этот веселый зеленый камень 35 секунд. В течение дня он вынимал камень два или три раза и принимался считать, а я уже забыл о своей выдумке, и только потом сосчитал вслед за ним до 35 и вспомнил. И понял... (Я вообразил, что это будет для него отвлекающее занятие, плацебо).

О, Боже мой, снова и снова:

личная встреча Иисуса и учеников. Евангелие!

Ему на смену идут Деяния Апостолов: это история общения людей, складывающегося вокруг Встречи. Возникновение структуры со своими выше-ниже (формальное, иерархия), любимый-нелюбимый (центр-периферия, неформальное).

Эпизоды Деяний — такие, как смерть Анании и Сапфиры, вражда Иакова и Павла не только немыслимы в Евангелиях, но даже запрещены Учителем (Иоанн и Иаков, желающие «свести огонь с неба» на негостеприимных жителей; пример ребенка в споре о том, «кто больше»).

Рост института, «массы организации», возможен до какого-то «предела»; затем ствол ветвится, отламываются куски и части: раскол на Рим и Константинополь в VII-XI веках, откол протестантизма в XVI веке.

Обособление групп, неразрешенное — и разрешенное (монастыри/ ассоциации) — имеет целью восстановить *личное общение*, — оно есть в евангельской парадигме. (В этой пер-



спективе «экуменизм» — призвание для немногих, — как повод и тема для «личного общения»).

Декабрь 93-го, после Рождества, около пл. Данфер-Рошро, с москвичкой Ольгой К. Вечер, скоро семь часов.

Человек старше 50-ти, седые волосы, высокого роста, худой. Просящий милостыню.

Затем и он вошел в магазин, купил закуски и бутылку вина.

Мы сидели на лавочке перед магазином и пили сок.

Он приблизился. Он, вероятно, подумал, что мы — люди улицы, во всяком случае, я.

Возник разговор, в котором я сказал что-то вроде «Бог нас не оставит».

Это его задело.

— Вот бог! — громко и не без торжественности сказал он, вынув из кармана полную горсть монет. — И нет другого! Везде только он, и тут, и в тюрьме! Везде!

У меня было сильное искушение ударить по этой руке снизу, чтобы все разлетелось! Слава Богу, я только сказал:

— Ну, если это бог — твой бог, то вон, очевидно, собор твоего бога! — И показал на быстро.

Его ярость загорелась. Я подумал, что его раздражение было горечью когда-то верившего и надеявшегося, а потом обманутого жизнью и разочаровавшегося. Он нес сердечную рану, и его ярость была криком боли и просьбой о помощи: просьбой разубедить его!

Но в то же время нарочито асоциальная форма просьбы не позволяла приблизиться, чтобы попробовать эту помощь оказать.

Он, вероятно, уже и не хотел приближения, страхась поверить, открыться — и вновь получить удар по коросте раны.

— Ты, старый дурак (въё к...), еще ничему не научился! Тебя надо поучить!

Он жестикулировал вблизи моего лица, уже в нем чувствовалось намерение «случайно» задеть меня, чтобы раздражение вышло, наконец, наружу.

— Каждому свои убеждения, — сказал я. — Мы должны идти.

О. была испугана сценой, хотя и не понимала французскую речь. Я объяснил ей, что произошло. Жалость ко мне смешивалась в ее душе с чувством, что этот раненный жизнью обидчик был, вероятно, не совсем не прав в своих заключениях...

Благотворительные организации — социальное обеспечение — помощь бедным: структуры, посты, зарплаты функционеров.

Им уже не обязательно быть добросердечными, чтобы справляться с поставленной задачей.

Им уже можно и уставать от «всего этого».

Но в истоках структур лежит душевное движение жалости, сочувствия, любви. Любви — если не к самим бедствующим, то к Тому, Кто когда-то потребовал о нищих заботиться. К Иисусу.

Его требование было услышано, записано и стало — иногда — мотивом действий людей.

«Парадигмой».

Кто дал Иисусу «такую власть»?

Наука тут опускает глаза и отделяется очерченным переименованием, в сущности, псевдоответом:

— Он был харизматическая личность.

Харизма, т.е. дар. Особенный и *свыше*.

Здесь научная мысль касается религиозной. Но не осмеливается идти дальше. Не может.

А тут-то самое интересное и начинает «сквозить»...

90 % пожертвований на Красный Крест, например, расходуются на функционирование всей этой машины, и только 10 (некоторые говорят — 5%) достигают собственно «поля боя». Чтобы люди были в постоянной готовности, им надо за это платить зарплату.

Глава ассоциации, собиравшей деньги на исследование рака, осужденный за присвоение средств, виновным себя не признал. Из собранных миллионов он израсходовал на себя меньше десяти процентов обычных комиссионных.

Пожилая дама, очень довольная собой:

— А я приняла всю традицию целиком: верить, так верить!  
В Бога, в Новый Завет, в Церковь, в Папу...

— И в ангелов?

— Во все, целиком! En bloc!

— И в святых?

— Конечно!

— И что Солнце вращается вокруг Земли...

— Но, господин, что вы говорите!..

Быть может, масонство вдохновило Церковь на борьбу против аборта (оно против «убийства плода»).

Маятник:

прежде — потом

прежде — потом

СЕЙЧАС

— Скорее, скорее вызывайте скорую помощь!

— К сожалению, уже наступило «потом»: ничего нельзя сделать.

Уф, наконец-то!

Страсти юности прошли.

Настала безмятежность и мудрость пятидесятилетнего.

Понимание и, следовательно, свобода.

Согласны?

Кажется, вы согласны? Я-то согласен. Но проверим:

— Бедный, несчастный человек Гитлер!

— Бедный, несчастный человек Сталин!

Это они-то несчастные?! Люди?!

Что-то такое начинает подниматься в душе. Какие-то клубы возмущения, ярости, злобы.

Нет, еще не очистились.

После 40 лет я начал подозревать о таинственном компоненте человеческой деятельности, всякой реакции, всякого произведения.

Около 50-ти я стал называть этот компонент «зрелостью». И мог формулировать.

Иногда критика не что другое, как жалоба человека на одолевающее его сомнение. Он зовет тогда на помощь другого, чтобы тот проанализировал, решил и дал бы ему возможность успокоиться.

Весь день просидел над белым листом бумаги.

Как жаль, что Вы перевернули страницу, не дослушав.

сообщить живущим

успеть сообщить

что бывшая определенность представлений уходит на смену идет

новое

непривычно-страшное

Восхитившись наукой, замерев на мгновение сердцем («неужели нашли — окончательно?»), подождав, смутившись, ужаснувшись, — человечество «двинулось дальше», ища, кому бы еще задать свои вечные вопросы.

Христос выводит нас из «Адамова греха» — как из ошибочной мысли, из наваждения, из парализующего чувства виновности.

Он освобождает нас от взгляда, прикованного к прошлому.

Осторожно приблизиться к теме, о которой древние думали напряженно и говорили так мало:

почему у животных нет физического знака девственности — плевы?

Этот знак — исключительное владение человека, особенно женщины: она есть «сосуд», который должен быть «запечатан» (но зачем? чему это служит физиологически?)

Женщина, как человек, обладает девственностью всегда, до и после зачатия, и даже после рождения, поскольку это особенность Человечества.

(интересно, каково состояние приматов?)

Страсть зачатия и мука рождения «преодолены» в Марии. (И так Ребенок будет бессмертен и Богом, оказавшись исключением по отношению к животному миру).

Мария остается девственной, как Женщина (Человечество);

Мария остается Девой, поскольку зачатие и рождение Христа — духовный / мистический акт;

Рождение без «страсти и муки» (мечта);

Мария означает человеческую душу, отсюда ее Вознесение. (в Марии есть нечто буддическое)

Христос — скорее, Иисус — становится «настоящим человеком» начиная с кормления Его грудью Марией (оно дозволено и представлено в иконографии).

Родить подобно Марии — значит не родить никого (если вспомнить, что символом девственности для римлян была дорога: дорога не зачинает, на ней ничего не растет).

Дорога и путь: Мария, путь Бога к человечеству,

Единобожие собирает душу;

дает ей точку наблюдения и отправления;

в созерцании и медитации это сообщает мысли движение.

Аллегория / сравнение проецирует факт на иной контекст;

на другой план реальности.

Класс духовенства был относительно открыт выходцам из других слоев общества, поскольку целибат в католичестве препятствовал воспроизводству. Этой открытости не было в православии, например, в России, где духовенство тяготело к созданию касты; они женились между собой.

«Опыт» нельзя передать прямо.

Нужно показать весь процесс, начав с зарождения мысли. Тем более, если результат опыта выглядит «нелогичным», «дан-ным»; и так часто бывает, если речь идет о Боге и о бессмертии души.

«Мистический опыт» нужно показать в становлении, как он происходил и к чему привел. И тогда — если Богу будет угодно — кто-нибудь сможет воспользоваться рассказом об опыте как транспортом к своему собственному неповторимо-му, индивидуальному .

(за чтением Платона)

Среди множества «литургий» человечества найти свою... создать свою собственную... присоединиться к готовому... или — или... вот и весь индивидуализм...

Наука очень уменьшила область применения «морального суждения»: все вещи она находит естественными. Она имеет доверие к природе, а через это — к Богу.

Говорить вслух, обращаясь к кому-то отсутствующему: мистический эффект «ожидания ответа многими».

Обязательный компонент любого ритуала.

Смерть мой бабушки Софии в 1961-м, смерть Иды Ляндо (матери Марка) в 1967-м были, в виду их возраста, «в порядке вещей». «Старые люди умирают». Несмотря на мое активное присутствие в обстоятельствах, несмотря на сильное любопытство — «а что дальше с ними?» — эти смерти не были моими.

Первая коснувшаяся меня — смерть Анатолия Скопы (†1966). Он выбросился из окна Университета на Ленинских (ныне снова Воробьевых...) горах.

Одно время он был под следствием или даже арестовывался (в 58-60-х ?), затем где-то «отсиживался» на периферии, вернулся в Университет. Я познакомился с ним в 65-м, после возвращения с Дальнего Востока, из армии.

Выбросился, одев спортивный костюм.

По факультету пошел слух: «Выбросили...»

Незадолго до события я видел его. Он сказал, что за ним установлена слежка, и просил некоторое время не приходить.

Его знал Аркадий Р.

Если у нас уже есть модель («как должно») описываемого случая, позитивная или негативная, она будет присутствовать в нашем описании как ирония или экзальтация.

Актер, играющий спесь и наглость.

Огромный успех.

Стольким сотням тысяч нравится быть спесивыми и наглými. Но они не осмеливаются.

Господи, помилуй нас.

Они хуже нас, потому что мы лучше их.

(содержание всякого национализма)

Мы лучше их, потому что они хуже нас.

А еще рассказы о себе под видом заботы о человечестве,

Множественность ситуаций вокруг меня.

В этот момент:

Эрик, страшащийся смерти (у него рассеянный склероз),

Гзавье, теряющий зрение и боящийся, стареющий о. Альберт, как бы деревенеющий, сектант Лев, убежденный в том, что владеет истиной, и стремящийся навязать свое представление, моя дочь Мария, дорогая, беспомощная, стареющая

«прицепиться» изо всех сил к полноценным людям, Мириам со своей драмой «некрасивой женщины» и так далее, далее со всеми остановками.

Линии-векторы, пересекающие меня во всех направлениях. И сам делаюсь надеющимся, цепляющимся, умирающим, боящимся, деревенеющим в безразличии...

Просила прощения и плакала одним глазом, а другим по-сматривала на часы, не опаздывает ли на поезд. (воспоминание о семейной жизни)

Закрытая система Бога: человек и зеркало.

Бог, это объективированное человеческое сознание, говорят нам. Оно вдохновлено и дано в рождении; в противном случае, откуда взяться самой идее Бога? Вдохновлено Духом.

Дух есть Бог.

Институты и выражения христианства привязаны к видимому миру, заведомо противореча Духу «религии» (место и отношение с невидимым).

Они хотят быть всем содержимым; начиная с не которого предела (и как его предвидеть?) они теряют свое основание быть и начинают исчезать.

«Бог взял Малую Азию у христиан и отдал мусульманам».

Простое незамысловатое и спокойное следование фактам истории.

Сосуд пустеет. Опустошается, чтобы дать место новому содержанию.

Если оно действительно новое.

Бог — «король»; «король» Христос...

Он настолько огромен, неуловим, непостижим.

«Король», слишком мало и маленькое. «Царь» не больше.

Его могли гильотинировать и расстрелять.



Мк. 14, 28: «По воскресении же Моем предварю (= буду ждать) вас в Галилее». Нужно ли видеть тут лишь область евангельской топографии?

А если прочесть это имя как человеческое?

Это уже делалось в полемических целях, когда в проповедях того времени (около 1619) цитировались Деяния 1,11: «Мужи Галилеи, что вы стоите и смотрите на небо?..»

Взгляд, который судит: он навязывает схему сопоставления нового с обязательным образцом. В истории — это инквизиция, ее школа и ее психология.

Созерцающий взгляд: он делает себе окно... сосуд... бескорыстный взгляд.

Созерцают, ожидая, что в душе медленно образуется «резюме» виденного; ни к чему ревнивый инвентарь прошлых и текущих событий.

Писать так, как жилось: радостно и бодро, умиленно, со слезами в душе, но и с усталостью и безразличием, на пустой живот, в изнеможении и болезни, — вот вся наша жизнь, вся — наша.

«Спасение»: эта необходимость «спасать» человека Богом, в пределах творения того же Бога, отражает «акцидентализм»: страх перед хрупкостью человеческой жизни.

Читают и пишут историю под грузом «виновности грехом», всегда присутствующим и актуальным, как если бы никогда не было Искупления.

Теологические понятия существуют, поскольку в начале был опыт «духовных чувств»; откровенное знание, подобное «невыразимому» Павла (2 Кор. 12,4); также и его обращение на Дамасской дороге — вне аккуратности катехизиса; оно совершилось вследствие откровения, воспринятого — чем, как? «духовными чувствами» (термин Диадокха Фотического). Они не

находятся в действии все время и у всех. Время их приведения в действие непредсказуемо. Большинство не знает об их существовании.

Столько теорий, новых, интересных, еще только вышедших на поиск восторженных поклонников, служителей, рабов.

На поиск пропитания.

Они заставляют вспомнить о растениях, питающихся насекомыми.

О, мухи Человечества, берегитесь.

Чтобы сказать правду, нужно быть одному.

В противном случае есть риск исключения (из группы), разрыва (отношений); неизбежна дипломатия лицемерия.

Одинокий изжил страх перед исключением. Он уже свободен.

Роскошь честности дана одинокому.

А удовольствие исполненного долга?

Это внутреннее эхо одобрения группы, среды, ассамблей.

Эфемерность литературной иллюзии, тем не менее, фундамент и принцип этого искусства.

Если же писать настоящие даты и имена: исчезают мечтания, тает туман фантазии, который маскирует и приукрашивает.

И тогда обнаруживается талант и умение писателя.

Вера основывается на Откровении.

Откровение исходит из веры.

Место и вес антропоморфизма в теологии.

Согласно Аристотелю, начинают с «обзора предшествующих мнений» о данной проблеме. И кончают своим собственным.

Коммунизм пал.

Выветривание его доктрины в сознании создало пустоту, которую заполнит, быть может, православие, воспринимаемое и переживаемое как главная идеология «скорой помощи». Оно будет ревнивым и не склонным к примирению.

Да и каждый день смерть, болезнь или обстоятельства увлекают Важное Лицо из ситуации, но жизнь не останавливается ни на миг. Не успевшие осуществиться Великие Решения превосходно заменяются обыкновенными.

Общественное Лицо — это *банк чувств* общества, группы.

Предлог и причина объединения.

Огромная редкость — и значительность — Лиц, подобных аббату Пьеру, в том, что они превращаются в «банк любви», «банк надежды».

Его имя защищает от нищеты незначительности.

Аббат Пьер работает с оставленными людьми.

В основу движения положено имя «места» (Эммаус ев. от Луки) и лозунг «помоги тому, кто несчастнее тебя». Благодаря этой евангельской крохе извлечены из мучительной растерянности 4 000 человек! И объединены в удивительный «орден» бедняков.

Я очень счастлив, что Аббат подарил мне свое посещение и свое имя (предисловие к французскому изданию «На улице Парижа»). Это больше, чем честь; я люблю этого человека; я люблю Того, Кого он носит в своей душе.

О, разрушить всякий «стиль», насколько это возможно! Ибо он чарует и завораживает, он делает легким. Как можно дать знать — даже не о серьезности жизни, но хотя бы о важности наших слов, жестов и поступков?

Стиль спокойного протокола, вот наилучший.

Сопротивляться желанию использовать «литературные средства»... стиль... чтобы прошел незамеченным момент реальной жизни, — слабый, плоский, скучный... Приходит искушение прибавить крошечку, перчика, словечко, оборотик;

и все делается забавным, смешным и приятным, популярным. Нет-нет, надо писать плохо.

Некоторые символы от научных открытий не пострадали. Например, небо:  
чистота, недостигаемость, свет, радость, мир, вечность.

Переписать кое-что в свою тетрадь из Книги Мира.

В свой блокнотик.

Отрывки из Книги Мира.

Цитаты.

Страничка под названием «Николай Боков». Такая интересная история: живу и читаю одновременно!

Аббатство св. Николая в Верней-сюр-Авр, февраль 98, холодно.

Час печального возвращения в приют для инвалидов «Ковчег». Гравий хрустит под колесами кресла, дочь излучает отречённость и неизбежность расставания.

Возле церкви Нотр-Дам, Мари издает пронзительный крик. Начинается приступ эпилепсии (как говорят).

Внутреннее оцепенение и отреченность: «спасибо, Бог Всемогущий». В самом ли деле, я говорю «спасибо»? Чувствую ли благодарность?

Челюсти дочери скрежещут.

О, моя милая дочь, твой отец бессилен тебе помочь.

*Следы очевидности, вот и всё. Это уже не совсем то.*

Комплекс Эдипа.

Комплекс Зигмунда

Комплекс Панурга.

«Моисей», предсмертная работа Фрейда (в Лондоне, 1939). Что именно от Моисея? Весь, целиком? Портрет? Биография? Как всегда, частичная, как всегда, как у всех — поиск себя — своего «я», осуждение и отвержение «не-я». *Своего не-я!*

Это еще предсмертное обращение к пророку.

Молитва к нему.

Просьба о помощи: вывести из Египта наступающей смерти.

Последний волхв фараона, из последних сил состязающийся с пророком

Быть может, некоторые извлекут пользу из книги «Обращение» в следующих ситуациях:

— юноша, собирающийся дать обещание;

— влюбившийся семейный, и до такой степени, что готов «оставить все и начать заново»;

— столкнувшийся с небывалыми явлениями, предположительно мистическими.

Зачем написана эта книга? Во время тревог и страданий я искал книгу, которая меня утешила бы и ободрила; (как я когда-то хотел написать «книгу счастья» и носить ее с собой);

ничего не найдя, оставалось только написать такую книгу самому. Она может пригодиться тому,

— кто потерял всякую надежду, но еще борется;

— кто сомневается в существовании Бога;

— женщине, которая смотрит на женатого мужчину как на своего возможного партнера.

Привязанность Средних веков к темам Нового Завета.

Земля и Мы.

И вдруг Земля сдвинулась с места.

И Солнце вслед за ней, и Галактика!

И мы все!

С 1982 года Господь дал мне прожить 2 000 лет: от вспышки Дамасской дороги апостола Павла до сомнений XIX века, до обособления физики и вообще науки XX-го и до ее пожеланий стать религией.

И ничего, 2000 лет поместились. И еще есть место.

Для Тебя, Господи.

Не медли.

Не медли вернуться.

«Приблизительность» мышления древних, как бы в каком-то «тумане» поэзии, в «облаке»: отсюда их «религиозность».

А логика, это своего рода инерция, условие свободного качения мысли.

*Несущественность преходящего.*

«Слава Богу за все!» — был девиз этих лет (1985-96), словно гравированные на металле слова святого Иоанна Златоуста, умиравшего на пути в ссылку, изможденного нарочито трудной дорогой, пустытника и патриарха, потерявшего все — и терявшего последнее, жизнь.

Глядя на сверкающие разноцветными стеклышками облачения, на величавость литургического спектакля, вспоминая его участников вблизи,  
— Господи Боже, имеет ли все это к Тебе отношение?

«Имеет».

Кто это говорит?.. Надежда?..

В этот день этого столетия... начинает быть утомительным находить одни и те же недостатки, у других и у себя, в душах людей.

В душе.

Приходит в голову все чаще «научная мысль», что мы созданы «такими».

Экстралогичность литургического последования.

В некотором смысле, Иуда «рождает» Христа: являет Его миру. И умирает. «Повивальная бабка» Мессии.

И вот, наконец, в XX веке, после стольких призывов и настояний, сознательное и обоснованное убийство человека стало невозможно. Оно теперь всегда отклонение, хотя и происходит.

Наука кое-что возвращает теологии (иногда переименованным):

в начале = биг банг

даже не понятие, не слово, а детское звукоподражание удару в колокол

Big Bang of Big Benn

Стрела молнии в Божьей руке, невидимой.

И вот молния оказалась электрическим разрядом, и Бог, естественно, отдалился.

Так же и в других областях человеческих знаний.

Но вместе с тем Бог все больше лишается душевной антропоморфности. Наши идеи о Нем очищаются.

Бог *становится*.

Да будет Он благословен.

Самоуверенность пророка, нечто человеческое между ним и мною не вызывает отныне доверия. Наука — воспитатель нашего ума в XX веке — говорит по-другому: иди и посмотри; если ты возьмешь вот эти очки (эту манеру видеть), то ты увидишь то-то и то-то. Наука прибегает к демонстрации; навязывание (властное) традиционного религиозного поведения *неинтересно*.

(за чтение Корана, с.85 и след.)

В мир пришел кто-то, тебе неизвестный, а покидаешь мир — ты.

Смерть потому страшна, что этот мир, эта жизнь в нем — только начало.

Сознание не может помыслить свое исчезновение!

Ну, какое ещё нужно доказательство бессмертия?

Лечение прошлым, при сильном страдании в настоящем: нужно взять дистанцию, отделиться от причины душевной боли (особенно утраты).

Прошлое говорит: «Все проходит. Пройдет твое нынешнее и станет мною. Осколок стекла превратится в бархат».

Боже мой, как много сегодня неба!  
И дыхание легкое и полное.

Душа (Мария) и Дух (Христос) вместе, но душа предшествует духу.

«Хорошо» и «плохо»: дихотомия «кстати» и «некстати».  
Вечное суждение осуждения.

Нужно съезть от «древа жизни», чтобы увидеть, что это «так сделано».

Научное мышление обещано Христом («предварю вас в Галилее», — именно, в человеке Галилее, а не только в местности, — местность прошла) ; оно избавляет нас — лечит нас от полярностей манихейства; августинизм проходит. (Жестковато звучит...)

Болезнь: «моральная дихотомия» (манихейство).

Лекарство: все те же десять заповедей, их достаточно .

С приходом Галилея и Декарта начинает рассеиваться туман приблизительной мысли. Но их приход — всего лишь симптом, видимый знак. Причина же все та же, Христос.

Этот подход, родившийся в историческом времени, отныне плодоносит.

Троичность имплицитна (тайно присутствует) в Ветхом Завете:

Адонай (Господь) — произносимое («видимое») имя;

Яхве — произносимое (тайное).

Святой Дух, соотносящийся с обоими Именами.

О, я люблю непогоду в моих карьерах: полный мир. Ни гуляющий не зайдет случайно, ни кто-либо другой. В эти дни одиночество самого высокого качества. В 50 минутах езды от парижского Нотр-Дам!



## Мой огород 97

— томаты с августа по ноябрь, 100 кг

— огурцы с июля по август, 80 кг

— свекла красная, 40 кг

салат зеленый, редиска (4 смены), лучок сибуле, дикий фенуи, иссоп, мята, щавель; очень ценная молодая крапива;

Плоды дикорастущие:

— яблоки 200 кг (часть высушена на зиму)

— вишня дикая, черешня; слива ренклюд 40 кг (варенье), мирабель 45 кг;

— ежевика 20 кг (варенье, очень ценное)

— грибы 4 кг (солёные навозники, свежие иудины уши).

Плоды шиповника, очень трудоемкие, собрал 10 кг. Долго откладывал варку варенья. Назначил, наконец, день и час. Открыл коробку и... все кто-то утащил! Конечно, садовые сони...

Земное бывает «окнами» в небесное, куда заглядывает душа, оставляя ум и сознание в неведении, через которое пробираются лучики (в сновидениях).

Иоанн 14,7.

— Хоть бы один прямой свидетель чуда! Хотя бы «я видел, это было со мной» — одного человека.

А не только молчаливая, многотомная «традиция», — учное слово «традиция» вместо неисследимого простонародного «говорят».

Но ведь я видел! со мною было такое!

Нотр-Дам, Собор Парижской Богоматери: ни одного камня, положенного в XII-XIII веках. Все заменены. Вероятно, на подобные.

*Вернуться к оригиналу уже нельзя.*

Это справедливо для всех аспектов религии и ритуала.

Парадигма: образец... фильтр... экран...

Парадигма-экран в человеке: между животным и человеческим.

Парадигма: «Христос».

Парадигма: совесть.

Пеньковую веревку Франциска сменяет шелковый шнурок францисканцев. И с этим ничего нельзя поделаться, это социология.

И, однако... аббат Пьер... и другие некоторые.

Общество не может устранить свой низ и край, бедность и нищету, но может и должно стараться смягчить их, чтобы уменьшить страх своих членов слабых и хрупких.

Психоанализ исследует и публикует гипотезу, например, о гомосексуальном периоде подростков; гипотеза распространяется в обществе и делается «научным, установленным фактом». В качестве такового санкционирует выбор и случайность даже там, где естественных предпосылок может не быть: *гипотеза становится парадигмой*.

В обществе будущего можно предвидеть контроль за возникновением парадигм.

Вот наше понимание мира: как две ступни, как две руки, одинаковые при рождении, которые затем обувью и упражнением делаются левой и правой: получают различие.

«Вандализм» науки и ученых в области теологии. Пришли ли они узнать, или разрушить, или насадить своё? Во-первых, в этом саду логика не очень растет, а если растет, то принимает неузнаваемый вид.

Логика: нить, выдергиваемая из ткани... из ткани одежды человеческой души.

Одна только нить: из нее не сошьешь ничего.

Наука тклет из этой нити ткань, — о, если бы из нее одной! Не ветхозаветное ли это желание чистоты (обособленности), за-

прещавшее засеять поле разными семенами (чистота/обособленность должны привлекать еврейскую психику).

Но есть и другой компонент: ученые, чувствующие потребность быть жрецами, священниками, Моисеями. Понятно, почему: полнота без религиозности невозможна.

Встреча: зарождение отношений («благовещение», подъем и радость); первые впечатления, их развитие; их жизнь.

Их угасание.

Их смерть.

Сколько людей попадают на эту удочку.

Ах, эта зелень прохладного июня!

Нежнейшая зелень акации, — она превосходно растет на склонах ракушечных холмов и впадин бывших карьеров Ганьи.

Чистейшая юная зелень...

И еще медленность; я накопил много медленности за эти годы. Оказывается, она необходима для плотности и крупности мысли. Для зрелости.

И еще многоплановость и одновременность. Например, я пишу в июне 96-го о том, как я иду в декабре 92-го.

Из всего «Логико-философского трактата» Витгенштейна, который поразил меня в 1965-м, еще в Москве, в 1995-м я удерживаю лишь один «стих»: «О том, что не может быть сказано, следует молчать».

Захотелось перечитать весь трактат,

И не получилось.

История говорит: ничего не изменилось.

И это возвращает нас к настоящему plus humble, plus patient.

В тени причинности.

Отдых на пути в Египет: в тени причинности.

Вот так номер! За молнией и громом не оказалось Бога! Оказались поля статического электричества, разные полюса. Как же теперь быть? Семинарии опустели.

Может быть, Бог — за электричеством?..

В это почему-то уже не верится... К счастью, наука продолжает углубляться и, если найдет Его, то, будем надеяться, скажет.

Эйнштейн, в переводе «камень».

«На камне сем...» И — смотрите, какое здание! Как достигло до неба! И сколько апостолов!

Мои ли только эти ассоциации, вызванные компаративным чтением, или тут «что-то есть».

«Мою теорию поняли во всем мире двенадцать человек», — якобы сказал Эйнштейн.

Опять «двенадцать»...

Одна из причин мучительности ностальгии чужеземца — это то, что нигде нет обстоятельств «меня ребенка», в которые можно заново попасть и отдохнуть от ответственности, от груза взрослости.

Если Господу угодно, пусть продолжится это писание и во дни искушений (16-18 ноября 95). Пусть изобразится на бумаге круг эпизодов, утвердившихся в моей памяти. Иногда мне хотелось найти книгу о жизни и вере, написанную моим современником на основании собственного живого опыта, но не удавалось. В конце концов, я стал писать такую книгу сам: переписывать кое-что из «книги» моего прошлого.

О, дочь моя, Мария, сестра моя.

Но у меня нет мужества сейчас говорить об этом.

У этих дней, месяцев, лет есть параллель, и я могу указать на эпизод-ключ: «обет Иеффая» (кн. Судей, 11, 35).

О, дочь моя... В Тур-сюр-Марн, март 93. Ее увозили в кресле к лифту, у нее не было сил прощаться со мной. «Сделай папе

ручкой бай-бай, сделай папе ручкой...» — она покорно ждала только, что я прошусь и уйду, — я оторвусь, не она... чем она могла протестовать, если не безмолвием и неподвижностью?

И почему это нужно было... в цивилизованной Франции 90-х годов, с соблюдением всех формальностей, юридически безусловно... ну да, у меня не было социального страхования и жилища, — и ничего нельзя было сделать, только разлучить, разорвать... Маленький Аушвиц, незримый, законный и с адвокатами, — где и кому я мог бы что-нибудь сказать?...

Дочь Иеффая изображается с яблоком: возраст вкуса. И в тот день мне достались яблоки.

28 10 95 Как славно, какой отдых — перенестись в другое место, где уже все ясно, где трудности решены, — в Прошлом.

Там все прошло: ни одного нежданного ужаса.

Почему «золотой век» всегда в прошлом, — потому что все кончилось и отстоялось. А здесь все тот же забор. Все те же колючки бытовых проблем. Я даже не могу доказать своего существования: нужно продлевать вид на жительство, но у меня нет электричества и я не могу предъявить квитанцию и подтвердить, что я такой-то. И опять, объятый ужасом, что-то мямлю перед строгим чиновником.

(Всё обошлось. Я подал просьбу о проведении мне электричества в пещеру. И получил официальное письмо с моим адресом, что ответственный господин нанесет мне визит такого-то. Я ждал его на выходе с пустыря, где укреплен мой почтовый ящик. Он действительно приехал и сказал, что установку столбов и проведение линии я должен оплачивать сам, и это около 10 тыс. франков.)

Что-то «сквозит» в том, что вместо вполне естественных шкуры и волос мы должны теперь носить «искусственную» одежду.

«Естественное» должно пройти через «человека» и вернуться к нему в ином виде.

Человек, как сумма отношений: одна и та же.

«Отрезанная часть» ее стремится восстановить полноту: так кусочек червя восстанавливается в целого.

«Церковь», как часть мира: в ней есть весь мир.

Монастырь, как часть церкви: в нем есть вся церковь.

«Философия», как часть религии.

«Наука», как часть религии.

Предложить очередной синтез: это остановка, отдых.

Отдых в подражании простоте Неизменного.

Даже знатоки, сделавшие религию главной темой своей жизни, послушав немного о «проколах» и «прорывах» действительности в иное — мистическое, духовное, тайное, начинают отводить глаза, и уже понятно, что они думают.

Крайний национализм — возобновление «абсолютной монархии», сакрализация государственности, одной из ее исторических форм, взятой в момент апофеоза.

Желание рая, и вот ЛСД, «экстази» и др. Желание достичь рая рывком, «перескочить» через барьер лет, работы, терпения. Нетерпеливцу нужно дать тот или этот рай, но настоящий, или отвлечь его от самого желания.

Впрочем, желание получить рай мгновенно не лишено симметрии по отношению к мгновенной его утрате в падении.

Преступление находит симметрию в наказании.

А здесь не хотят нововведений, не изобретают, поскольку уже нет сил, чтобы нести все эти изобретённые, открытые, накопленные вещи.

Трудность догмата «троичности».

Его главное достоинство, вероятно, в том, что он вне логики, «экстралогичен» и вместе с тем присутствует в речи христиан-тринитариев.

Св. Григорий Назианзин (IV век) не умалчивал о технической стороне дела: троичность отделяла христиан от греческого многобожия и от единобожия (или единственнoboжия) иудаизма.

Знак отдалённости от человеческого мышления.

Историческая истина считается установленной, когда комментаторы согласны между собой. Критерий истинности, стало быть, в единодушии!

А что делать? Историк же не может соотнестись с реальностью, однажды бывшей и исчезнувшей навсегда. Кроме того, что это за реальность, которая исчезает?..

Огромность Откровения сделалась... недостаточной.

Чудовищная масса комментариев, этот непроходимый лес, — необитаем.

Кроха знаний о Боге:

зерно, упавшее с неба, дало вырасти дереву, и оно наполнило землю.

Дерево.

Но Бог... Вы (если говорить по-французски)... Ты (порусски)... где же Ты? Назвав меня «сыном», Ты удалился от меня... о, это наименование, неужели всего лишь надежда на?..

После 13 лет чтения, в самой Евангелии я начинаю видеть следы приглаживания, адаптации, античного катехизиса...

Господи, помилуй нас.

Проблема множественности религий — настоящая и трудная проблема.

Напрасно стараются ее обойти.

В нашей самоуверенности не забудем, что «мы» еще не превошли Египет и Вавилон в долгожительстве.

В религии («отношение» с невидимым) человек «сформулировал» свои страхи и надежды, дал решения загадкам: страсть зачатия и мука рождения; хрупкость существования и смерть.

Мы пользуемся этими формулами постоянно и безотносительно к «сознательной» вере.

Эти формулы освоения великих вопросов — огромное богатство.

Быть может, задача «нашего времени» в том, чтобы «осознать», насколько религия заполнена человеком.

Останется чистый Бог.

Божественная чистота.

— Укрой меня, Господи, от стыда моего, от печали моей!..

На вопрос «есть ли Бог?» нельзя дать «логичного», «демонстративного» ответа, предполагающего «необходимость» вывода. Но можно попробовать предложить «зону ответа», где спрашивающий услышал бы на своем языке — скифском или галльском — «Я Есмь».

Религия: последний оплот цельного взгляда на многосторонность человека.

Но и тут не помещаются буддизм, интегрлисты и многое, многое...

Религия в современном мире, это как королева в Англии: незаметное успокаивающее объединяющее присутствие.

Бог

бросающий стрелы молний

хотя этот образ кажется сказочным, его можно помыслить

Бог, устраивающий электрические разряды в паровых образованиях: «явная невозможность», совсем «не звучит»

как если бы сказка имеет все-таки какую-то «реальность»

но перевод сказки в технические термины лишает ее всякой правдоподобности

Начинают с проповеди Иисуса Христа и с фатальной неизбежностью заканчивают проповедью своего «религиозного поведения».



Но между откровением Основателя и суммой сакральных жестов и формул, должных выразить поклонение, нет абсолютной связи и предначертанного сцепления.

Есть последование элементов, подверженное действию Времени.

Иисус и Христос.

Как не видеть разницы между Иисусом Евангелия и Иисусом после веков эволюции? Христос *становится*.

Образ мира: из тумана и малых деталей вдруг возникает человек. Приближается: все явственнее его черты, и вот уже встреча. И затем исчезает.

О, снова меня посетило невыразимое. Снова я пытаюсь его выразить.

Опыт редчайшего.

Религия защищает юных от идолопоклонства.

То Бог, то Человек: Он может все.

Он присутствует во всякой ситуации мысли.

Теология вдруг осунулась и постарела. Бог XX века оказался совершенно иным, чем тот, которого преподавали:

Бог бесконечной Вселенной.

странностей материи,

пустого неба.

Ах, смерть делает всё относительным.

Оказывается, редкий человек знает, что он умрет, «Я умру»: большинству нечем наполнить эту фразу, собственно, сделать ее «мыслью». «Я» своей смерти помыслить не может.

Какое еще нужно доказательство бессмертия?...

О, мой прекрасный выдуманный мир! Где столько нежности и сердечной ласки. Где приняты все. И всех касается тепло и свежесть. Где исчезают раны и нарывы.

Где хаоса нет. Где жестокость секунды упразднена.

О, мой чудесный выдуманный мир братства.

Кто пожалеет об ужаленном заклинателе змей? (Сир. 12,13)

Что золотые столбы на серебряном основании, то прекрасные ноги ее на твердых пятах. (Сир.26,23)

Время обнимать, и время уклоняться от объятий. (Экклезиаст)

Время обнимать.

Время жить.

41198 «Открылась дверь» куда-то: в тишину, в мир, в деятельность, в любовь.

«Где-то есть человек — возлюбленная жена — идущая мне навстречу; мой помощник, сотрудница, и я ей помощник, идущий ей навстречу» (почти видение).

Бога увидят, когда Он останется один.

La Caverne — Paris  
1995-98 Carême 1999



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>На улице Парижа</b> .....	5
Совпадения .....	83
Амур и Психея .....	97
Девяностый псалом .....	114
Зимою в Бургундии .....	122
Зона Ответа .....	134
Бат Кол .....	164
Исцеление .....	178
Билет в Святую землю .....	189
<b>Обращение</b> .....	223
<b>Soliloquium</b> , или Тетрадь отшельника .....	404

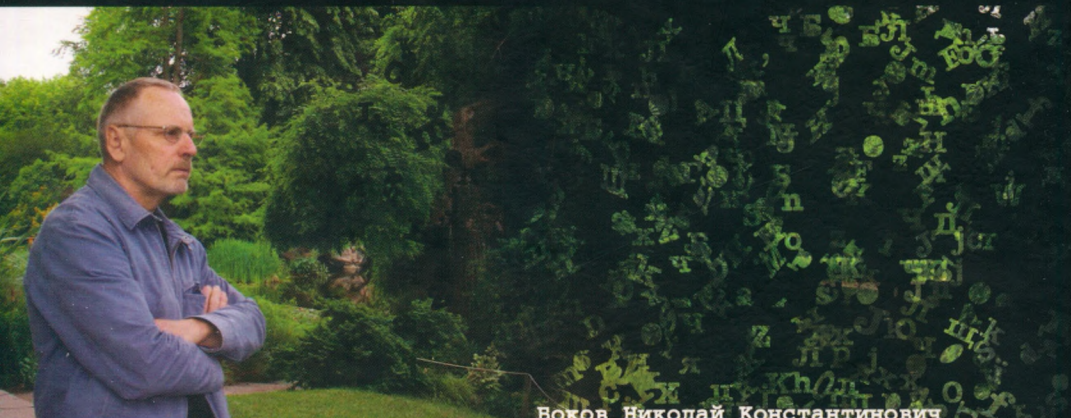
Николай Боков  
**Книга первая**  
**Зона ответа**

Редактор: **Игорь Преловский**  
Компьютерная верстка: **Михаил Селиверстов**  
Корректор: **Геннадий Щеглов**  
Дизайн обложки: **Анатолий Гришин**  
Дизайн суперобложки: **Николай Головихин**

Получено в набор 10.07.2007. Подписано к печати 27.03.2008.  
Бумага офсетная. Формат 60x84 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>  
Печать офсетная. Зак. 4/03. Тираж 5000 экз.

Издательство «Дятловы горы»  
603005, Нижний Новгород, ул. Минина, 6  
тел. +7 (831) 419-24-28, e-mail: polezno@mail.ru

Отпечатано в типографии издательства «Дятловы горы»  
603167, Нижний Новгород, ул. Маршала Казакова, 5  
тел. +7 (831) 243-16-68



Боков Николай Константинович

## Николай БОКОВ

Николай Константинович Боков вырос на Самиздате 60–70-х годов, отдав дань и классическому образованию в стенах Московского университета. Романтика и трагизм диссидентства отразились в его повестях и рассказах тех лет, которые он публиковал за границей под псевдонимами (особенно в повести «Никто», журнал «Грани», Франкфурт). Неприятие советского идолопоклонства породило сатирическую повесть «Смута новейшего времени, или удивительные похождения Вани Чмотанова», ставшую знаменитой. В 1975 году власти поставили его перед дилеммой тюрьма или эмиграция. Тридцатилетний писатель выбрал изгнание и поселился в Париже.

В 1982 году, после опубликования на немецком языке романа *Der Fremdling* («Чужеземец»), его настиг новый жизненный переворот: христианство открылось ему как реальная сила, действующая в мире. Настали годы странствий по Европе, Америке и жизни в монастырях Франции, Афона и Святой земли. Он обратился к сокровищнице ранней христианской аскезы, испытывая на себе жизнь в одиночестве, в пещере, на улице.

В 1998 году он вернулся в обычную жизнь, в Париж. Посвящая свое время писанию и размышлению над накопившимся опытом, он отзывается и на события дня в Интернете <http://nicbokov.blogspot.com>. Боков – автор пятнадцати книг, вышедших на французском и других языках, лауреат премии Дельмас Французской Академии, член французского Пен-клуба. Нижегородское издательство «Дятловы Горы» впервые в России выпускает значительное собрание его русской прозы.